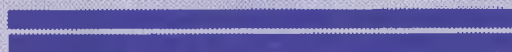


ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

6



1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6(842)

Июнь, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Однофамильцы, повесть	3
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ — Дневная луна, стихи	37
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — По ртутной воде, стихи	42
ВИКТОРИЯ ФРОЛОВА — Кто стучится мне в ладонь, повесть	45
АЛЕКСАНДР СОРОКИН — В отечестве другом, стихи	72
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ — Время текущего года, стихи	74
А. ВЕРНИКОВ — Вверху и на местах, рассказ	76
ВЛАДИМИР ЛАПИН — Поскольку мы не летаем, стихи	89
НАТАН ЗЛОТНИКОВ — Сжигая бензин дорогой, стихи	91
ЮРИЙ КУВАЛДИН — Ворона, повесть	93

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ. Марина Цветаева. Письма к П. Юркевичу (1908, 1910). Публикация О. П. Юркевич. Составление, подготовка текста и комментарии Е. И. Лубянниковой и Л. А. Мнухина. Предисловие А. А. Саакянц; Анастасия Цветаева. Николай Миронов. Публикация, подготовка текста и комментарии Станислава Айдиняна; Александр Носов. Невозможность Эроса. Вместо послесловия	116
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

Ю. КАГРАМАНОВ — Чужое и свое	167
------------------------------	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Русская музыка и геополитика	189
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИРИНА СУРАТ — «Стоит, белеясь, Ветилуя...»	200
ДЖЕРАЛЬД МАЙКЛЬСОН — Пушкин и Чаадаев: встреча в Крыму	209

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — От первого лица. Три профиля на фоне поколения 214

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО — А все-таки выше уровня моря... 222

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 227

Елена Тихомирова. «Мещанский роман» Ивана Шмелева.
Алексей Пурин. Поэт эмиграции.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ФРЕД СОЛЯНОВ — Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании 233

КОРОТКО О КНИГАХ:

Валерий Липневич. — I. Юрий Кублановский. Число. Избранные стихотворения. II. Татьяна Бек. Нищая сила. III. Лариса Миллер. И вечно живу; Вновь играем в игры эти; Бегущая строка. IV. Александр Ткаченко. Облом. Стихи и поэмы. V. Алексей Алехин. Вопреки предвещаниям птиц. VI. Зиновий Вальшонок. Залив терпения. Избранные стихотворения и поэмы. VII. Леонард Лавлинский. Смерть полубога. Поэма-хроника; Оратор. Поэма-хроника 244

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ 250

КНИЖНАЯ ПОЛКА 252

ПЕРИОДИКА 254

SUMMARY 256

Уважаемые читатели! Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, то вы можете оформить подписку на «Новый мир» прямо в редакции по адресу: Малый Путиковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»** в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner; D-80328 München Germany
Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d
Fax (089) 54-218-218

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

Повесть

Жизней у Бахметьева К. Н. было множество, все разные, но суммы они не составили, если же нет суммы — ради чего анализировать частности?

Был он пионером — одна частности, комсомольцем — другая, членом сперва ВКП(б), потом КПСС — частности третья. Воевал, был военнопленным и заключенным, женатым, вдовым и разведенным, всего не перечечь — ну и что? Был-то он был, но чем-то, чем должен был стать, не стал, а что было, то прошло. И не столько запоминалось, как был, зато как не стал, в памяти оставалось.

Вот он еще молодой, командует в должности зам. начальника цеха (начальник больше трудился по партлинии) на заводе «Молот и серп». Там же его, Бахметьева К. Н., из партии в первый раз вычистили — систематическое невыполнение производственного плана. А тут же и война, харьковский котел. За недостатком кадров он командует взводом и ротой (в роте семь человек).

В партии восстановлен, но опять отступление, он ранен разрывным. Его нашли, кажется, в лесу. Нашли и вылечили. Во Владимире вылечили, после стали разбираться — почему под Харьковом бежал, а не наступал? («За Родину, за Сталина»?!). Не шпион ли он, не дезертир ли? Разобраться не успели, снова на фронт — рядовым и беспартийным. Рядовым-беспартийным Бахметьев К. Н. воевал чуть-чуть не полный год, и опять случилось: попал к немцам в плен. В один лагерь, в другой лагерь, а когда его освобождали свои — в нем живого веса было 29,5 кг. При том, что рост 172 см.

Кости и те таяли, а когда он прощупывал их в прежних размерах — удивлялся: не может быть! Освобожденного из плена повезли опять же в госпиталь, из госпиталя выписали и снова судить суровым судом — зачем сдавался в немецкий плен? Дали семь лет подземной Воркуты. Тут уж он словчил — умолчал о своем среднем образовании, за среднее прибавляли два, за высшее — еще два года. Семь он отбыл от звонка до звонка, рубал воркутинский полярный уголек, а когда вышел из-под земли, встретился ему по харьковскому котлу политрук. Политруки тоже разные бывали, этот человеком оказался (при том, что в большом каком-то штабе состоял), раскопал документы: Бахметьев К. Н. был, оказывается, представлен к Герою. Если не к Герою, так к Ленину, как пить дать! Еще выяснилось: семь лет подземной Воркуты было ошибкой. Выяснилось, что в немецких лагерях, при живом весе 29,5 кг, он, беспартийный, вел партийную агитацию.

Явился Никита Сергеевич Хрущев, Бахметьева К. Н. восстановили в партии, дали Красную звездочку, персональную пенсию. Жизнь вошла в какую-то колею, в которой и катилась до перестройки. И даже до ноября 1990 года.

Седьмого ноября 1990-го Бахметьев К. Н., при звездочке, задолго до начала пришел на торжественное партсобрание, занял место в первом ряду, заняв, прослушал «Интернационал», Гимн Советского Союза прослушал, приготовился слушать доклад о Великой годовщине. Молодцевато подтянулся при виде ТВ-объективов, хотя объективы и смотрели не на него, а на сцену. Докладчика все не было и не было, трибуна пустовала, ветераны в первом ряду начали сильно возмущаться. Тут выходит на сцену тоже ветеран, не очень хорошо знакомый, выходит и объявляет: парт-организация постановила самораспуститься. Кто с решением согласен — вот стоит большой стол, на стол выкладывайте партбилеты!

И многие выложили, а Бахметьева К. Н. затрясло, он едва не помер в тот раз. Ему стало вдруг страшнее, чем в немецком плену, страшнее, чем под Харьковом, страшнее, чем в воркутинском подземелье.

Партбилета Бахметьев К. Н. не положил, унес домой, дома хранил завернутым в красную бархотку за небольшой иконой Богоматери, но когда к нему пришли с предложением в новой, в зюгановской партии восстановиться, он отказался.

— Ах, товарищ Бахметьев, товарищ Бахметьев, — сказала ему посланная, старая-старая, очень заслуженная большевичка по фамилии Кротких, — а мы-то на вас надеялись! А мы-то...

— Так и есть, — согласился Бахметьев К. Н., — на меня всегда кто-нибудь надеялся, всегда какое-нибудь «мы». Это даже удивительно! Какая надобность?

— Неужели ты на партию, хотя бы и за Воркуту, можешь обижаться? Чего такого особенного? Один ты, что ли? Вот и я...

— Тебе как угодно, товарищ Кротких! — отвечал Бахметьев К. Н. — Мое решение — оно личное, твое решение — тоже личное. С меня хватит, с тебя — не хватит; доказывать, спорить не о чем.

— А это, товарищ Бахметьев, — сказала товарищ Кротких, — не что иное, как эгоизм. И, значит, тебя действительно не зря послали в Воркуту и только по ошибке восстанавливали в партии. Я же и ставила тебя на учет в нашей парторганизации. Поэтому мне за тебя стыдно.

— Мне почему-то нет! — вздохнул Бахметьев К. Н.

— А как тебе теперь? — спросила Кротких.

— А теперь мне все равно.

— Так жить нельзя! Это не человек, которому все равно! Неужели ты не понимаешь — нельзя?! — возмутилась Кротких.

— Помирают все одинаково, — отвечал ей Бахметьев К. Н. — Что партийные, что беспартийные: сердце перестанет дрыгаться — и все дела.

Товарищ Кротких ушла расстроенная, Бахметьев К. Н. подумал: «Вот бы поскорее дожждаться!» И стал ждать.

В ожидании длилась жизнь. На своем веку он чего только не ждал — никогда не сбывалось. Но тут — верняк.

В ожидании бывало приятно и выпить, чтобы в самый раз, чтобы действительность становилась светлее, такой, какой она должна быть. Тогда и ты в ней — такой подлинный, такой действительный, каким вовсе не бывал.

Другой раз редко, а все-таки Бахметьеву К. Н. вспоминалась любовь. Первая, рыженькая и довоенная супруга возникала, будто было вчера, вторая, послевоенная, отодвигалась вдаль и вдаль, теряя подробности, а главное, никогда не снилась. Во сне являлась исключительно рыженькая — прическа, зеленые глазки, аккуратные грудки.

В этой неразберихе с прошлым, с укорами товарищ Кротких в настоящем надо было придумать что-то, что называется «хобби», и Бахметьев К. Н. пошел играть в домино.

Он на доминошников до тех пор глядел с удивлением: кругом проблемы, у них же задача — загнать партнера в безвыходное положение, в сортир загнать, в котором проблем нет и не может быть.

Два года соревновался в этом деле Бахметьев К. Н., приобрел авторитет в сборной трех корпусов А, Б и В по улице имени композитора Гудкова, 11, дважды (с успехом) участвовал в чемпионате дворовых команд, три раза получил по неизвестной причине в морду, столько же и сам съездил кому-то (не помнит кому), но других забот у него и в самом деле не стало, он тайно был доволен жизнью, хотя вслух и ругал жизнь нецензурно.

И тут оказалось: он-то, Бахметьев-то К. Н., — он снова в партии! Он не думал и не гадал, когда ему сказали:

— Бахметьев К. Н.! Так ты же давно уже наш! Придурка строишь, буд-то не знаешь! Ты — с нами! Душой и телом!

— Ей-богу, мужики, не знаю! Это с кем же я есть? Кто такие вы?

— Мы «Память»! Усек?! У нас таких, как ты, — подавляющее большинство!

Действительно, под стук костяшек нередко говорилось: кого в будущем году надобно повесить, кого пожечь, кого выслать за городскую черту, с какими странами порвать дипломатические отношения. Он все это в одно впускал, в другое ухо незамедлительно выпускал, поскольку домино — игра беспартийная, большинство голосов не имеет в ней значения: выигрыш-проигрыш на голосование не ставится.

Мнилось ему так, а в действительности большинство снова заговорило известным языком: когда ты не с нами, значит, против нас!

И еще спросили у Бахметьева К. Н.:

— Газетку «День» читаешь? Внимательно?

— Мне подобная газетка не довелась...

— Доведется!

— Нет, мужики, не для того выходил я из Ка Пе эС эС, чтобы войти в вашу «Память»! Мне и на собственную память грех жаловаться!

— А русский ли ты человек, Бахметьев Костя?

— Всю жизнь был русским.

— А мы сомневаемся. Сколько гоняли козла, не сомневались, нынче — пришло!

— Мне на ваши сомнения плевать и растереть! Или русские лучше всех? По вас этого не видать!

— А ты, гад, ты шибко хороший?

— Я и не претендую!

— Научим — запретендуешь!

— Не такие учили — не научили.

— Может, ты сознательно мечтаешь сделаться нерусским человеком? Таких, учти, народ сильно не любит.

— А еще бывают дураки дурнее дураков. Не встречали?

— А я вот штаны спущу, а ты погляди: хороший я или — плохой? — отозвался самый ретивый и начал расстегивать ширинку.

Разговор кончился, и все на свете Бахметьеву К. Н. стало противным и отвратительным, он зачем-то и еще спросил:

— А что, мужики? Если по душам: или вам никому никогда не стыдно было быть человеком русским? Никогда в жизни?

— Поговори у меня! — замахнулся старикашка с костылем — костылем и замахнулся. По фамилии старикашка был Семенов, по кличке Соплячок. С таким связываться невозможно, он сейчас начнет орать, что Бахметьев К. Н. в немецких лагерях полвойны отсиживался, когда другие на фронтах денно и ночью ковали победу.

Бахметьев К. Н. сам себе объявил: «Дурак ты, дурак и есть!» — и умотался прочь с настроением хуже некуда.

А когда на другой день Бахметьев К. Н. хоть и с опаской, а все-таки пришел погонять в домино, ему сказали:

— Пшел вон, сволочь! Отныне и навсегда обходи нас стороной!

И еще кое-что было сказано, и сказано к месту: два года Бахметьев К. Н. гоношился с доминошниками, вот уже год, как сортирные комбинации снились ему по ночам, пора было кончать.

Конца, покуда ты жив, не бывает без начала чего-нибудь нового, и он отправился в районную библиотеку. Он совершенно не помнил, когда в последний раз ему в библиотеке приходилось бывать. Может, когда в индустриальном техникуме учился? Техникумовской ему хватало, о существовании подобных учреждений и еще где-то ему известно не было. Он стал вспоминать названия книг. Вспомнилась «Война и мир». Он ее не читал, но знал о Наташе Ростовской, о князе Андрее Болконском из политбесед политрука на фронте. Тогда же он поклялся: живой останусь — прочитаю Льва Николаевича! Живой остался, а святую клятву забыл. Однако лучше поздно, чем никогда! — правило известное, и библиотечных лет у него было почти три. Книг за эти годы он прочел тьму тьму, читал, читал денно и ночью — ежель в одной руке ложка, то в другой книжка. Его фотографию вывесили в районной библиотеке: «Бахметьев Константин Николаевич, ветеран-пенсионер, наш верный читатель. Книги сдает исключительно в срок и даже досрочно». Еще что-то было написано машинкой под его фотопортретом, он книги читал, читал, читал, и все чаще приходила ему мысль: что бы такое сделать в результате чтения? Не обязательно что-то очень государственное, не обязательно очень общественное, но что-нибудь исследовательское. Что-нибудь библиофильское, хотя бы и вовсе краткое — на неделю-другую работы.

И что же пришло ему в его голову?

Ему пришло: проработать литературу на предмет Бахметьевых.

Иначе говоря, порыться в каталогах на букву «Б», выписать всех авторов под фамилией «Бахметьев», составить обзор их жизнеописаний и произведений, напечатать тот обзор на машинке в трех экземплярах, переплести в картонные корочки и один экземпляр подарить районке. В знак благодарности.

А — что? Если бы все не все, а хотя бы самые постоянные читатели библиотек исполнили подобную работу — как бы оказалось интересно! Полезно — как?! Заведующая районкой Вера Васильевна на очередном методическом совещании библиотечников обнародовала бы факт: «А у нас один наш читатель...» И какое бы это произвело впечатление — вплоть до городского отдела культуры? И дальше, дальше?!

И только-только, в следующий вторник, собрался Бахметьев К. Н. приняться за дело, как в понедельник в ветеранской поликлинике ему сказали:

— Опухоль!

Положили Бахметьева К. Н. в больницу, из больницы перевели домой (коек на опухолевых не хватало), пообещав, когда «нужно будет», в больницу вернуть. И тут в первый раз в жизни Бахметьев К. Н. понял, что обязательно он умрет. Умирал-то он не раз, не два, но чтобы обязательно — это впервые.

«Дурак ты, дурак, — упрекал себя Бахметьев К. Н. — Помрешь нас всем, а кто же за тебя сделает — соберет в одну компанию всех знаменитых Бахметьевых? Никто не сделает, никому дела нет!»

Выручил племянник Костенька. Нашелся добрый человек.

Племянник Костенька был крещен под Константина именно в честь своего дядюшки Константина Николаевича. Потому что случай: Леночка, молодая жена старшего брата Бахметьева К. Н. (брата звали Никанором), незадолго до родов тонула в речке, а Константин ее спас, вытащил из водорослей. Племянничек родился вполне благополучно, но рос мальчишкой вредным: сверстников дергал за уши, сверстниц за волосенки, маму не слушался, папы у него вскоре не стало — папа погиб на войне. Мальчишка гордился:

— Я — самостоятельный! А был бы при мне папочка, я бы ему морду набил. Не верите?

Костеньке верили.

Взрослый Костенька с дядюшкой-спасителем прежде почти не встречался, но теперь зачастил к нему с едой и с коньячком о пяти звездочках. Изредка, ни с того ни с сего, он произносил «кого» вместо «чего»: «Кого там делать-то?», «Кого, дядя Костя, тебе взять в магазине?». «В народе так говорят, — объяснял Костенька. — Народ, он не различает предметы неодушевленные от одушевленных».

— Народник нащелся! — удивлялся Бахметьев К. Н. — «Народ, народ! Откуда тебе известно, что от чего отличает народ? Что такое народ? Никто не знает, кроме как ты.

— Как это откуда! — пожимал плечами Костенька, обижаясь. — Я на филологическом полгода учился!

Это — в Костенькиной привычке: он на любой случай жизни где-нибудь да учился, и на физика, и на химика, и на экономиста, если же и не учился — постигал путем самообразования. Нынче Костенька — ему за пятьдесят, Бахметьев К. Н. не помнил точно, — Костенька же не рассказывал, к пятидесяти либо к шестидесяти ему ближе, — нынче он ездил в «мерседесе» с мигалкой и радиосвязью, объясняя дядюшке, что в 1993 году в России «мерседесов» было продано больше, чем во всей Западной Европе.

— Прогресс! А еще говорят — нет у нас в России цивилизации!

— Ты скажи-ка, Прогресс, где ты все ж таки работаешь? — спрашивал дядюшка, но племянник объяснялся странно:

— Мы работаем частным образом!

— Что за частный образ?

— Не все ли тебе, дядюшка, равно? Лучше скажи откровенно: чего тебе хочется?

— Мне-то?.. Мне-то, Костенька, очень хочется... — И Бахметьев К. Н. рассказал: необходимо познакомиться со своими знаменитыми однофамильцами. Ну, хотя бы через посредство какого-нибудь из последних изданий энциклопедии.

— И это — все? Да что за вопрос, дядюшка? Что за вопрос? Да мы — вмиг! Ну, если не вмиг, не сию же минуту, тогда в следующее мое посещение — обязательно!

И верно: две недели спустя Костенька с видом почти что ученым сидел у кровати дядюшки и громко читал по «Советскому энциклопедическому словарю»:

— Бахметьев Владимир Матвеевич (1885 — 1963), русский советский писатель, член КПСС с 1909. Романы о жизни сибирского крестьянства, о гражданской войне — «Преступление Мартына», „Наступление”. Подходит?

— Вроде бы интересуюсь. Партийный стаж великоват для одного живого человека. Но факт есть факт. Кто там еще? Кто дальше-то?

Дальше следовал Бахметьев Порфирий Иванович (1860 — 1913), из крепостных, выдающийся физик и биолог. Первым вызвал анабиоз у млекопитающих (летучие мыши). Первым во всем объеме поставил проблему сохранения жизни при полной остановке жизненных явлений.

— Я же на биолога собирался учиться! — поторопился заверить Костенька. — А потому я суть уже схватил! То есть очень важная, скажу я тебе, суть!

Бахметьев К. Н. тоже подтвердил:

— Интерес теоретический, но, может быть, и практический. В медицине практический — раз! В политике теоретический — два! В похоронных командах — три!

— Похоронные-то, дядя Костя, здесь при чем?

— Здесь не здесь, а при чем, хотя бы и так: раненым, кто хоть мало-мало дышит, тут же вспрыскивать анабиоз, в анабиозном состоянии волочить их в лазарет. Пусть в лазарете разбираются — все еще живой солдатик либо уже мертвяк. А то ведь на практике как происходит? Поволокли живого — приволокли в лазарет мертвого, а там народ матерится: своих, что ли, у нас не хватает мертвяков? Поди-кась живых вы там же и закопали, а мертвяков притащили?!

Нельзя сказать, что дело точно так и было, но Бахметьеву, во-первых, хотелось поддержать учение об анабиозе, во-вторых, удивить Костеньку.

— Тебе что же — приходилось сталкиваться? — и в самом деле слегка, а все-таки удивился Костенька.

— Ты спроси — чего мне не приходилось? Спроси — с чем я не сталкивался? Я со всем на свете сталкивался. Ну а дальше-то — кто? Кто там еще в «Словаре» из Бахметьевых? С разными прочими именами-отчествами?

— Всё! — сказал Костенька и пожал плечами. — Представь себе — всё!

— Только двое и есть?! Не может того быть! Фамилия наша известная, так что гляди внимательнее! Хотя бы еще одного угляди — трое, это уже не двое!

И Костенька углядел: Павел Александрович, год рождения — 1828-й, год смерти — знак вопроса. Соученик Н. Г. Чернышевского по Саратовской гимназии, прототип Рахметова в романе «Что делать?». В 1857 году уехал в Океанию с целью основать там коммунистическую колонию. Оставил А. И. Герцену денежные средства — фонд на революционную работу. Н. П. Огарев, доверенное лицо А. И. Герцена, передал фонд С. П. Нечаеву.

— Нечаеву? Знаешь ли, Костенька, Нечаев очень был знаменитый революционер-террорист! Он, знаешь ли, Достоевскому прототипом многократно служил. А в науке до сих пор дискутируется: признавал Ленин Владимир Ильич террориста Нечаева за своего учителя либо отрицал начисто и совершенно? Нерешенный вопрос! Не в силах ответить наука. И вообще, скажу я тебе, Костенька, мы с тобой уже коснулись выдающегося периода нашей истории. Я множество книг по вопросу прочитал, я знаю.

Костеньке тоже было интересно:

— Ты вот, дядя Костя, годы провел в библиотеке, это прекрасно! Ты не знаешь ли, большой был тот фонд Герцена или — так себе? Ерунда какая-нибудь?

— Этого профессиональные революционеры, представь себе, не сообщали. А вообще-то удивительную биографию обнаружили мы с тобой в «Словаре»: прототип Рахметова этот Павел Александрович — это раз, уже в то время коммунист от самого Маркса — это два, уплыл в Океанию — это три. Самое-самое интересное — три! Потому что — романтическое! Спасибо тебе, Костенька! Без тебя я бы ничегошеньки о Бахметьевых не узнал!

— Спасибо — это хорошо, я живой человек, поэтому люблю благодарности, но совесть не позволяет умолчать: тут одна деталь при ближайшем рассмотрении обнаруживается.

— Что за деталь?

— Павел Александрович — он без мягкого знака.

— Уточни?

— Уточняя: Павел Александрович — он Бахметев, а не Бахметьев. Пустяка какого-то, мягкого знака ему до Бахметьевых не хватает. Мужик что надо, но вот — деталька... Можно сказать, компромат.

— Ай-ай! Я уже успел сильно размечтаться! И всегда со мной так: если быстро размечтаешься, значит, после хвататься тебе в разочаровании за собственную голову! — Бахметьев К. Н. схватился за голову. — Вот так!

— Океанию не жалею, — посоветовал Костенька. — По сведениям, там черт ногу сломит, в Океании. Сколько там разных государств, кому эти государства приписаны, сколько народонаселений, сколько языков — нико-

му толком не известно. Самостоятельная эта часть света или не самостоятельная — неизвестно. К тому же поехать в Океанию — это даже и для меня накладно. Это только для Сержика Мавроди подходит. А живут в Океании кенгуру. И еще подобные сумчатые.

— Что они, хуже всех, что ли, — сумчатые кенгуру? Они — тоже звери, не хуже других зверей. Нет, что ни говори, я с удовольствием побывал бы в Океании. Жалею — не пришлось!

— Кто говорит, что кенгуру хуже? Никто не говорит — хуже. Но, может, дядя Костя, ты все ж таки пойдешь на компромисс? Мягкий знак — да разве это принцип? Стоит ли из-за мягкого делать серьезную разборку?

— Пойми, Костенька, тут действительный принцип! В моем возрасте — и к кому-то примазываться, выдаваться за родственника? Хотя бы за однофамильца?! Нет и нет! Нынче мне как никогда надо глядеть фактам в глаза: я — Бахметьев, а он Бахметев! Есть разница! Налицо разница!

— Тогда — не скучай, дядя Костя, а мне пора. За мной с минуты на минуту должны приехать.

— Кто должен-то?

— Милиция.

— Милиция? Это как же? Это как же понять?

Бахметьев К. Н. настолько удивился, что огорчение по поводу Океании пусть временно, но забылось.

— Ну как же! Милиция меня сюда привезла, значит, и отсюда должна увезти. И мне моего следователя подводить нельзя. Мы с ним корешки.

— Ты, Костенька, что — подследственный? Или — еще кто?

— Я? Я по всей форме подследственный. Дело на меня заведено, допросы оформляются, все чин чинном. Кто вздумает познакомиться с бумагами — пожалуйста, все оформлено. Я месяц с хвостом обязательно под следствием должен находиться, обстановка диктует. Больше не надо, но месяц с хвостиком — обязательно! Необходимо для тех же обстоятельств.

— Уж не прикончил ли ты кого-никого? А? Если по душам?

— Что ты, дядюшка, разве можно? Мне? Самому? Да не в жизнь!

Тут и раздалось четыре звонка подряд, и Костенька поднялся со стула, все еще молодой и стройный.

Такого — и в милицию? Бахметьеву К. Н. сделалось неприятно: выбьют в милиции Костеньке зубы, еще что-нибудь придумают?

Костенька же был совершенно спокоен и крикнул:

— Войди!

В дверях пощелкал ключ, вошел милиционер, звание старшина, рослый, в годах и с усиками. Он вошел, взял под козырек:

— По вашему приказанию явился!

— Здорово! — отозвался Костенька. — Шагай в кухню, подкрепишься. У нас восемь минут в запасе!

Старшина еще козырнул и молча, строевым подался в кухню. Бахметьев К. Н. с удивлением спросил Костеньку:

— Ключ-то у старшины откуда? Я же тебе один-единственный ключ давал?

— Где один, там и много! Это же, дядя Костя, не что иное, как закон: где один, там обязательно много.

Сильно чавкая, старшина из кухни подал голос:

— Наши минуты — они правда что в обрез. Начальнику отделения машина требуется на убийство ехать. Еще и неизвестно, какое убийство, — то ли бытовое, то ли финансовое, то ли политическое.

— А тогда — поторапливайся. Сколько успеешь — твое, а с собой — не брать. Я же не тебя, я дядюшку пропитанием обеспечиваю.

— Живой все еще дедушко-то? — снова отозвался старшина. — Крепкий дедко попался, ничего не скажешь, крепенький. А я готовый как штык! Я в любой момент — штык! Такая служба — по минутам. А убийст-

во — оно в подъезде совершено, следовательно, политическое. Хлопот будет! Прессы будет! Не оберешься! А че шобутиться — все одно преступник вне досягаемости!

Еще в завершение встречи они успели перекинуться соображениями за жизнь и за смерть.

— Тебе хорошо, дядя Костя, помирать — ты смерти не боишься. Ты насмотрелся на нее вдоволь, — не без зависти сказал Костенька. — А мне так худо: я мертвяков на дух не переносу, а если в моем присутствии кто вздумает помирать — бегу куда глаза глядят.

— Я за тобой это качество давно уже знаю, Костенька, — согласился Бахметьев К. Н. — Неприятное качество. Негуманное и даже противоположенное. Что касается лично меня — куда мне еще-то жить? Хватит, пожил. Надо кому другому на планете место уступать. Без уступок жизни не бывает.

— Вот это и есть самое неприятное — уступать, — глубоко вздохнул Костенька, а уходя, сделал дядюшке рукой, тоже вроде бы козырнул: — В субботу — буду! В первой половине дня. Поправляйся, дорогой, к субботе. Окончательно!

Такой был у Костеньки порядок: он действительно навещал дядюшку в субботу, в первой половине дня, но не указывал, какая это будет суббота — ближайшая, через одну, через две недели.

Итак, племянник ушел до неизвестной субботы, старшина милиции тоже ушел почавкивая, а дядюшка стал думать о знаке «ь»: в фамилии Бахметьев он есть, он в ней живет и действует, а в фамилии Бахметев его нет, и уже нет фамильного родства, разве только случайное знакомство.

А тогда единственно, что можно было себе позволить, — последовать за Бахметевым П. А. в Океанию. Пока еще жизнешка в тебе кое-как ютится. А можно было и отложить путешествие, поскольку в данный момент «ь» как таковой сильно занимал Бахметьева К. Н., навевая воспоминания детства. Знак этот произвел на мальчика особое впечатление, после того как ему объяснили: ни мягкого, ни твердого — нет ни в одном другом языке, кроме русского, и русский язык без них стал бы не совсем русским. Вот какое значение у малютки этого, у знака «ь»! (значением знака «ь» Бахметьев К. Н. с самого начала пренебрегал).

Ни одного слова, имени ни одного с «ь» не начинается, начинаться не может, «ь» — это не звук, только знак, и не более того, им заканчивается множество звучных слов; он, мягкий, целое племя повелительного склонения глаголов произвел. То ли присутствуя, то ли отсутствуя, он слова до неузнаваемости меняет: «дал» и «даль», «кон» и «конь», «быт» и «быть», «мол» и «моль», «цел» и «цель» — что общего по смыслу между этими словами? Ничего, всякую общность смысла между ними «ь» исключает. Если же «ь» свил себе гнездышко в середине слова («родительница») — так это навсегда, это птичка не перелетная. А с каким задором «ь» участвует в немислимых играх русского языка, то появляясь в словах, а то в них же исчезая? В слове «конь» он есть, а в слове «конный» его уже нет, в «Илье» — есть, в «Илюше» — нет; в слове «день» — есть и в слове «денской» — тоже есть, а почему есть — неизвестно. В слове «смерть» — есть, в слове «смертный» — исчез. Тоже в словах «жизнь» и «жизненный».

Игры с «ь» Бахметьеву еще в детстве нравились, особенно на уроках арифметики, когда надо было складывать и вычитать, множить и делить, а он вместо того угадывал, почему «пять», «шесть», «семь», «восемь» пишутся с мягким знаком, а «один», «два», «три», «четыре» — без мягкого? Почему, кстати, «три» — оно везде, и в «тринадцати», и в цифре «триста», а вот «четыре» есть в «четырнадцати», в «сорока» от «четырех» нет ничего, а в «четырёхстах» четыре явилось снова? Бахметьев и умножал, и делил неплохо, учитель его хвалил, потому что не знал: арифметику-то ученик решил, но вопросы со знаком «ь» так и остались для него нерешенными.

Еще представлялось в детстве Бахметьеву, будто «ь» дружит со странными близнецами, с буквами «и» и «й», и вот втроем они забираются в из-

бушку на курьих ножках и там смеются, а «ъ» к ним стучится: «Пустите меня к себе!» — «Иди, иди отсюда, — отвечают ему из той избушки, — тебя почти везде отменили, а там, где ты остался, ты соседние буквы портишь!» — «Вас-то я, честное слово, не испорчу!» — плачется «ъ». «Все равно уходи, нам без тебя веселее!» Доведись нынче Бахметьеву К. Н., взрослому, на закате дней — он, пожалуй, выпустил бы «ъ» в избушку на курьих ножках, это было ему приятно сознавать — пустил бы! Зачем зря кого-то обижать? Хотя бы и «ъ»?

Бахметьев К. Н. еще полежал, еще что-то о чем-то подумал — о прошлой жизни, о предстоящей смерти, и к нему пришел-таки вопрос: что же это значило, когда в квартиру явился старшина милиции, взял перед Костенькой под козырек: «По вашему приказанию явился!»? Это при том, что Костенька признался: он находится под следствием? «Вот наградил Бог племянничком!»

Затем Бахметьев К. Н. встал, какое-то время, не очень краткое, подержался за спинку кровати, потом зашаркал на кухню... На кухонном столе не было ничего, ни крошки — старшина милиции все подмел, но в холодильнике было: сыр импортный, два вида, колбасы, импортные же, трех сортов, кусочек рыбы семги граммов, наверное, на двести, а также и творожок, бутылка пива, маленькая бутылочка коньяка пять звездочек (армянский) и, наконец, совсем уж маленький шкалик водки. Булки, хлеб, чай, сахар — это как бы уже и не в счет, а само собой.

Взглянув на содержание холодильника, Бахметьев К. Н. громко захлопнул дверцу. «Вот это — жизнь! — испугался он. — Не жизнь, а что-то невозможное. И даже — невероятное!» Еще посидел около, погладил прохладную поверхность ладонью, подумал: «А впрочем, когда это жизнь у меня была возможной? И — вероятной? Никогда не была!» И он снова распахнул холодильник. Шкалик с водкой его особенно растрогал: давно уже ликеро-водочная промышленность подобного разлива не производит, народ перешагнул через такие емкости, но вот нате вам — шкалик в натуре! До чего трогательная посудинка! Ну прямо-таки детсадовский разлив! Слезу вышибает!

Что же со всем с этим делать-то? Неужели все съесть? Все выпить? Что о Костеньке думать? Неужели — ничего? Бахметьев К. Н. именно так и решил в этот момент: ни-че-го! Вернулся, посидел на кровати, посидев, лег и уснул. Бахметьев К. Н. спал теперь без разбора, ночь ли, день ли — ему все равно. Время идет к своему концу, и ладно. Стосерийный фильм и тот кончается, а Бахметьев К. Н. чувствовал: он со своей жизнью в десять серий уложится запросто.

Память не хранила все то, что было с ним когда-то, но сознание — не так, оно прорабатывало разные продолжения бывшего, продолжения, которые, слава Богу, так и не состоялись.

Когда бы они состоялись в действительности, это было бы хуже всего плохого, с ним когда-то случившегося.

Так вот, нынче видел он сон: развалины без конца, без края — город разрушен огромный, при такой огромности бывшего города обязательно должна быть какая-нибудь река, и ее берега должны быть гранитными, какое-нибудь озеро или море должны быть? Но ничего, никакой воды здесь почему-то не было. Кирпич, бетон, песок, железо, неопределенный стройматериал, а в недрах развалин, в каждой груде, — камеры и даже бараки. В бараках заключенные, само собою, голодные, но послушные необыкновенно, — входит начальник, а они уже стоят в шеренгу и по ранжиру: с правого фланга метра по три росту, с левого — вовсе лилипутики. Стоят неподвижно, и никто не чешется. Будто вшей на них ни одной. Начальник волосатый, зубы наружу, на кого пальцем укажет — тот в тот же миг из строя исчезает. Так же мгновенно, как умеет это Костенька. Но все это не самое удивительное, но

вот при начальнике писарь, карандаш на веревочке через шею, он что-то быстро-быстро записывает не на бумагу, а на ржавую железку, и кажется Бахметьеву К. Н. — знакомая ему фигура. Кто такой? Не может быть, но все равно так и есть: писарь этот он — Бахметьев К. Н.

Еще не проснувшись, Бахметьев К. Н. плюется: тьфу! — а проснувшись, не понимает: что за сон? откуда и как явился? Он лежит неподвижно, шевелением легко спугнуть догадку, и вот в чем, оказывается, дело: дело в том, что и в немецких лагерях, и в подземной Воркуте появлялась бы у него возможность прилепиться к начальству, чуть-чуть, а понравиться ему. Он крепкий был парень, выносливый, быстрый, толковый, хоть пленный, хоть заключенный, а все равно начальники его примечали, бросали на него свой взгляд. Однако он встречал этот взгляд без дружелюбия и готовности. После даже и ругал себя последними словами — надо было какую-никакую, а сделать улыбку, а тогда вблизи начальства какая-никакая корочка обязательно перепала бы.

А еще было так: в лагерь военнопленных приезжает кухня с похлебкой и с кашей — дают желающим, но сперва запишишь в армию генерала Власова, чтобы воевать с Советами.

Кто записывался, тех уводили из лагерей напрямиком к Власову.

Новоявленные вояки того и ждали: в первом же бою перебежать к своим. А что было в действительности? Перебежчиков свои тут же расстреливали, до одного.

А Бахметьев? Вес 29,5 килограмма — но он на похлебку не покусился, на перебежку к своим не понадеялся. Своих-то он знал, он сам был свой.

Бахметьев К. Н. просыпался, делал освободительный вдох-выдох на манер физкультурного вдоха-выдоха и снова засыпал, уже в успокоенном отношении к самому себе. Ко всей окружающей действительности прошлой и настоящей он в своем сне тоже относился благосклоннее.

Особенно не любил Бахметьев К. Н. сны политические, но они все равно случались: такая она привязчивая к человеку — политика. И видит он парламент не парламент, митинг не митинг, заседание фракции или шабаш какой-то, но людей порядочно, и все доказывают и убеждают друг друга в чем-то, чего они сами толком не знают. Все они тут вдвое толще и в полтора раза ниже, чем люди натуральные, все такие же, как в его собственном телевизоре, который время от времени начинает показывать не на весь экран, а только на узкой полоске, так что часы и те видятся не круглыми, но в виде эллипса.

Теперь догадайся, чем они, какой проблемой заняты, эллиптические фигуры, — мужики в плечах — во! — бабы в задницах и вовсе невообразимые? Оказывается, это коммунисты изо всех сил рвутся обратно к власти, потому что без власти не могут, они без нее никто. Вот она, товарищ Кротких, с красным флагом-полотнищем от края до края всего события, и еще одна по телевизору знакомая женщина, та неизменно в первом ряду, будь это первый ряд президиума, митинга или демонстрации.

А с кем же на пару коммунисты бушуют в борьбе за власть? А это для них не так важно. К тому же в борьбе за власть пара всегда найдется — только кликни.

Опять же во сне: большой зал, большой президиум, большой и лысый председатель собрания ставит вопросы на голосование: кто «за»? кто «против»? кто воздержался? «Принято единогласно! Переходим к следующему вопросу!»

Бахметьев К. Н. неизменно «за» и удивляется: почему все-то голосуют точно как он? Или он самый умный? Не может быть! Впрочем, это же сон!

Впрочем, и во сне, и наяву к демократам он опять же относился критически: им положено быть самыми умными и умельцами, а на самом деле они только и умеют, что за умников, за умельцев себя выдавать.

Опять Бахметьев К. Н. просыпается, не верующий ни во власть, ни во что на свете, осеняет себя крестным знамением, начинает сон обдумывать. Вывод: вовремя он помирает, когда не надо разбираться, кто там прав, кто не прав, — все равно правых не найдешь.

А вот когда увлекался чтением, возникло подозрение: не завидуют ли ему классики? Поди-кась хочется пережить столько же, сколько пережил Бахметьев К. Н., но жизнь поскупилась, выдала им судьбу полегче, и теперь, когда Бахметьев К. Н. их читает, они ему завидуют: подумать, сколько этот человек пережил?!

«Мое бы знатье, — соображает Бахметьев К. Н. (во сне или наяву, значения не имеет), — мое бы знатье плюс умение какого-нибудь Толстого либо около того — вот получился бы результат! В поэзии, пожалуй, и нет, с поэзией ему не состыковаться, но что касается прозы...»

С первого же взгляда он понял: человек его мечты, его знаменитый однофамилец, был этот биолог и физик Бахметьев Порфирий Иванович.

— Здравствуйте, здравствуйте, батенька! — бархатистым и тихим голосом заговорил однофамилец, но и вытянув руки далеко вперед целоваться не полез.

Бахметьев К. Н. тоже не полез, он представился:

— Бахметьев Константин Николаевич. Улица имени композитора Гудкова, одиннадцать, квартира двести одиннадцать. Год рождения — тысяча девятьсот тринадцатый.

— Совпадение! А я в тринадцатом скоропостижно скончался. То есть прямая эстафета! Мы — ровесники! Как это прекрасно, как воодушевляет! Ах да — забыл: перед вами Бахметьев Порфирий Иванович — профессор Софийского и Московского имени Шанявского университетов.

— Как же, знаю! По «Словарю» и знаю!

Бахметьев К. Н., не в пример своему однофамильцу, волновался, и ему хотелось волноваться еще сильнее, глубже в собеседника вглядываясь.

Тот был бородат, густая борода его возникала повыше ушей. Глаза — голубое небо — Богом предназначены принадлежать человеку ученому, даже когда этот ученый и не очень в Бога веровал бы. Для профессора профессор был несколько молод — лет сорок с небольшим, но путь в науке был перед Бахметьевым Порфирием Ивановичем распахнут уже давно.

Он этим путем следовал, следовал, и вот встреча! Волнующая! Между прочим, о существовании столь положительных людей, как Бахметьев П. И., Бахметьев К. Н. всегда подозревал. Более того: он не любил тех, кто утверждал, будто таких людей нет, быть не может.

Одно сомнение: пристало ли ему со своим средним образованием (индустриальный техникум, выпуск 1934 года) общаться с мировой величиной?

Тотчас заметив смущение Бахметьева К. Н., Бахметьев П. И. проговорил:

— Надеюсь, беседа произойдет на равных. Я давно мертвый, вы — все еще живой, ну и что? Ну и ничего!

— Слишком вы знамениты! Когда случилось-то? В первый раз?

— Что именно? Что — в первый?

— Когда вы узнали, что вы — знамениты? Припомните?

— Родился в году тысяча восемьсот шестьдесят первом, уже счастливый знак — освобождение крестьян от крепостной зависимости. Мой батюшка был крепостным. Он еще раньше выкупился на волю, открыл в городе Сызрани винокурный завод, а мне дал хорошее по тому времени образование — городское реальное училище. По окончании реального он послал меня в Швейцарию, в Цюрих, там я закончил университет, при университете же был оставлен... А когда приезжал из Цюриха в уездную

Сызрань на каникулы, то становился большой знаменитостью — все городские газеты, их в Сызрани множество было, все писали: сын крепостного пребывает при Цюрихском университете! А что в том было особенного? Вот если бы подобных случаев не бывало, вот тогда это был бы прискорбный факт. Свобода должна в ком-то более или менее разумно воплотиться, в каких-то личностях.

— А ваше научное открытие? Ваше собственное, Порфирий Иванович?!

— Анабиоз! — воскликнул Бахметьев П. И. с восторгом и объяснил Бахметьеву К. Н., что анабиоз уже в начальной стадии находит применение:

первое: при лечении туберкулеза;

второе: в холодильном деле.

Объясняя, Бахметьев П. И. улыбался невиданной Бахметьевым К. Н. улыбкой — опустив обе губы вниз, к подбородку. Удивительно... Однако надо было учесть специфичность встречи, Бахметьев К. Н. учел, и сомнений не осталось: улыбка была не только оптимистичной, но и приятной.

— Поверьте, дорогой Константин Николаевич, это первые, ну самые первые практические шаги, а дело — в перспективах! Какая же это наука, какое научное открытие, если оно тут же, сразу же открыто от начала до конца?

Еще Бахметьев П. И. объяснил, что при анабиозе жизненные процессы настолько замедляются (искусственно — при температуре до -160 градусов С), что обычная жизнедеятельность организма исключается, и только при возвращении прежних условий существования она, жизнедеятельность, снова тут как тут.

— Что же касается анабиоза в перспективе... Догадываетесь?

— Знаю-знаю! — с неожиданным восторгом первооткрывателя воскликнул Бахметьев К. Н. — Анабиоз в перспективе — это свобода человека во времени! Правильно говорю?!

Тут удивился Бахметьев П. И.:

— Когда я ставил свои опыты над летучими мышами, я не думал о свободах. Мыши, они и без меня совершенно свободны, они что умеют, то и делают, а чего не умеют, о том не мечтают. Но вы-то, дорогой Константин Николаевич, какую видите вы связь между свободой личности и анабиозом?

— Ну как же, как же! Очень просто: не понравилось мне жить в двадцатом веке, я взял и впал в анабиоз, законсервировался лет на двадцать. Снова прожил пять лет — и снова даешь консервацию еще на двадцать. Без анабиоза — как? Без него мама меня родила, я и живу от этого дня всю свою жизнь, а с анабиозом? С консервацией? Извините-подвиньтесь — я при маме до совершеннолетия, а после — живу тогда, когда хочу. Как хочу, так и распределяю свою жизнь по грядущим векам и эпохам! В пространстве люди уже свободны, мотаемся куда хотим, летим, плывем, едем на чьих-нибудь колесах, а во времени — мы все еще рабы! Ваше открытие, дорогой Порфирий Иванович, дает человеку свободу не только в пространстве, но и во времени. Все! Отныне я плюю на день своего рождения! Ну ладно, ладно, не плюю, не буду, если это нехорошо, если безнравственно, но все равно я освобожден от календарного крепостного права! Ур-ра! Теперь только и дел, что преобразить теорию в практику. Принцип — в действительность! Можете?

В ответ, по-прежнему улыбаясь губами вниз, Бахметьев П. И. облобызал Бахметьева К. Н., повернув его и в профиль, и анфас. Губы оказались ледышками. Бахметьев П. И. спросил:

— А как думаете, дорогой Константин Николаевич, каково значение анабиоза в медицине?

— В медицине? Тут и думать нечего, тут само собой все разумеется, тут дело ясное: предположим, у человека рак.

— Рак?

— Он самый! А тогда этот человек — он что? Он консервируется лет на пятьдесят, за пятьдесят лет метастазы сами собою отомрут. Организм расконсервировался, он теперь о метастазах и думать забыл. Кому-то они нужны? Кто по ним страдает? Давайте-ка сделаем опыт сейчас же! Сию же минуту?! Затруднительно? Ну, тогда представьте себе, что я — летучая мышь, представьте и действуйте!

— Шансов нет. Ни одного.

— Почему это? Вы очень правильно сделали, когда начали свой опыт с летучих мышей, — не с людей же было начинать?! Но и человеческому организму мышинный опыт бывает необходим! Сколько угодно бывает, и наша встреча — счастливейший для вас случай. Кстати, и для меня тоже. Упустить такой случай — великий, учтите, грех. И — непорядочность! Так что — действуйте! Я — к вашим услугам.

Бахметьев П. И. подумал, почти согласился, но еще спросил:

— А что нынче наш русский народ говорит об отечественной науке?

Что и как русский народ говорит о науке, Бахметьев К. Н. хорошо знал с тех пор, когда гонял козла во дворе многоэтажек А, Б, В по улице композитора Гудкова, 11. Народ уже тогда говорил: «Что она без нас, без народа, наука? Мы ее кормим, обуваем, одеваем, снабжаем лабораторным оборудованием, служебными «Волгами» — а она? Кто мы для нее? Мы для нее то ли экс-кремент, то ли экс-перимент — невозможно понять! Понадобился науке научный коммунизм — пожалуйста, вот он, народ, делай над ним коммунистический опыт! Понадобилась перестройка и рыночная экономика — опять же вот он, экс-перементируй, экс-крементируй над ним рыночно! Понадобилось изучить влияние радиации на живые организмы — тут как тут Чернобыль. Сперва наука Чернобыль от народа скрывает, после народу его приоткрывает — академикам за это прикрытие-раскрытие золотые медальки на грудь! Народ от науки много не требует: снизить цены продуктов питания для начала процентов на пятнадцать! Снизить в интересах народа, государства и самой себя — неужели не может? Ну, если не может, тогда пошла-ка она...»

Бахметьеву К. Н. очень не хотелось терять восторженное взаимопонимание со своим однофамильцем, тем более что Бахметьев П. И. почти согласился провести над ним анабиозный опыт.

— Мнение народа, — сказал Бахметьев К. Н., — оно самое разное, а чтобы оно было единым, необходимо подвергнуть меня анабиозу! Я — честное слово! — передам народу ощущения этого факта. Народу всегда нужны факты! И — свидетели!

— Шприцов разового пользования нет.

— Можно неразового. Что у вас тут, в такой дали от Земли, — СПИД, что ли, гуляет? Среди кого ему здесь гулять-то?

— Неразовых шприцов тоже нету...

— Попробуйте просто так... без шприцов... чисто психологически.

— Психологически я уже пробовал. Было! И с летучими мышами пробовал, и с усконогими раками — не получалось!

— А со мной — честное слово — получится! Вы же и представить себе не можете, как я вам, дорогой Порфирий Иванович, доверяю! Усоногие так доверять, честное слово, не могут!

Бахметьев П. И. задумался небесной задумчивостью, еще больше улыбнулся губами вниз, приблизился к Бахметьеву лицом к лицу, закрыл голубые и взрослые глаза, и по-детски залепетал:

— Бах-бах-бах! Меть-меть-меть! Ев-ев-ев-ев-ев-ев-ев! Итого — Бахметьев!

Бахметьев К. Н. стал погружаться в анабиоз. Начальную стадию он еще заметил, а дальше — ничего, пустая пустота.

Когда же он из анабиоза вышел, первое, что почувствовал, — свободу от времени: совершенно было все равно, сколько времени он провел в

анабиозе — три минуты или три года!.. Интересное чувство! Вот бы такое же во времена его пребывания в немецких лагерях для русских военнопленных!

Или — в подземной Воркуте... И во многих, многих других местах. Но правда и то, что во всех местах его, погрузившегося в анабиоз, тут же и закопали бы в какую-нибудь братскую траншею, сожгли бы в какой-нибудь преогромной и специальной печке.

— Вы — счастливы? — был первый вопрос Бахметьева П. И. к Бахметьеву К. Н., когда тот даже и не открыл, а только дрогнул глазами.

— Кажется, как никогда! — поспешил заверить Бахметьев К. Н. — Могу свидетельствовать перед народом, что...

— Тогда и я счастлив бесконечно! Тем более что настоящее научное открытие должно быть счастьем не только для открывателя! И что же вы там почувствовали? В анабиозе?

— Я-то? Собственные клетки и клеточки я почувствовал. Может, даже и собственные молекулы. С детства я твердо знал, что состою из клеток, что клетки состоят из молекул, но чтобы твердо и натурально это почувствовать — нет, не приходилось!

— Все ваши клетки — одинаковы?

— Какое там! Метастазные, это, знаете ли, это такие стервы — объяснить невозможно! Эти твари всякое счастье испортить могут! Всякое научное достижение свести на нет могут.

— А все остальные? Клетки? Неметастазные?

— Да ничего, нормальные. Отношения между ними добрососедские. Вполне.

— Еще наблюдения?

— Безработицы нет. Не склочничают. Дисциплинка — будь здоров! Каждая единица занята своим делом.

— Скажите: не было ощущения, будто вы погружаетесь в одну-единственную клетку?

— Как же, как же! В самую маленькую-маленькую!

— Я так и думал, я не сомневался: от свободы в пространстве и времени до свободы в пределах одной-единственной клетки — один шаг.

А вот эти слова профессора несли оттенок совершенно, казалось бы, неуместного и неожиданного пессимизма и тревоги. Смена настроений поразила Бахметьева К. Н. до глубины души. Он, собственно, сию минуту только и понял, что такое глубина души, но как в этой глубине может отзываться столь невероятная смена настроений — не понимал.

Была пауза, после паузы Бахметьев К. Н. спросил:

— Почему это, Порфирий Иванович, туберкулезные клетки вылечиваются анабиозом, а метастазным — тем анабиоз до лампочки?!

— Это потому, Константин Николаевич, что универсальных лекарств нет. Их не может быть. Кроме одного.

— Одно все-таки есть? Одно все-таки имеется?!

— Собственное здоровье!

Вот так неожиданно тема анабиоза оказалась исчерпанной. Рухнула надежда, Бахметьев К. Н. и не заметил, когда она рухнула. А если так, тут же вскоре явилась тема неисчерпаемая — политическая. Ведь она, политика, не мыслит, будто можно обойтись без нее.

— Скажите, в России сталинисты все еще есть? Ходят по улицам? — спросил Бахметьев П. И.

— Ихние руки-ноги целы.

— Неужели вы лицом к лицу с ними встречаетесь и не узнаете — сталинист?!

— Разве что на митинге.

— Не может быть!

— У нас в России только то и есть, чего не может быть... А вы бы у своих узнали. Что у вас — своих сталинистов нет? Настоящих, ленинских призывов? Или тех, кто непосредственно от сталинских забот к вам явились?

— Есть-есть! Только они молчат! Как мертвые!

— Не понимаю! Мертвым-то почему молчать? Живые ведь на них только и надеются?!

— И я не понимаю. И беспокоюсь: предположим, анабиоз находит применение в России, а его тут же объявляют морганизмом? Как в тысяча девятьсот сорок, кажется, восьмом году: «идейный разгром генной теории открыл путь мичуринской биологии»? Ну а теперь идейный разгром анабиоза откроет новый путь в космос? Еще во что-нибудь?

— Трудности действительно есть. И действительно будут: покуда человек находится в анабиозе — у него квартиру приватизируют, холодильник и телевизор сопрут, вклад в банке потеряют. А то — с недвижимого штаны снимут. Человек из анабиоза выходит — и что же? Гол как сокол.

— Неужели в России все еще воруют?

— Случается...

— А если людям объяснить, что они вступают в новую эру?

— Тем более оголят! В надежде, что новая эра оденет-обует. И накормит.

— Странно... А вот еще что скажите: что такое, по-вашему, интеллигент? Современный?

— Как бы, в самом деле, сказать... Человек, который думает не о том, о чем думать надо, но о том, о чем ему думать хочется. И говорит так же. Ну а поступает, как все.

— Опять странно, странно...

— По-другому: интеллигент — это человек, который считает себя интеллигентом...

— Извините, Константин Николаевич! Позвольте вас погладить, а? Из самых добрых побуждений, а?

— Вдруг?

— Не вдруг — на прощанье! Убедиться, что вы все-таки живой.

— Убеждайтесь.

Бахметьев П. И. молча стал поглаживать Бахметьева К. Н. по голове, по лицу, по плечам, по рукам. Прикосновения были почти неуловимы, легкий ветерок. Счастья к этому моменту уже не было, увы, но трогательность была, хотелось плакать, и Бахметьев К. Н. едва сдерживался, чтобы не пустить слезу из того и другого глаза.

Бахметьев П. И. сказал:

— Бесконечно удивительный вы человек, Константин Николаевич!

— Это почему же? Бесконечно-то?

— Ну как же! Я пережил всего-навсего одну, тысяча девятьсот пятого года, революцию, но до сих пор мнится: усадьба горит, а вот баррикада через улицу, а вот карательный казачий отряд... У меня, признаться, осталось впечатление, что от революций, от русских особенно, люди меняют кожу. А может быть, и все остальное...

— Все может быть.

— Я вот вас гладил, а про себя думал: вовремя я умер, вот что... Вот если бы не люди придумывали идеи по своему образу и подобию, а, наоборот, идеи придумывали бы людей — тогда дело другое... Можно было бы и еще пожить. И пережить революции.

— Нелегкое дело... Для нереволюционера.

— А тогда позвольте, дорогой Константин Николаевич, дать вам в заключение совет: будете умирать, умирайте раз и навсегда!

— Спасибо! — от души поблагодарил Бахметьева П. И. Бахметьев К. Н. — Большое спасибо! Но — получится ли?

В порядке помощи больному (умирающему?) приходила к Бахметьеву К. Н. женщина Елизавета.

Не так давно эта же женщина в этой же квартире, при том же хозяине жила в качестве полноценной сожительницы. Каким образом она в ту пору сюда попала — в какие календарные сроки, зимой или летом, — Бахметьев К. Н. не помнил, когда из этой квартиры вышла, вспомнить было затруднительно — она все реже стала Бахметьева К. Н. посещать, тем более ночевать у него. Но когда Бахметьев К. Н. засобирался в дорогу дальнюю, она бывать у него стала едва ли не ежедневно — кому-то надо было его собрать и проводить? Он в свое время не подозревал за ней такой способности. Значит, глупый! Нынче он называл ее Елизаветой Второй. Слова, они всегда умнее людей, если, конечно, ими пользоваться с умом: самая первая жена Бахметьева К. Н. тоже была Елизаветой.

За годы, прошедшие между ними порознь, Елизавета Вторая постарела куда как больше, чем он: руки у нее тряслись, она полысела, зубы оставались у нее через один, к тому же зло из нее перло во все стороны, но все равно она была здоровее, чем он, поскольку он был раковым.

Кроме того, если даже у женщины руки сильно трясутся, она все равно и постряпает ими, и помоеет, и почистит. Все, что нужно в доме, она все равно сделает. По привычке.

— Я женщина терпеливая! — так говорила о себе Елизавета Вторая. — Я считаю, та вовсе не женщина, которая нетерпеливая.

Еще приходила к Бахметьеву К. Н. медицинская сестричка, укольщица Катюша. Плотненькая и курносенькая, в свои тридцать пять незамужняя, она без мужа гораздо лучше обходилась. Она и Елизавета Вторая в квартире Бахметьева К. Н. старательно не встречались — терпеть друг друга не могли. Катюша говорила, будто Вторая Елизавета желает этой квартирой после смерти хозяина завладеть, Вторая Елизавета, в свою очередь, указывала: та же самая цель руководствует Катюшей, но «безо всякой юридичности, а только по нахальству».

Катюшины уколы оплачивал опять же Костенька, уколы обезболивающие, но Бахметьеву К. Н. это было почти все равно, он за свою жизнь к самым различным болям успел привыкнуть — и по ранениям, и по контузиям, и по голоду, и по допросам следователей, но Катюша укалывала — одно удовольствие.

Бахметьеву К. Н. ихние, дамские, отношения были до лампочки: он знал — существует на его жилплощадь претендент, ему пальцем повести — обеих женщин ветром сдует. В неизвестном направлении. Ну а покуда пусть будут заняты каждая своим делом: одна укалывает, другая — устряпывает.

Катюша разговаривала мало, больше улыбалась.

Не то — Елизавета.

Собственная коммунальная площадь Елизаветы находилась неподалеку, две остановки троллейбусом либо одна автобусом, и все, что делалось и происходило в этом пространстве — в каком доме, в каком подъезде не работает лифт, кто кому побил морду, кто с кем разошелся-сошелся, кто у кого на руках помер или помирает, кто избит, а кто убит, — ее память все это держала полгода цепко и только по истечении этого срока начинала от себя факты отпускать.

Последней информацией Елизаветы Второй была байка про старика из высотки по улице композитора Гудкова, 6: старик пенсию получал минимальную, жил на свете неизвестно как и сколько времени, а потом пустой холодильничек разломал, слепой телевизор разбил, рваный ковер разорвал еще и все это — хлесь! — из окна выбросил. И сам — хлесь! — туда же... Дочка с сыном до тех пор от отца скрывались, а тут прибежали холодильник с телевизором делить, подушку с матрасом делить — ничего нет, все на тротуар выброшено, а с тротуара прибрано прохожими...

— А тебе, Костенька, — сказала Елизавета, — и пожаловаться не на что. Старость твоя человеческая. То есть помрешь ты как человек.

— Не жалуюсь... — ответил Бахметьев К. Н.

— Ты у меня молодец из молодецов!

Слушать Елизавету ежедневно и подолгу было Бахметьеву К. Н. в тягость. Но приходилось. К тому же Бахметьев К. Н. сознавал, что, если она здесь, значит, ее нет там, на коммунальной жилплощади, а этим он приносит удовольствие многим той площади жителям.

Еще Елизавета Вторая была политиком, она вела два списка: № 1 — со всеми обещаниями президента страны, и № 2, в котором должны были отмечаться обещания выполненные. В списке № 2 был заголовок и ничего больше, Елизавета говорила: исполнение обещаний, едва только они объявлены по ТВ, тут же становятся государственной тайной и оглашению не подлежат.

Еще Елизавета вела запись курсу отечественного, доперестроечного рубля. Вела по хлебу: до перестройки батон стоил шестнадцать копеек, нынче — тысячу рублей. Елизавета брала самописку, брала бумажку, тщательно делила одно на другое, получала цифру 6250, а затем и выше. Это — по хлебу. По колбасе, по молоку, по спичкам и аспирину получалось еще и еще выше.

— Правительственный обман! У-у-у... — рыком рычала Елизавета Вторая. — Столь обманное правительство должно сидеть в тюрьме. Должно и должно! Пожизненно!

— А когда так — кто нами руководить будет? Хотя бы и тобой — кто? — спрашивал Бахметьев К. Н.

— Пускай из тюрьмы руководят. Пока другие, нетюремные, не обнаружатся — пускай эти, из тюрьмы!

«Почему-то женщины не играют в домино, — думал Бахметьев К. Н. — Играли бы — тогда и Елизавета Вторая лупила бы костяшками во всю силенку, главное же — была бы спикером в политических дворовых дискуссиях трех высоток на улице композитора Гудкова».

Случались дни, когда Елизавета Вторая не приходила и предупреждала заранее:

— Завтра — митинг протеста! Буду занята!

Митинги протеста влияли на нее положительно, давление у нее понижалось кровяное, она рассказывала, как и что на митинге было, сожалела, если не было столкновений с милицией, и готовила Бахметьеву К. Н. праздничный кисель из молока. Кушая кисель, Бахметьев К. Н. спрашивал:

— И что это, Елизавета Вторая, как в действительности получается: все женщины старшего поколения в большинстве своем — сталинистки? Как так?

— Кто это «все»? — возмущалась Елизавета. — Объясни? Кого ты столь произвольно зачисляешь во «все»?

— Кого по телевизору показывают, тех и зачисляю! — уклонялся Бахметьев К. Н. (он безусловно причислял к сталинкам, к женщинам старшего поколения, Евгению Кротких и Елизавету Вторую).

Если митингов долго не происходило, Елизавета протестовала единолично: разбрасывала по полу всяческую одежду-обувку, книжки, кастрюльки, газетки, сваливала набок стулья, а столик переворачивала вверх ногами, садилась на пол посередине, размахивала руками, хваталась за голову, почти что рвала на себе — но все-таки не рвала — реденькие волосенки и что-то выкрикивала, что-то от кого-то решительно требовала, обвиняя в предательстве.

Бахметьев спрашивал:

— Что это значит, Елизавета Вторая?

— А это значит — бардак! Или — непонятно?

— Для чего?

— Для того, что бардак происходит во всей действительности! А когда так — пускай он и вот здесь происходит, не хочу я обманывать собственную душу! Пускай другие обманывают! Пускай моя собственная душа уясняет, какая обстановка происходит в стране!

— Хватит, Елизавета Вторая! Честное слово — хватит!

— Нет и нет — не хватит! Все честные люди должны активно протестовать как один! А ты нашелся защитник, засранный адвокат нашелся — молчал бы уж! Это же надо — молчать обо всей происходящей подлости! Кто тебе платит за твое молчание? ЦРУ платит? Признавайся публично: кто? сколько?

— Чего привязалась? Собственные шариклы растеряла, а ко мне привязывается!

— Ну конечно, после подземной Воркуты ему все ладно, все сойдет — и бескормица, и разврат, и ночные казино, и дачные дачи министров-банкиров, и спекуляции, и грабеж народа, — ему после того все на свете ничего!

Тут снова следовал перечень того, что Бахметьеву К. Н. — ничего, тут и черный вторник был, и бензиновый четверг, и расстрел Белого дома. И прорыв нефтепровода в Республике Коми. Проклятущий этот Бахметьев уже все прошел под конвоями и при ученых собачках, вволю насиделся в карцере — и вот теперь доволен-довольнешенек, что нынче на свободе помирает!

— А — я? — криком кричала Елизавета Вторая. — Я под конвоем ни разу в жизни при Сталине не находилась, я жалованье при нем каждый последний день месяца как часы получала, я снижение цен на продукты питания тоже каждый месяц в собственном бюджете отмечала, поэтому мне нынешняя подлость окончательно поперек горла! Хоть в петлю лезь! У-у-у, падлы! И ты с ними рядышком — демократ Бахметьев! Глаза на такого не глядели бы!

— Я не демократ. Я раком больной — разные вещи. Разные!

— Ты больной не один. Вас, таких, до Москвы раком не переставишь! При Сталине невиновных стреляли, верно, а почему нынче-то виновных ласкают: воруй еще и еще?! И должности им дают? Научились откупаться, да? В те времена этакой науки в помине не было. Убийцы в подъездах и где угодно людей убивают, ровно кроликов, а кто убивает — ни одного не поймают, не судят! Жертвы ГУЛАГа счетом считаются, а сколько людей нынче мафиозно постреляно, экологически погублено — учета никакого! Скоро уже больше, чем сталинских репрессированных, будет жертв! У-у-у, падлы! Товарищ Сталин за один только Чернобыль скольких бы пострелял, никому бы неповадно было еще и еще взрывать, — а нынче?! Мне, Константин Николаич, в одно окошечко посветило: цена бы на какой-то продукт снизилась! Преступников какая-никакая комиссия, комитет какой-нибудь поймал бы? За ваучеры свои что ни что, а я вдруг бы получила бы? Нет, не светит, и ты, Костя, единственно что правильно делаешь — это помираешь. Притом — как человек! В собственной квартире — это раз. Племянничек тебя по высшей категории иждивенчеству. Вот какие тебе и нынче вышли льготы — ты, поди-ка, и не мечтал? Это — два! Я тебе завидую! У меня перспективы нет.

— Я не мечтал! — признавался Бахметьев К. Н. — Нет, не мечтал.

Сидя на полу, успокаиваясь, Елизавета Вторая соображала:

— А может, ты и сболтнул чего лишнего, сам не запомнил чего, — Сталин и услал тебя в Воркуту? Может, тебя просто так, ни за что, услали, но это не он, не товарищ Сталин, это Берия, гад, сделал! Товарищ Сталин еще бы недельки две пожил, он бы Лаврентию Берия самого успел бы расстрелять, но Берия, он хитрый, он все разнюхал и Сталина ядом отравил. Вот как было на самом-то деле!

— Откуда тебе известно?

— Мне-то известно откуда, откуда тебе неизвестно? К тому же учти: мы на митингах портреты Иосифа Виссарионовича высоко носим, а портрет бериевский ты хотя бы однажды в наших митингующих рядах видел?

— А еще говоришь: «Я женщина терпеливая».

— Лично к тебе я верно, что без конца терпеливая. К тому же каждый терпит, как умеет.

И тут, бывало, душевные разговоры начинались между ними, и Бахметьев К. Н., не торопясь, раздумчиво, Елизавете Второй объяснял:

— Слишком много жизней прожил я, Лизанька, слишком! И на гражданке, и в плену, и в лагерях, и в коллективизацию, и в раскулачивание жил, в индустриализацию — мальчишка, а зам. начальника цеха был, и в оттепель жил, в разных застоях жил и даже постперестройки дождался. Но все свои жизни я в одну не составил — и вот умираю по частям. От тридцатых репрессивных лет умираю, от фронтовых умираю, от лет немецкого плена, от Воркуты — когда же до современности дойдет дело? Пора уже. Пора, мой друг, пора!

Елизавета Вторая, в свою очередь, тоже открывалась:

— У меня, Константин Николаевич, мужиков побывало... Мы когда с тобой жили, я, само собой, перед тобой не объяснялась, а нынче — что ж? Нынче скажу: мужиков при желании на всех найдется, вовсе не в том дело. Дело, что среди них людей слишком мало. Только и знают, что от женщины взять, после хоть трава не расти. Настоящий-то мужчина, чтобы с благородством, чтобы не только в постели понимал, что он мужчина настоящий, у меня один-единственный всего и был — ты был, Константин Николаевич. Но я, дура, не ценила, слишком много себе напозволяла. Хватилась — оказывается, уже поздно. И в большом, и в малом — везде поздно. Бывало, ляпну тебе в твою же характеристику, а собою любуюсь: «Вот как могу!» Или ты футбол смотришь, программу «Время», а я подойду — р-раз! — хочу сериальное кино смотреть! — и программу переключаю! А то — с подружками в подъезде тары да бары до полуночи, а ты без ужина. Ну, думаю, уж нынче-то я схлопотала — либо с верхнего этажа пошлет меня мой терпеливец, а то и взашей получу! А ты — ничего! Помолчишь час-другой в знак протеста, глазками похлопаешь, будто сам же и виноватый, — и все! И все дела! А тогда я избаловалась. И даже от тебя ушла. Не-ет, с нами, с бабами, такого нельзя! Мне хозяин нужен — что в государстве, что на собственной жилплощади. Есть при мне хозяин — и я хозяйка. Да ведь с тобой и забот-то было с гулькин нос. Бельишко чистенькое в постельку — и ладно. Щи горяченькие — и ладно! Ты уже в ту пору и в библиотеку обедать тоже ходил. Бутербродик в целлофане — и опять же ладно. Хотя и во всем прочем — мужчина по всем статьям! Нет, не оценила! После локти кусай не кусай — поздно! Я даже и не кусала, я только поняла: жизнь, когда она сколько-то ладится, — самое дорогое. Дороже нет ничего! А разлаживать ее — грех. А потому я и грешница, что поздно усвоила.

Поупрекав себя, Елизавета предавалась иным воспоминаниям...

— Был у меня куда какой начальник. Сильно, видать, партийный. Машина персональная, к особой поликлинике прикрепленный, но и сильно гордый: желал, чтобы кофе ему в постельку подавала! А я — не подавала. Не буду, и все тут! Кофе ему заварю с молоком или со сливками, это уж как он скажет, но за чашкой и за блюдечком иди на кухню сам. Ноги же — при тебе? Руки же — при тебе? А тогда в чем же, спрашивается, дело? Я тебе и халатик подам, только шагай ногами собственными, а я свои эксплуатировать не позволю! Я тебе не кухарка!

— Я заинтересовался, Елизавета Вторая: ты нынче член коммунистической партии? Либо — кандидат? Не знаю даже, есть нынче кандидаты в коммунисты или нет, не нужны они? — спрашивал Бахметьев К. Н.

— Ну, зачем я буду — член? Чтобы партвзнос платить? Тем более — зачем кандидат? Я против президента и президентского аппарата. Они —

зачем? Уровень жизни трудящихся снижать, а кто мухлюет, тому уровень повышать?

Если на то пошло, Бахметьеву К. Н. с одной только Елизаветой Второй на этом свете и жалко было расставаться — больше ни с кем. Ну, библиотеку жалко было ему, хорошая погода в сентябре месяце и другие прекрасные проявления природы были ему родными, но персонально — только облезлую эту старушку Елизавету Вторую он жалел.

Бескорыстна она была к Бахметьеву К. Н., удивительно как бескорыстна! Когда Бахметьев К. Н., собравшись с духом, сказал: «Ты, Елизаветушка, пожалуйста, не обижайся, но на квартиру мою не рассчитывай: я свою квартиру Костеньке отказал!» — он думал: а вдруг Елизавета к нему больше ни ногой? Что — тогда? Ведь и в самом деле есть на что обидеться? Ничего подобного не случилось. «А я так и знала, так и подозревала, — сказала она, — племянничек твой, он палец о палец задаром не ударит. Он — кругом доллар, снутри и снаружи. Ну а я — что? Я и в коммуналке век доживу, у меня забота — мой собственный характер: я в коммуналке всех жителей нечаянно могу в психическую лечебницу спроводить! Хотя и знаю: после мне одной-то скушно сделается!»

Когда у Бахметьева К. Н. еще только складывался замысел — инициировать встречу однофамильцев Бахметьевых из «Советского энциклопедического словаря», он представлял, будто в «Словаре» их будет человек двадцать. Как минимум — десять, а значит, будет собрание, на собрании он объявит о создании какого-никакого Общества однофамильцев Бахметьевых от «А» до «Я». Хотя бы речь и шла об одном-единственном собрании, все равно оргвывод должен был иметь место.

Но неожиданно куным оказалось племя Бахметьевых, слабоватым на знаменитости, в «Словаре» однофамильцев всего лишь двое — П. И. и В. М. Если бы даже пригласить Бахметьева без «ь» (и без права решающего голоса), и тогда участников, считая еще и К. Н., — четверо. Трех посадить в президиум — кто останется в зале заседаний? Останется один. Тот, который без «ь»? Смешно!

И так собрание само собою отпало, только персональные встречи и могли состояться. Одна встреча уже состоялась, предстояла другая — с Бахметьевым В. М. (1885 — 1963), писателем (член партии большевиков с 1909 года).

Встреча Бахметьева К. Н. не воодушевляла. Как Бахметьев К. Н. ни старался обрести соответствующее настроение — нет, не воодушевляла. Он даже подумал: «А может быть, отставить? Отставить начинание, какое уж там? Считать дело несостоявшимся? Мало ли что не состоялось в моей жизни, еще один минус прожитое не изменит, а не прожитого нет, не осталось?» Но и по-другому тоже думалось: все-таки встреча с ученым, Бахметьевым П. И., и теория анабиоза оставили положительное впечатление, почему бы и не продолжить в том же духе? К тому же нынешние встречи, они уже потусторонние, их запросто можно отнести не к жизни, а к смерти, включить не в эту, а в ту программу и тем самым уладить недоразумение. И Бахметьев К. Н. почти что самопринудительно стал готовиться ко второй потусторонней встрече серьезнее, чем к первой. К первой-то он подошел так себе, с кондачка. Легкомысленно подошел. Ну а логика действительно великое дело: когда боли во всем теле тебе неважно, и то логически убеждаешь себя: ничего, терпеть можно — хуже бывает.

План у него сложился такой:

1. Знакомство с Бахметьевым В. М. Обмен информацией.
2. Встреча читателя с писателем Вл. Бахметьевым. Вечер вопросов и ответов.

Разное.

На «разное» Бахметьев К. Н. возлагал надежды, как на разговор самый откровенный.

В подготовке опять-таки помог Костенька: Бахметьев К. Н. его попросил, а Костенька — через Катюшу — прислал ему книгу Вл. Бахметьева — «Избранное», Гослитиздат, 1947 год. Из этой книги Бахметьев К. Н., хотя и дрожащей рукой, сделал выписки.

«О наших недавних годах расскажут в будущем, несомненно, много торжественного и чудесного. Но старики, участники этих лет, не узнают себя в легендарных песнях молодежи... И не узнают, не узнают они себя в преданиях летописцев... Ну диво ли драться на баррикадах, если с парадной песнею?.. Земля безгрешная, населенная легендарными рыцарями! Не ты ли поворачиваешь бока свои то на восток, к юному солнцу, то на запад, во мрак вечерний?.. Почему не видят тебя, земля, какая ты есть? И почему вырывают тебя из-под ног героя? И почему украшают его, героя, пышными розами, в руки ему вкладывают бестрепетный меч и сердце его человеческое подменяют львиным?»

Это был роман «Преступление Мартына», Мартын же в романе был продовольственным и бесстрашным комиссаром, выгребал у мужиков хлеб из амбаров, а также из-под земли, когда мужики его под землю прятали. В одном селении хлеба не было, много было куриц и куриных яиц. Он отнимал яйца, и тут бабы восстали. Мартын восстание подавил, но в другом случае, в местечке Лиски, вдруг оказался не на высоте. Дрогнул. Сказалось-таки социальное происхождение, выяснилось — он был побочным сыном дворянина. И разлюбила его любимая девушка Зина, и стали его исключать из партии, и он застрелился.

«Вот чудак! — думал Бахметьев К. Н. — Зачем самому-то? На фронте сколько случаев было, и все — чин чином: дело одной минуты под вражескую пулю подставиться».

И еще Бахметьев К. Н. сделал выписки из Вл. Бахметьева. Относительно товарища Сталина и товарища Кагановича он сделал их. И очень восторженные были они, эти выписки.

Когда встретились, писатель Вл. Бахметьев оказался старичком сухоньким, с ограниченной растительностью на голове, с тонкими губами. Голос неопределенный — ни тенор, ни баритон. Глаза как бы азиатские, узковатые, взгляд был мимо Бахметьева К. Н., а на груди была полоска медальных и орденских колодок в числе четырех.

— Мое поколение писателей — до последнего дыхания преданных партии — привело советский народ к непосредственному счастью! — объяснял Вл. Бахметьев Бахметьеву К. Н., придыхая и прикрывая глаза. — К счастью, без которого человечество страдало многие тысячелетия! Ну а вам, поколениям, следующим в нашем фарватере, только и оставалось, что протянуть руки и взять почти полностью готовое счастье. Вы — протянули? Вы — взяли? Вы прямо-таки по-вредительски не протянули и не взяли! Вас бы — к Лаврентию Павловичу! Да-да — недосмотрел Лаврентий Павлович!

— Попытки были... Много-много попыток! — успокаивал Бахметьев К. Н. разволновавшегося Вл. Бахметьева, но тот — ни в какую.

— Мы, наше поколение, жертвы на алтарь принесли, пот и кровь, а вы? Джазом увлеклись! Какой у вас нынче год-то?

— У нас-то тысяча девятьсот девяносто четвертый.

— Месяц?

— Уже октябрь. Веселый месяц...

— Месяц Октябрьской революции. Месяц разума и перспективы! И не стыдно вам? В октябре-то месяце? Хрущев Никитка виноват, вот кто, — сильно ослабил руководство! Оттепели ему понадобились!

— А меня из лагеря освободил дорогой Никита Сергеевич. Хотя я и так отбыл срок, он все равно — освободил. Без его участия мне бы и еще один срок пришили. Чувствую — пришили бы!

— Как же ваш лагерь назывался?

— Лагерь воркутинский. Подземный.

— Сколько лет? Вам?

— Семь.

— Почему? Почему не десять?

— Семь!

— От исправительного труда, надеюсь, не отлынивали? Попыток к бегству? Не было?

— Очень хотел убежать. Светлая мечта! Светлее не бывает.

— Да разве можно? Почему? Бежать? Почему?

— Не нравилось мне там. Нисколько не нравилось!

— Всем нравилось, вам — нет?!

Тогосветские (с того света) гимны, клятвы и восклицания Вл. Бахметьева продолжались и продолжались — кому же и воспевать, если не члену РСДРП — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС с 1909 года? Ископаемый из Воркуты, но живой Бахметьев К. Н. слушал однофамильца и свидетельствовал: «Было! Было! Я этих гимнов тоже участник!» И не верил он сам себе: а вдруг ты лжесвидетельствуешь? Выдумываешь?!»

— А у вас нынче Ка Пэ эС эС — все-таки есть? — спрашивал писатель.

— Нынче у нас все-таки Пэ Ка Пэ Пэ эС эС!

— ???

— Посткоммунистическая коммунистическая партия постсоветского Советского Союза...

— Политбюро?

— Точно не знаю, теоретически — обязательно должно быть. Хотя бы для партийной теории.

Вл. Бахметьев был обескуражен, обескураженный предложил:

— Перейдем к художественной литературе. Пора к художественной! Какие произведения выдающегося писателя революционной эпохи Бахметьева Владимира Матвеевича вы читали? — спросил он. — Читали «Преступление Мартына»? Поняли, что это полемика с «Преступлением и наказанием» Федора — забыл отчество — Достоевского? Знаете, что Мартын почти что получил Государственную премию эС эС эС эР? У вас захватывало дух, когда вы читали «Мартына»?

— Захватывало! — приврал Бахметьев К. Н.

— Тогда — начнем!

— Начнем. У меня цитаты из «Мартына» выписаны, и вот я читаю: «Мартын знающими глазами оглядывал черное небо, тонким слухом ловил призывные крики рожка и не сторонясь встречал галоп курьера». Пожалуйста, поясните — какой галоп и какого курьера не сторонясь встречал Мартын? Здесь, в тексте, больше ни о галопе, ни о курьере — ни слова?

Вл. Бахметьев молча, с закрытыми глазами слушал цитату из него самого, попросил цитату повторить, потом сказал:

— Если бы я не знал, что это написал я, я бы подумал, что это написал Лев Николаевич... Еще вопросы?

Они оба не стояли и не сидели, они попросту в некотором пространстве находились, как показалось Бахметьеву К. Н., в пространстве, хорошо приспособленном для цитат. И он прочел еще:

— «Что такое жизнь, если она не согревает сердце? И к чему эти долгие дни размеренного желания, если голова в бурьяне, а кровь в плесени? Если нельзя одним прыжком разорвать стеклянный день, раздуть тихие солнечные угревы в пожарище, сложить из обычных терпеливых слов труда ликующий призыв к подвигу?» А — это? Как по-вашему, найдется ли что-нибудь подобное в мировой литературе?

— Поищу... Сию минутку!

Чуть покачиваясь, вперед-назад, вперед-назад, Вл. Бахметьев искал и нашел:

— В мировой — Байрон. Тоже в мировой, но отечественной — проза Лермонтова. — Вл. Бахметьев глубоко вздохнул, вздохнул еще глубже и признался: — Не скрою: всегда любил прозу Лермонтова! В молодости даже готов был у него учиться...

Бахметьев К. Н. цитировал еще и еще, а в ответ следовали Чехов, Тургенев, Лесков, снова Толстой, снова Лермонтов.

Бахметьев К. Н. спросил:

— Скучно все-таки на том свете, а? Писателю с таким именем — скучновато?

— Что говорить! — развел руками Вл. Бахметьев. Реалистически, бывало, еще при жизни меня поддерживал Алексей Максимович Горький. Я ему благодарен. Большая Советская Энциклопедия поддерживала: «Произведения Б. отличаются ясностью изложения и чистотой языка» — так писала обо мне Большая Советская. Это — по форме. А по содержанию Большая писала: «Б. изображает победу партии Ленина — Сталина в борьбе за Советскую власть». Я Большой благодарен. Но все это было там, а что же здесь? Здесь — подумать только! — не имеется ничего! Никакой поддержки. Ни малейшей. Как хочешь, так и присутствуй.

— Тогда — не присутствуйте.

— А вот этого — нельзя. Там можно, здесь — ни-ни!

Тут Бахметьев К. Н. счел момент подходящим и произнес с задумчивостью:

— Как бы это устроить... поддержку?!

— Что вы имеете в виду, дорогой Константин Николаевич? Есть возможности? — живо отреагировал Вл. Бахметьев.

— Какие-то есть всегда и везде, — подтвердил Бахметьев К. Н.

— Не может быть?!

— Как вы думаете — здесь Россия? В этом пространстве?

— Не сомневаюсь. На сегодня здесь России больше всего! Численно!

— Ну а в России только то и есть, чего не может быть... (универсальное выражение, которому Бахметьев К. Н. безусловно доверял).

— Конечно! Конечно, я бы пошел на жертвы... почти на любые! — заверил Вл. Бахметьев.

— Жертвы должны быть серьезными. И даже — принципиальные.

— Это меня не пугает. Нисколько. Я — закален. Тамошняя закалка, она, знаете ли, и здесь сказывается, и здесь она — не баран чихнул.

— Тогда — партбилет на стол!

Прошла минута, и Вл. Бахметьев кивнул. Оглянулся вокруг — вокруг не было никого, он кивнул еще раз.

— Вместе со стажем.

Вл. Бахметьев снова оглянулся, снова кивнул и сам свой кивок негромко прокомментировал:

— Где билет, там и стаж. Иначе не бывает.

— Советскую власть ругать на каждом углу...

Вл. Бахметьев вздохнул и кивнул.

— Вождей партии и Советского государства — на каждом!

Вл. Бахметьев сделал жест и только тогда кивнул.

— Изданий — никаких. С читателями, если вдруг обнаружатся, — не встречаться.

Вл. Бахметьев кивнул не оглядываясь.

И в конце концов разговор сам собою стал совершенно безмолвным. К тому же еще более откровенным. Совершенно без оглядок. И потому почти что душевным.

«Страшно было?» — спрашивал Бахметьев К. Н., сделав глаза круглыми, а правую руку приложив ладонью к горлу.

«Утром, бывало, проснешься и по-беспартийному перекрестишься: ночь прошла, а ты все еще дома! Слава Богу! А в общем-то, великий был вождь. Очень великий! Знал, кого сажать! Писателя Бахметьева не посадил

же! Значит, не за что было садить. Значит, было за что не сажать! Глубочайшая интуиция руководителя великого государства.

«Хрущева вы что-то уж очень сильно ругали?»

«Я, что ли, один? Ругал-то?»

— А что же, Владимир Матвеевич, вы так осторожничаете? Ни слова не говорите? Чего в вашем статуте можно потерять? — вслух и неожиданно спросил Бахметьев К. Н.

— Потерять в любом статуте можно. За потерями дело нигде не станет, — не отступал от бессловесного варианта Вл. Бахметьев. — К тому же — привычка. А — вдруг? Вдруг и здесь тебя достанет Хозяин? Хотя бы с помощью какой-нибудь науки?

— Так ведь он-то, Хозяин-то, он еще раньше вас сюда поступил. Значительно раньше. Кстати — не встречались? Он как здесь — все еще с трубкой? Или без трубки? Уже?

— Не дай Бог! — смешанно, то есть словами и бессловесно, стал рассказывать Вл. Бахметьев. — У него же память — адская! Нет-нет, хозяев здесь никого не видно. У них, вероятно, своя закрытая и номенклатурная зона. Мы, советские, с немецкими товарищами по вопросу связывались — нет, говорят, ни Ульбрихта, ни Аденауэра в глаза не видели. И поляки так же. И чехи. Югославы — тем более. У англичан не спрашивали — народ замкнутый. В общем, так оно и есть: закрытая зона, делить ничего не надо. Воздуха и того нет. Чем дышим — неизвестно. Пустотой дышим. Для посторонних часа на два, на два с четвертью и пустота годится для дыхания. Но чтобы годы и годы? Очень скучно. Все живое потому и живет, что потребляет, а здесь? Пустотное равенство, больше ничего.

— Коммунизм?

— До конца воплощенный.

В чем так и не было найдено между ними взаимопонимания — в вопросе о гениальности Вл. Бахметьева. Жертвы жертвами, но своей гениальности Бахметьев не хотел уступить нисколько.

— Почему?

— Сами подумайте: а тогда чего же ради я приношу все другие жертвы?

Правда, и еще состоялась между ними договоренность: в этой встрече участвовал как бы и не он, не настоящий Вл. Бахметьев. Упаси Бог! Это был некто, кто Вл. Бахметьева изображал, предположим, Станиславский какой-нибудь. Ну а кто сценарист — догадаться вообще невозможно.

Расстались.

Елизавете Второй Бахметьев К. Н. как бы между прочим рассказал:

— Случай произошел, — рассказал он. — Встретился я с одним уже на том свете... — Бахметьев К. Н. замолчал в ожидании вопросов со стороны Елизаветы — дескать, рехнулся ты, что ли? — и так далее. Но Елизавета ухом не повела, она спросила:

— Ну и что? Что из того?

— Конечно, ничего особенного. Разговорились. Он оказался верным ленинцем.

— Ну и что?

— Тебе бы с ним повстречаться? Обменяться мнениями? Вы, однако, нашли бы общий язык...

— Я туда все еще всерьез не собираюсь. Разве что изредка. И несерьезно!

— Зато он сюда собирается.

— А тогда — больно-то нужно?! — изморщилась Елизавета всеми своими морщинами. — Он оттуда — сюда, я отсюда — туда? Какой же, спрашивается, между нами может быть общий язык?

Невозможно представить, что было бы с населением земного шара, если бы все племянники стали такими, как Костенька.

В детстве он был веснушчатый и сопливым мальчиком, любил бить соседские окна, в юности — драчливым парнем, в возрасте мужчины — бездельником и повесой. Годам к тридцати пяти он стал совершенно невезучим: сколько ни начинал учиться — не научился ничему, сколько ни начинал служить — ни на одной службе ничем не проявился. Годам к сорока, к сорока пяти Костенька стал неимоверным хвастуном, послушать — он все умеет, все знает, если же у него что не ладилось — то ли очередная женитьба, то ли он снова попал под сокращение штатов, — так это потому, что он на все плюет, плюет же на все потому, что он своенравный и любит справедливость.

Недавно Костенька въехал в новую квартиру и торжественно отметил событие.

Костенькино новоселье действительно было ведь чем-то таким, что в сознание Бахметьева не укладывалось. Хотя бы и при всем желании. Но у него и желания такого не было, не могло быть.

Квартира — шесть комнат, все отделаны не то мрамором, не то под мрамор. Бахметьев обошел, ознакомился, в шестую шагнуть не смог: разве такие бывают?

Мебель... Из Кремля, что ли, ее Костенька спер? Никак не мог себе Бахметьев К. Н. представить, будто такую можно пойти и купить в магазине. Другое дело — спереть. Не просто, но кто умеет, у того, наверное, получится.

Гости... Таких гостей Бахметьев через час и выгнал бы, к чертовой бабушке: ходят, смотрят — и ничему не удивляются! Подумали бы, сукины дети, что это за гость, который ходит по таким вот комнатам, пьет-ест от пуза невероятные блюда и вина и ничему не удивляется. Да такого гостя на порог нельзя пускать!

Нажравшись, но все еще не напившись, прихватив по бутылке, эти хамы гости сели в покер — и что же? И три, и пять, и более тысяч долларов проигрывает гость и по-прежнему лыбится как ни в чем не бывало! Бахметьев сидел в сторонке, соображал: это сколько же в каждом проигрыше-выигрыше минимальных пенсий? Продовольственных корзин? Единых проездных билетов? Хлебных батончиков? Нет и нет — уму было непостижимо!

Еще был струнный квартет, играл концерт и «Калинку». Под «Калинку» гости плясали. И неплохо, грамотно плясали — значит, им это дело было знакомо.

Гуляли два дня и две ночи, отдыхая на всех кроватях, на всех диванах и на всех коврах, а что было после этих двух дней, Бахметьев К. Н. не знал — он ушел.

Когда ушел, стали ему мниться напольные в квартире Костеньки часы, он такие видел по ТВ в кабинете президента, маятник разве только чуть меньше человеческой головы (может быть, и не меньше?), а впечатление — будто бы Костенька время и то приобрел в частную собственность. И вот гуляет при участии маятника, под глухой, из каких-то других времен, бой этих часов. Кроме того — удивительно: этот же механизм того же назначения и свойства помещался и в крохотных ручных часах, исполняя совершенно ту же работу. Есть ли еще подобная машина на свете, чтобы в любых размерах оставалась самой собою?

Если бы в подземной Воркуте, в угольной шахте, кто-нибудь сказал Бахметьеву К. Н., что он, во-первых, останется жив, а во-вторых, попадет на такое вот новоселье собственного племянника, он бы ту же минуту спятил с ума. Хорошо, что никто не сказал! Вот он нынче и соображал: кто же все-таки такой — его племянничек? Кажется, неоткуда было ему взяться, но он все равно взялся? Должно быть, проявились до сих пор не реализованные особенности Костенькиного организма — то ли он обонял,

как охотничья собака, то ли видел, будто ястреб, то ли слышал, как заяц с большими-большими ушами, но что-то такое органическое жизнь в нем вдруг востребовала...

Еще недавно неряшливый — нечесаный, везде, где можно и где нельзя, расстегнутый, — Костенька нынче преобразился: расчесан-надушен, на пальцах перстни, на ногах белые с синими или красными по белому полосами носки, галстук из пестрых пестрых, костюм то ли блестящий, то ли матовый и неизвестного качества. (Правда, надо сказать, несколько раз Костенька являлся и в прежнем своем виде: расхристанный, под градусом.)

Костенька посещал Бахметьева К. Н., и всякий раз это было интересно, но с еще большим интересом воспринимался его уход. Может быть, потому, что уходил он особенно — и попрощавшись, и пожелав больному скорого выздоровления, он все равно не уходил через двери, а мгновенно исчезал, казалось, сквозь стены. Наверное, потому, что он вот так исчезал, и думать о нем уже не хотелось: был, не стало — значит, так и надо, и все дела. Тем более что дела-то были доведены до конца, главный разговор, главное соглашение состоялось месяца два тому назад, разве только чуть меньше, вскоре после того, как под присмотром и при активном содействии племянника Бахметьев К. Н. был эвакуирован обратно домой из больницы, из ракового корпуса.

И только он вернулся домой, только осмотрелся в родных пенатах, в которые и вернуться не чаял, как его даже и не в субботний, в какой-то другой день, в среду кажется, навестил Костенька, принес всяческой снеди, а еще принес бумагу с печатью и собственной подписью... Бумага эта была завещанием (на случай смерти Бахметьева К. Н.), по которому двухкомнатная, с кухней 6,5 кв. м, отходила в пользу Костеньки.

Бахметьев К. Н. подивился и бумагу подписал — очень старался вокруг него Костенька, его надо было чем-то отблагодарить.

Костенька быстренько уложил бумагу в шикарный, чуть ли не слоновой кожи кейс:

— Я, дядя Костя, я нынче тебе честно и по гроб жизни благодарен! Другой бы на моем месте знаешь как? Другой бы получил твою подпись и — что? В тот же день и спровадил бы тебя с жилплощади в известном направлении — туда, где ты так и так очень вскоре будешь. Но я — нет! Я буду до конца твои заключительные дни поддерживать. Во-первых, я помню, что ты меня еще не родившегося из воды спас, во-вторых, я знаю, что ты подписал мне до чрезвычайности важную бумагу. В общем, ты, дядя Костя, сыграл исключительную роль в моей жизни, о чем я никогда и никогда не забуду!

— Ну а зачем тебе, Костенька, эта двухкомнатная? — поинтересовался Бахметьев К. Н. — Зачем? Малогабаритка и санузел совмещенный? Я у тебя был на твоём новоселье, видел твои хоромы, потому и удивляюсь.

— Мне, дядя Костя, не для себя. Мне — для нас.

Когда в субботу через две недели Костенька снова Бахметьева К. Н. навестил, он постарался узнать, что это значит — «для нас»?

Оказалось, «для нас» нужны вот эти две комнаты с кухней, чтобы позже занять всю лестничную площадку, а лестничная площадка тоже «для нас» нужна, чтобы занять весь подъезд. Весь, кроме двух первых этажей, в которых люди как жили, так и будут жить. Будто ни в чем не бывало! Чтобы жилой дом по-прежнему выглядел как жилой дом, как жилой подъезд.

— Сколько много-о! — поразился Бахметьев К. Н. — А куда же денутся жильцы с других этажей?!

— Не беспокойся, дядя Костя! Люди с тех этажей получают жилплощадь в пределах окружной дороги, так что ты не беспокойся! Это уже моя, это уже не твоя забота!

— Ну, Костенька, если ты все это можешь, тогда зачем тебе ждать меня? Покуда я уберусь из своей двухкомнатной ногами вперед?! Занимай покуда всю лестничную, а мне можно будет не торопиться.

— Видишь ли, дядя Костя, — не без философии стал объяснять положение Костенька, — видишь ли, разные люди действуют по-разному. Один торопится сразу же захватить большую территорию и на ней искать свою главную точку опоры, другие наоборот: сперва — точка, а уже затем расширяют ее до всех необходимых размеров! Я предпочитаю последнее.

Тут вопрос и перешел в теоретическую плоскость, Костенька воодушевился, разоткровенничался и стал излагать дальше.

Он имеет целью создать Центральный Институт Криминальной Информации, сокращенно ЦИКИ, который будет обладать банком данных — кто, кого, когда убил или ограбил, каков получился при этом результат в долларовом выражении, кто, кого, когда имеет в виду убить, ограбить или разорить, какие при этом результаты прогнозируются... Бахметьев К. Н., слушая внимательно, понимал плохо, зато ясно видел Цику: большая ящерица с большими ушами, серо-зеленого камуфляжа, очи черные.

— Да как же это ваша Цика будет существовать? — удивлялся он. — Ее завтра же на всех твоих этажах заарестуют — и делу конец?

— И даже ничего подобного! — объяснял Костенька. — Информацией Цики будут пользоваться многие клиенты, в том числе — государственные службы!

— Но тогда тебе надо будет сильно охраняться от всяческой мафии. Кто-кто, а эти пришибут. Тебе не страшно? Ты еще молодой, тебе жить да жить?!

— Я и буду жить да жить! И вот я хочу, чтобы солидный криминал тоже получал информацию Цики.

— Как же так? Я что-то не пойму. Уже ослаб понятием.

— Тут, дядя Костя, в основе лежит совершенно новая и очень сильная идея! Идея сотрудничества двух структур. Если подумать, подумать серьезно, — они друг без друга не могут, они друг другу совершенно необходимы! И между ними должен быть компромисс, разумное планирование общих инициатив и даже выдача на каждую криминальную акцию соответствующей лицензии. Вот все объявляют: борьба с организованной преступностью! Ну а если преступность организованная, значит, она управляемая? Вот и надо этим пользоваться и управлять совместно, вместе бороться с преступностью неорганизованной, то есть с анархизмом, который и есть главная опасность для обеих структур.

Конечно, Костенька очень любил умничать, но тут он говорил так серьезно, с таким значением, что Бахметьев подумал: «Может, Костенька и в самом деле бывает умным?» Он стал слушать, удивляясь больше и больше. Внимательно. Костенька внимание тотчас уловил, понизил голос с тенора на баритон, иногда и более низкие ноты, басовые, стал брать, стал объяснять дальше и дальше:

— Двум разным структурам, дядя Костя, несомненно, лучше существовать в сотрудничестве, чем в непрерывном антагонизме. Ты никогда не думал, сколько рабочих мест по борьбе с организованной преступностью создает организованная преступность в госаппарате? Сколько государство получает от своих граждан, защищая их от организованной? Да если бы ее не было, граждане могли бы даже и наплевать на свое собственное правительство — вот до чего могло бы дойти! Значит? Значит, государство много обязано организованной преступности. А теперь взгляд с другой стороны. Разве хорошо организованному криминалу нужна анархия? Да ни в коем случае! Ему нужен порядок, нужен высокий материальный уровень граждан, с нищих — что взять? Ничего не взять! Нужен кодекс государственных законов, чтобы сознательно, а не стихийно их нарушать, чтобы знать, сколько и за что положено лет заключения по суду, по суду с прокурором и с адвокатом, а вовсе не с перестрелкой с мафиозными анархистами, со всякими там подонками. Вот, дядюшка, какая теория за годы пе-

рестройки сложилась в моей голове. Вот почему меня ничуть не радуют всякие перестроечные глупости, и ты поверь — я еще сыграю свою роль в формировании правильных отношений между двумя структурами. Я не просто так, я итальянский опыт изучал, дважды ездил в Италию — один раз с государственной прокурорской группой, другой — с высококвалифицированной криминальной. А тебе я советую: ты взгляни на наших государственных руководителей через ТВ со всем вниманием — и сразу поймешь: у каждого имеется собственная теоретико-материальная база, и чтобы с ними сотрудничать, мне тоже нужна собственная материально-теоретическая — только при этом условии мы будем на равных и нам будет с чего начать. Ну? Как? Остаешься ли ты при своем прежнем мнении?

— Остаюсь: тебя надо повесить за яйца! — подтвердил Бахметьев К. Н., но Костеньку это ничуть не смутило.

— Упорный ты человек! — развел Костенька руками. — Не поддаешься теориям ни социалистическим, ни капиталистическим. Ну ладно, тогда коснемся практики: буквально на днях я в доме одиннадцать по улице композитора Гудкова открываю контору «НЕЖИФ».

— То Цика, а то — НЕЖИФ? Что за зверь? Млекопитающий?

— «НЕЖИФ» — это Неприкосновенный Жилой Фонд. И такой фонд я организую в порядке помощи гражданам, которые от своей жилплощади хотят избавиться.

— Или ↵ не хотят?

— Это я не для себя. Я только посредник между теми, кто много может, и теми, кто много не может. Опять же благородное посредничество! Я нынче же организую жилищную картотеку на всю Россию! Банк жилищных данных — такого на всем свете нет! Пользуйся кто может, мне все равно, зек это или высокий советник, или беженец, или южноамериканский миллионер! Человек живет в своей квартире, но квартира хуже, чем он сам. Человек живет в своей квартире, но квартира лучше, чем он сам. Кто поможет этим человекам навести справедливость в своем существовании? Обменяться квартирами? Я помогу! «НЕЖИФ» поможет. Опять не понимаешь? Теорию не понял, а теперь и практика не доходит? Беда с тобой, дядя Костя! Ты человек слишком хороший, ты до плохого хороший — вот в чем твоя беда! Ты настолько хороший, что не умеешь жить, а тот, кто не умеет жить, — тот человек совсем плохой! Ничегошеньки не стоящий. Одно название что человек. Учти: если никто никого не будет обманывать — все будут жить плохо, в лучшем случае — так себе. Если же сделать соцсоревнование на обманность — кто-то будет жить хорошо, и даже очень хорошо.

— А кто-то будет нищенствовать?

— Без нищих ни одна страна не обходится. Но в нищих-то никто не заинтересован: их обманывать — толку нет, налог с них тоже не возьмешь, рэкет не возьмешь — для всех нищенство совершенно невыгодно и даже некрасиво. Человечество, оно ведь, дядя Костя, вообще некрасиво! Почему? А потому, что его слишком уж много. Его больше, чем всяких других млекопитающих. Сложить всех слонов, тигров и зайцев — столько голов не получится, сколько получилось людей к концу двадцатого столетия. Нынче разве только селедок в океанах все еще больше, чем людей на земле! Ага! Людей-то на земле как сельдей в бочке — точно! Я ведь все ж таки на биологическом учился, имею толк! У меня — кругозор! А также — индивидуальность. Мне селедкой в бочке нет охоты быть!

— А ведь ты малый-то был — шибко сопливый... — снова вспомнил Бахметьев К. Н.

— Всему свое время! Не помню, кто из философов так выразился. Ты, дядя Костя, не помнишь — кто? К тому же меня, дядя Костя, ничто не страшит: куда мое дело клонит, туда я иду! Понятно?

— Я понял, — сказал Бахметьев К. Н., и в самом деле ему стали понятны разговоры, которые Костенька то и дело вел из кухни, волоча за со-

бой телефонный аппарат на длинном проводе. Костенька будто снимал с кого-то допрос:

— Адрес? Этаж? Площадь? Санузел? Телефон? Возраст? Срок проживания? Родственники? Отделение милиции? Участковый?

Бахметьев К. Н., слушая, недоумевал: какие это знакомства заводит Костенька? А теперь он знал — какие.

— В данном бизнесе, дядя Костя, — и еще объяснял Костенька, — процент на капитал несравненно выше, чем в любом банке. ЭМ эМ эМ, Сержик Мавроди и тот не угнался бы.

— Ты стариков-старушек со света сживаешь, а дядюшке — исключение? Дядюшку рыбой семгой потчешь?

— По-другому совесть не позволяет, дядя Костя. Сколько тебе объяснять? Кто меня из воды спас?

— Старикам-старушкам, им легче жизнь потерять, чем жилую площадь. А ведь ты их, бездомных, целую толпу сделал... Таковую толпу даже и представить невозможно. Такой толпы нет, не может быть, но на самом-то деле ты ее сделал и она есть. По вокзалам помирает, по подъездам. Наклонись-ка ко мне!

Костенька наклонился над ним, лежащим, над самым его лицом:

— Чего ты еще хочешь, дядя Костя? Говори? Чего тебе хочется?

— Ты — сволочь! — сказал Бахметьев К. Н.

— Что ты хочешь этим сказать, дядя Костя?

— Ты — сволочь!

— А какое это имеет значение? И что — дальше?

— Дальше, — тихо сказал Бахметьев К. Н., крикнуть — сил уже не было, — дальше хочу дать тебе по морде, сволочь! — И он приподнял было руку, но рука упала обратно в постель.

— Это вполне естественно, дядя Костя! — сказал Костенька. — Мне много кто хочет дать по морде, но знаешь ли, дорогой, у всех руки коротки! Успокойся! Волнение это вообще зря и вообще ни к чему, а в субботу, в первой половине дня, я тебя навещу. Ты к тому моменту поправляйся. Окончательно!

Натянув высоконогий картузик, а шикарное пальтишко — сверху широко, книзу узенько — накинув на плечи, Костенька и еще сказал:

— Дядя Костя, пойдил-ка на кухню, в холодильник пойдил, погляди, что там и как в твоём холодильнике. А то пошли туда свою тетю Лизу. Если сам не сможешь, тете Лизе тоже будет интересно.

И Костенька исчез, а Бахметьеву К. Н. потребовалось подумать.

Бахметьев К. Н., он с десятков смертей за свою жизнь пережил, по каким-то случайным обстоятельствам не состоявшимся. Несостоявшиеся смерти интересуют людей-читателей, а вот попробуй поделись опытом, соедини все междусмертные жизни в одну жизнь — невозможно! А теперь, что ни говори, Бахметьев К. Н. умирал вовремя. Он так и думал: «Умру — вот хорошо-то мне будет!» Он так думал, потому что уж очень нехорошо было нынче жить — непомерную тяжесть души обустроила ему нынешняя жизнь. От этой тяжести он пытался отбрыкиваться, но, пока жив, — не получалось.

Тяжесть физическую, холодную и голодную, с телесным весом 29,5 кг, он испытал и прошел, но такой, как нынче, — нет, никогда.

И почему бы это, но стало вдруг вспоминаться Бахметьеву К. Н. — где же это он раньше-то видел милицейского старшину, который нынче нередко сопровождает Костеньку («по вашему приказанию явился!»)?

Ну как же, как же! — этот старшина в штатском и еще двое (тоже в штатском) сидели в прихожей, охраняя Костенькино новоселье, всех его гостей. И еще стало вспоминаться... Костенька объявил гостям, кто такой его дядюшка, Бахметьев К. Н., как он, К. Н., спас из воды своего еще не родившегося племянника, и гости закричали «ура!» и, нетвердо стоя на но-

гах, стали качать Бахметьева К. Н., подбрасывать к самому потолку (3 м 40 см), а он все не знал и не знал, что лучше: врезаться в потолок или упасть на пол? Потолок все-таки был предпочтительнее. Но не прошло и десяти минут — все кончилось безболезненно. «Слава Богу! — подумал в тот раз Бахметьев. — Видит Бог — слава Богу!»

Костенька сказал освобожденному от качки дядюшке: «Я тебя, дядя Костя, уважаю! Ты понял, как я тебя уважаю?!» И почему Костенька уже тогда уважал Бахметьева К. Н.? Он ведь тогда и раком-то еще не болел?

Потом прошло еще часов пять, утро наступало, и гости решили: надо Костенькиного дядюшку покачать еще раз! Как-никак он Костеньку, было дело, из воды спас. Но тут гости и вовсе плохо стояли на ногах, качать у них почти не получалось, а тогда они позвали охрану в штатском, три человека, старшина в том числе. У этих получилось. Вот, оказывается, когда Бахметьев К. Н. с милицейским старшиной впервые познакомился. А нынче качка вдруг возникла по образцу той, получившейся, хотя была и разница: тогда Бахметьев К. Н. летал то вверх, то вниз, а нынче — только вниз. Будто в воркутинской шахте оборвалась клеть, а он в той клетке мечется из угла в угол...

Но и в этот раз кончилось благополучно, и Бахметьев К. Н. подумал: у журналистов, у них свобода — это свобода слова, их на факультетах так учили, но Бахметьев К. Н. этого не проходил.

Журналистам хорошо, они всех классиков прочитали от корки до корки, Николая Лескова — от корки до корки, теперь им подавай все, что десять лет тому назад было запрещенным, — а Бахметьев К. Н.? Он никогда и никем не запрещенную литературу и ту не успел взять в толк, ему за семьдесят было, когда он взялся за культурное наследие, и только-только начал читать Лескова, а ему говорят: «Опухоль!»

То же самое происходит с собственностью. Собственником Бахметьев никогда не был, никогда не собирался быть, но интересы чьей-то чужой собственности вдруг стали управлять им с утра до ночи, безо всяких правил, безо всяких законов. Настоящим собственникам — легче, они при своем деле, а Бахметьев К. Н. при чем? Не говоря уже о Костеньке, о всех ему подобных, — они нынче на седьмом небе, воодушевлены необыкновенно. Они, Костеньки, их множество, они Цику сочиняют, в надежде, что власть будет с ними заодно, — так, может, власти уже и нет? Тоже ведь грустно. Грустно и неизвестно, что хуже — один товарищ Сталин или множество Костенек.

Вот и порядочные души — они тоже в перестроечную жизнь не рвутся, Бахметьев П. И. с ног до головы вооружен анабиозом и все равно говорит: «Хватит с меня революции девятьсот пятого года!» Правда, Вл. Бахметьев, тот согласен, тот на жертвы идет, лишь бы вернуться в жизнь (в качестве гения).

«Ей-богу, очень хорошо я делаю, когда умираю! — думал Бахметьев К. Н. — Причем по совету Бахметьева П. И. — навсегда! Во всяком случае, ничего лучше нынче не придумаешь, другой справедливости что-то не видать!»

Ну а если бы Бахметьев К. Н. пожил бы еще годик, чем бы он занялся? Вот чем занялся бы! Все библиотеки перерыл, квартиру бы продал и тысячу писем с оплаченным ответом разослал во все концы света с запросом — кто и что знает о Бахметеве П. А. Обязательно надо было ему узнать, когда и где П. А. умер. Чтобы во всех энциклопедиях заменить «?» каким-то реальным годом девятнадцатого века.

«?» волновал его нынче больше, занимал больше, чем, бывало, занимали «ь», «ъ», «и», «і», «й» вместе взятые. Он не знал, почему это случилось. Почему «?» нынче нужно впереди всего алфавита поставить?

Кроме боли по логике вещей, по логике раковой, кроме той, которая была безо всякой логики, внимание — пристальное! — Бахметьева К. Н.

вдруг стало привлекать сердце. Собственное. Странно, что это произошло «вдруг», тогда как в действительности, по крайней мере лет двадцать тому назад, сердечные мысли уже должны были прийти к нему. Не пришли. Впрочем, ничто и никогда не приходило Бахметьеву К. Н. вовремя.

Ну а сердце — это удивительный, если вдуматься, предмет, скромный тоже на удивление, терпеливый и преданный необыкновенно. Другого такого предмета на свете нет, не может быть. Бахметьев К. Н. свое сердце под всяческие неприятности подставлял, можно сказать, пакостил ему на каждом шагу — оно терпело, ни в чем его не упрекая.

Какую бы биографию он ему ни устраивал — оно молчало.

Ну, бывало, постукает почаше — называется «сердцебиение» — и все, и вопрос исчерпан. Нынче очень хотелось Бахметьеву К. Н. собственное сердечко ласково погладить. Собственно, больше некого ему было ни приласкать, ни поблагодарить. С такой же искренней благодарностью и признательностью — некого!

Как и всю прочую свою внутренность, Бахметьев К. Н. сердце никогда не видел — закрытая зона, но ведь слышать-то его можно было в любое время дня и ночи, только прислушайся! Он до сих пор не прислушивался. Правда что безобразник и больше того — хам! И только недавно, уже в постельном режиме, Бахметьев К. Н. подсчитал, что его сердцу столько же лет, месяцев и дней, сколько ему самому. И даже несколько больше — Бахметьев К. Н. еще не родился от матери, но сердечко, пусть и крохотное, уже постукивало в нем. Интересно бы узнать — когда оно стукнуло в первый раз? Когда оно стукнуло в первый раз — это и есть истинный день и миг его рождения. С тех пор трудится оно без выходных, без перерывов на обед и на сон...

Бывают исключительно трудолюбивые люди, они и едят, и отдыхают, и любовью занимаются как бы только между делом, так вот, пришел к выводу Бахметьев К. Н., эти люди не столько трудолюбивые, сколько сердечные.

И дальше, дальше размышления, настолько естественные, что, казалось, с них-то и надо было начинать жизнь, а не кончать ими. Конечно, два желудочка — это факт. Два предсердия — факт. Но вот проблема — а где же сердце как таковое? Где сердцевина сердца, главная его точка? Ее нет. Вопреки всякой логике — нет, и все тут. Ну а если нет сердцевинки в сердце, нечего удивляться тому, что ее нет нигде и ни в чем на свете. Множество существует повсюду размеров и форм, частей и частиц, множество функций, признаков и явлений, и все это — неизвестно вокруг чего. Когда люди, размышлял Бахметьев К. Н., когда люди в своем развитии дошли до черты и почувствовали, что им не хватает главной точки собственного существования, они не захотели и не смогли с этим мириться, а к их услугам, как это всегда бывает, явился великий прорицатель, грек Клавдий Птоломей явился и страждущих успокоил: не волнуйтесь, не переживайте, любезные мои, все в порядке, есть главная точка в мире — это Земля! Все остальное вокруг нее вертится — все звезды и Солнышко тоже. А так как мы с вами самые главные существа на Земле, значит, и весь мир вертится вокруг нас с вами.

Древние граждане, надо думать, надолго успокоились. Особенную же радость, само собой разумеется, почувствовали императоры и стали интенсивно воевать друг с другом — каждый захотел приобрести побольше главного — земной территории вместе с народонаселением.

Прекрасно!

Единственно, что надо иметь в виду: все прекрасное выдуманно людьми собственного удовольствия ради, а все истинное, оно попросту истинно и ни в прекрасностях, ни в безобразиях ничуть не нуждается.

Но время шло, и сомнения снова стали одолевать передовое человечество, передовое, в свою очередь, посеяло серьезные подозрения в умах несерьезных и ординарных, а тогда является в мир полячок Коперник Коля и разъясняет мироздание: Солнце не вертится вокруг Земли, наобо-

рот — Земля изо всех своих сил крутится вокруг Солнца (как собачонка вокруг своего хозяина). И не только Земля, но и планеты тоже. Выкусили! Насчет своего главенства — выкусило человечество, и ничего. Не зафиксировано, чтобы кто-то в знак протеста повесился. К тому времени гордости в народонаселении было уже поменьше, мифы уже сходили на нет.

Дальше — больше. Больше знаний — значит, больше незнаний, и настает время — все знают, кажется, все уверены в том, что Солнце, вся Солнечная система должна вокруг чего-нибудь вертеться-крутиться, но вокруг чего — толком не знает никто. Бахметьев К. Н. тоже не знает, но ничуть этим не огорчен, тем более что его сердце ни в чем его не упрекает — ни в безграмотности, ни в отсталости от века. Одним словом — ни в чем. Если и вся-то наука, теорией анабиоза и всяческими другими теориями вооруженная, этого не знает — кишка тонка! — он-то, Бахметьев-то К. Н., при чем? У него за плечами и всего-то было два с половиной года самообразования в районной (изредка — в городской) библиотеке.

К тому же очень хорошо, просто прекрасно, что размышления пришли к нему только что — мудрое оказалось опоздание! Если бы они пришли раньше, назад тому года четыре, он бы не выдержал, обязательно кому-нибудь проболтался, и вышел бы один только смех. Это представить себе, как бы смеялась-издевалась над ним Елизавета Вторая? А как бы — Костенька? А как бы вся, в полном составе, дворовая команда доминошников? Но сейчас над ним не смеется никто, даже он сам над собой. Все, кто мог, давно уже над ним отсмеялись, и вот он размышляет в спокойствии: сердце-то? Два желудочка и два предсердия, они ведь система, которая — главная, вокруг которой весь остальной Бахметьев К. Н. сплотился. Сплотился со всеми его многочисленными жизнями — детской, техникумовской, военной и лагерной, с семейной и одинокой, молодой и старческой, — он, признаться, число этих жизней знал весьма приблизительно.

Другой причины, подобного их сплочения, кроме как его собственное сердце, — не было. Можно лишиться одной руки, одного легкого, части желудка, но без одного сердечного желудочка, без одного предсердия жизни нет. Можно лишиться части мозгов и прожить в качестве орангутанга или шимпанзе, ну и что? Все равно жизнь, и еще неизвестно, чьи качества лучше, главное же в жизни — чтобы было сердце.

Ну а двухкомнатная? Плюс кухня 6,5 кв. м?

Вот и Елизавета Вторая. Как пришла в его двухкомнатную плюс кухня 6,5 кв. м, как только огляделась, сказала:

— Вы, Константин Николаевич, родились под счастливой звездой! Как пить дать — под счастливой!

Подумать только, в то время Елизавета Вторая говорила с ним на «вы»?! А он с ней — уже и не помнит как. Для него Елизавета Вторая всегда была одинакова — что на «вы», что на «ты».

Бахметьев подумал и сказал:

— Все может быть! В наше время все может быть. Но вообще-то я обыкновенный гражданин. Как все, так и я. Звезд не чувствую.

И опять он услышал в ответ:

— Ну не скажите! Все ж таки у вас сердце!

Звезда не звезда, а только нынче Бахметьев К. Н. занят соответствующей мыслью: он реабилитирует Клавдия Птолемея, подтверждает высокую репутацию Древней Греции и догадывается, что недаром выдающиеся астрономы прошлого — тот же Коперник — одновременно были еще и медиками: есть, есть что-то общее между системой мироздания и его, Бахметьева К. Н., организмом!

Умереть же по-хорошему — это значит — без воспоминаний. Не вспоминать Бахметьев К. Н. давно уже умел — при том, что всегда знал, о чем именно он не вспоминает.

О чистке партии — никогда, тем более о партии до блеска очищенной. О харьковском котле — как в этом котле командовал ротой из семи человек, как был ранен — никогда! (Кем он был, в тот раз раненный, спасен — он действительно не знал.) О немецком плене, о собственном в том плену телесном весе 29,5 кг — не вспоминал тем более. Зачем? Если и вспомнишь — все равно не поверишь!

Несмотря ни на что мелькало одно и то же подземное воркутинское воспоминание: рубая уголек, мечтаешь о земной атмосфере — дыхнуть бы! Как бы не мечта, то и не выдержал бы смену — двенадцать часов. Ну а подняли тебя на поверхность, а там и атмосферы нет, туман — 40 градусов, больше ничего, и рот затыкаешь рукавицей и в колонне бегом-бегом в барак. За плечами у тебя мешок с углем — бараки требуют отопления!

Свобода от воспоминаний (и от фантазий) — это мудро и справедливо. Может быть, и благородно? Недаром старцы крестьянские загодя сколачивали себе гроб, хранили его на чердаке либо в амбарушке с зерном. Они-то знали, знали хорошо, почему и зачем это делают. Недаром люди говорят: народ, он — умный! Бахметьев К. Н. смертей повидал, но все это были смерти навязанные, бессмысленные и потому отвратительные, совсем не те, которых сама жизнь требует, с которой птоломеевское сердце выражает согласие, и когда его слушаешь, слышно: «По-ра! По-ра!»

Итак, самое доброе чувство испытывал Бахметьев К. Н., самое, казалось ему, заключительное, когда он протягивал руку к тумбочке, нашупывал пластинку валидола, с трудом, а все-таки выковыривал из нее две — обязательно две! — капсулки и укладывал их под язык. Под языком они таяли, просачивались в кровь и таким образом утешали сердце. Что и требовалось доказать! И какие могли быть после того еще желания?

Конечно, Бахметев Павел Александрович в свое время плыл в Океанию на корабле с паровым двигателем. Не на паруснике же, в самом деле, следовал он из России в Океанию? По многим морям, по океанам? Бахметьев же К. Н. нынче, пользуясь достижениями науки и техники, вовсе не плыл, а легко летел по воздуху в кабине неизвестной конструкции летательного аппарата. Летел и думал: «Вот повезло, вот повезло! Через час-другой буду на месте!» Одно было у него затруднение: надо предупредить жителей Океании о том, что Бахметьев К. Н. к ним следует! Хотя бы и без особых почестей, все-таки требовалось его, приземлившегося, кому-то встретить. Без этого он заблудится, не на тот остров приземлится. Он оглянулся на три стенки кабины вправо, влево, назад, и слева оказался прибор, предназначенный для радиосвязи. «Опять повезло!» И с сердечным трепетом он заговорил в этот аппарат:

— Миленькие вы мои папуасы! Я, Бахметьев Ка эН, спешу к вам, я уже всем сердцем с вами, но океан большой, небо еще больше, и я не знаю, каким следует считать тот океан, который подо мной, — он уже Тихий или все еще Индийский? Я не знаю, в каком я нахожусь небе, — пролетел я международную границу перемены календарной даты или все еще не пролетел? Не знаю — в атмосфере я лечу или в космосе? Но все равно: я русский человек и лечу к вам, мне больше не к кому лететь. Ведь у вас с Россией давно сложились хорошие и даже прекрасные исторические отношения! Вспомните Николая Николаевича Миклуху-Маклая — он лечил вас от разных недугов. Вспомните, дорогие мои, адмирала Михаила Петровича Лазарева! Михаил Петрович открыл ваши собственные острова в группе Туамиту, а также цепь Радак в Маршалловых островах. Заодно он открыл и материк Антарктиду, и теперь вы вполне можете считать, что вы тоже открывали тот огромный и ледовый материк, толщина льда — два километра. Это вам не баран чихнул, это вам, приэкваторным жителям,

трудно представить. И мне тоже! Теперь подумайте: если бы Николай Николаевич не вылечил иных ваших бабушек-дедушек, можно с уверенностью сказать, что многих из вас сегодня не было бы на свете, а если бы Михаил Петрович не открыл и не нанес бы вас на географическую карту — вы бы и до сих пор могли оставаться неоткрытыми! Но едва ли не самый главный герой, о ком я должен вас информировать, — это Павел Александрович Бахметев. Обратите внимание: мы однофамильцы, только я — Бахметьев Константин Николаевич с мягким знаком, а он, Павел Александрович, — без мягкого. Но я давно уже простил ему этот недостаток и искренне его полюбил. У кого из нас от природы нет недостатков? Вспомните, как Павел Александрович устраивал на одном из ваших островов коммунистическую коммуну. И это еще не все: он был прототипом нашего Рахметова из романа Николая Гавриловича Чернышевского под названием «Что делать?». Обратите внимание — это вечный вопрос, с этим же вопросом лечу к вам и я, в надежде, что с кем, с кем, а с вами-то мне удастся его решить! Хотя бы — частично! По прибытии я еще и еще расскажу вам о Павле Александровиче, я уверен, что это будет увлекательный рассказ, а может быть, и увлекательная лекция (несмотря на то, что ни разу в жизни нигде и никогда я не читал лекций). Однако мне крайне необходимо приземлиться на одном из ваших коралловых островов, на том, где Павел Александрович устраивал коммунизм. Как только я приземлюсь, как только прочитаю лекцию, мы тут же и провернем какое-нибудь общественное мероприятие! Я на этом свете, слава Богу, пожил, я понимаю в мероприятиях. К тому же, учтите, у меня имеются очень перспективные знакомства. В частности, можно сказать, родственные отношения с Бахметьевым П. И. (Порфирий Иванович), с автором анабиоза. Великий человек, и при его содействии вполне возможно будет всему народонаселению вашего кораллового и прекрасного острова погрузиться в анабиоз. Скажем, лет на пятьдесят. Скажем, лет на сто. Ну а по истечении срока снова восстановиться в текущей жизни и тем самым сохранить современную папуасскую культуру для цивилизации, которая к тому времени крайне будет в этом нуждаться! Я, как русский человек с собственным сердцем, не член «Памяти», вообще не член какой-либо партии, зато проживший в разных отечественных качествах, готов вам помочь! Не сомневайтесь: готов, готов! Сделайте же мне, пожалуйста, какой-нибудь сигнал, чтобы я знал, куда приземлиться! Передо мной в неизвестном океане множество неизвестных островов, один красивее другого, но я все равно не знаю — где вы? На каком из островов меня ждут больше всего? Сделайте мне сигнал!

И действительно: с одного из островов, очень красивого — почти правильный круг, — стал подниматься голубой столб дыма, тоже строгой формы, очень напоминающий Ростральную колонну...

— Вижу, вижу! Реагирую! Ориентируюсь! — громко закричал Бахметьев К. Н. — Спасибо, спасибо, дорогие мои папуасы! Какие вы, в самом деле, вежливые! Какие гостеприимные! Я — вижу ваш сигнал, я к вам приземляюсь. Я отчетливо чувствую земное притяжение! Уже!



ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ



ДНЕВНАЯ ЛУНА

Трофейная пластинка

Скрипки замирали в нюансах,
улыбалась ты...

Из Петра Лещенко.

Эта жизнь была не мед, но восхищала иногда:
выдавала крупный куш при мелких шансах...
О, какая вдруг вспорхнет из-под корунда ерунда,
вроде скрипок, замирающих в нюансах.
Генеральша в тридцать лет: повелевающая статья,
очи серые уставшей Ярославны...
Ах, вернуть бы этот бред! Да этих верст не наверстать —
до Коломны, то ли вроде до Купавны.

Был у Лещенко Петра какой-то ключик золотой,
открывающий неведомые дверцы.
На коврах настенных фото: берег, солнцем залитой,
иноходцы, инородцы, иноверцы.
Оттого ль, что надоел казенный юг, казенный муж,
иль у золота любви своя обманка,
но в таком слиянье тел нелепо спрашивать у душ,
кто мы с ней и кем мы станем спозаранка.

И сплетались, и сплетались пошлый слог и дивный ритм
под корундовым сучком в башке мембраны!
Каждый жест мой непреклонен, каждый твой — неповторим:
мы друг другу и рабы, но и тираны...

Эту шустренькую муть, неукротимый шлягерок,
да неужто услышав, пожмем плечами?
Этот долгий страшный путь вдоль обнаженных светлых ног,
и — ни мудрости в обоих, ни печали.

Ослик

Ослик, розоватый на закате,
пристально уставился в бурьян.
Парус, не последний на регате,
мельтешит, гордыней обуян.

Господи, как ярко и наглядно
явлено несходство их натур!..
Парус дальше, дальше — ну и ладно.
Ослик здесь — не сгинул, не надул.

Он стоит, уставясь не в пространство —
 созерцая ближний в нем предмет.
 В этом взоре безразличья нет —
 есть покой, покой и постоянство.

Римские матроны Апулея,
 в жажде чувств, глубоких и хмельных,
 от ослиных прелестей шалея,
 может быть, шалели не от них.

Может быть, причина слез и счастья —
 не его напор и естество,
 а вот эта пристальность ищачья,
 интерес к ним искренний его...

Ослик, розоватый при заходе
 солнца, нестерпимого в Крыму,
 неподвижен, молчалив и вроде
 посвящен себе же самому.

Но на самом деле, но на самом
 деле — тот, кто так включен в пейзаж,
 для других становится бальзамом.
 Этот ослик — это Озрик наш.

Шутовские ножки так нелепы.
 Шутовские ушки так милы...

Роды, смерти, встречи, спальни, склепы...
 Нет, не все философы — ослы.
 Все ослы — философы скорее,
 крымски нищ, по-римски ли мастит...

А флажка, летящего на рее,
 вот уж и не видно... Бог простит.

Леонтьев

Леонтьев мечтал о лазоревой марле на окнах
 (не наш знаменитый, Валерий, а тот, Константин).
 Хотелось июньского света в тончайших волокнах,
 нетяжкой, но явной защиты — хоть в виде гардин.

Так мало простой красоты в этом грязном и рваном,
 не знающем собственных гениев подлом быту.
 Ну, ветка с листочком... Ну, Варька, с ее сарафаном...
 На всю-то родную действительность!.. Невмоготу.

Не хам с кулаками, так нищий с лукавой щепотью,
 да бульканье браги, да шелест сушеных акрид,
 да кот монастырский орет, угнетаемый плотью,
 да юный монах, угнетаемый ею, молчит.

А марлю не шлют дорогие из первопрестольной,
 поскольку параметры ткани уж слишком точны,
 и в лавках московских не сыщешь рединки достойной —
 такой, как велел он, фактуры и голубизны.

Который уж месяц все ищут — не могут купить их,
аршины запрошенной ткани, потребной ему,
чтоб розовый воздух стоял бы в лазоревых нитях
и тем отдалял законные холод и тьму.

Там, в этой мороке, которой покорствовать надо,
там, в этом-то мраке, покорство которому — грех,
все-все остается: и вечное шило разлада,
и дружба глупцов, и разумников холод и смех.

А с ним — номеров монастырских тяжелые своды,
Каткова отказ, со средой безответная пря...
Где Бог человеку дает слишком много свободы,
там свят деспотизм благодушный. И он — за царя.

Но сколько же грязи в быту, где жена ненормальна,
где дует в окошко, где ноют спина и щека...

В Москве между тем отыскалась лазурная марля —
в единственном месте: в конторе у гробовщика.

И Варькин наперсток летал, и сноровист и прыток.
И Варька летала, смугла, как лиса в серебре.
И розовый воздух стоял меж лазоревых ниток:
успел постоять — пара зорек была в ноябре...

Агнец

Агнец Ивана Жулидова бел, как туман,
тихо лежащий за старицей ближе к Уралу.
Завтра с рассветом зарежет ягненка Иван...
В небе станицы смеркается мало-помалу.

Смерть, как и жизнь, спозаранку являют себя:
кобчик, ликующий в небе, и мертвый кузнечик.
Жесткую шерстку ягненка с тоской теребя,
что же ты плачешь, любитель стремян и уздечек?

Бабка Жулидова лепит у хлева кизяк,
песню старинную воет, шалава, тевтонка...
Крови ль бояться казакам? Жулидов — казак.
Стало быть, завтра с рассветом зарежет ягненка.

Месяц шабашит за рощей, далеко отсель,
но возникает внезапно и без проволоочки.
Больше кулагу, калиновый местный кисель,
ты не возьмешь от жулидовской ласковой дочки.

Полно, блокадный заморыш!.. О, чтоб ты пропал:
завтра же вечером будешь глодать с казаками
кости того, кто был другом твоим, каннибал,
кто так доверчив сейчас под твоими руками.

— Это не тот, — тебе весело скажут, — другой!
 Это не тот, у того и ребро жигловатей...
 Дочка Жулидова ловкой веселой ногой
 будет пихаться: что бабка увидит — плевать ей...

Жизнь, как и смерть, обнаружат себя под закат:
 хохотом в горнице, рожками в мертвом ведрке...
 Агнец Ивана Жулидова дивно рогаг:
 словно две свечки... Но солнце давно на пригорке.

Мартовский сад

Мне сначала хотелось увидеть его. Но потом
 март науськал прислушаться к птичьему свисту...
 Если правда, что мальчиком Марк наблюдал за Христом,
 лишь труднее работалось евангелисту.
 Я не думаю, чтобы особые виды дерев
 и волшебные травы росли в вертограде.
 И, ограды глухую лазурь без труда одолев,
 что обрел бы я? Парк... Но чего это ради?..

Между тем из-за мертвого камня такая весна
 пела, щелкала, плакала — словом, звучала,
 что не ведай о Слове душа, все равно бы она
 догадалась, что звук — этой жизни начало.
 Трель малиновки, горлицы стоны и постук желны —
 кто там? что там? — но только рождалось в округе
 бытие, о котором на севере грезить должны
 и, конечно, скучать и молиться на юге.

Нет в увиденном тайны. В услышанном тайна жива —
 вольный омут догадок под сенью оливы.
 Ах ты, дуб над оградой, садовая ты голова!
 Смерть, конечно же, есть, но не будем пугливы.
 Разве может быть страшным исход, постигающий всех?
 Что назначено всем, — тем одним не трагично...

Там, за муромским дубом, наверное, — грецкий орех,
 ибо греку с варягом общаться привычно.
 В белом коконе облака медлит дневная луна
 тихой бабочкой, желтой лимонницей юга.
 Мир наивен и прост, и уж это ничья не вина.
 Но ведь чья-то заслуга...

Сентябрь

Не стало кукушки. Не стало лучей. И ничего не стало.
 Репутация «сказочного сентября» рушится с пьедестала.
 Вода в бочаге не холодна, но это — ненадолго.
 Бабье лето — не по любви, а так... исполнение долга.
 Но тропа через лес еще суха. И за гнилым вязом
 по очереди начнут щелчки. А за ручьем — разом...
 Не помню кто, — может быть, Юнг — открыл полтергейст.

По мне, так

было бы странно, если бы к нам не прорывался предок
 сквозь темные чащи небытия иль бытия иного,
 хрипя, как в испорченный автомат, измученное, но — слово.

Господи, как я, когда помру, буду скучать о живущих.
Это ведь — грех? Или не грех?.. Тихо в сентябрьских кушах.
А июньские бунты тугой листвы? Это было прекрасно!
Пахнувший медом и млеком лес — земного облик соблазна!

Цепляется опустошенный куст, не жалевший для нас малины...
О, дыхание Божьих уст внутри сатанинской глины!

* *
* *

У полдня с вечером пока ничья.
Крутой холодный кипяток ручья
гремит под окнами. И дикий март
хрустит сосульками. И дальний март,
с раскатом ливневым гордьясь родством,
не портит музыки, живой в живом.

Я счастлив, Господи! А Ты? А Ты?
Тебе приятно, что мы так просты,
что так беспечны, что для нас и крест —
лишь знак того, что и свинья не съест?

Кто отличит до роковой поры
восторг Господен от Его хандры...

А счастье смертного понять — пустяк.
Не Бог ли учит нас, что мы — в гостях?
В гостях что дорого? Очаг, уют...
О, как пред гибелью снега поют!
Как перед гибелью поют снега...
Как жизнь бессмысленна и дорога.



ОЛЬГА ПОСТНИКОВА

*

ПО РТУТНОЙ ВОДЕ

* *
*

О, есть ли дно у этой алчной пропасти,
У прорвы, поглощающей живых?
Захватано лицо твое на пропуске
Немытыми руками часовых.

В прохладные КБ почтовых ящиков
И в корпуса заводов номерных
Мы приходили взять у настоящего
Бессмертие детей своих родных.

Глаза ломали и трудили головы,
Чтоб самой грозной сделаться стране,
Мы столько бомб и танков наготовили,
Мы тоже наживались на войне.

Нет возмещения силам разбазаренным...
Дожив до искупления вины,
Кляни себя под чернобыльским заревом,
В ожесточенном грохоте войны.

* *
*

Мы так легко друг друга погубили,
Как будто ненавидели, а не любили.
В таких нервах, в таких нагрузках,
Как это вообще бывает у русских.
Укор и мучение в каждом обряде,
В каждом нравоучении и каждом взгляде.
Вот она, сказка о курочке рябе:
Дед бил-бил, баба била-била...
А когда само упало и разбилось,
Что, дед, плачешь?
Что, баба, плачешь?
Куда себя спрячешь,
как переиначишь?

* *
*

Когда родные лес и поле
Так манят зеленью своей,
Не оттого ли столько соли
На стенах старицких церквей,

Не оттого ли столько влаги
От материнских долгих слез,
Что снова к воинской присяге
Своих детей народ повез!

И едут крытые машины
Под крик беременных невест.
Не оттого ль красу лещины
Печаль, как пяденица, ест?

Не дай вам боже стран далеких...
Не оттого ли с городца
Вам вслед летят, летят сороки,
Вещуньи счастья и венца...

* *
*

Только он, нелюбимый и жалкий,
Недокормыш, подросток-старик,
Что к шелкам крематорской каталки
В неприличном порыве приник...

Все отплакали, все позабудут,
В годовщину придут как-нибудь,
Но рыданьям стальную запруду
Только эта не ставила грудь.

Только он этот вечер наполнит
Чистотою измученных глаз,
Только он тебя любит и помнит,
Он, отвергнутый тысячу раз.

Афганистан

Включила приемник — и нёбо болит
От мусоргских скорбных безумных низов...
А смена безгласная вышла в дозор,
И головы горное солнце палит.

Я знаю, сегодня в небесных штабах
Решается участь несчастных юнцов:
Кому возвращаться в казенных гробах,
Кому доживать с обожженным лицом.

А в школе запомнили наши сыны,
Что русский язык и могуч, и велик,
Но дымом войны и слезами вины
Мне застит глаза и глядеть не велит.

И руки в занозах, и губы в золе,
И глухнут ущелья от злобы погонь,
И снова, и снова звучит на земле
По-русски Перуново слово: «Огонь!»

* *
*

А. Р.

Будто плачет о нашей судьбе,
Будто знает печальный итог
Эта роза, что вся — о тебе,
Темно-красный засохший цветок.

Почернели ее лепестки,
Как моя голова поседела.
Я жила и вперед не глядела,
И очнулась у вечной реки.

Будто помня о нашей беде,
Снова в заросли жизни зовет,
По стигийской, по ртутной воде
Эта красная роза плывет.



ВИКТОРИЯ ФРОЛОВА



КТО СТУЧИТСЯ МНЕ В ЛАДОНЬ

Повесть

Странное создание. У нее полноценное мужское имя — Вася. Васса — в женском варианте и в паспорте. Но так ее никто не зовет. Она слишком не похожа на это солидное слово. Тощая, стриженная, современная. Вася — это то, что нужно. И даже нежно. Иногда.

Она решила рожать. В тот вечер, когда она решила, явилась подруга и спросила:

— С ума сошла? Зачем тебе в двадцать лет?

— Затем, — спокойно сказала она. — У меня нет ничего. И меня уже нет.

— Как это? — испугалась подруга. — Бредишь?

— Нет. — Она помолчала и выдала еще: — От меня только живот теперь и остался. И тот не мой.

— А чей? — Подруга отшатнулась.

— Того, кто в нем. Его территория. — Вася перевела взгляд со стены на подругу. Взгляд не изменился. Хлопнула по впалому животу и разъяснила: — Хозяин моего живота. Пока что маленький, многоклеточный, на амёбу похожий.

Подруга же изначально представляла детей розовыми, упитанными и симпатичными. Ей казалось, что так правильно.

Вася опять смотрела на стену, на картинку, лгавшую про невероятно чистый безлюдный лес. Ни одной консервной банки.

— Да не нужно это тебе! — возмутилась подруга.

— Нужно, — отозвалась Вася.

— Врешь ты все!

— Я теперь не вру.

— Почему?!

Вася долго снимала ниточку, приставшую к джинсам, потом почесала случайное пятно на рукаве, потом мрачно проговорила:

— Тону. А не хочется. А живот — поплавок. Понимаешь?

И уставилась прямо в зависшее над ней лицо.

Взгляд у подруги размылся, попутешествовал по комнате, понежился в картинке с лесом. Потом подруга коротко глянула на «поплавок». Все было по-прежнему, поджаро и даже изяшно.

Обозреваемый живот дрогнул и бесшумно загородился коленями.

За окном пейзаж: дома и помойка. Такой правдоподобный, что пришлось отвернуться, чтобы не выбить его вместе с окном.

Подруга все еще рядом, шуршит чем-то в карманах.

— Дура ты, — сообщила подруга и прислушалась.

За стенами комнаты определилась стойкая пустота, не шелестевшая в себе ничьими шагами, голосами или просто вздохами. Только случайное мебельное дрожание от прогремевшего через двор грузовика.

Подруга осторожно вытащила сигарету:

— Я закурю?

На нее удивленно посмотрели, подергали себя за воротник и, вытянув шею подлиннее, вякнули:

— Нет.

Подруга ответа не ждала и уже успела затянуться и теперь замерла, забыв выдохнуть. Дым медленно вытекал из открытого рта, словно внутри случилось внезапное короткое замыкание и задымила проводка. Потом механизм опять включился, заставил подругу проглотить оставшийся дым, а вместо выдать:

— Почему?

Странное создание Вася все вытягивало шею и дергало себя уже не за ворот, а за тонкую кожу на горле. Затем вцепилось в горло всей пятерней, будто собиралось выдрать с корнем это диковинное растение — свою голову («Кактус», — мелькнуло у подруги), слегка задушило себя и задавленно прохрипело:

— Открой окно...

Подруга штурмом взяла подоконник и с трудом открыла форточку.

По улице блуждала зима, пинала сквозняками сухой снег. Холод втиснулся в комнату, с трудом разминувшись со встречным душным потоком. Он принес с собой остывшие запахи тяжелых производств, угарную отрыжку автомобилей и благоухание близкой помойки.

— Да, ветер сегодня неудачный. — Подруга, высунувшись на улицу, классифицировала сквозняки.

С нее потянули юбку. Она испуганно нырнула в комнату и увидела Васькины бешеные глаза. Васька шумно дышала и пыталась что-то произвести. Наконец ей удалось приостановить усиленную вентиляцию легких и прошептать угрожающе:

— Закрой немедленно! — и опять засвистела горлом.

Подруга толкнула форточку обратно и с большим интересом уставилась на Ваську. Та убралась на кровать, лизнула воздух и прыгала:

— Доменная печь, кислотный цех и порченная селедка. Все в одной комнате. В жизни не встречала более вонючего животного, чем город.

— Отец-то кто? — спросила внезапно подруга.

«Тебе это очень нужно?» — повернулось к ней странное создание.

«Как хочешь. — Подруга не волновалась. — Все равно расскажешь».

«Черта с два!» — Васька удалилась в нарисованный лес.

— Не хочешь — можешь не говорить, — уступила подруга. — И кого же родить собираешься?

— Вот он скоро утратит жабры, разовьется в мезозойскую эру, и тогда сразу рожу птеродактиля, — на ходу придумала Васька. Она внимательно разглядывала акварельное дерево и рассчитывала, какой высоты оно было бы, если бы не край картинки. — А у птеродактилей были мальчики и девочки?

Подруга сурово на нее посмотрела:

— Я тебе помочь хочу!

— Ну так помогай. Хочешь — на кухне посуда немытая есть. — Она вышагнула из картинки в комнату и развернулась к подруге: — Или ты предлагаешь себя как неоконченный медик?

— А что?.. — успела вставить подруга.

Но ее заглушили.

— Так это не ты мне помогать будешь, — заорали на нее, — а те, кто там убийцами работает. А ты тут ни при чем. Ты сюда за подробностями пришла. С кем и как. На, пожалуйста: с мужиком и плохо. Ничего не получилось, кроме ребенка, а как он получился — понятия не имею. И всю жизнь — наизнанку. Смотрю в зеркало — вижу паспортные данные. А ты еще хочешь и железяки свои в меня? Да я как представляю, как у птеродактиля моего косточки захрустят, так сразу и лететь вместе с ним хочется. С девятого этажа.

Она замолчала и укусила себя за руку, не умея мстить миру иначе, как только унижая свое тело.

Она отпустила руку и усмехнулась.

«И отомщу. Вот как рожу».

Подруга растерянно наблюдала. Все не так, как надо. Надо объятия и слезы в жилетку. А она утешит, как сможет, и посоветует. То самое, что уже отвергли.

«Я ж посочувствовать пришла», — показалось ей.

— Слушай... А может, ты просто боишься? Ну, туда... к врачам?

— Боюсь. — Васька опять тарасилась в окно, далеко, куда-то в белое небо.

— Ну, что ты, глупая.

Подруга оживилась, подседа на кровать. Голос стал уверенным, с практикованными интонациями и выверенной дозой внимания — говорите, где болит, ложитесь сюда, не так, а вот так, спокойно... По комнате расплзлось ощущение чего-то стерильного. Вася съезжилась и медленно обернулась. Стерильным было лицо подруги. Оно даже сияло, как скальпель на рекламе.

Вдруг вспомнилось, как однажды они помогали работникам чего-то внутреннего «выявлять и пресекать» всяких инициативных товарищей, которые добровольно, на собственном транспорте развозят по городу и продают желающим водку с негосударственной ценой. Вместе с внутренними работниками они с подругой суетились у обочины и притворялись теплой компанией, уже веселой и поэтому привлекательной для предприимчивых частников. Они с подругой старательно вешались на мощные шеи внутренних работников, чтобы никто сторонний не заподозрил их группу в отсутствии объединяющего интима и не раскусил их деловые и правопорядочные намерения. Внутренние были предусмотрительно небриты и слегка пьяны. Для маскировки. И обнимались прадоподобно. Частники верили.

А потом они превратились в свидетелей, ходили по комнатам, где допрашивали пойманных, отвечали на вопросы и скулили: «Честное слово, первый раз, больше не будем». Тоже для маскировки. Потом в понятых — заглядывали в чужие багажники и сумки, пересчитывали бутылки и подписывали протоколы. Но все это разыгрывалось не так, как в теледетективах, а тянулось долго, скучно и неприятно. Неприятно, когда один, глядя в пол, ловит равновесие на зыбком стуле, а остальные, вокруг, монументально над ним возвышаются. И бьют фактами. У одиночки голова зависает ниже плеч, поближе к коленям. Он складывается, уменьшается, прячется в позу эмбриона, будто еще не родился. Он убог и навсегда унижен самим собою. Но почему остальные все возвышаются? Понять это никак не получалось. Она знала, что сидящий нарушил какой-то закон, он преступник. Как в кино. Но так странно было увидеть в нем еще и человека. Очень уставшего человека. Больше ей не захотелось участвовать в борьбе за правопорядок. А подруге понравилось.

Потом они долго сидели в кабинете и беседовали. Небритые внутренние поили их чаем и шутили про двуспальные канцелярские столы. Она хихикала, чтобы не казаться дурой. Подруга ответно острила и впечатляла небритых. За окном начиналась ночь, а за стеной не кончался допрос, из-за которого их не отпускали. И тут возник разговор. Подруга и небритые случайно наткнулись на общую тему и начали отводить душу. Получился взаимный интерес, увлеченный обмен историями, с выяснением подробностей и периодическим выводом: да, жуть. Она слушала их, а взгляд уходил через окно, проваливался в пустоту ночного города, где сейчас, наверное, так четко слышен каждый шаг и так много теней, похожих на притаившихся людей. Ей становилось плохо, все хуже и хуже. Ныли лампы дневного света и растрясали по комнате электрическую пыль. За стеной все бубнили суровые голоса. Рядом подруга-медик и небритые внутренние обсуждали разные варианты человеческих смертей.

— Эй... — Ее вежливо дернули за рукав. — Это не страшно. Все быстро и вполне терпимо. Зуб — хуже.

Она вдруг очнулась. Перед ней улыбалось все то же продезинфицированное лицо.

— Дура! — завопила подруга. — Свою жизнь угробишь и родишь неизвестно кого!

Она промолчала. Подруге померещилась победа.

— Он тебе не нужен! — уверенно заявила подруга.

— Оставь его мне, — попросила Васька.

— Ну знаешь... Мне тебя жаль.

— Не надо, — просила она. — Не надо... — И вдруг сорвалась в дикий визг: — Уходи!!!

Руки загребали воздух вокруг тощего тела, хищно шевеля пальцами, искали предмет потяжелее, которым можно напасть, чтобы успеть защититься.

Подруга грохнула дверь. Подруга ничего не поняла, и так было лучше.

Она тупо перелистывала учебник биологии, случайно сохранившийся с десятком других в виде ножки для кровати. Бумага была еще хорошая, но ее портили буквы. Собранные из них слова торопливо выскальзывали из-под взгляда, стесняясь своей унылости. До человека земля рождала одни скелеты. Так утверждал учебник. Устав искать живое, она прихлопнула доисторическое обложкой и опять превратила его в ножку для кровати. От эволюции остались аккуратные ряды нулей, заглотившие миллиарды каких-то лет, и еще два слова — «архейский» и «силурийский». Одно было белого цвета, другое синего. Внутри них зрело, дышало и всплескивало будущим чешуйчатым плавником.

Радио прохрипело полночный гимн в честь очередного поворота планеты. Закружилась голова, словно тоже захотела стать отдельным космическим телом. Она прижала голову рукой к подушке.

«Время». Она закрыла глаза и повернулась лицом к вчерашнему дню. Недавние летосчислительные нули догнули, из них вылупилось прошлое и, взмахнув перепончатыми крыльями, улетело в дочеловеческую эпоху. Она вцепилась в оставшуюся часть, чтобы рассмотреть и осмыслить.

Время лежит на руках, как тряпочка, невесомая и мягкая. Слишком маленькая, чтобы скроить из нее что-то полезное. Только пыль вытирать или посуду мыть. «Тоска какая. А мне казалось, что я значительней». Она осторожно смяла вялый обрывок, чтобы оценить его плотность. Вокруг ответно шевельнулось что-то огромное. Она подняла голову и увидела, что другого края нет. Бесконечное полотнище расправлялось до самого горизонта, как поле. Оно стремительно зарастало дикой травой. Плетенье корней подбиралось к ее личному доскуту, и она увидела, как на ладонях уютно устраивается и начинает очень скромное маленькое дерево. «Край земли?» — изумилась она, и пальцы дрогнули от тяжести. Из-под них выскользнула тихая волна и зашелестела дальними травами. Травы вытряхнули стаю беспумных перепончатых крыльев. Потрявоженная глубина мира родила взгляд. Внимательный и печальный. Он ничего не требовал, просто смотрел прямо в нее. От него внутри стало темно и грустно, будто наступил вечер. Захотелось натянуть на себя тяжелое травяное одеяло и уснуть под деревом, которое в руках. «Край времени».

Она вдруг поняла, чей это взгляд. Стало жутко от неожиданного родства с давно ушедшими. Она рванулась прочь, но дерево в ладонях уже втекло корнями под кожу и навсегда пристегнуло ее к этой земле. Она притянула ладони к себе и зубами рвала древесные жилы. По рукам заструилась кровь, и внезапно с пронзительным воем вниз рухнуло небо.

Она вжалась в траву. Кожа на спине уплотнилась в защитный панцирь. Или проросла непромокаемой шерстью. Шерсть — дыбом, к голове жмут-

ся остроконечные уши, а мощные лапы бросают тело в укрытие. Она отчаянно зарычала и выпрыгнула из сна.

Небо уже не падает, а полощется, как тряпка на сильном ветру, отряхивает за горизонт блеклые облака. В доме напротив электрическим светом взрываются окна, а за стеной беспомощным женским голосом кричит соседкин мужчина.

А потом она услышала сирену.

Сиреной истекало радио. Маленькое, круглое, как будильник. Подъем, конец света.

А может, в городе выли заводы близкой стеной.

«Ну вот и все».

Мир был приговорен, и она тоже. Приговор исполнялся.

Тут же послушно умерли руки. Потом ноги. Пришлось сесть на кровать.

«Ракета летит пять минут. Или семь? Спокойной ночи».

Она легла. Дивилась отсутствию панциря и шерсти. «Жаль. Я люблю мягкое».

Сирена выла.

Мужчина за стеной утих. Глухо бормотала соседка. Упрашивала. Или молилась. Затем в стену с разбегу что-то ударило. Кто-то пытался вырваться из квартиры, а заодно и из тела.

Там опять забыли. Представилась соседская жилая ячейка. В потемках — пятно ночной рубашки, как привидение. Внутри него соседка. Напряженные мышцы подтянули стареющую кожу, и сейчас женщина кажется молодой. Стоит на коленях, молится своему богу. Бог мечется по комнате.

Там скрипнула кровать.

Сирена захохотала.

«А я не успею», — вспомнила она о своем животе. Закрыла глаза и вдруг увидела, как по скорым развалинам липко растекается ее плоть.

«Нет...» Тело стянулось на пол и скрутилось в тугой мучительный узел. Хотелось защитить. Или хотя бы в дикое усилие вместить неизрасходованную будущую жизнь.

Наверху грохнули рамы, звякнул жестяной подоконник. Кто-то хотел бежать через окно. Но ему скомандовали холодно и звонко:

— Стой!

Перешли на крик:

— Будешь умирать со своим народом!

Крик был женский, он закончился двойным выстрелом. Стреляла неласковая ладонь по небритым щекам. Окно покорно затворилось.

Ей вдруг стало смешно, и она решила, что уже свихнулась. Внутри возникла приятная легкость — думать теперь не ее обязанность. Она расслабилась и выпрямилась в рост. Поторопитесь, убейте чужие ракеты и бомбардировщики, пока она дура и ничего не соображает. Но они все не прилетали. Вспомнила родителей. Удивилась: «Не слышат?» Позвала осторожно, чтобы от ее голоса опять не случилась судорога:

— Мама...

Прислушалась. Зашуршало, но не там.

— Мама, война!

Тихо.

«Неужели спят? А я одна?» Она обиженно забеспокоилась, но потом это прошло.

Руки укрыли живот.

Сирена отпевала.

Люди вырисовывали черные силуэты в желтых квадратах окон. Головы развернуты к небу. Они ждут.

С неба за крыши утекают последние мелкие тучки, расчищают место действия. Звезд нет — закоптились до черноты. Дом тоскливо воеет в пустоту, приглушая голос толстыми стенами. Пожилой и беззащитный. А ря-

дом сквозь тонкие стены кричит молодой, многоэтажный. За ним скрыт осталый город. Город? Толпа одиноких домов.

Она отвернулась от окна.

В обратную сторону потолка ударили чьи-то пятки, простучали к дверям. В подъезде задребезжало эхо вопля. Оно испортило единый многоквартирный стон прощания. Дом замолчал и прислушался. Эхо скакало вниз по лестнице, загнанно похрипывая и тарахтя тапками. Кто-то, устав ждать, начал спасаться.

«В подвал», — определила она. Еще немного пожить.

Вдруг захотелось рвануть следом, обогнать, занять самое подземное место и еще сколько-то подышать и пошевелиться в нем, если не будет слишком тесно.

Но она сразу устала от предопределенности такого конца и решила: «Так долго умирать не хочу».

В подъезд выхлестывались новые крики и стуки и торопливо осыпались на дно, собираясь под лестницами в гудение и тяжелый монотонный грохот. Многолюдное тело билось чьей-то передней грудью в подвальную дверь.

Ей стало больно за эту грудь, непрочную и, наверное, полуодетую, и за остальные животы и спины, прошитые соседскими локтями, коленями и этим соединенные в целое. «Зачем же в месиво... До срока...» Захотелось открыть дверь и попросить людей не бояться так страшно, но она просто села на кровать и сунула голову ушами в ладони.

Ее разглядывала фотография.

Детсадовский портрет с умными глазами. Себя в детстве она не узнавала и любила. Шагнула и сдернула со стены. И еще ненастоящий лес в рамочке. «Возьму с собой. Может, там он станет настоящим». Вернулась к кровати и устроилась под одеялом. «Теперь можно уходить».

Закрыла глаза, чтобы, исчезая, не оглянуться случайно на то, что останется.

Над черным полем бесплотно перемещался ветер. Поле расплзлось прямо в ней, она хорошо его видела, потому что укрыла глаза веками и одеялом. Ветер искал дерево, чтобы пошелестеть. Или хотя бы мусор. Но был только беззвучный пепел. Потом она ощутила еще кого-то. Он тоже не имел голоса, но хотел жить. Он требовал укрыть его со всех сторон и сберечь. Она узнала его и сказала: «Тебе не будет земли, на которую можно родиться».

Но он не понял, потому что не умел слышать.

«Он мешает мне умирать, — откликнулось судорогой тело. — Я уберу его».

«Нет... — Она скорчилась под одеялом, обняла себя руками, чтобы не распасться. — Я не хочу одна».

Тот, одинокий во внутренней сожженной пустоте, двигался все сильнее, тревожа окружающие мышцы. Она ударила его кулаком, чтобы перестал, но он не испугался боли, потому что не развился в чувствительную плоть. Ей стало страшно, что все произойдет не глобально и атомно, как ждала и уже привыкла, а мелко, непонятно и постыдно. Гибнуть спокойно можно только заодно с человечеством, а происходящее внутри нее заставляло опережать остальных. Она вспомнила, что из этого существа хотела совершить необыкновенное. Может, птеродактиля. Но вдруг увидела, как растянутые ветром перепончатые крылья насквозь пробивает раскаленная автоматная очередь и они тряпично обвисают в паутине проводов.

— Нет!..

Она взвыла и отшвырнула прочь одеяло, на изнаночной темноте которого нарисовалось дурное видение.

Через воображение пробежало другое создание, рожденное еще раз для проверки. Четвероногое, наивное, с развевающимися от скорости ушами. И сразу на окраине сознания ненормально завизжали тормоза, и она едва

успела отключиться от последующего. «Дальше», — потребовала она, и вчерашний учебник биологии послушно развернул свое представление об эволюции. Она не стала спорить. Она перебирала молчание и рычащие существа, примеряла их к углам подворотен, наждаку асфальтовых дорог, пыталась вписать в троллейбусную давку и прохожее любопытство. Тишилась насытить вареной колбасой. Пробовала городской воздух их легкими, и каждый вздох имел привкус гибели. Согласившись в конце на двуногое, она неожиданно ощутила целящийся из близкой пустоты холодный стремительный металл и поняла, что рожать надо было давно и не ей, а какой-нибудь древней женщине, рожать человека, который из прошлого остановил бы летящую в нее смерть.

— Спасителя...

Звук растерся неразжимающимися челюстями. Она встала.

— Я... — попыталась она пообещать вслух, но не решилась.

— Господи! — Но больше молитвенных слов не знала.

Осталось только заплакать:

— Мама!

Равнодушная тишина, плотная до осязаемости, хлопнула по ушам. Си- рены не было.

Не было.

По коридору прошуршали шаги, вздохнула дверь, впустив в комнату недовольное:

— Чего не спишь?

Она таранилась в темное задверное пространство и усиленно старалась понять, из чего сделано такое качественное безмолвие и почему в нем болтается всего один нелепый вопрос и больше никаких звуков. Осторожно переключилась в себя и не обнаружила страдающих мест. Целая. Вновь вынырнула в наружный мир и встретила в нем мать, замершую на краю комнаты.

— Ты чего? — одинаково испуганно спросили они друг друга.

Мать беспокоилась за нее. Она за себя.

Мать замолчала.

— Все нормально. Иди спать.

Она отвернулась от матери.

Мать не должна знать. Даже того, что знает подруга.

Та отодвинулась в коридорный мрак и исчезла.

— Мама! — поспешно окликнули ее. — Ты сирену слышала?

В коридоре потоптались, потом заоправдывались:

— Да ты знаешь, я спала крепко. Устала. Может, на заводе что?

— Нет, по радио.

— По радио? — издали удивилась мать. — Нет, не слышала. Спи.

В коридоре шевельнулся тяжелый вздох, ушелестел вдаль.

Радио молчало.

«Нет, было».

Она поднялась и нырнула в коридор, а затем на лестницу.

Дверь мягко клацнула и вывела ее в ледяную коробку площадки. Очень светло и пусто. Она не поверила и, цепляясь тапками за битый кафель, зашлепала к перилам. На дне узкой лестничной щели громко за- скреблись и монотонно застонали пронзительным кошачьим голосом.

Она неуверенно замерла.

Внизу упорно рвали что-то когтями. Или обо что-то обрывали когти.

«Подвальная дверь», — догадалась она. В ушах закипел недавний гро- хот, в котором обезумевшая толпа разбивалась о навесные замки. Их забы- ли открыть — тело было слишком многоголовым, чтобы соображать.

Кошка замолчала и сцепилась с дверью. Недовольно заворочались ме- таллические суставы.

Васька вдруг ощутила холод воздуха. Прямо глыбы льда с вмержшей лампочкой, и дышать нечем. Подумала: «Все ломались туда, в землю, что- бы спастись. И не услышали, как кто-то хочет спастись оттуда».

Она бросилась к лестнице, чтобы помочь, и узрела ее неожиданную бесконечность. Дно лестничного колодца залито тьмой, и в ней предстоит утонуть. Вокруг ни души — души разбрелись, каждая своим сном, и это так далеко, что звать бесполезно. От ледяного света вымерзли мысли и тело неуправляемо. Оно не желает мучить себя бетонной пустыней, даже если пустыня просит помощи. Тело хочет домой, где тепло.

За спиной заскрипела дверь, позвала. «Я беременная», — пожаловалась Васька себе в оправдание и подчинилась телу.

Ткнулась в родную темноту квартиры. Дверь отгородила от страха, одеяло от холода, сон от предательства. Васька положила руку на будущего ребенка и успела решить:

— Конечно, в этот мир можно рожать только человека.

Память всхлипнула дальним голосом нечеловека, запертого в подвале, мучительно захотелось взять его в руки и защитить от боли, но тело, отдыхая, уже обездвигилось и позволило только шевельнуть губами:

— Спасу. Обязательно спасу. Завтра.

Ей снились динозавры в густых лесах. У них были тоскливые глаза, словно они знали, что когда-то умрут быстро и все сразу, и от этого им хотелось умереть прямо сейчас и не ждать будущего. Но тогда земля осталась бы пустой и одинокой, и динозавры терпели свое существование до появления иной жизни.

Она проснулась на кровати и очень этому удивилась. Покрутила сонной головой, но возвратиться в первобытные леса не удалось. И дикие крики за окном производились не джунглями. Там, в утренней темноте, должен был вот-вот начаться учебный день, и все радовались, что он еще не начался. Хлынул школьный звонок, вопли увяли и нехотя вдавились в тишину. Хлопнувшие оконные рамы выплюнули на улицу последний крик свободы, затем замкнулись плотно, как крышка скороварки.

Она взмахнула одеялом себе на голову и попыталась провалиться сквозь мрак на какую-нибудь лужайку под невесомое небо и придуманные деревья, но в голове немо вспыхнула ночная сирена.

«Война?! А вдруг? Вдруг то, что ночью целилось в меня, промазало и взорвалось за городом... И расплзается оттуда излучением. А я ничего не знаю. И никто не знает. И никто не расскажет, чтобы не возникла паника. Паника остановит заводы, заводы нужны войне. Война хочет жить. У меня отнимут страх. Все будут глупыми и бесстрашными и умрут полезно, каждый на своем рабочем месте».

Мысль крутнулась и переложилась на другой бок, как книжная страница. Там было написано:

«Человек. Его убили, а он решил, что умер сам. Но успел воспроизвестись. Глупыми бесстрашными детьми. Придатками к рабочему месту. Заводы перерабатывают очередное поколение. Война хочет жить. Когда никто ничего не знает, она сможет продолжиться в бесконечность. Умная война ведет себя незаметно».

Она услышала, как внутри с тихим звоном лопаются какие-то растяжки, удерживающие в относительном равновесии ее жизнь. Жизнь висит в пустоте, подергиваясь вялыми отростками, но уцепиться не за что, и придется падать и разбиваться, придется растечься беспомощной лужей, через которую маршируют сапоги. Дорога насквозь, как пулевое ранение.

Васька гладила ладонью ледяную простыню, ловя реальность монотонным движением и пытаясь найти в себе что-нибудь прочное, на чем можно обосновать свое существование. Водрузиться как на трон или табурет, сесть на пол, вжаться в землю, в траву и корни, но только перестать падать. И вдруг ладонь вспомнила и успокоенно остановилась, и простыня под ней нагрелась до нормальной температуры.

Она вспомнила, как давала обещанья ночью, перед смертью, которая не наступила. Которая, может быть, потому и не наступила. Что я успела пообещать?

На нее тарачилось бельмо потолка.

Она решила.

— Ну что ж. Буду рожать спасителя, — сообщила она известковым разводам. — Если успею.

Потолок согласно мигнул заскочившей с улицы тенью.

Она сбросила простыни и придвинулась к окну, проверить сохранность мира. Дома отягощали прежние участки асфальта, хрипели канализацией и утренними телепрограммами, кашляли общественными дверями и выстреливали на улицу сонных жильцов. Те хмуро оценивали погоду, ежились и убегали к остановкам, чтобы, с ходу вжавшись в трамвайную начинку, припасть головой к широкой соседской спине и продолжить сон. До рабочего места.

Она вспомнила длинную мысль, с которой начала утро. Ее передернуло, и она телепатировала объяснительную: «Не вышла на работу по причине внезапной беременности». Она опять посмотрела на спешащих через сугробы людей и порадовалась, что ей уже не с ними.

Ей стало немного неловко. Кто-то, наверное, удивится пустующему месту, а потом заполнит его своими переживаниями. Тем более что место было и не такое великое. Исчезновения же такого неопределенного предмета, как душа, не заметят вовсе. Она обиделась и решила больше не думать о производстве, в которое не сумела внедрить свою личность.

«Буду заботиться о другом, моя работа — здесь. — Она положила руку на живот. — Настоящая работа».

И внутри ее сразу согласилось.

Она оттолкнулась от подоконника и двинулась на кухню, кормить свое тело, чтобы оно быстрее перерабатывалось в новое и нужное всем существо.

Интересно, что еще, кроме яичницы, нужно для того, чтобы родился спаситель?

Заскандалил телефон. Каждое утро он прикидывался будильником. С заводского конца города мать посылала нервные сигналы. Старалась, чтобы дочка не проспала на работу.

Телефон жил у дверей. Польза утренней стометровки была просчитана матерью. Мать уважала физкультуру. Васька финишировала у телефона и сорвала с него трубку вместе с пластмассовым скальпом. Вытаращилась на блестящие металлические извилины, напряженные чужими мыслями. Интеллектуальный примитив.

— Ух ты, — зауважала Васька.

— Алло, — ответила трубка тревожным голосом. — Что случилось?

«Мама», — внезапно испугалась Васька. Показалось, что сейчас, через трубку и провода, подключенные к голове, ускользнут и раскроются матери все тайны и все сразу станет глупым и бессмысленным.

— Ты проснулась? Алло, алло! — застонала трубка.

«Я проснулась. Но меня нет дома. И не работает телефон».

Она обрадованно закричала:

— Вас не слышно!

— Это я, — заторопилась мама. — Ты уже встала?

— Что?

— Завтракала? На работу не опоздай! — От напряжения голос матери изменился и стал просящим.

— Говорите громче!

— Ты знаешь, я тут спрашивала, у наших. Ну, про сирену... — Мать словно оправдывалась, что лезет не в свое дело. Замолчала, ожидая ответного интереса. Вздохнула. И поверила в сломанный телефон. — Никто не

слышал твоей сирены, — продолжила она в тишину, в которой больше не представляла свою дочь.

Голос затих в посторонних неясных шумах, будто в пространстве между двумя трубками не было города, а только огромный умирающий пустырь, утоптаный в бесполезное. Пустырь устало хрипел рваными сквозняками.

В телефоне, не дождавшись ответа, беседовали с тем, кто рядом. Бормотали непонятное. Жаловались?

— Я не слышу, — возмутилась Васька.

Там замолчали. Потом сказали негромко:

— Я перезвоню.

Васька растерялась и буркнула:

— Не надо.

— Ну... ладно, — ответили там, помолчав.

Опять распластался пустырь. По нему заструилась пыль. Большой, безнадёжно усталый ветер отправился исчезать за горизонт.

Тяжелый вздох.

«Интересно, что думала курица, когда несла эти яйца? Мечтала высидеть спасителя пернатых?»

Сковородка таранилась печальными желтыми глазами. Белки блестели, словно собирались плакать. Хирургически зависла вилка. Потянуло горелым.

Она подцепила край белка и, обжигаясь, скатала неудавшийся завтрак в мягкую трубку, чтобы удобнее выкидывать в мусор. Некстати возникла мысль: если выкину — мать не простит. Ей и так уже есть за что меня не прощать.

В ней воспитали несовременное уважение к еде и хлебу.

Васька задумалась. Яичница, скатанная слезным взглядом внутрь, уже не мучила совесть. Неполучившихся цыплят было жаль, но уже отдельно. Яичница вкусно пахла. Васька ее съела.

На второе были чай и бутерброд.

На третье — еще одна яичница. Тот, кто жил внутри, не был милостивым.

Она вышагнула из квартиры в тот момент, когда на другом конце города из заводской проходной вышагнула ее мать.

Матери предстоял длинный путь по городским артериям. Артерии пульсировали усталым и раздраженным человеческим веществом. Пустые прилавки встречных магазинов увеличивали путь до изнеможения, и только хронически голодный кошелек помогал матери вернуться домой. Она впадала в квартиру с лицом без выражения и взгляда. Некоторое время сидела на кухне, ожидая, когда прилегающее пространство проявится привычным беспорядком. Потом из хаоса что-нибудь проступало — чайник, кастрюля, кран, плита, холодильник. Мать начинала шевелиться, постепенно приращивая смысл к автоматизму движений. Когда оживала мать, дом начинал жить.

Но сегодня она начнет не с борща, а с Васьки. Ваську предал телефон.

«Не предал, а передал. Твое предательство», — поправили изнутри.

Огрызнулась:

«Не твоё дело».

Оправдалась:

«Я не могла».

«Скажи матери честно», — посоветовали внутри.

Вокруг ненадолго преобразилось в будущее, когда все известно и испорчено этим знанием. Ее не ругают. Над ней просто плочут в вечернюю пятнадцатиминутную передышку. «Ах, Вася, Вася...» Потом сурово блеснувший чайник сосредоточит на себе бесхозный взгляд. Кран, плита, холодильник преданно выйдут из хаоса, в который не спросившись ушла дочь.

Мать затопчется вокруг верных кухонных вещей, аккуратно стирая с эмалированных боков случайные пятна и огорчаясь мелким царапинам. «Ах, Вася, Вася...»

Что-то рушилось. Беззвучно и непоправимо.

«Нельзя, чтобы я и все изменялись одновременно. Ноги шагают по очереди, чтобы опираться друг на друга. Если мир прыгнет, он остановится и умрет».

Иногда ей думалось очень понятно.

Поэтому она торопливо вышагнула из квартиры. В тот момент, когда мать торопливо вышагнула из проходной.

У подъезда — два выхода. Один — в город. Другой — в землю. Жильцы старательно запечатали второй засовами и секретными замками. Замки охраняли сырое и голое основание дома, поделенное на индивидуальные ячейки, в которых плеснела пустота с запахом прошлогодней картошки. Дно подвала было затоплено зумлей. Она жалась к стенам застывшими волнами, словно давно и долго пыталась выплеснуться из каменной коробки под солнце, но не смогла и умерла.

Васька стояла спиной к общепринятому выходу и выслушивала тишину за подвальной дверью. Там что-то вздыхало, шуршало и капало, будто за обшарпанной стеной прижился случайный лес. Пришел туда со своим огромным ночным небом и недавним дождем и теперь грелся на кусочке земли, пересыпая по листьям воду и бормоча что-то самому себе, как очень одинокий человек. Город вытеснил его в подвал.

«Вчера там кто-то кричал. — Васька тронула пальцами крепкую дверь. — Я обещала спасти его».

Громыхнули потревоженные замки. Прорвавшийся сквозь щель сквозняк вынес в подъезд запах размокшей осени.

Но ее уже никто не звал. Задверные вздохи не требовали помочь.

Она ощутила, как на ближнюю остановку из автобуса выталкивается ее мать.

— Я приду, — пробормотала она торопливо тем, кто за дверью, и отшатнулась прочь.

Под ногами скрипнуло. На кафельном полу скрутилось жестяное подтверждение ночного кошмара: Б...БЕЖИЩЕ № 1.

«Понятно. — Она перешагнула через предупреждение. — Значит, ожидается еще и бежище номер два. Или сто два».

Она будет выключать на ночь радио, чтобы в случае чего умереть, не узнав.

Она поспешно выскочила на улицу. Огляделась.

Матери еще не было.

Деревья кончились, остались одни столбы. Трамвай нырнул в огромное пространство, занятое только дорогой и ее принадлежностями. Мир вздохнул, небо взлетело в свободную высоту, и раздвинувшийся над землей объем заполнился светом. Пассажиры дружно сощурились, чтобы вливать в себя свет привычными порциями. Но свет прошивал веки и бледную кожу и разогревал остывшую за зиму кровь, напитывая ее будущими желаниями. Люди закрывали глаза, но тьма не приходила. Веки отфильтровывали свет в красные сны, тяжелые, как после трудного обеда.

Край земли имел два неба. Нижнее принадлежало заводу. Оно выросло из труб, забиралось повыше и ползло за ветром. Оно творило вечную тень. Ветер натягивал ее на город, занимавший противоположный край земли. Там люди отдыхали от завода. Но они на заводе работали, и значит, тоже должны иметь небо, которое производили. Пустырь, по которому скрежетал трамвай, засадили деревьями и назвали Зоной. Санитарной. Но деревья отказались работать, свернули листья в сухие трубочки. За это их вырубали.

Иногда нижнее небо оттягивалось за горизонт, и тогда на землю, усыпляя людей, рушился свет и воздух становился вкусным и опасно непривычным, как мороженный ананас.

Сегодня ветер отсутствовал, и рыжие облака копились прямо над заводом. Они громоздились вверх и медленно тяжелели. Издалека их шевеление не улавливалось, и они висели под верхним небом, как крыша гигантского архитектурного сооружения.

Оно покоилось на множестве изящных витых опор, тонким концом воткнутых в заводские трубы. «Храм... Храм труда». Прочности эта конструкция не имела и с первым атмосферным колебанием должна была обвалиться на крыши домов, на улицы и людей. Но она впечатляла. Она стояла строительства такого большого завода. Она была бесчеловечно красива.

Люди в трамвае сидели закрыв глаза.

«Красота спасет мир», — произнесла когда-то учительница литературы. Учительница смотрела мимо глаз учеников и усердно тянулась рукой вверх, словно хотела дорасти до великого классика и понять, что же он имел в виду.

Зачем спасать мир, Вася не понимала. Из самосохранения она не поверила классику и долго искала в его книге место про красоту. Пришлось даже прочесть все и почти заплакать. Но почему именно красота, яснее не стало.

Тогда она выбрала время, когда дома было безлюдно и не стыдно. Долго боролась с тишиной и наконец сломала ее слабым неуверенным голосом:

— КРАСОТА СПАСЕТ МИР.

И красиво, как учительница, вскинула руку вверх. И увидела потолок. Потолок прихлопнул ее своей плоской поверхностью и прочно завис над головой самодетельной побелкой. Она ощутила тяжесть прочих потолков, зависших над ней поэтажно и многократно перекрывающих внезапно востребованное пространство.

Тогда она почувствовала, что, скорее всего, бесполезна в этом мире.

Подруга ничего такого не чувствовала. И пошла в медики.

Трамвай скрежетал вдоль бетонного забора, которым завершалось все, что мешало заводу.

За забором дыбились мощные металлические конструкции. Они угрожающе развертывались углами и уплывали за черную многоэтажную стену. Стена взывала короткой сиреной и заурчала механической утробой.

— Спасет, — прошептала она. Смысл слов медленно рассеивался, и голос становился все осторожнее. — Спасет.

И неожиданно старой идее найдено применение. Ей нужна красота. Она будет видеть ее, а тот, кто внутри, — чувствовать. Он родится с чутьем и починит мир. Потому что будет знать, каким он должен быть.

Завод громыхнул суставам.

Она сказала внутрь себя:

— Я найду красоту. А ты спасешь мир.

Теперь ей показалось, что она поняла все.

Она ехала на завод, чтобы уволиться. Но ей ответили:

— Нет.

— Почему? — удивилась она.

— Два месяца отработки, — разъяснили снисходительно.

— Два месяца? — Ей показалось, что ее наказывают. Но потом вспомнила, что это такой порядок, и попыталась вежливо выкрутиться: — Но у меня нет столько времени.

— А у завода нет рабочих. — Отвечающая дама выдвинулась из-за стола, сняла с него пачку солидных папок и ушла в шкаф.

Вася не хотела ругаться. Потому что не умела. И потому что ей теперь нельзя. Из памяти вывернулся учебник биологии и рассыпал эволюционные нули. Она глянула через них в глубь своего тела, где отстраивался новый организм, и ужаснулась:

— Два месяца — это почти половина земной истории!

Бухгалтерша высунулась из-за дверцы, странно посмотрела и опять исчезла продолжать отношения со шкафом.

Вася смутилась и попробовала объяснить:

— Я не хочу рожать передовую ударную мышцу для подходящего размера спецовки. А если я останусь на заводе, именно так и получится.

В шкафу загремело. Хихикнули дверцы. Выпала пыльная бухгалтерша, буркнула:

— Скорее вы родите отсталую. Мы не выполняем план.

— Тем более, — ответила Вася. — Зачем размножаться отсталостью.

— Совершенствуйте технологию, — посоветовала дама. Наверное, ей мешало высшее образование.

За ее спиной и шкафом сияло умытое окно, окованное решеткой. Через него в комнату заглядывало другое окно, помещенное в стену близкого здания и тоже заштопанное арматурным железом. Оно прятало за собой похожий кабинет и в нем еще одну спину, упитанную и притянутую стулом к канцелярскому столу. Здесь тщательно регистрируют тонны и нормы, а человека воспринимают только в виде человеко-часов.

— Тем более, — сказала Вася. — Мне надо очень и прямо сейчас.

Бухгалтерша укорила:

— Сознательные беременные мамы по семь месяцев своих детей заводом воспитывают. Приучают внутриутробно. Чтобы не перевелся рабочий класс.

Вася вздрогнула и удивленно посмотрела на говорившее существо. Почему-то представился утренний трамвай, остановка, люди, спрессованные в толпу. Изнутри очень остыло. Голос дамы рикошетил не заботой. Она сказала что-то другое, но Васька не поняла.

— Вам необходим рабочий класс?

Прорезались скучные стены и высушенное пылью лицо высшей дамы. Дама не отвечала, только недоуменно дергала веками. Веки падали на глаза с шуршанием и пристукиванием. А может, это в шкафу шелестели старые бумаги.

— Выйдите отсюда. В коридор. — Голос бухгалтерши скрипнул, как разорванный бланк. — Вы мешаете работать.

Глаза ее окончательно зашторились веками, не желая впитывать чужие глупые мысли. Щеки резко углубились в пустоту рта и образовали на лице две воронки, втягивающиеся меж сжатых зубов. Женщину мучила ненависть и заставляла грызть саму себя.

Ваське вдруг захотелось остаться на заводе навсегда, никогда не выполнять план, лишиться всех премий и льгот, поспеть под обвалившийся потолок — лишь бы этой женщине стало немного легче.

— Извините меня, пожалуйста, — попросила Вася.

Дама распаковала зрачки. Губы прочертились в неожиданную усмешку.

— Я вас не отпускаю, — торжественно произнесла она. — Закон для всех один.

Она была очень рада, что есть такой закон.

— А если...

— Прогул, статья, увольнение. Так что вы обязаны.

Решетка на окне раскорячилась, как паучьи лапы. Тело паука возвышалось над столом.

— Статья? Пусть.

— Испортите трудовую биографию, — обрадовалась дама. — Не прирут на работу в другом месте.

Вася отклонилась назад к дверям. Спина уперлась в стену.

— Привлекут за тунеядство. — Нежная улыбка. — Ребенка в детдом.

Дверей нет.

— Ни прописки, ни жилья.

Пальцы по штукатурке. Мелкие трещины. Мелкие, не спрятаться.

— Будете жить в канализации.

Внезапная пустота и вечное падение. Нет, это просто дыра в коридор.

— Я вас предупредила. — Голос вслед. Темный силуэт вписан в паутину штукатурки.

— Да. Спасибо. Я поняла. Лучше в канализацию.

Дверь замкнула коридор в бетонную трубу. Случайная лестница спустилась по заплыванной спине и вышвырнула в застывший, заржавевший заводской воздух.

— Канализация. Прописка. Биография... — ругалась она, пробираясь через снег, замешанный в крутые сугробы тяжелыми машинами.

Внутри было неуверенно, снаружи — ненадежно. Нет трудовой книжки, и никто не удостоверит, что целых три трудовых года она шевелилась, старалась и что-то производила.

Но то, что делала она, творили совместно еще тысячи людей, объединенных в один производящий организм. И ее присутствие там не было обязательным.

«Если бы я одна, как это множество. Вместо него. Сама бы делала, — нлыло внутри. — И оно оставалось бы в мире куском меня. Меня нет, а этот кусок — я. И все знают и помнят. Без трудовой книжки».

Она запнулась об обрубок рельса. Грязный сугроб холодно подержал ее.

Железо не признает в ней хозяина. Его произвел Завод.

Она ощутила ближние и дальние стены цехов. Они медленно окружали ее, примеряясь к ее шагу, заходили со всех сторон. Потом одновременно навалились своей монументальностью и взвыли разными голосами подчиненных механизмов. Она сжалась, потеснилась внутрь себя, чтобы, уплотнившись, сохраниться.

Под ногами вызванивала арматура переходного моста. Внизу чернел задушенный копотью снег, исхлестанный белыми от натертости рельсами. Неторопливо, с удовольствием подминая их под себя, под мостом пробирался тепловоз. Вслед за тепловозом пропихивался тяжелый состав с готовой продукцией. Ее увозили на другой завод, доделывать в конкретные употребимые вещи. Металлические болванки походили на связанные пучками пушечные стволы.

Она вспомнила об утраченном трудовом документе и не расстроилась. Она вспомнила, что нашла себе работу, для которой ее предназначили спокойно, без всяких сомнений, не затребовав удостоверяющих записей и печатей. Она растила в себе будущие поколения человечества. И хотела сделать их качественно.

Васька лежала на диване и вкладывала красоту в понятные вещи, чтобы потом начать ею заполняться расчетливо и планомерно, не теряя времени на дополнительные сомнения. Мыслительное вещество текло плоско, как сточная заводская река, не волнуясь случайными идеями. Оно имело в себе оттенки множества мелких недавних событий и от этого казалось непрозрачным и серым. Она тряхнула головой, чтобы взболтать и взвихрить эту муть в нужные мысли, и услышала, как внутри болезненно мотнулось что-то тяжелое. Ей стало жаль непрочного устройства головы. Она поняла, что думающий механизм работает честно, но в невесомости мыслей не может ни на что опереться.

«Какая я дура, в себе тоскливая, помойная и бесполезная», — посочувствовала себе Васька. Сорвалась с дивана к книжному шкафу, чтобы без хлопот умудриться чужими открытиями.

Людей, отметившихся в истории и на полках толстыми и тонкими книгами, было много. Васька представила, сколько всяких слов произнесе-

но людьми в голос и про себя для лучшего изображения мысли. Собранные в одно место слова должны были звучать единым криком, и она услышала его среди тишины квартиры. Но в крике не выделилось нужных ей слов. Разлеплять же его на отдельные составляющие личности у нее не было времени. И она пожалела, что в доме столько книг, вместо одной самой нужной и обо всем.

Она вернулась к окну, оставив книги существовать нерушимой начинкой шкафа. Она даже не разозлилась. Книги не виноваты. Их копят и лепят в единое люди, которые не успевают копить и создавать себя. Людям некогда.

Она решила искать красоту живьем. Чтобы не ошибиться и не принять за нужное что-нибудь поддельное, она закрыла глаза и прислушалась к чувствам, протекающим в ее теле. Она тщательно перебрала их, запомнила и отодвинула прочь. В образовавшемся пустом месте она собралась придумать новое незнакомое ощущение, каким бы мог сопровождаться предмет красоты. Этим чувством она будет проверять все вещи и события, которые подвернутся ей под ищущий взгляд.

Но тело ничем возвышенным не тревожилось, только послушно напряглось, сочувствуя усилиям хозяина. Потом зазудело в левом локте. Васька обиделась на неудобную опору своего разума, но локоть почесала. После чего ее привлек шум на улице.

Внизу собиралась мрачная толпа. Подходившие плотно в нее вливались.

Толпа сгущалась. Она ждала открытия магазина, привычного скандала и поталонную дележку сваленного за прилавок мяса.

«И мои родители такие же? — усомнилась Васька. Потом простила людей с высоты второго этажа: — Они не виноваты».

Она вернулась к дивану и продолжила изобретение нового чувства. Красота струилась где-то под поверхностью жизни. На улицах города ее задавил замусоренный асфальт, а на лицах жителей усталость. А если ей удавалось прорваться наружу, она пугала мир своей непохожестью на него, и мир самосохранялся, торопясь затереть помеху в ровное место.

«Моя задача ее выследить и поверить в нее», — подумала Васька.

Но проверочное чувство не получилось. Ему помешало случайное:

«Если бы я могла ощутить красоту внутри себя, то зачем было бы ее искать? Я заполнилась бы ею самостоятельно без помощи внешнего. И будет ли такое внутреннее настоящим и для всех? А вдруг собою я обману будущего спасителя? Вдруг он станет спасать меня, а не всех?»

Неожиданно ей показалось, что она стремительно укрупняется и толстеет от какого-то странного удовольствия — возможно, оттого что спасли только ее. Она насторожилась. И постаралась уменьшиться до нормальных пределов. Когда спасают одного, а не всех сразу, остальных начнут уничтожать как помеху и врагов. Она представила, как ее ребенок сокрушает мир ради нее, и опечалилась.

Какой же он будет спаситель?

Внутри глухо затосковало сердце, сожалая, что своей кровью питает убийцу.

«Нет, — возмутилась Васька и обняла свой живот бережно, как слабое тело другого. — Он хороший. — Поправились: — Он будет хороший. — И добавила, уведя слова в самую скрытую и беззвучную часть сознания: — Если я не буду хотеть спасти себя».

Сразу стало одиноко и страшно. Она еще не умела жертвовать.

Она оделась и отправилась выпцарапывать из мира кусок красоты, необходимой ребенку.

Она шла решительно и неизвестно куда. Ее вело чутье настолько естественное, что она не замечала, что идет не сама по себе, а вслед инстинкту.

С одной стороны тротуара скорченно застыли обрубки деревьев. Они походили на завязанные узлами бетонные столбы, из узлов торчали пучками оборванные провода, которые совсем не были похожи на ветки. Деревья были калеками. Люди лишили их плодоносящей кроны, но не убили до производственной прямолинейности. Васька отвернула от них лицо. Она не могла им помочь.

Она обнаружила стену, проползавшую мимо с Васькиной скоростью. Окна отражали ее лицо и древесные обрубки. Местами за окнами обедали. Тени обрубков висели над пустыми тарелками и беззвучно скользили в темную глубину квартир. Опять надвигалась стена и лишала их движения, а Ваську отраженного лица.

— В эти дома нельзя рожать детей, — поняла Васька.

Она отворачивалась от бесполезного для себя места. Ей было жаль живущих за стеной. Это место вызвало такую сильную печаль, что в нескором дальнейшем можно было рассчитывать на приобретение здесь огромной уравновешивающей радости. Но у Васьки не было времени ждать. Она спешила. Ее тело гнало сквозь себя ускоряющиеся тысячетия.

От ближней подвальной дыры отделился сгусток тьмы. Проявил в себе желтые пятна глаз и двинулся Ваське под ноги. Тьма была доверчивой и голодной. Мякнула вопросительно. Васька пошарила в карманах. Звякнула несъедобная мелочь. Кошка поняла и погасила глаза. Засветила их в другом направлении, пронзительно пожаловалась кому-то отсутствующему и пошла вперед, отодвинувшись от Васьки к стене. Стена была надежнее.

Кошка потерялась о кирпичи головой. Васька пригляделась. На хилом кошачьем позвоночнике крепился огромный живот, он переваливался на ходу из стороны в сторону и мешал переступать задним кошачьим ногам. Живот жил самостоятельно, шевелился, пихался изнутри и был явно недоволен кошкой. Он, наверное, мечтал отделиться от истощенного материнского тела и дожидаться на дороге другого, изначально сытого существа, которое позаботилось бы своим желудком о его сердитых жителях.

Тьма была беременна сумерками. Когда она разродится, в подвале от непосильного напряжения перегорят лампочки. Ваське стало весело, что не одна она такая дура рискует рожать детей на этот свет.

«Надо купить чего-нибудь съедобного», — озаботилась она чужим и родственным голодом. Огляделась. Магазины поблизости не оказались.

Кошка решительно уходила по улице вдаль. Васька заторопилась следом. Кошка выведет ее к каким-нибудь продуктам, и она их ей купит.

Впереди на тротуаре четыре дворничихи свежевали асфальт, отделяя от него ледяную шкуру. Они были толстые, ватные, и женщин в них обозначали только затертые платки. Над ними равномерно тарахтело желтое механическое насекомое. Новенькое и поэтому еще иностранно аккуратное, размером на одного мужчину, который там и находился, курия и терпеливо дожидаясь, когда четыре дворничихи наковыряют массу льда, достойную его импортного автоматического совка. Женщины махали ломами и радовались красивой игрушке, эстетически разнообразившей их труд и содержавшей внутри мужской пол. Иногда механизированный мужчина включал наверху желтую мигалку и начинал резво гоняться за крайней дворничихой, желая, очевидно, обнять ее подвижной металлической лапой. Женщина смеялась и отмахивалась топором, вертикально приваренным на ржавую трубу.

Кошка брела к дворничихам. Васька поняла, что кошку приласкают без ее участия. Но решила хотя бы проследить этот процесс, удовлетворившись положением охраняющей силы.

Кошка приветственно изогнула хвост и позвала скрипуче ближнюю женщину. Та остановила руки и лом и оглянулась.

— Пашка, — крикнула она мини-трактору, — готовь машину, в роддом поедешь.

Тетки дружно захохотали. Но Пашка-трактор не услышал. Он выключил свою мигалку и теперь отдыхал. Женщина прислонилась к нему лом и нагнулась к кошке:

— Жрать хочешь? А место для еды у тебя осталось?

Та мяукнула и прижала котят к валенку.

Женщина выпрямилась и начала бороться с ватником, пытаясь проникнуть в карман. Ватник не был приспособлен для нерабочих действий и толстыми рукавами ограничивал подвижность. Женщина бесполезно в нем шевелилась и ругалась. Ее соседка отвлеклась от своей работы, чтобы помочь добраться до кармана. Сосредоточенно повозившись, что-то нащупала и крикнула:

— Тащи!

Вдвоем они выволокли из кармана скомканную газету, в которой покоился бутерброд. Женщина содрала с него колбасу и подарила завопившей от голода кошке. Кошка накрыла добычу шерстяной тьмой, сгустилась в шар и угрожающе загудела. Ее живот притих и приготовился обедать. Женщина зависла над животным, сочувствуя матери-одиночке, которую бросил ее кошачий мужик. Ругнулась негромко:

— Плодят несчастье бездомное.

И отвернулась к работе.

Васька потихоньку побрела дальше. Было жаль, что не она благотворительно участвовала в кошкиной жизни.

За спиной решительно затарахтело. Проснулся трактор Пашка. Заскрипел колесами по битому льду. Кто-то засмеялся. Но звуки вдруг сократились в безмолвие. Потому что в мире утвердился чей-то одинокий, безумный вопль.

Васька резко обернулась. Промерзшее пространство осыпалось сухим хрустом под ноги.

— Что, попалась? — спросил кто-то.

Опять был трактор и четыре дворничихи. Но все неподвижные. Шевелился только мужчина. Он бодро выбирался из механического панциря. У него было веселое лицо. Машина слегка покачивалась и тянула в небо мощную суставчатую руку. К беспалой металлической ладони жалось темное мохнатое пятно.

— Мастерски, — похвалил себя мужчина.

Дворничихи молчали и смотрели вверх.

Кошка суетилась лапами по железу, искала место, в котором можно закрепиться когтями. Но железо было твердым. Кошка сопротивлялась. Она хотела родить потомство раньше, чем погибнуть. Но со всех сторон угрожала пустота, рожать в которую опасно.

Васька ринулась вперед, вытянув руки, чтоб сразу схватить и убить. Или защититься. Или спасти. Она воткнулась прямо в середину мужчины. Он пошатнулся и засмеялся.

— Ты!!! — рявкнула она.

— Ох! — развлекся мужик.

Васька увидела его лицо. Оно ограничивалось низко натянутой вязаной шапкой и воротником фуфайки. Оно имело много зубов и в них сигарету.

— Отпусти! — приказала Васька.

— А? — как бы не понял мужчина.

Она поняла, что теперь его надо бить. Поискала на его лице чувствительное место. Там все выглядело очень твердым и прочным. Защищалось лицо откуда-то изнутри, где под толстой фуфайкой грелись сильные мышцы. Мышцы управляли телом и потому считались главной его частью. Голова исполняла их указания. Мышцы хотели действовать. Они устали отдыхать в удобной машине. Но мужчина не хотел обреме-

нять себя лидерством. Васька должна была быть первой. Он ждал удовольствия.

— Бабы живучие, — поторопил он Ваську.

Васька не шевелилась, чтобы сохраниться. Мужчина лез ей взглядом в глаза.

«Он будет хватать меня руками, ногами...» — тоскливо подумала Васька и сразу устала так, как будто получила по наследству память всех предыдущих женщин. Она отвернула лицо в сторону.

— Животные не выносят человеческого взгляда, — утвердил мужчина.

— Отстань от девчонки, — очнулась какая-то дворничиха.

Васька глянула вверх. Над головой молчала кошка. Внимательно светила на Ваську желтыми глазами. «Не достать», — прикинула Васька свой рост и длину рук. Кошка подобралась ближе к краю и зависла над Васькой, как обрывок ночного неба. К чему-то готовилась передними лапами.

«Прыгнет», — поняла Васька.

— Глаза береги!

Васька не отшатнулась.

Обрывок ночи накрыл ее голову, обхватил напряженными лапами и когтями прочертил по незащищенной шее путь своего спасения. Метнулся к стене дома и соединился с подвальным мраком.

Тетки охнули.

— Получила?! — захохотал мужчина, стараясь смехом израсходовать накопленную силу.

— Разрезвился, дурак! — прикрикнула одна дворничиха. — Убирайся в свою вонючку и работай давай!

Подошла к Ваське посочувствовать:

— Больно? Ну-ка покажи.

— Нормально, — отдернулась Васька. Подняла воротник пальто, чтобы не привлекать ненужного участия.

— Ну и ладно.

Тетки снова принялись раздевать дорогу. Трактор Пашки ловко и аккуратно сгребал отходы труда в ковш и сыпал на ближайшее хилое дерево.

Васька осторожно обошла энергичную машину. Трактор мелькнул веселым мужским лицом. Наверное, веселым всегда.

«Животные не смотрят на людей, потому что им стыдно за них», — сказала Васька не вслух. Все равно этот мужчина ее не услышит. Даже если будет очень тихо.

Металлическая ладонь врезалась в лед около самой ноги.

Васька вздрогнула и заторопилась. Она пошла, держась поближе к стене. Стена прикрывала и казалась надежной. Васька даже погладилась пальцами об ее кирпичи.

Она села в автобус, чтобы уехать подальше, где все незнакомо и поэтому хорошо. Город был достаточно большой, чтобы его не знать. Окна автобуса беспросветно замерзли и ничего не показывали. Автобус ехал неизвестно куда, но все верили водителю и не беспокоились. У водителя окно было прозрачным, но он пестрыми занавесками отделил себя и свое преимущество от остальных. Внешний мир пропадал неувиденным. Он мог стать чем угодно новым и неожиданным, но никто из пассажиров не задумывался о нем, и каждый раз двери открывались все в тот же застывший город.

Автобус в очередной раз зевнул дверями, и в него заскочил деловой крик:

— Товарищи, приобретайте абонементы!

Васька обернулась. Осторожно, чтобы излишне быстрым движением не выдать в себе зайца.

По салону неторопливо шуршало валенками малолетнее. Судя по равномерно тощим конечностям, оно существовало только в длину. Остальной объем имитировался затертой фуфайкой, разрисованной шариковой

ручкой, как стена в школьном туалете. Фуфайка иноязычно требовала поцелуев. Ее обитатель держал в руках пачку абонементов и навязывал их поштучно каждому пассажиру. Следом двигалась еще одна фуфайка. Ее содержимое было мрачным и молчаливым.

— Женщина, вам абонемент нужен? — по-взрослому обратилась к Ваське.

У торчащего перед ней существа Васька старательно отыскивала лицо, но худая голая шея упорно завешивалась сразу шапкой. Шапка была лохматая, тяжелая и мешала хозяину расти. Под ней висела роскошная тень, в которой деловая малолетка прятала свои основные приметы.

— Чего разглядываешь? — вдруг тихо спросила вторая фуфайка. Придвинулась к Ваське. — Берешь талон?

Эта имела меньший размер, но изнутри уже распиралась телом. Она не прятала настоженного взгляда.

«Абонементы ворованные, — дошло до Васьки. — И что теперь?»

Первая фуфайка тяжело вздохнула и двинулась дальше. Вторая ждала. Похоже, не денег, а подчинения.

Васька вытащила из кармана деньги, протянула:

— Честный нищий попрошайничает не за талоны.

Мальчишка плохо на нее посмотрел.

Разрисованная фуфайка заторопилась обратно, запуталась, запыхтела, потом решительно сдернула с себя шапку и протянула мальчишке:

— Возьми обратно, жить мешает. Жара.

— Дура, — мальчишка был недоволен.

— Девочка? — возмутился кто-то за спиной. — Как не стыдно!

Под глазом висел огромный, насыщенный синяк. Он тут же завесился давно не мытой челкой. На бледных слипшихся волосах болталась хлипкая заколка, украшенная железной божьей коровкой. Васька тупо следила за тяжеловесным эмалированным насекомым, сползающим по блеклым волосам. Мальчишка сунул ей абонементы и сдачу и прокуренно и мрачно внулшил:

— Мы не нищие. У нас по-честному.

Ткнул в разрисованную фуфайку и пошел на выход. Девчонка послушно заспешила следом. Стукнуло о пол железное насекомое. Девчонка испугалась:

— Подожди!

Но ее партнер уже вышагнул из автобуса и выдернул за рукав разрисованную фуфайку вместе с пригревшимся в ней покорным девчонкиным телом.

Дверь захлопнулась.

Васька выпрыгнула на следующей остановке. Хотела догнать начинающих грабителей. В кармане лежала заколка с божьей коровкой.

— Вшивая, поди, — предостерег кто-то в автобусе, когда Васька нагнулась за ней. Ее пальцы дрогнули, но не посмели еще раз потерять чью-то ценность.

Улица была чужая и притворялась отдельной от прочего города, потому что Васька не знала ее дворовой изнанки и никак не ощущала людей, живущих за стенами ее домов. Она не имела сочувствия к этому месту и просто отдыхала внутри себя. В теле налачился покой. Его тревожила только маленькая боль от не своих монет, как будто Васька украла их.

Навстречу шли два человека — один недавнее порождение другого. Мать и дочка соединились огромной авоськой, набитой грязной магазинной картошкой. Мать, надрываясь, перемещала тяжесть вдоль улицы. Дочка семенила рядом и училась надрываться. Она так старательно подражала матери, что уже приобрела такое же усталое и равнодушное лицо.

— Запаслись, — вздохнув, сказала девочка.

Мать промолчала. Они прошли мимо.

Внутри Васьки покой тихо умер. И никакое чувство его не заменило.

Васька снова посмотрела на улицу. Улица себя не любила. Одной своей стороной она презирала другую. Высокомерная сторона замахивалась угластными девятиэтажками на противостоящие некрупные и усталые дома. Старые дома берегли тепло, помогая себе розовыми оттенками внешних стен и заснеженной растительностью. Новостроенные мерзли голыми. Их создавали не для уюта, а для экономного размещения рабочих масс. Они тщательно прятали за собой солнце, и день на этой улице длился всего полтора часа. Потом включались фонари, и до утра тянулся вечер.

Рабочий район. Васька определила происхождение улицы и через это все о ней узнала. Она ощутила в себе внезапную голодную пустоту. Оказывается, на свете так мало нового, которым можно заполниться. Она сразу привыкла к этому месту, как будто оно являлось продолжением ее родной окраины.

«Чего же мне тут искать? — вспомнила она свою большую идею. Я знаю, что тут ничего нет».

Откуда-то надвинулся большой и теплый ветер. Подвернулся удобно для вдоха. Он пах сырой землей и слабым непроезженным дымом.

«Весна?» — удивилась она и развернулась к ветру. Увидела тесный переулок. Старые дома смотрели друг другу в окна и молчали. Ей показалось, что здесь может быть тепло и без весны. В кармане брякнули монеты. Под ними задвигались распласталась божья коровка. Может, фуфайки свернули сюда? Если бы мне некуда было пойти, я бы выбрала это место.

И Васька отвернулась от большой несчастной улицы.

Двухэтажки были разными. Люди жили в них так давно, что стали достраивать их по своему желанию. На сношенных подошвах балконов они ставили свои собственные, негосударственные домики, отделявая их по привычке одинаково. Домики уважительно именовались лоджиями. Васька брела под балконами и удивлялась однообразию сооруженного. Ей бы хотелось, чтобы они походили на хозяев, а не друг на друга. Потом поняла: чтобы что-то стало красивым, оно должно быть своим. А эти крепости возведены на чужой территории.

Рядом с ней мелькал остатками узоров старый чугунный забор. Она обрадовалась ему, как знакомому.

В Васькины школьные времена очень уважались субботники. На одном мероприятии по сбору металлолома их класс для победы и большего громогласия явился в Васькин двор и с точно такого же забора снимал ворота. Ворота были тяжеленные и никак не отгаскивались от своих столбов. Но коллективная сила победила и удовлетворила желудки призовыми конфетами. Остальной забор разгромили следующие поколения. Без забора кусты обломались, трава вытопталась, и Васькин дом стоял теперь на пустыре.

Здесь, наверное, нет поблизости школы.

Забор свернул и застыл своей дорогой.

Васька втянула в себя ветер и обрадовалась, что он еще не остыл.

Дома подросли до четырехэтажек. Васька не хотела, чтобы теплый район выродился в новостройку. Но дома медленно раздвинулись и обозначили за спинами неясную пустоту, будто там вместе с человеческим жильем заканчивалась вся земля. В ладонях народилось ощущение странной тяжести, захотелось приложить их к чему-нибудь и, запустив в работу напрягшиеся пальцы, сотворить что-то важное, прекрасное и всем нужное. Ладони помнили, что когда-то несли в себе это.

Она боялась потерять направление. Пространство легко вдыхалось и выдыхалось и пропускало сквозь себя, ничем не задерживая и не угнетая. Мимо плеча тяжеломерно протопала толпа деревьев и пронесла на голых ветвях клочок ослепительного неба. С неба к деревьям упали птицы и заше-

лестели, как черные зимние листья. Ветер уплотнился в стену и пронзающий бешеный свет. Васька вылетела прямо к солнцу. Захлебнулась светом, съезжилась, закрыла глаза. Все равно было ярко, слишком много за один раз. Она долго привыкала к освещению внутри себя, к красноватому мерцанию прозрачной кожи.

Глаза не желали открываться. Они напитались солнцем и самостоятельно сияли под закрытыми веками.

«Они станут желтыми, как у кошки, — захотелось Ваське. — Я буду светить ими через темноту».

Но глаза погасли. В теле наступили ночь и сон. Васька с сожалением очнулась. Солнце уже привыкло к человеку и не прожигало насквозь.

Край земли. Поэтому солнце так близко. Васька глянула вниз, чтобы скорее увидеть, чем завершается мир.

Город.

Заблудилась. Думала, что давно покинула и уже забыла, и вот вернулась в самую его середину. Окраина кончилась центром. Петля.

Город громоздился ниже неба и ниже Васьки. Крыши ближних домов стелились на уровне ее пяток. Царапались телеантеннами. Васька сморщилась от металлической щекотки и отступила назад. Было ясно, почему проветрено и почему близко солнце. Она случайно возвысилась остатком горы.

Васька отвернулась. Мир сдвинулся в тесные задворки. Темнела куча объемистого хлама. Хлам шевелился чем-то одиноким и потерянным. Васька шагнула к потерянному, чтобы найти его.

Хлам тлел бывшим квартирным уютом. Вынесенный на помойку, он пытался обжить ее своими шкафами, но те, не найдя, к чему прислониться, упали навзничь, вжав слабые фанерные спины в снег. Город оказался комнатой, непосильно большой, и уют развалился, осел мусором в одном из углов.

Вдоль хлама тихо шелестела бабка. Хлам, устало дымя, мучился неудавшимся костром. Бабка отмахивалась от копоты скрюченной рукой и палкой изучала последствия перестроек. Из снега вывернулся раздробленный будильник. Скрипнув напряженным горлом, бабка нагнулась за ним. Будильник доверчиво уставился ей в лицо и, скатившись в ладонь, коротко звякнул.

— Ну-ну, бедняга, — посочувствовала ему бабка и сунула в рюкзак. Там стеклянно громыхнуло.

Бутылки, — определила Васька бабкин способ жизни.

Бабка неожиданно развернулась и ткнула в Ваську взглядом. Взгляд был ниоткуда. Васька вдруг вспомнила, что она торчит за чужой спиной совершенно бездельно и даже надзирающе, и забеспокоилась. И чтоб исправить в нужное и неслучайное, дернулась рукой в карман и вытащила горсть денег.

— Вот... Возьмите.

По монетам с тихим скрежетом ползла эмалированная божья коровка.

Бабка внимательно разглядела подаяние, примерила взглядом к Ваське, соответствия не нашла и отвернулась:

— Чужого не надо. Я не нищая.

— А кто? — глупо изумилась Васька и сразу глупости испугалась. — Извините, пожалуйста.

Ей не ответили. Бабка замерла перед опрокинутым, растерзанным шкафом и пыталась вывинтить из него пузатую ножку. Васька придвинулась ближе и вежливо выломала упорствующую деталь.

— А зачем это вам?

Бабка засунула ножку в карман. Ножка провалилась в бездну. Низ пальто отяжелел.

— Дети приехали. — Бабка перекосила лицо корявой усмешкой. — Сказали: а зачем тебе? Хлам.

Ваське вообразилась бабкина квартира — свистящие пылью пустые углы.

— А теперь? — осторожно спросила Васька.

— Теперь другой хлам, — поправила воображенное бабка. — Полированный. — И вдруг пожаловалась: — А сами уехали. Сказали: а зачем тебе?

Васька отвернулась в невидящую сторону. Под взгляд вывернулся мертвый шкаф.

— Вы хотите его к себе? Сломано ведь все.

— Сломано, — подтвердило из-за плеча осипшее эхо. Окрепло в бабкин голос: — Ничего. Вот ведь тоже сломано, а живое. — Из дрожащей руки глядел слепой глаз будильника.

— Ваш? — Васька пожалела бабку.

— Нет, — помолчав, ответила бабка, устало вздохнула и спрятала будильник в рюкзак.

— А зачем он вам? — удивилась Васька.

Бабка, замерев, прислушалась к вопросу, коротко глянула и отвернулась насовсем. Васька поняла, что спросила что-то не то.

Бабка гладила шкаф:

— Бедняга. Ну ничего. Домой скоро. Как-нибудь дотащимся.

Выволокла из обломков ящик, неудобно втокнула его в рюкзак. Бормотала себе дальше:

— Все разваливается. Говорят — хлам. Так в хлам-то все можно, это нетрудно, если постараться. Все и стараются. Никто и не хочет, чтобы спасти...

Вздернув рюкзак на плечо, направилась к дому. До Васьки донеслось последнее:

— А пора уж.

В рюкзаке щелкнул и задушенно завопил будильник.

Ваське вдруг померещилось, что звон вот-вот переродится в сирену, горизонт вытолкнет в небо бесшумное и стремительное, следом вырвется потерявшийся грохот, тряхнет облака и вывернет их наизнанку. Она замурилась.

— Ну что с тобой? — ласково спросили рядом. — Чего боишься?

Васька открыла глаза навстречу сочувствию.

Сочувствовали не ей. Бабка утешала орущий будильник. Васька отвернулась прочь, чтобы случайно не обидеться. «На что? — оправдывала она бабку. — Она умеет жалеть только больных. А я целая». Ей стало легче оттого, что у нее все пружины на месте, и время не стерлось до пустоты и бездвижия, и лицо еще не слепое, как циферблат.

«Зачем мне бабка?» — удивилась она.

В глубине городских ущелий висел низкий туман. Смог? Такой непроглядный? Туман был мягок, неподвижен и без производственных оттенков. Лес, догадалась она. На него смотришь из города, и поэтому он не похож. Город подделывает его под себя, и он как дым. Чтобы никто не вспомнил, что можно жить по-другому.

Васька смотрела сквозь город в лес. Он еще на свободе? А не в подвале, где ржавая осень и дождь из труб?

Лес был далек и почти неразличим. В него через разлом многоэтажных домов доверчиво влилось небо. Лес принимал его осторожно и не выставлял под облака жестких углов.

Ей вдруг тоже понадобилось заботиться о незащищенном и слабом. Но она была одна. Тот, кто обитал внутри, еще хранил самостоятельность, не нуждаясь в сторонней помощи. Ваське захотелось поскорее родить его, чтобы любить отдельно от себя. Потом стало неловко заботиться опять о себе, хотя бы и в виде отпочковавшегося ребенка. Она поторопилась от-

влечься на далекий лес и его небо.

В лесу всегда тепло. Там нагревается ветер, чтобы укутывать землю очередным летом.

Под ногой шевельнулось твердое. Из снега выпирал кирпич. Прямо в Ваську прорастала многоэтажка.

«Мне нет здесь места», — взвыло в Ваське, и почудилось, что воет не она. Васька снова была дикая. И хотела домой, в жизнь по-другому. Не в человеческую нору, а в свой дом, не затоптанный городом. В лес. Он хранит все, что нужно для жизни. Там можно рожать свободных.

Захотелось завывать еще громче. Но она просто заплакала, потому что была человеком. Она потому и плакала.

Домá тупо таращились на нее тусклыми окнами. Они не умели стыдиться и отворачиваться. Васька длинно втянула в себя все всхлипы и сдавила их легкими. В груди заболело. Она вздохнула и отправилась искать автобус. Она решила выбраться из города, и, может быть, насовсем.

Она думала одну странную мысль:

«Раньше я не боялась умереть. Выходит, я только теперь захотела жить?»

Или захотела выжить.

Она вышла на остановку и мысленно потребовала себе рейсовый автобус для скорейшей эмиграции за пределы города. Она захотела ощутить мир безлюдным, вечно покойным, укачивающим небо в мягких верхушках деревьев. Хотела вложить этот покой в себя и стать чужой городу, чтобы утратить привычку верить в его необходимость.

Начало — у конечной остановки, решила она. Конец города — это лес.

Она пробралась в промерзшее нутро прибывшего автобуса и отправилась готовить городу предательство.

Город выбрал ей скучный и долгий путь, в обрамлении труб, тяжелых стерегущих заборов, сквозь зародышей новостроек, мусор окраин, по улицам узким и кривым, как презрительная усмешка.

Конец. Васька рванула из автобуса. Перед ней тянулась вверх и плавно заваливалась вдаль мощная снежная стена. На нее опирался край клубящегося белого неба. Вбиваясь ногами в отвердевший снег, она полезла в облако.

Гора медленно выпрямлялась в неприступную вертикаль. Но внезапно кончилась хорошо проветренной пустотой. Сейчас будет вершина. Васька торопливо создала внутри торжественность.

На нее смотрели домá. Крыши ближайших стелились под ноги. Кололись телеантеннами.

Она растерянно оглянулась назад на автобус. Тот мирно пыхтел двигателем. Но закрыл двери, чтобы никого не спасти своим внутренним теплом. Из-под автобуса разъезжалась в стороны улица. Город опять обманул — провел свой автобус по кругу.

Внутри что-то схлопнулось, сократилось в мелкую, пронзительную тоску. Бьется над желудком, там, где место голода и предчувствий. Васька осторожно накрыла место ладонью. Вниз скользил склон бывшей горы. Подножие обшито асфальтом и украшено гирляндой машин. Конечно-исходная остановка.

Автобусам она больше не верила. Она посмотрела сквозь город в лес, чтобы ощутить дорогу для ног и не потеряться в хаосе улиц. Многоэтажные ущелья заплывали тенью близкой ночи. Васька заторопилась. Остаток горы пробежал скользкое место и лихо свез ее прямо к застывшему асфальтовому приборю.

Склон горы изуродовался царапиной. В обнажившейся земле запульсировала большая точка. Васька осторожно отняла от нее руку и вместе с

ней боль. Рука была ободрана и страдала живой проступившей кровью, вмешанной в тающий снег.

— Ну вот, — проворчала Васька холму. — Побратались.

Бережно запечатала рану в кулак и в карман, как случайно найденную ценность. Боль царапала ладонь, как недавно рожденное незащитное существо. На шее родственно затосковала посадочная кошкина полоса.

«Она по мне, — вспомнила Васька, — а я по горе. Все спасаются».

Мир был логичен, и она отправилась в дальнейшее в нем выживание.

Улица разлилась площадью. Урны на постах, фонари злы и ответственные. Здесь предполагалось главное место города. Площадь была чуть выпуклой и совершенно лысой, будто ее замысливали черепом умного человека. Лысину венцом окружали серьезные учреждения. Их переполняли люди, считавшие себя центральными, поскольку имели рабочее место в центре города. Отсюда они руководили людьми окраинными.

На самой макушке, выложенной мрамором, стоял танк. В нем воплотилось множество людей, очень давно переработавших свои одинокие жизни в единое существо железной машины. Истощившиеся их тела возвратились земле, той, что впоследствии утопталась в главное место города. Гладкие плитки, зализавшие землю в плоскость, служили эстетике, пешеходному удобству и исторической тайне. Они не помнили имен, заключенных под ними. Заключенные не протестовали, но каждую весну наружная лысина мучилась слабыми травяными ростками, которые приподнимали плиты и нарушали порядок. Тогда в торжественную субботу из серьезных учреждений выходили центральные люди и, предохранившись новыми брезентовыми рукавицами, обривали площадь до умного состояния.

Ненависть состояла из множества грубых деталей, собранных в одно бронированное тело. Она основалась в центре мира, сдвинув прочь дома, чтобы не мешали обзору. Или обстрелу. Для удобства завоеваний. Для удобства завоеваний ненависть была машиной.

Танк.

Совсем не памятник, хотя и обездвижен постаментом.

Он не умел помнить, потому что его сделали для уничтожения. Он был прочен и имел в себе только одно чувство. И крупнокалиберное средство его выражения, теперь наглухо забитое металлической пробкой. Поколения Новых не желали слушать его голос, и танк молчал. Его одинокое чувство копилось в нем безвыходно и очень давно, нагнетая в мертвом потребность стать живым.

Танк ждал врагов. Он рассек город невидимой линией фронта, чтобы было ясно, что от чего защищать.

В прицел вышагнул человек.

«Стой!» — насторожился пушечный ствол.

Васька остановилась.

«Враг», — определил танк-копашащееся перед ним.

— Танк? — удивилась Васька. Потом разглядела: — Памятник.

И качнулась в сторону, чтобы с почтением обойти.

Качнулся пушечный ствол. Васькин взгляд втянулся в нутрянную черноту орудия.

— Памятники не шевелятся, — сказала Васька.

— Я не памятник, — сказал танк.

Васька задергалась, внушая себе, что уже уходит. Получилось несколько шагов. Мраморные плиты отбили их в чеканную поступь.

«Я не марширую», — возмутилась Васька.

«Левой, левой», — поторопил мрамор.

«Стой», — скомандовала себе Васька. Она не хотела, чтобы каменное эхо чеканило из нее что-нибудь регулярное.

Васька покосилась на танк. Зевнула пустота пушечного ствола. Прямо в лицо крикнуло что-то холодное.

Стерся шум города. Она сразу оглохла. Она осталась совсем одна перед выстрелом.

«Враг», — позвало металлическое горло.

«Я прохожий, — задрожало в Ваське. — Мне нужно идти».

«Нет, — потянулось из танка. — Ты мой враг. Я так долго ждал тебя».

«Я не хочу умирать, я свой». Васька рванулась назад, в живой город. Но в подошвы снова звякнула площадь. Подбила сапоги железом. Они отяжелели, кирзово заскрипели и царапнули ноги необношенными внутренними углами. Запахло портянками.

«Приказываю...» — прозвучало рядом.

«Нет...» — Васька замерла, затоптав марширующее эхо. Она не хотела вербоваться в подчиненные.

«Не уйдешь». Танк не шевелился. Из ствола выполз сухой сквозняк и с ним обещание: «Я буду любить тебя — и убивать».

Сквозняк толкнулся в лицо. Запахло жарвым. Васька отвернулась, пробормотав:

— Больше одного раза убить нельзя.

«Можно. — Ствол подергался, чтобы уточниться на Ваське. — Я убью тебя дважды».

«Ребенок, — испугалась Васька, прикрывая живот. — Откуда он знает?..»

«Я просто знаю, для чего ты есть», — четко ответил танк.

И Васька вдруг ощутила, как прямо в нее, разорвав в клочья податливое воображение, вламывается механическая тяжесть и прокладывает свой рубленый след через сократившееся сердце и будущее тело другого человека.

«Не надо». — Она потянулась вниз, на черный мрамор. Она была слишком слабой, чтобы нести в себе войну.

Гусеницы гремели и рвали землю. Танк медленно поворачивал башню, напоминая орудием: она была в прицеле.

— Подожди, — зашпешила Васька, — не надо. Я стану твоим врагом, и ты меня убьешь, только не сейчас. Потом. Когда я буду не вдвоем. Я приду.

Танк молчал. Ветер начищал его механизмы. Рыжая пыль заполняла туманом площадь, и город, и небо. И пахло дальним заводом.

— Какое все красное, — устало сказала Васька. Танк не шевелился. — У меня еще есть время.

Она сказала танку:

— Пока.

И побрела прочь, выводя из-под обстрела будущего спасителя. Черный мрамор молча выпустил ее в город.

Город размножал улицы переулками, путая в себе Ваську. Улицы впечатывались поворотами в память и множились в голове. В голове наступал вечер, и по внутренней тесноте брел человек. Сквозь и не замечая. Он заблудился. Он что-то искал. Или вспоминал. Она торопливо запрыгнула в подвернувшийся трамвай, съезжилась на потертом сиденье и, пригревшись у собственного живота, нечаянно заснула.

Телевизор излучал сумерки. Сумерки рождали усталость и внезапный сон в кресле. Мать отгородилась пледом и в шерстяном доме грела свой прошедший день.

Васька прокралась на диван и вытянулась. Впустила в себя сонное мерцание экрана. Звуча не было. Телевизор объяснялся знаками. Бежали человеческие закорючки. Следом полз тяжелый механизм. Он дымил, и человеческие закорючки сворачивались в знаки боли.

«Война размножается». Ее затошнило.

Бой в телевизоре закончился. Васька поднялась и погасила телевизор вместе с его войной. И вдруг увидела летящее круглое. Через ближнюю темноту с тихим гулом проносилась маленькая, очень цветная планета. Васька протянула руку и сорвала ее с траектории. Планета коснулась поверхности телевизора, и стало ясно, что она не пролетала, а падала. Планета тяжело ткнулась в ладонь. Она была не круглая, а слегка вытянутая, словно внутри ее толкалось живое, но не умело родиться наружу.

«Беременная планета, — обрадовалась Васька и неожиданно узнала: — Яйцо».

— Пасхальное яйцо, — сказала мама много лет назад.

Но сначала это сказала незнакомая старуха, постучавшая в Васькину квартиру. Поздоровалась непонятно:

— Христос воскрес.

Мама смутилась, пробормотала что-то тихое и захотела убрать Ваську в комнату, но бабка поймала Ваську за руку и уронила в ладонь тяжелую планету.

— Это пасхальное яйцо, настоящее. Серебряное. Подарок тебе.

Васька вздрогнула и оглянулась. Мать по-прежнему сидела в кресле.

Васька попыталась увидеть ее лицо, но его прятал плед. Мать отдыхала неудобно, чтобы легче было проснуться для новой работы.

«Она чего-то ждет, — показалось Ваське. — Так поздно?»

Глянула в спальню. Темнота шевелилась дыханием отца. «Дома». Решилась окликнуть:

— Мама. Иди спать. Поздно уже.

Плед шевельнулся и сдвинулся с матеиноного лица. Лицо развернулось к телевизору. Потом к часам. Сон разогнался тревогой, мать нахмурилась.

— Мама, — забеспокоилась Васька, — иди ложись... Ты ждешь кого-то? Мама!

Вскрикнул телефон. Мать неожиданно сорвалась с кресла и заспешила в коридор.

— Алло.

Голос срывается, просит о чем-то у телефонной пустоты.

«Может, с братом что случилось?»

— Алло. Говорите. Вас не слышно!

Голос матери вбивался в трубку. Трубка гасила его какой-то далекой молчащей точкой.

— Васенька, — вдруг мягко дрогнул голос в коридоре.

Васька послушно шагнула на зов.

— Дочка, — тоскливо звала мать в трубку. — Ты слышишь?

Ваське показалось, что ее собственное тело замерцало, распадаясь, и начало навсегда исчезать из мира.

— Мама, — попыталась удержаться она, — мама, я здесь.

Дрогнул телефон под материной рукой. Подпрыгнув, сбросил с себя крышку. Обнажились пластины и проводочки. Засияли идиотски счастливо: классно шутим, да?

— Сломался? — недоуменно пробормотала мать и, коснувшись пальцами блестящего, поверила: — Сломался. Бедняга.

Неуверенно опустила трубку на торчащие рычаги.

— Мама, — шепнула Васька из ниоткуда. — Я хочу тебе что-то сказать.

Мать уходила по коридору.

Васька осталась одна. Теперь никто не узнает ее тайны. Не захочет узнавать.

В детстве Васька грела серебряный бабкин подарок в шерстяном платке на батарее, надеясь, что высидится кто-нибудь волшебный.

— Спаситель, — грустно усмехнулась Васька нынешняя. — Только беременная планета теперь я.

«Соберу красивые вещи, — решилось вдруг. — Буду высиживаться в благородном уюте».

Васька огляделась, ища что-нибудь достойное, чтобы сразу унести с собой. Мебель выступала стандартными углами. Шкафы мечтали развалиться, Васька отвернулась от них к старой тумбочке, которая не боялась работы и до сих пор легко распахивалась навстречу человеку. Здесь хранились материны воспоминания.

Мать спала.

Васька перебирала шелестящее. Тумбочка хранила много счастья, впечатанного в открытки с сытыми детьми, медальоны с ясным небом и кипарисами, остатки чего-то стеклянного, фотографии с голодными лицами и истлевшие бумажные салфетки. Еще из тумбочки высыпались проволочная корзинка с обрывками ниток, ваза, сшитая из открыток, и ракушка, в которой высохло море. Все было легким, не имеющим ценной тяжести. Оно беззвучно соскальзывало с пальцев в накопленную пыль и даже не будило мать. Васька никак не могла понять, как в этом непрочном и бесильном удержались ее родители. И не провалились сквозь время на плотное дно века, когда из серебряных пасхальных яиц вылуплялись тихие сытые вечера, а дни нарастали медленно и основательно, как древесные кольца.

— Просто дно оказалось слишком глубоко, — возразила себе Васька. — Так глубоко, что их полета хватит и на меня. Я тоже вниз. В прошлое.

Заплутавшись во времени, Васька снова увидела скользнувшую от лица дверь. Лязгнула открывающаяся ручка, и на пороге возникла старуха. «Христос воскрес!» «Мама», — вдруг узнает Васька. Мать берет ее за руку, кладет в ладонь непонятное и произносит: «Помни меня». Васька смотрит на свой кулак и боится разжать пальцы, потому ничего под ними не ощущает. «Мама. Не надо. Я и так буду помнить».

Она ощутила в себе ребенка. Он был почему-то очень тяжелым. Как будто раньше кто-то помогал носить его, но потом передумал, ушел.

«Просто он растет, — попыталась она выдумать другую причину. Усмехнулась обману. — Он растет, только когда кто-то уходит. Может, все, кто уходит, возвращаются в меня?»

Ей стало не так одиноко.

В руке грелось серебряное яйцо. Васька сжала его, чтобы почувствовать кожей, бьется в нем что-нибудь живое или нет. Билось в Ваське.

«Я беременная планета, — сказала она себе. — Планеты всегда отдельно и далеко».

Она сняла с ладони яйцо и осмотрела царапину. Из ладони стучало.



АЛЕКСАНДР СОРОКИН



В ОТЕЧЕСТВЕ ДРУГОМ

Признание

Мой город на семи заплаканных холмах
был тих и златоглав, стал мрачен и двулик,
и мне ли воспевать его слепой размах,
законность грабежа и важность умных книг?
Но ревностью своей я у Москвы в долгу
за то, что, осмелев, держусь особняком —
и неподдельных чувств, просящихся в строку,
не смог бы испытать в отечестве другом.



В тоске покидая любовью отравленный дом,
ушедший от славы и тяжбу затеявший с Богом,
он знает, что сердце не может болеть о пустом
и печься о малом, томясь в одиночестве строгом.

И, глядя сквозь слезы на жалкие прутья ракии,
на тихое небо, зовущее в область иную,
быть может, одно про себя неотступно твердит:
«За что так любовно я жизнь эту к смерти ревную?..»



Он написал: «Мой дар убог...» —
не бурям жизни бросив вызов,
но ясно ощутив итог
ее мечтаний и капризов.
И то, что зреет в тишине
для новых мук и жизни новой,
от грубой славы в стороне,
воспел он с нежностью суровой.

* *
*

Неиссякаем тревожащий нас изнутри
всепроникающий и ускользящий свет.
Некогда Хлебников выдохнул: «О, озари!»...
«Не исчезай!» — через годы шепчу я в ответ.

Трудно сражаться с судьбою один на один
и воздвигать, не имея иного жилища,
мост над потоком несущихся бешено льдин,
дышащих ужасом мрака и небытия.

* *
*

Этой темною тропой
от пустой платформы к дому
мы всегда идем с тобой,
как по берегу крутому.

Никуда свернуть нельзя,
точно вправду перед нами
не дорога, а стезя
брезжит тусклыми огнями.

Тьма сгустилась за спиной
кровью вечного заката,
и отрады нет иной,
как стремиться вдаль куда-то.

Только тем, что впереди,
мы и можем быть согреты
на завьюженном пути
к берегам просторной Леты.



АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ



ВРЕМЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА

* *
*

Все! — И с лавочки перронной
Вскинуться слегка
На олений, на влюбленный
Крик товарняка.

Проводить на электричку,
Закурить дымок,
Ткнуть обугленную спичку
В старый коробок.

Вроде тучка наползала,
Да простыл и след.
В ресторане у вокзала
Надпись: «Пива нет».

Нету счастья, нету пива,
Небеса пусты,
Только частая крапива —
Жгучие листья.

Да в ее пределах пыльных,
Около тропы
Спит на вывернутых крыльях
Парень из толпы.

И в сопенье этом кротком,
В жилке у виска
О конечном, о коротком
Вечная тоска.

* *
*

Когда-то я себя придумал,
Умом и сердцем наделил,
А свежий ветер только дунул
И все до боли оголил.

Глазами полного невежды
Гляжу за крайнюю черту,
Где одуванчики надежды
Летят и тонут — в пустоту.

* *
*

Стелет осень тумана изорванный ватник,
Протяженных ночей не скрывая зевоту.
Где-то в ельнике вякает тетеревятник,
Исторгая тоской искаженную ноту.

Эти дальние вопли тревогу ухода
Бередят, как раскрытая настезь квартира,
Будто ранняя осень текущего года
Совпадает с великою осенью мира.

Будто вьяве труба пробудила химеры,
И проносится через леса и овраги
Бледный всадник, в руке не имеющий меры,
На последней не съеденной нами коняге.

Последний автобус

Несет автобус три цифры Зверя
В широком лбу.
Мы перестали считать потери
Былых табу.

Но пальцы милой милее лилий
Для губ моих.
Да, мы блаженны, коль посетили
Пир всеблагих.

Нам среди стаи да среди стали
Досталось жить.
Но эти пальцы не перестали
Доить и шить,

Стирать постели и телогрейки,
Тереть полы,
Когда навеки упала в реки
Звезда-полынь.

Уже другая о прежнем прахе
Скорбит душа...
Спи, дорогая, какие страхи
Нас сокрушат?



А. ВЕРНИКОВ



ВВЕРХУ И НА МЕСТАХ

Рассказ

Автор выражает глубокую признательность А. Платонову за неоценимую помощь в написании рассказа.

Жизнь в поселке Бурая Глина, как и во всех малых глухих местах, где есть люди, была бедна событиями. Такие поселки и деревни неизбыточно существуют в своем голоде на происшествия, питаются, чем мир пошлет в газетах, по радио и — в последние годы особенно — по телевизору, и местные потихоньку происходящие случаи редко преграждают путь к сознанию поселковых людей приходящим откуда-то издалека волнам многосерийных фильмов, жадно улавливаемым внушительными чувствительными антенн, поднимающимися, как более важные, гораздо выше труб исконно русских или обрусевших голландских печей, которые отапливают дома внутри, готовят их обитателям уже привычно незамечаемый достаток пищи. Дымоходы, подобно одной из всех важнейших и неизбежных для быта частей тела, выросли давно и сразу до своих крайних размеров и больше не растут, а антенны продолжают множиться, ветвиться и пышнеть, как усы, без наличия которых невозможна ни мысль человека о собственной готовности для всей жизни, ни сама полнота ее.

Поэтому буроглинцы, как и другие поселковые люди, чаще и больше других ждут войны от врагов, метеорита или инопланетян с неба, обнаружения Атлантиды под водой, золота в земле под ногами или разрушительного урагана из воздуха, но, когда событие вдруг действительно приходит, они оказываются неготовыми к нему — подобно тому, как голодающий, заснувший от голода за столом, видящий и поглощающий в этом страшном сне пышные яства, приходит в замешательство перед буханкой хлеба и толстым шматом сала, упавшим перед ним на стол с ошеломляющим и пробуждающим громом от своей тяжелой телесной плотности и заключенной в ней настоящей сытности.

Так случилось с буроглинцами и в ту осень, когда во всей стране, в далекой ее столице Москве, скончался бессменный Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев, а в самом поселке Бурая Глина в те же дни умер от сердечной недостаточности агроном Виталий Михайлович Поляков.

Две эти вдруг совпавшие смерти, два этих несчастья — там и здесь — взбудоражили зазимовавший поселок, и он напрягся и загудел, занявшись трудом переживания события. Все люди Бурой Глины от мала до велика скоро изустно узнали, как умер Поляков: после бани, пройдя десять шагов к ограде дома своей старой матери, посинев лицом и осев в свежий снег. Но о том, как в тот же день и почти в тот же час умирал и скончался Леонид Ильич Брежнев, никто в поселке, естественно, доподлинно не

знал, и взрослые, читающие люди ждали газету с некрологом и всюду, где только можно, слушали радио и телевизор. Однако приметы одного, ближнего, несчастья в умах буроглинцев, еще не дождавшихся или уже пропустивших сводку по радио, перенеслись на другое — дальнее и общенародное, и тем оно сразу сделалось близким и острым. Когда же стало наконец известно, что Леонид Ильич тоже умер от сердца, люди в разных местах Бурой Глины печально и понимающе покачали головами: мол, так они и знали, от чего умирают нынче настоящие люди — от сердца, ставшего больным и неспособным от тревог жизни и ежечасных тяжелых забот ее; от больного сердца — от чего же еще умереть работающему весь свой век на благо других людей, хозяйственному и непьющему человеку?

Агроном Поляков не пил водки никогда, с самой юности, — ему было некогда: заботы о совхозных полях, о четырех давно оставленных ему беспутной и бежавшей с другим мужчиной женой детях, о доме для детей уничтожали все его время, оставляя в течение двадцати лет по пять часов для сна ежесуточно. Это говорилось и повторялось на разных углах и перекрестках занесенных снегом улиц Бурой Глины и в ее надежных, срубленных из лиственницы домах. В этих же домах и на улицах одновременно и в неизбежной связи поминались недобрыми словами намозолившие всему поселку глаза неисправимые пьяницы, беспутники, тунеядцы и гулящие, преступные, бросающие своих детей и живых мужей женщины. В других же домах над этими самыми личностями, паразитирующими на шее у работающего и хорошего населения Бурой Глины и загоняющими самых лучших и поэтому подверженных его представителей в могилу, были устроены самосуды и скорые, гневные, праведные, горячие до побития скалками и деревянными толкушками расправы; и вся эта поселковая шваль и позор поджала хвост и не показывалась на глаза, чтобы не осквернить своим соседством редкое, чистое и высокое время скорби людей и чтобы не мешать им переживать событие.

Однако, естественно, были в поселке в эту пору и главные дома, которые находились по-своему ближе всего к тому, что случилось и происходило теперь на свете и в самой крепко приобщившейся к свету, засыпанной на зиму снегом Бурой Глине. Таких домов было два, и первым, конечно, был дом, где прожил свою тяжелую неполную жизнь Виталий Михайлович Поляков и больше не будет жить в нем никогда. Дом этот на пригорке под двумя высокими тополями все коренные буроглинцы узнали теперь лучше, хотя знали его и раньше. Небольшому же количеству людей, прибывших сюда на жительство недавно, дом этот был показан либо издали, либо было рассказано, где тот находится, и названы приметы: пригорок, и два больших тополя, и, как лучший ориентир, — водонапорная башня. Все остальное, кровно непричастное к Виталию Михайловичу население Бурой Глины тянулось к его дому непреодолимой силой, и, хотя благодаря обострившемуся вниманию многими было замечено то, как ладно и умно построен и поставлен дом, и то, что стоит он, конечно, на самом красивом месте поселка, все же люди стеснялись приближаться вплотную и ходить под окнами. Вместо этого они описывали вокруг дома, каждый человек своего размера, большую и неровную окружность, чтобы получить возможность оглядеть дом со всех сторон; и, таким образом, они все время как бы держали равнение на дом покойного агронома и создавали разреженный, но непрерывный круг почета и ждали последней минуты, когда станет уже можно подойти совсем близко, чтобы попрощаться с телом Виталия Михайловича и посмотреть, что смерть так быстро сделала из живого человека. Внутри же дома собрались и почти не выходили на улицу все ближайшие и двоюродные родственники. В пяти комнатах стало одновременно так много осторожного народа, сколько живой Виталий Михайлович отроду не видел у себя, но увидеть их и обрадоваться уже не мог.

потому что сам был вдалеке в своей смерти, а тело, оставшееся от него, ждало своей очереди в райцентровском морге.

Взрослые люди, расположившиеся и пребывавшие в комнатах, несмотря на свою численность, ощущали бесприютность и пустоту дома и стыдились сами за себя, не зная отчего, — а стыдились они того, что их так много и они родные, но не могут из своих жизней выделить нужного тепла и здоровья, чтобы Виталий Михайлович снова оказался целым и ходящим на ногах среди них и чтобы они могли пойти к себе в дома. А так как они не верили в это и знали, что так не будет, то они просто без труда, незаметно поддерживали жизнь в себе едой, растопкой печей, разговорами и памятью и ждали, когда тело покойника привезет из города поехавший за ним туда грузовик.

Не верила в то, что так все и будет, только старая полуслепая мать Полякова, на которую он был похож лицом, и поэтому она в своем горе и непостижении события все время плакала, рыдала, молилась и разговаривала с сыном сквозь непонятную ей, сделавшуюся между ними даль...

Старшие сыновья, юноша и подросток, которые приехали из города, где тяжело учились и плохо вели себя в ПТУ, присмирив и сделавшись умными от раннего осиротения и утраты, тесали и сколачивали во дворе вместе с дядькой гроб отцу. Младшие же дети, совсем испортившиеся в своем росте без матери и при больном и слабохарактерном отце, ничего не понимали и украдкой шалили.

Во все время в доме не включались радио и телевизор, потому что мать и самые близкие не хотели ничего слышать извне и знать оттуда о сопутствующей и случайно совпавшей смерти другого, такого большого человека, чтобы вдруг не заинтересоваться и так не уменьшить своего горя. Однако траурная музыка, звучавшая по всей стране, раздавалась и вытеснила собой привычный воздух и в Бурой Глине, и не так оглушенные горем более молодые и дальние родственники слышали ее, выходявшую из большого усилителя под высоким коньком крыши поселкового клуба, и иногда приближались к открытой форточке, чтобы послушать, потому что про смерть своего брата, дяди, шурина они знали уже все, и теперь им хотелось узнать и про смерть в Москве Генерального секретаря Брежнева, потому что они не были так близки к своему умершему родственнику, как его мать, и не были, как мать, закрыты горем смерти личного родственника от смерти главы государства, который как-то раньше направлял их жизнь издали и от которого эта жизнь в чем-то зависела, а теперь она не управляется им и не зависит от него.

Второй главный в эти дни дом Бурой Глины не был поначалу главным ни для кого, кроме его единственного хозяина и обитателя. В этом доме, напротив, не прекращало греметь радио и не выключался телевизор, показывающий Москву, Колонный зал Дома союзов, иностранные делегации и митинги на заводах и в учреждениях столицы, а также в других крупных объектах скорбью и трауром городах страны.

Владельцем дома был уже несколько лет вдовый старик, ветеран войны, имевший медаль «За отвагу» и орден Славы II степени. Узнав по радио, которое у него никогда не бывало выключенным, о смерти Леонида Ильича Брежнева, он запер дом, надел единственный, кстати оказавшийся черным костюм и белую рубашу, посмотрел на себя в зеркало и предался горю утраты, решив не выходить из дому до тех пор, пока не узнает по радио о снятии общенародного траура. Он вспомнил, что воевал на Северном Кавказе и защищал там город Туапсе, за что и получил орден, и, давно узнав из газет и книг, что Брежнев тоже был там или рядом во время войны полковником и политработником и подготавливал десанты, решил и уверился, что молодой Леонид Ильич выступал тогда перед строем их, еще

более молодых воинов, и даже лично с ним, рядовым Рагозиным, беседовал, напутствуя в бой.

К этому времени у Рагозина оказалось совсем мало хлеба и другой еды, но он решил, что пусть, и так даже лучше — голодание поможет ему глубже ощущать скорбь и страдать от всенародного горя. Соседке, прибывавшей к нему сказать, что умер агроном, он дверь не отпер, сообщив рыдающим голосом, что у него траур по Леониду Ильичу и он никого к себе не пускает и сам из дому не выйдет, а может быть, и скончается от сострадания и смертельной печали по уходу из жизни выдающегося деятеля и маршала, потому что Леонида Ильича всегда считал за своего второго и лучшего отца и потому что тот лично привинчивал ему орден на гимнастерку! Когда же он наконец через дверь и свое страдание расслышал то, о чем соседка пришла сказать, он от оскорбленности и негодования не стал отвечать, а сразу пошел от дверей в комнату, в сердечной обиде и изумлении всхлипывающим и надломленным голосом говоря себе, чтобы слышать: «Подумайте, агроном какой-то!.. Когда тут такой человек скончался, такой человек!.. Сто ваших агрономов вместе, да еще мало будет... Вот люди, люди, ничего не понимают, где же с ними коммунизм будет?!..»

Старик тотчас уверился, что он один такой в поселке, понимающий всю тяжесть и невозполнимость утраты и сочувствующий до глубины, а остальные — так, несознательные обыватели, события не понимают. Поэтому он без промедления, чтобы не опозориться и выразить свои чувства, сел писать соболезнование в Центральный Комитет и персонально супруге и родным усопшего. Сначала, в обиде на людей, интересующихся в такое время смертью местного агронома, и от ощущения превосходства над ними, старик хотел выразить соболезнование сугубо от себя, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Славы II степени, старшего сержанта запаса, пенсионера Федора Степановича Рагозина, но затем его сердце смягчилось от оказавшейся трудности предприятия, от давно забытой, счастливой способности много плакать, от понимания всеобщности горя и из воспитанного еще на войне под мудрым руководством самого же дорогого Леонида Ильича и не отказавшего в нужную минуту чувства товарищества и коллективизма, и Рагозин решил писать «от имени всех соболезнующих и скорбящих граждан поселка Бурая Глина и лично от себя», чтобы не прослыть выскочкой-единоличником и одновременно спасти от великого позора невнимательности родной поселок, где ему еще предстоит доживать дни, и чтобы он доживал их легко, со спокойной совестью и чувством исполненного товарищеского и гражданского долга.

И так, в своем запертом от бессознательных односельчан доме, положив перед собой имевшуюся книгу «Целина», прикрепив на стену портрет еще живого Леонида Ильича, погруженный в величественную и скорбную, слитую из неизвестных ему фуг Баха, симфоний Бетховена, концертов Грига и Шопена единую музыку, держа ее на пределе громкости и не смея ее убавлять или выключать совсем, чтобы не потерять внешнюю связь со всенародным делом скорби, шалея от натуги ума, мешающей уму силы чувства, от ставшего действительным, прочно засевшим в груди и терзавшим грудь горя, от пустоты голода в старческом желудке и некончающейся, рыдающей музыки, он уже вторые сутки подряд сочинял текст соболезнования. Те листки, где не получалось так выразительно и сильно, как было надо и как самому Рагозину хотелось бы, или было грязно и начеркано, он откладывал в сторону в стопку, не в силах порвать или скомкать такие слова по такому адресу, и стопка все росла и росла... и вскоре весть о добровольном трауре Федора Степановича разнеслась, и ее тоже узнали все в небольшом и толково сгруппированном поселке, который был виден весь с того бугра, где раньше просто стоял, а теперь, в дни со-

бытий, уже возвышался осиротевший дом, полный близких бывшей жизни Виталия Михайловича Полякова родственников.

Таким образом, желал того Федор Степанович или нет, но его дом стал-таки вторым главным и по важности сравнился, а в глазах некоторых и превзошел дом покойного агронома. И все люди Бурой Глины, не бывшие родственниками Полякова и тем более не имевшие кровного и прямого отношения к старику Рагозину, оказались между ними и стали промежуточными людьми. Они стали отличаться от главных в событии тем, что им стало интересно и жизненно важно то, что происходило непосредственно в Бурой Глине и во всей стране, а конкретно в Москве. Посмотрев телевизор и послушав то же самое по радио, какой-нибудь промежуточный выходил на улицу и спрашивал у прохожего соседа о Полякове: «Ну как, не привезли еще?» — «Нет», — отвечал прошедший минутой раньше мимо того места и поэтому сведущий сосед. «А когда же?» — «Говорят, ночью, а может, и к утру. Гроб-то готов, ждут, пока отдадут тело». Осведомившись на улице, промежуточный человек возвращался в дом и сообщал тем, кто был дома, то, что услышал, а затем спрашивал у них: «А когда Брежнева будут хоронить? Не объявляли точно, пока меня не было?.. А как — не сказали? Урной в Кремлевскую стену или, может быть, в Мавзолей, ведь двадцать пять лет все же управлял государством». — «Двадцать два», — поправлял промежуточного кто-нибудь такой же из семьи. «Ну все равно, четверть века, почитай». Наступала недолгая тишина безголосья, во время которой слушалась прекрасная музыка скорби и неостановимый ход события, а затем, уже не к кому-то определенному, а так просто, под крышу жилого и населенного дома, задавался следующий вопрос: «А самого-то Полякова куда повезут — на Еловый Падун или на старое?» — «Вроде на Еловый, там места больше». — «Да места-то у нас всюду с гаком, на селе ведь живем, на просторе, хоть всех нас разом похорони — ему не убудет». — «Кому?» — «Да простору этому, будь он неладен!» — «А-а, эт да-а... А Полякова точно на Елониху, наверное, там матери его близко, ходить старыми ногами можно часто». — «Тогда несомненно, конечно, туда, раз так...» И таких разговоров у промежуточных на целый день и еще на следующий.

Кроме нескольких главных и большинства промежуточных по отношению к случившимся событиям людей в Бурой Глине были еще непричастные, маленькие их дети. Совсем младенцы были посторонними и ничего не смыслили и не запоминали, а остальные, лет с шести до двенадцати, все видели и ко всему прислушивались — но лишь с тем, чтобы узнать, можно ли будет в дни траурной освобожденности от детсада и школы играть как прежде или, может быть, в эти дни без присмотра занятых событиями взрослых удастся сделать даже что-нибудь сверх обычно дозволенного. Оказалось, нельзя бегать по улице с клюшками и мячом и при этом кричать, но зато многим удалось забраться туда, куда давно вели мечты их продолжающегося детства, и некоторые ушли в зимний лес и строили там «ходы» и жгли костры, другие — на замерзший лед пруда и таскали из-под него удочками холодных больших лещей, которые уже не достанутся взрослым, и тут же жарили их на рожнах и поедали, а третьи бегали подсматривать в поселковую баню и вдоволь насмотрелись на тела тех знакомых женщин, которые не нашли возможным не помыться даже в такие дни. И только двое детей в Бурой Глине — младшие сын и дочь умершего агронома — не были непричастными и томились в доме, потому что свобода и льгота, данная детям общим трауром, уничтожились для них скорбью личной, которую устроили над ними и держали их в ней родные взрослые.

Однако помимо просто неорганизованных частных людей были в Бурой Глине, как и везде, особые силы, которые вели этих людей сквозь их

жизнь к лучшей будущей жизни — и теперь, в дни событий, они являлись передовым отрядом всех буроглинцев, который не метался и не стихийно и пассивно пребывал в событии, претерпевая его, а вырабатывал линию как бы на опережение и упорядочение происходившего, опираясь на свой предыдущий опыт и разумение и ориентируясь при этом на действия организаций, соответствующих им, но стоявших выше в иерархии страны и ближе к тому самому месту, к Центральному Комитету Коммунистической партии, где главный пост опустел из-за смерти Генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева.

Буроглинские коммунисты в поселковом комитете партии восприняли факт кончины первой фигуры во всей партии и государстве как ответственный момент испытания на стойкость и сплоченность своих рядов и как коллективно-личное несчастье, которое нужно вынести с достоинством и выйти из него еще более окрепшими и готовыми к будущей лучшей работе. На данный момент их задача относительно кончины Леонида Ильича заключалась в четкой, планомерной и обязательной организации во всех сколь угодно малых трудовых коллективах поселка — от столовой до средней школы — траурных митингов, а также в проведении собраний во всех поселковых партийных и комсомольских организациях и ячейках при контроле за наличием у всех трудовых коллективов и ячеек атрибутов траура: цветного портрета Леонида Ильича, обрамленного в черное, флагов и черных креповых лент к ним. Кроме того, было необходимо собрать все взрослое трудящееся население Бурой Глины на общий траурный митинг. О времени проведения митинга разговоров не велось — само собой разумелось, что митинг в Бурой Глине откроется за час-полтора до начала траурной процессии на Красной площади в Москве, чтобы как раз успеть и, высказав все, что за эти дни наболело на сердце, уже только молча, плотно сомкнув губы, мужчинам сняв шапки, провожать уезжающее в смерть и в народную память тело Леонида Ильича — твердыми, сухими или, не стыдно, пусть увлажненными глазами, которые будут видеть траурную церемонию и само погребение по телевизору, вынесенному перед собравшимися. Однако перед партийным и административным руководством Бурой Глины вставала смутительная трудность: то, что о дне и точном часе похорон Леонида Ильича в Москве будет объявлено по радио и телевидению, было несомненно и достоверно, но то же, когда привезут из райцентра тело агронома Полякова, местного умершего коммуниста, было до сих пор неясно. Поэтому на чрезвычайном и длительном совместном заседании партийного комитета, сельсовета Бурой Глины и правления совхоза шел разговор и спор о том, хорошо ли и не неправильно ли будет, если вдруг день и час выноса тела Полякова из дома в Бурой Глине и тела товарища Брежнева из Колонного зала в столице совпадут. Из-за этой трудности коммунисты, руководители совхоза и советская власть не расходились по своим текущим, но все равно приостановившимся теперь делам уже около половины светлого времени зимнего дня, и, когда дебаты заходили в тупик, секретарь парткома звонил то в райцентровский морг, то по прямому проводу в районный комитет партии, справляясь о точном времени похорон Леонида Ильича и советуясь.

Однако, так как вопрос о развязке во времени не мог быть решен одними дебатами и старательным думаньем до наступления полной ясности, зависевшей от расторопности райцентровых патологоанатомов, вопрос этот периодически опускался и заменялся другим, зависимым от первого и с ним связанным и поэтому пока тоже практически неразрешенным. Вопрос был о месте проведения траурного митинга. Всем коммунистам и другим властям Бурой Глины было очевидно, что лучшим и естественным местом для этой надобы была площадь перед клубом, на которой и раньше всегда по большим случаям сходил народ, и кроме того, то есть кро-

ме освященности традицией, площадь эта обладала тем преимуществом, что фасад клуба, выходящий на нее, имел высокое крыльцо и балкон, благодаря которым о трибуне для телевизора специально печься бы не пришлось. Загвоздка была опять-таки в некстати — то есть вообще не в свое возрастное время и не вовремя в связи со всенародной утратой — умершем агрономе Полякове. Дом, где он жил раньше и откуда станут выносить его тело, находился недалеко от клуба, и кроме того, улица, связывавшая дом покойного и клуб, была центральной в Бурой Глине, и не пронести по ней гроб с телом уважаемого всеми, замученного жизнью односельчанина было невозможно, оскорбительно и нехорошо. Во власти руководителей Бурой Глины было, перед лицом таких сложностей, принять два возможных решения: либо перенести траурный митинг на другое место, либо издать директиву, предписывающую местной похоронной процессии идти в обход главной улицы. Однако после тщательного совещания единогласно пришли к выводу, что ни то, ни другое изменение неприемлемо: сила и неопределенность события оборота честные и напрягающиеся умы самых ответственных и искушенных в делах жизни буроглинцев, и они, почувствовав это, поддались, решив дать вещам происходить по своей глубокой и мощной воле. К такому выводу руководителей поселка, кроме, с одной стороны, идеологических, с другой — нравственных соображений, подвигнул еще и хорошо прочувствованный чисто человеческий фактор — тот, что не самым близким родственникам и знакомым Полякова — если время обоих похорон вдруг совпадет — будет, конечно, хотеться услышать и узнать о проводах в последний путь Генерального секретаря партии, и тогда те, кто захочет, смогут на очень медленном ходу своих ног в местной процессии повернуть головы и посмотреть на большой экран цветного телевизора. А затем в этом моменте кроме простого естественного любопытства был увиден и учтен момент опять-таки воспитательный и идеологический: так как за гробом односельчанина пойдет, несомненно, много людей, может быть, больше, чем соберется на митинг к клубу, то даже целесообразно, что люди, хотя бы на несколько решающих минут по совпадению места и времени, пусть и не стоящими, а медленно передвигающимися, но все же окажутся участниками общего митинга и не потеряют ни в своей идейности и сознательности, ни в человеческой скорби по близкому односельчанину и в соболезновании его родным. А с другой стороны, от похорон Леонида Ильича Полякову и его родственникам будет музыка лучше всякой, вовсе не имеющейся в Бурой Глине. В свете всех этих соображений двум процессиям — наяву и на экране — даже нужно дать совпасть. В конце концов формулировка «дать совпасть» явилась резолюцией, на которой экстренное многочасовое заседание властей Бурой Глины согласилось и сошлось единодушно и, выработав ее, постановило себя закрытым и выполнившим свою общую задачу.

Другой такой организацией в поселке была средняя школа с педколлективом из пятнадцати учителей. Но в школе, в отличие от того, как было на заседании совместных властей Бурой Глины, все происходило более практично и конкретно. К трауру по Леониду Ильичу подготовились оперативно тем, что, взяв из пионерской комнаты его большой портрет и два флага Советского Союза, оторочив все это траурными лентами, приготовленными руками девочек-восьмиклассниц, укрепили это над входом в школу и на переменах по школьной радиосети давали общую музыку страны этих дней, строго-настрого наказав дежурным следить за порядком в коридорах и классах, чтобы не допустить малейшего баловства и шумной беготни, и, наконец, провели траурную линейку.

Затем после уроков был созван педсовет, на котором первым пунктом было организовано обсуждено горькое событие, постигшее страну, а вторым стало совещание о том, как поступить в дальнейшем с младшими

детьми Полякова — оформлять на них документы в детский дом или нет, и то, как, выразив словесное соболезнование, помочь семье, то есть детям покойного, материально. Этот вопрос обсуждался долго и в деталях, и были приняты постановления: первое — из денег кассы всеобуча, приплюсованных к добровольным пожертвованиям самих учителей, купить мальчику и девочке школьную форму на будущий год, а также других теплых носильных вещей и обуви для зимы и легких вещей на лето, и второе — направить к матери покойного делегацию во главе с директором и в составе учителей, работающих в классах с обоими детьми, чтобы они посидели немного и поговорили с придавленной горем старухой и как возможно утешили ее, а также осторожно вывели, собирается ли она или кто из родственников оформлять опеку на сирот, или она согласна отдать обоих разболтавшихся без крепкого присмотра ребят в хороший детский дом или интернат для пользы их же будущей жизни, и, наконец, передать и вручить все то, что будет приобретено в богатом ассортиментом поселковом магазине. После этих главных пунктов перешли к более мелким и уже совсем обиходным, как-то: к припоминанию и прикидыванию на глаз, в уме и памяти размеров туловищ, голов и ступней ранних сирот для более точного подбора одежды; к предположению и взвешиванию того, где с наибольшей вероятностью будут на намеченное время визита скорби, соболезнования и утешения мать Полякова и его дети — в доме на Еловом Падуне или в самом поселке.

Покончив с деловой стороной, имевшие, как и во всякой школе, большее численное превосходство женщины, принялись выговаривать свои возникшие и давно бурлившие чувства сострадания к покойному и гнева на его жену, тешущуюся ныне где-то в южном краю с нерусским темным и живым человеком. Она, урожденная Екатерина Тухто — одна фамилия чего стоит! — была справедливо обвинена во всех несчастьях семьи и жизни Поляковых, результатом которых явились разболтанность и все большая неуправляемость детей и смерть их отца. Такое единодушие и уверенность убедили учительницу русского языка Эльзу Богдановну Коровину, что она никоим и ни малейшим образом не повинна в случившемся сердечном приступе Виталия Михайловича Полякова тем, что накануне смерти вызвала его в школу за грубость и постоянное непослушание сына — четвероклассника Валеры. Единодушное коллективное мнение сотрудниц навсегда освободило ее от внутренней муки, и то большое место в ее существе, которое выгрызла и занимала эта мука, заполнилось светлым и пронзительным состраданием к чужому горю, и Эльза сильно, с восторгом расплакалась.

Уже в последнюю, перед тем как разойтись, минуту директором было выдвинуто и тотчас всеми поддержано предложение найти завтра по домам, среди отпущенных на общенародный траур школьников, несколько исполнительных старшеклассников и снарядить их в ближний лес за пихтовым лапником для живых венков от школы Полякову и, попутно, для одного символического венка Леониду Ильичу Брежневу на общепоселковый траурный митинг.

Так все и было сделано.

Но в эти дни в Бурой Глине — кроме главных и промежуточных, бессознательно захваченных событием людей и самосознательных организаций — был один особенный человек, который, соседствуя и принимая участие в событии вместе с другими, видел и понимал его во всех связях целиком изнутри и извне. Это был школьный учитель истории Юрий Иванович Стерненко. Родившись в тылу за год до войны и пережив ее маленьким ребенком, Стерненко, выросши до юноши и пережив еще и смерть Сталина, почувствовал и понял, что одно из величайших событий века и целая эпоха обожгли его своим пламенным дыханием издали в

детстве и отрочестве и навсегда отошли в сторону и в память и что ничего сравнимо великого ему в сознательном и зрелом для постижения возрасте пережить уже не выпадет. От этого Стерненко в то определившее его жизнь время стало обидно и печально, и он, чтобы не расставаться с историей и все время быть вблизи ее, выучился сначала в районном училище, а затем, заочно, в областном университете на школьного историка. Знаний и авторитета Юрию Ивановичу очень хорошо хватало на то, чтобы учить детей в сельской школе, а в городе, даже если бы ему предлагали, он работать бы не стал, так как имел убеждение, что раз живая история вся измельчала и куда-то спряталась, то человеку, понимающему ее ход, самому подобает быть в каком-нибудь глухом и неприметном месте, на опустевшем от зримой истории гигантском просторе страны. Кроме того, за десятилетия работы в сельской школе и за совпадающие с ними годы благоговейных раздумий над прошлой историей и перемежающих их размышлений над настоящим малозначительным в глазах Юрия Ивановича моментом, понятие История — с большой буквы, как это писалось в табелях дневников, на страницах классных журналов и ведомостей успеваемости, — заняло в сознании и всем мировоззрении Юрия Ивановича то же место, которое у других — неопределенно, без церкви, верующих людей — занимает понятие Судьба, а у определенных и однозначно верующих — Бог. И, таким образом, с некоторого времени смыслом жизни Стерненко стало сознательное ожидание второго пришествия Истории или по крайней мере хотя бы события, которое станет несомненным предвестником этого пришествия. Привыкнув терпеть в жизни всякое, Юрий Иванович и в этом ожидании был терпелив и никогда не поддавался на ложные заманчивые знаки, как-то: выход согражданина в безвоздушное пространство космоса, запуск первой орбитальной станции, пуск в эксплуатацию на территории родной страны крупнейшей в мире атомной станции или мировой рекорд замечательного спортсмена Игоря Тер-Ованесяна, прыгнувшего в длину на 8 метров 35 сантиметров. Стерненко знал, что если живая история и возникнет где-либо, то она, несомненно, покажется и у них в Бурой Глине.

Поэтому только в ноябре 1982 года, в ту осень, когда в Москве скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС, а в Бурой Глине — агроном Поляков, к исходу сорок третьего года своей жизни, Стерненко впервые пришел в настоящее волнение и почувствовал, что наконец — вот оно, сбылось и терпеливое ожидание всей его жизни вознаграждается.

Освобожденный от уроков по случаю государственного траура и, казалось, для лучшего ощущения и понимания события, Стерненко дневными часами ходил по чисто заснеженным улицам Бурой Глины в ее переродившемся, ставшем крепью мороза и торжественной музыки воздухе, наблюдал по сторонам и слушал разговоры взбудораженных, ставших немного непривычными самим себе людей и все подмечал и запоминал, а вечерами затворялся в своем кабинете и в кругу света от старой, еще довоенной настольной лампы писал текст своей будущей речи на поселковом траурном митинге и тут же, по ходу, заучивал получавшийся текст наизусть, чтобы не говорить перед людьми по бумажке. То, что его наблюдения и мысли, складывающаяся на их основе речь будут замечательны и важны всем буроглинцам, он не сомневался. Ни минуты не колебался он и относительно того, произносить речь или нет. Уверенности Юрию Ивановичу, кроме естественного чувства, помогало твердое и ясное понимание, что для того, чтобы не упустить момент наставшей истории и удержать его, сделать его моментом Истории, необходимо назвать этот момент словом вслух перед всем народом, и этим будет принесена польза как всей Истории через ее приумножение, так и живым, участвующим в ней людям для повышения их сознательности и внимания к делам и законам мира, а также самому

себе через прилюдное удовлетворение давнего и неотступного исторического чувства.

Юрий Иванович знал, что, кроме человека по фамилии Стерненко, никто в поселке не может так постичь и объять значительного события и вывести на свет зимнего дня, на люди суть его. И поэтому Юрий Иванович, как-то само собой, для удобства, улучшения и создания коллегальности в работе и чтобы иметь на время до митинга товарища, не быть таким одиноким и вдруг не заболеть от сдерживаемого внутри одной головы слишком ясного понимания происходившего, отделил в своем сознании Стерненко от Юрия Ивановича и обращался к нему в мыслях как ко второму, даже более толковому, умнице. «Ты, Стерненко, все обмозгуй и взвесь как следует, чтобы было убедительно и наглядно», — говорил Юрий Иванович вечерами, расхаживая по комнате, перед тем как приписать к своей речи новый абзац. А когда получалось особенно хорошо, Юрий Иванович восклицал: «Молодец, молодец, брат Стерненко!»

И вот наконец подготовительное и неопределенное время для людей во всей стране и в Бурой Глине подошло к своему окончанию и настал миг прощания с телами обоих усопших. И оказалось, что коммунисты Бурой Глины вместе с ее советской властью не зря потратили почти весь день на обсуждение и принятие решений, потому что тело Виталия Михайловича Полякова привезли как раз в утро того числа ноября, на которое было назначено погребение Леонида Ильича Брежнева. На последнее одевание, причёсывание, бритье и общее обихаживание тела, оставшегося от Виталия Михайловича, на снаряжение гроба и всего траурного поезда в последний путь, на прощание людей с покойным в его доме — на все эти дела было отведено, попросту потому, что столько оставалось, всего несколько часов, так как иметь мертвое тело наверху было дольше нельзя, несмотря на холодное время года и потому, что нужно было успеть после кладбища на поминки в столовую. В это же самое время в каком-то строгом и одновременно пышном особой торжественностью смерти помещении города Москвы происходили, очевидно, такие же приготовления, и те буроглинцы, которые не были кровно близки и допущены пока к гробу Виталия Михайловича, думали о том, что делают над ним его живые родственники, и посредством этого живее представляли то, что делается над телом Леонида Ильича где-нибудь в Кремлевском Дворце. Коммунисты же и другая власть Бурой Глины представляли в обратном направлении — от Брежнева к Полякову. Некоторые из них внутри сожалели, что не имели возможности покинуть в эти дни свою Бурую Глину для прибытия в столицу на похороны своего Генерального секретаря, и мучились от этой невозможности другой — невозможностью выбрать между Брежневым и Поляковым в пользу местного умершего, близко и по-человечески знакомого им товарища и пойти на кладбище за гробом с покоящимся там, уменьшившимся и охладевшим, но еще взаправду присутствующим веществом тела Полякова, к которому можно будет прикоснуться напоследок своей рукой и губами и так, на краткий миг, согреть его снаружи.

Однако вскоре выяснилось, что таких людей — вдруг до последней ясности понявших уход от них навсегда в землю их бывшего товарища и соседа — среди представителей властей Бурой Глины оказалось большинство, и, сориентировавшись по обстановке, они, ко всеобщему облегчению, в безотлагательном порядке постановили, чтобы траурная процессия, которая выйдет из дома Полякова, остановилась вся на клубной площадке до времени окончания митинга, для того чтобы руководящие люди могли спуститься с трибуны, то есть с балкона клуба, на землю и присоединиться к местной процессии, а также для того, чтобы вся масса народа с митинга тоже присоединилась к этой процессии и пошли хоронить Виталия Михайловича всем миром.

Как постановила власть Бурой Глины, так в поселке и сделалось. Толпа людей с самодельными табличками и транспарантами в руках с надписями: «Вечной будет народная память», «Неизмеримо наше горе» и «Светлая память о тебе, дорогой Леонид Ильич, всегда будет жить в сердцах советских людей» расступилась, чтобы дать место и впустить внутрь себя людей с пихтовыми и искусственными жестяными венками с лентами: «Любимому сыну и отцу от неутешной матери и любящих детей», «Дорогому односельчанину и сотруднику от жителей Бурой Глины и работников совхоза», «Любимому брату» и чтобы в миг всеобщей скорби над общей землей породниться со всеми. Гроб с телом Виталия Михайловича сняли с рук для временного отдыха несущих и поставили на грузовик с откинутым задним бортом, оставив возле него совсем ослепшую от слез мать Полякова, ставшую в темноте своей слепоты ближе к темноте небытия ее ребенка, и двух старших его сыновей.

Затем для экономии драгоценного последнего времени и по требованию неизбежного в этой ситуации компромисса убрали звук телевизора, оставив одно цветное изображение, и синхронно, одновременно с людьми, теперь неслышно выступавшими на Красной площади, стали говорить свои слова буроглинские ораторы. Народ внизу, слушая, смотрел, поднимая головы на них и на экран телевизора, а сами выступающие, произнося речь со словами о заслугах перед партией и народом покойного Леонида Ильича, смотрели вниз на своих односельчан и на взятый в их плотное живое кольцо гроб с останками Виталия Михайловича Полякова. За теми же и другими вместе наблюдал, соединяя, сшивая их взглядом своих внимательных глаз, Юрий Иванович Стерненко, вновь ставший единым целым человеком, занявший место с самого края балкона и пожелавший выступить последним.

Первым говорил секретарь Буроглинского комитета партии Александр Егорович Лодыгин, за ним — председатель сельсовета Василий Сергеевич Хомяков, затем — директор совхоза Валерий Феокистович Щитковский, после него сказала несколько слов и больше не смогла говорить от перехватывания слабого горла внутренним чувством и морозом лучшая птичница Ангелина Дмитриевна Попова, награжденная при Леониде Ильиче, с документом за его собственноручной подписью, медалью «За трудовое отличие». Все эти люди, как смогли, сказали то, что требовалось от них серьезностью момента и их собственным обязывающим положением, а также то, что ожидалось от них народом внизу. Для которого и от имени которого они, как самые достойные и умелые, говорили. Во время пауз и заминок в выступлениях на притихшей главной площади Бурой Глины слышались в разных местах всхлипывания и плачи, присоединившиеся и приумножившие собой изначальный и непрекращавшийся плач безутешной матери Полякова, и Стерненко, слыша их из своего угла на балконе, волновался и почти радовался этому, так как уже невозможно было разобрать: оплакивает человек местного агронома Полякова или Генерального секретаря Брежнева.

Затем уже безо всякого обязывающего собственного положения, из одного неудержимого внутри чувства горя, стал говорить прославившийся за эти дни старик Рагозин, который не смог-таки, как намеревался сначала, усидеть один со своим несчастьем взаперти и, созрев — и в собственных глазах, и в глазах поселка, — понес делить несчастье с другими людьми, как-то разведав про митинг в Бурой Глине и про его час. Рагозин передавал односельчанам свои драгоценнейшие и ставшие уже кровными и неистребимыми воспоминания о личных встречах с Леонидом Ильичом на войне и этим завел на слезы еще нескольких в толпе слабых на сердце женщин.

Наконец настала очередь говорить учителю Стерненко, и он, сначала перегнувшись взглянуть на экран и увидев там, что траурный поезд с Генеральным секретарем уже двинулся в Москве к месту последнего и вечного упокоения, знаком попросил стоявшего возле телевизора Хомякова не давать звук еще несколько минут. Затем Стерненко оглядел уставший от стояния родной народ, нашел глазами гроб с Поляковым, набрал в грудь воздуха и начал свою речь:

— Дорогие односельчане и земляки, я — проживший жизнь человек и учитель истории, и поэтому послушайте, что хочу сказать вам я. История — это не пустая абстракция и учебник с иллюстрациями! Она бывает живой, но не всегда удается увидеть ее и, так сказать, заживо лицезреть и застать за ее великим делом, потому что большую часть времени она таится где-то в мире, незаметно подготавливая себе арену для свершения и показа себя во всем блеске и силе. Я долго, целую жизнь, с детства, с тех пор, как после Великой Отечественной войны история наша ушла в свою потаенность, ждал момента, когда она снова покажется на свет и все поймут, что это так. Потому что это необходимо для живущих на земле людей, чтобы сразу почувствовали себя причастными к ней и чтобы наше существование обрело большой, осязаемый смысл! История показывает в своем событии нам нас самих впервые!..

Уже разгорячившийся Стерненко, заметивший, что перестает видеть людей внизу, для и ради которых он говорил, сделал паузу, чтобы посмотреть, как они реагируют, и к своему ужасу стал свидетелем того, что народ, слушавший до сих пор с вниманием необычайную речь и даже оживившийся после предыдущих выступлений, народ этот отвернулся в другую сторону и глухо загудел. Стерненко проследил взглядом за направлением голов толпы и обнаружил, что смотрят люди на противоположный угол балкона, где на экране телевизора начались помехи и пропало изображение. Председатель сельсовета Хомяков и директор совхоза Щитковский, двое ближайших к телевизору, бросились вертеть все ручки, гоняясь за изображением и возвращая его остро нуждающимся людям, и тотчас над площадью раздался оглушительный треск электрических приборов, а затем, как первая удача и милость из Москвы, прямо с Красной площади на площадь Бурой Глины ошеломляющей волной хлынула траурная музыка, выходящая из чистой меди духовых оркестров и искусных и мощных легких полковых военных оркестрантов. Эта музыка перекрывала и уничтожала слова и сам хранящий и рождающий их голос еще ничего толком не передавшего людям Стерненко, и он забеспокоился и заметался на месте, с холодом в ногах чую, что ускользает единственная возможность всей его жизни. Но неожиданно разом вся музыка исчезла, и вместо нее стал слышен чеканный шаг военных ног, отсчитывающих последние минуты нахождения тела Леонида Ильича Брежнева на светлом воздухе и среди людей. Голос за кадром, все еще не восстановленным, несмотря на отчаянные усилия сгрудившихся вокруг телевизора всех, кроме Стерненко, людей, бывших на балконе, произнес, что катафалк с телом Леонида Ильича приблизился к могиле, и затем наступила мертвая тишина людей во всей стране и были слышны лишь рабочие шумы рук, снимавших где-то с лафета гроб, и голос не понимавших человеческой истории, равнодушных к ней птиц в небе.

Стерненко, оставшись один на большом пространстве балкона, понял, что нельзя терять ни секунды, и в еще дрящей тишине Москвы и Бурой Глины прокричал: «Так вот, товарищи, я хотел сказать, что в эти дни истории показалась нам на глаза — вот она! Здесь и там — вместе! Она в том, что сейчас наш поселок Бурая Глина на самом деле стал всей нашей страной и вместил ее в себя всю без остатка, или, наоборот, можно сказать, вся наша страна стала одним поселком Бурая Глина — такова сила исто-

рического события! Товарищи! Где и кого мы хороним сейчас — агронома Полякова в Бурой Глине или товарища Брежнева в Москве? Мы хороним их обоих разом. Мы — это буроглинцы, и мы — это вся страна! Мы хороним Леонида Ильича Брежнева не только в Москве, но для нас с вами прежде всего здесь, у нас, в Бурой Глине! И это не пустые фразы, не так называемая риторика, не символ, потому что мы сами здесь имеем живое тело в гробу! Вот оно! Это тело дорогого нам и безвременно ушедшего Виталия Михайловича Полякова. Но не только его! Как я уже сказал, сила и чудо исторического события таковы, что мы с вами имеем честь провожать в последний путь и собственноручно засыпать землей самого Леонида Ильича, потому что в эти дни в силу исторического события тело агронома Полякова — а все тела в смерти равны! — стало телом нашего местного Леонида Ильича Брежнева! Вечная память!..»

Народ внизу, окаменевший от ожидания жизненасущного появления изображения и от надежды стать свидетелями опускания в могилу под Кремлевской стеной гроба с телом своего бывшего вождя, окаменел вдвойне от неслышанной речи Стерненко, и у Юрия Ивановича при взгляде на людей возникло ощущение, что он одним усилием, на которое ушла вся жизнь, остановил громадный поток и тот превратился в монументальный памятник самому себе.

Но вдруг из недр этого монолита, разломав его, раздался вопль: «Я сейчас из тебя, гад, такого Брежнева сотворю! Я покажу тебе чудо истории, с-су-ка!» Это закричал старший сын Полякова, понявший и не вынесший соединения и растворения своего единственного неживого и беззащитного отца в фигуре всенародного покойника. И оставшийся старшим в мужском роде Поляковых, рассвирепев до гнева от слов Стерненко и тут же припомнив обиды и притеснения от историка в годы учебы в школе, выхватив из внутреннего кармана телогрейки молоток, взятый туда для заколачивания гроба с родным отцом на кладбище, сквозь обездвиженную — теперь от растерянности и назревания нового события — толпу ринулся в клуб убивать Стерненко.

Юрий Иванович это увидел и понял со своего пустого места на балконе, но не обратился за подмогой к ничего не слышавшим из-за напряжения наладки, по-прежнему занятым последней отчаянной борьбой за сохранение соседним людям и сам не предпринял попыток к обороне и сохранению своей жизни, потому что вся она ушла у него на речь и потому что она больше не была нужна ему. Он знал, что выполнил задачу и мечту своей жизни, и теперь спокойно, с мужеством дожидался несущуюся на него смерть, потому что если его убьют здесь, сейчас, то слова его последней речи о силе и величии исторического свершения получат наглядную иллюстрацию в действии, и более того, своей гибелью от руки сына покойного он даст рождение новому событию и так сам продлит начавшую быть видимой драгоценную Историю. «История требует жертв», — было последним, что подумал Юрий Иванович, и погиб сам по себе от разорвавшегося внутри сердца.



ВЛАДИМИР ЛАПИН

*

ПОСКОЛЬКУ МЫ НЕ ЛЕТАЕМ

* *
*

В одном из московских парков
Содержат ворону в вольере
И объясняют, что подопечной давно уж не сто, а за триста.
Вдаваясь в историю; можно бы строго-точно проверить,
С какой частотой прокаркав
К войне, к чуме и холере,
Приобрела эта птица если не вечность, то хотя бы
ничуть не жестокою пристань.

Не безымянна ворона, нет же,
А зовут ее Кларой
(Так написано на специальной табличке, и самый шрифт
говорит про меткость).

Догадаться бы можно, что имя она получила — старой,
Что ее нарекатель, который насмешлив и нежен,
Не имея другого дара,
Захотел с укоризной
Доказать себе и вороне,
Как неверно, что вроде и нет нас.

Он теперь ее постоянный смотритель,
И ему даже деньги за это платят;
И должно быть, очень должно быть, что с нею он долго протянет в паре!
Небольшие, конечно, деньги, но, при всех его язве-гастрите,
Их, должно быть, очень должно быть, хватит
На прокорм ему и вороне; вернее, в первую очередь Кларе.

* *
*

Не с руки — не с пера мне петь соловьем, поскольку мы не летаем;
Посидим-ка с тобою, дурак, вдвоем, поболтаем.
Где ж теперь-то конек-горбунок,
Царица да царство?
Сколько ж ты натерпелся, коли их не сберег!
А когда-то, помнишь? пшеницу славно стерег;
Видно, стар стал.
Ну а мне и старость твоя дорога, не тянусь к чудесам, не каюсь,
Что люблю тебя, дурака, — хоть и сам в дураках отмаюсь.

* *
*

Ненародность «народного хора»;
Из окна, из-за тюлевых штор
Слышишь телепоминки фольклора,
Заменившие самый фольклор.

Натекло на траву с бензобака;
И какой же поймет сукин сын,
Что была тут зарыта собака —
Да покрыл ее кости бензин?

* *
*

Бескорыстно ли чувство чести?
Не вполне.
Выше — мера поступка, а вместе
С нею — мерка и мне.

Бесприданница — это совесть;
Все ее существо —
В том, что с нею одною все есть,
Если нет ничего.

* *
*

Красиво? — некрасиво,
Помногу? — понемногу:
Живу я — и спасибо,
Умру — и слава Богу.

Припомнюсь ли кому-то,
Забудусь ли вполне:
Для этого минута
Была дана и мне.



НАТАН ЗЛОТНИКОВ



СЖИГАЯ БЕНЗИН ДОРОГОЙ

Самолет

Над Тушинским полем стоит самолет,
Качается, невесом.
И лужа внизу превращается в лед
Под маленьким колесом.

Как будто петух на незримый забор
Вспорхнул от большого ума,
Лишь громко стучит, задыхаясь, мотор
И крутится винт задарма.

А что там увидишь с такой высоты,
Сжигая бензин дорогой?
А только Москву за четыре версты,
Что выгнулась к небу дугой.

А что там услышишь, когда голубой
Мороз полыхнул под крылом?
А только последнюю жизнь, нас с тобой
Связавшую вечным узлом.

В ней досыта было беды и разлук,
Но все ж не пропал аппетит.
И страшно, что рухнет на изморозь вдруг,
И страшно, что вдруг улетит.

* *
*

Что там черт изрек, не понимая
Ни любви, ни мук, ни забытья,
Чтоб возникла пятьдесят восьмая
Очередь, напраслина, статья?

Или в преисподней мало серы,
Мало влаги в умерших очах
Ворону, что ходит за карьеры,
Носит скользкий траур на плечах?

Или уголовщина державой
Мало забавлялась, как тюрьмой?
Не стоит ли время баржей ржавой
Между Ванино и Колымой?

Или палачам уж неохота
Продолжать и прежний пыл иссяк?
Или в сиплой глотке «патриота»
Крик державный встал вперекосьяк?

Возвращение

Жизнь прошла, ударяясь о камни,
Из силков вырываясь и пут.
Но спокойствие, спросишь, не там ли,
Где тебя и не знают, а ждут.

Безмятежно младенец спокоен,
И спокоен на долгой войне
Изможденный усталостью воин,
Прикорнувший на теплой броне.

Может быть, я наивен, как первый,
Может быть, умудрен, как второй.
Но шалят и фортуна, и нервы
На распутье, предзимней порой.

Все дороги, что были, исчезли
И уж к милой душе не ведут.
Но волнение, скажешь, не здесь ли,
Где тебя и не знают, а ждут.

Воля

Покуда не отводишь взора
От остывающих полей —
Ты им защита и опора,
Хоть снег пойди, хоть дождь полей.

Ведь кто-то должен быть свидетель
Того, как грешен ты, как свят,
Когда земной удел твой светел
Или когда он тьмой объят.

Музыка

Она сидит на краешке несмело,
Не понимая человечьих слов, —
Краснее меди и белее мела
Цвета оркестра и ее обнов.

Покуда музыканты копят силы
И не прижаты губы к мундштукам,
С лицом простушки и душой Сивиллы
Она скользит по дальним облакам.

Но Бог даст знак, а может, капельмейстер, —
И общий вдох коснется тех высот,
Где будем и свободны мы и вместе.
И всех она простит и всех спасет.



ЮРИЙ КУВАЛДИН

*

ВОРОНА

Повесть

Занавес, на котором была изображена ворона, открылся. В зале скрипнуло кресло. Солнце только что зашло, но было еще светло. В углу у забора Миша жарил шашлык, и острый запах разливался по всему парку. Парк принадлежал когда-то советскому писателю Н., а теперь был продан владельцу инвестиционного фонда Абдуллаеву, который за полгода возвел на месте старого дома трехэтажный коттедж по американскому проекту, с застекленной, как витрина супермаркета, террасой, с которой открывался роскошный вид на реку.

Миша писал рассказы, хотел быть знаменитым, искал славы, но рассказы никто не печатал. Он работал у Абдуллаева за пятьсот долларов в месяц и занимался рекламой. Еще Миша написал пьесу, и сегодня она будет разыграна. Он ждал героиню, удачливую Машу, которая тоже сочиняла, но в отличие от Миши всю печаталась и переводила каких-то англичан, даже в Лондоне побывала.

Книги советского писателя Н. лежали в туалете и расходились по лис-точку довольно-таки быстро, бумага была мягкая.

Наконец приехала Маша, как послание от какой-нибудь Хлои или Гликеры. Она была в черных джинсах и черной водолазке.

— Почему ты всегда ходишь в черном? — спросил Миша.

— Это в память о матери, — ответила Маша.

— В черном переилете книга выглядит дороже, — сказал Миша.

— С золотым тиснением.

— Сократ, Иисус, Шекспир. Мне хочется быть умнее себя, — сказал Миша и продолжил: — Я знаком с тобою полгода и только теперь осмелился спросить о черном.

— Надо быть смелее, — сказала Маша. — А где сцена?

— Там, — махнул в сторону реки Миша.

Маша села на скамейку и, подумав, сказала:

— Вчера на ночь читала Борхеса. У нас так никто не пишет. Художественное литературоведение на безумном вдохновении.

— Я люблю авторов за имена, — сказал Миша. — В этом особая прелесть. Послушай: Бо-о-р-хес! Не обязательно читать! Но обязательно знать имена! Нужно знать как можно больше имен и повторять их в разговоре как можно чаще, чтобы тебя слушали с открытыми ртами! Пруст, Джойс, Барт! Бо-о-р-хес!

— А еще — я утром проснулась в страхе от грозы. Бедная моя собака влетела с грохотом в комнату и дрожала так, что кровать моя ходила ходуном. Моя собака очень боится грозы.

— Я тоже боюсь грозы, — сказал Миша. — Однажды она застала меня в поле. Ты представляешь, вокруг меня огненные гвозди молний, а укрыться негде! Я дрожал, как твоя собака.

Скрипнула калитка. Это вернулись с прогулки экономист Соловьев и старый киноартист Александр Сергеевич.

Миша представил Машу.

— Ага! — рассмеялся лысый, с бородкой и в очках, Соловьев.

— Александр Сергеевич, но не Пушкин, — усмехнулся артист.

— Маша, — сказала Маша.

Артист закашлялся и сел на скамейку, затем закурил папиросу.

— Что вы все курите! — недовольно сказал Соловьев.

— Если брошу, то помру, — сказал Александр Сергеевич и пригладил львиную гриву седых волос.

Соловьев засунул руки в карманы брюк, заходил насупившись туда-сюда перед скамейкой.

— Все плохо! — воскликнул он. — Экономика зашла в тупик, народ обнищал!

— Это вы-то обнищали?! — спросил Миша.

— Обо мне речь не идет. Кругом грязь, нищие! Заводы останавливаются, шахтеры бастуют!

Миша улыбнулся, отодвинулся от огня и сказал:

— Я понимаю, что у вас душа болит за отечество, но вы-то богаты!

— Да, мне хватает. Но я не о себе.

Артист Александр Сергеевич спросил, указывая на стену:

— А чьи эти великолепные пейзажи?

— Это Левитан, — сказал Миша. — Подлинники.

Из правой кулисы появился Абдуллаев, молодой человек лет двадцати пяти, в белом костюме, изящный, с тонкой ниткой усов.

— Очаровательные мои! — воскликнул он. — Сегодня я купил одного Малевича и двух Недбайло.

— Малевича знаю, а Недбайло нет, — сказал Соловьев.

— Узнаете, — сказал Абдуллаев. — У вас все готово?

— Как у Шекспира, любая улица — сцена! — сказал Миша.

Следом за Абдуллаевым из правой кулисы показались Ильинская, старая актриса, подруга Александра Сергеевича, и хромой Алексей, бывший врач кремлевки.

— Подмоскowie лучше Швейцарии! — с чувством сказала Ильинская, раскинув руки в стороны, на пальцах блеснули кольца и перстни. — Кажется, я никуда и никогда не уезжала. Сын Геннадий теперь тоже в Москве. Что мы в Швейцарии, что мы в Нью-Йорке? А здесь... Одним словом — родина! Таких пейзажей нет нигде!

Раздался шлепок. Это Александр Сергеевич убил комара у себя на щеке.

— Я не видел более грязной страны, чем наша! — возмущенно сказал Соловьев. — Помойные кучи кругом, улицы грязны, дороги разбиты, архитектура убога! Черт знает что!

— Застрелю, — усмехнулся Абдуллаев.

Врач кремлевки Алексей подхромал к скамейке, сел и сказал:

— Я сухое не могу пить. Водку подадут когда-нибудь?

Все сели за стол. Занавес поднялся. Маша стояла на авансцене, голова приподнята, тонкая, в черном. Скрипка где-то взвизгнула. Маша сказала:

— И теперь лишь слабенький свет начинает проникать во мрак вопроса, который мы хотели задать вечности.

В паузе скрипка взвизгнула еще раз. Все ели шашлык и смотрели на сцену, лишь бывший врач кремлевки уже закосел от фужера водки и что-то мычал себе под нос.

Маша продолжила:

— Как же это вообще может произойти, чтобы люди убили Бога? Но, увы, Бог мертв. Солнце, небо, море. Все мертво, и только я, ворона, летаю над свалкой человечества. Полагание ценностей подобрало под себя все

сущее как сущее для себя — тем самым оно убрало его, покончило с ним, убило его. Я — метафизика черной вороны — обволакиваю пространства слова, во мне все, потому что все живое стремится к смерти, что-то еще сопротивляется мне, пытается жить, но я, взмахивая черным крылом рояля Моцартовского реквиема, гашу стремление к обмену веществу. Смерть, смерть правит миром. Будущего нет. Это только наше представление. Я останавливаю представление, предстоящее останавливаю. Потому что предстоящее — это то, что остановлено представлением. Устранение сущего самого по себе, убиение Бога — все это совершается в обеспечении постоянного состояния, заручаясь которым человек обеспечивает себе уверенность в бессмертии, чтобы соответствовать бытию сущего — воле к власти. А власть только у меня, вороны, и она выражается в безграничном безвластии, когда можно уничтожать все, что попадает под руку! Крыло мое черное, Моцарт мой черный, всех чаек я перекрашу в черное! Слава вороне!

Ильинская склонилась к Александру Сергеевичу:

— Как это непонятно и скучно!

— А вы бросьте, не вслушивайтесь, — сказал добродушно Александр Сергеевич, — пусть журчат! Они хотят самоутверждения. Мы же в свое время тоже хотели этого.

Миша горящим взором следил за Машей и упивался своим текстом.

Соловьев сказал:

— Какая чушь. И здесь — помойка. Помойка уже вышла на сцену! Что делать, как противостоять американизации?!

— Сейчас бы нашу, русскую спеть, — промычал Алексей и без предупреждения громко затянул:

Ой, цветет калина в поле у ручья,
Парня молодого поллюбила я,
Парня поллюбила на свою беду:
Не могу открыться — слова не найду!

— То-то и видно, что слов не найдешь, совсем оскотинились! — возмутился Соловьев.

Миша ушел с Машей в кулису.

— Как здорово ты прочитала этот монолог! — воскликнул Миша.

— Я рада, что тебе понравилось, но...

— Что «но»?

— Мне это не нравится. И — это видно по глазам — публика скушает. Я, пожалуй, после твоего выхода прочитаю свой текст.

— Читай, — обиженно сказал Миша и пошел на сцену.

Ильинская подала реплику:

— Миша, вы знаете, что вороны и чайки — это одно и то же?

— Да, я знаю. Белые — над морем, черные — над полем. Но взрыв богоненавистничества перетасовал карты: вороны теперь над морем летают, падаль с поверхности подбирают, а чайки — над свалками кружатся и... Вороны белеют, а чайки чернеют!

Соловьев прошелся перед рампой, руки по-прежнему в карманах брюк, он сказал:

— Доллар мелкими шажками растет каждый день, людям уже нечего есть. Сидят на картошке и макаронах, пухнут с голоду, какое потомство нас ожидает?!

Абдуллаев подошел к своему черному «мерседесу» и достал из него букет великолепных роз на очень длинных ногах.

— Это вам, — сказал он, преподнося букет Маше.

— Ой! — вскрикнула Маша. — Укололась!

Александр Сергеевич сказал:

— Роза с шипами.

— Это банально, — сказала Ильинская. — Я всю жизнь мечтала сыграть Заречную, но сволочи режиссеры не дали!

— Это печально, — сказал Соловьев. — Искусство в упадке, кинотеатры закрыты, торгуют в них машинами, видеотехникой, мебелью. А кто все это покупает? Ворье!

Миша вставил:

— И вы воруете?

— Я зарабатываю.

— Позвольте спросить: каким образом?

— Это коммерческая тайна, — отмахнулся Соловьев и ушел в кулису.

Там скрипнула половица.

Хромой врач кремлевки Алексей вышел с балалайкой и сел на табурет. Он запел:

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая, —
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая...

Ильинская захлопала в ладоши. Миша улыбнулся. На сцене появилась Маша. В руках у нее была тонкая книжечка собственных рассказов.

— Синие, синие, синие шеи в розовых, розовых, розовых чулках из лоснящегося, переливающегося, утонченного китайского шелка, легким, нежным, изысканным ветерком ласкаемые, просили великолепного, красивого, живописного, картинного, блестящего, блистательного поглаживания, которое вызывает горячую, беззаветную, бескорыстную, страстную любовь, смешанную с влечением, увлечением, привязанностью, склонностью, наклонностью, слабостью, страстью, пристрастием, преданностью, тяготением, манией, симпатией, верностью, благоволением, благорасположением, благосклонностью, подхватываемую высоким, возвышенным эротизмом, легкокрылым Эросом. Любите, любите, любите!

— Bravo! — крикнул Миша.

Ильинская отщипнула от грозди черного винограда маленькую веточку, положила ягоду на язык, склонилась к Александру Сергеевичу и спросила:

— Что это?

— Да так, — неопределенно махнул рукой Александр Сергеевич. — Словеса. Помню, во время войны я снимался в роли комбрига. Входит капитан, а я ему: «Как стоите перед комбригом?!» Да... Вот были роли! Вот были тексты! А теперь... Одно недоразумение. Не могут о простом сказать просто... Я всю жизнь играл в эпизодах, но! — Александр Сергеевич поднял палец. — Играл генералов. Фактура у меня генеральская. Запускают фильм про войну, так режиссеры уже знают, кто генерала будет играть, звонят, страничку с текстом на дом привозят. У меня там десять слов, но каких! Например: «Вторая армия ударяет в направлении Киев — Житомир!» А я стою у огромной карты, указкой вожу по ней, подчиненные мне командиры смотрят на меня во все глаза, каждое слово ловят! Вот было время, вот были фильмы!

Ветер шевельнул занавеску на окне. Где-то в кустах запел соловей. Затем вступила скрипка, поддержанная виолончелью.

— Маша, что вы хотели сказать этим отрывком? — спросила Ильинская.

— Им сказано то, что я хотела сказать, — сказала Маша. — Сейчас нельзя писать так, как писали раньше. Русский язык в каноническом, правильном употреблении умер. Нужны новые формы. Постмодернизм, авангардизм, одним словом, андерграунд.

— Но нам это не понятно! — с чувством сказала Ильинская. — Почему вы не хотите сказать прямо: «Я вас люблю!» — и все! Все! Больше ничего не нужно.

Маша огорченно вздохнула, провела руками по бедрам в черных джинсах, сказала:

— Это не искусство.

Виолончель звучала со скрипкой.

Абдуллаев внимательно слушал и нарезал тонкие дольки ананаса.

Маша продолжила с некоторым возбуждением:

— Жизнь — это одно, а искусство — совершенно другое. Всякий раз как я пытаюсь вязать текст, доставляющий мне удовольствие, я обретаю не свою субъективность, а свою индивидуальность — фактор, определяющий отграниченность моего тела от всех прочих тел и позволяющий ему испытывать чувство страдания или удовлетворения: я обретаю свое тело-наслаждение, которое к тому же оказывается и моим историческим субъектом. Ведь именно сообразуясь с тончайшими комбинациями ушедших от жизненных понятий слов, я и управляю противоречивым взаимодействием удовольствия и наслаждения, одновременно оказываясь субъектом, неуютно чувствующим себя в своей современности. Тайнопись. Слушайте:

Безмолвно-дружелюбная луна
(почти что по Вергилию) с тобою,
как в тот, исчезнувший во мгле времен
вечерний миг, когда неверным зреньем
ты наконец нашел ее навек
в саду или дворе, истлевших прахом.
Навек? Я знаю, будет некий день
и чей-то голос мне откроет въяве:
«Ты больше не посмотришь на луну.
Исчерпана опущенная сумма
секунд, отмеренных тебе судьбой.
Хоть в целом мире окна с этих пор
открой. Повсюду мрак. Ее не будет».
Живем то находя, то забывая
луну, счастливый амулет ночей.
Вглядись позорче. Каждый раз — последний».

Ильинская вышла к рампе. Она сказала:

— Маша, вы только начинаете череду ошибок, которые я заканчиваю. Я это понимаю так. Мы рождаемся бессознательно. Входим медленно в жизнь и думаем, что до нас ничего не было. А если и было, то враждебно нам. Человек жесток. Он хочет бороться с тем, что создано до него и не им. Даже не пытаюсь понять то, что создано не им. Понимание приходит к тридцати — сорока годам. Не нужно новых форм и новых содержаний! Нужно просто понять, что ты сама стара как мир, что ты — и Мария Магдалина, и я, и он, и она. Ты — старая форма и старое содержание. Не обижайся, но ты, как и я, как и все люди, всего лишь экземпляр немислимого тиража человечества, а оригинал — Бог! Вот и все.

Ильинская села рядом с Александром Сергеевичем и продолжила поедание черного винограда.

Маша огорчилась, но из чувства противоречия воскликнула:

— Пусть я буду вороной, но не буду экземпляром тиража. Я хочу быть оригиналом!

— Хотеть не запрещается, — сказала Ильинская. — Но это уже было.

— Вороны не было!

— Деточка, на этом свете уже все было, — мягко сказал Александр Сергеевич. — Только вы об этом пока не знаете. Жизнь дана вам как раз для того, чтобы к концу ее вы узнали, что все уже было.

— Как вы скучны! — сказала Маша. — Если бы все так рассуждали, то жизнь давно бы кончилась.

— К сожалению, желания злых гениев человечества о прекращении жизни на земле неосуществимы. Одного желания мало. Вы говорили о любви так сложно, а она-то, любовь, и не даст покончить с жизнью. Вас

родили, не спрашивая вас об этом. Вы не захотите жить — родят других, десятых, миллионных. Вы затаптываете траву подошвами в одном месте, убиваете траву, торите тропинки, а она прет в другом месте. Пойдете прокладывать тропу там, а прежняя тропинка зарастет. Вот вам и человечество, — сказала Ильинская.

— Вы хотите сказать, что я — трава?! — возмутилась Маша.

— Я этого не сказала, но дала понять в принципе, — сказала Ильинская. — Я-то уж точно — трава. А каковы были мечты? Я родилась на Урале и все время мечтала: в Москву, в Москву! На сцену! И что же случилось? Я в Москве. Ну и что? Играла горничных, мечтая о Заречной. Сколачивала параллельно свой театр в подвале, но он быстро развалился. Время шло. Я смирилась. И работала на сцене, как люди работают везде. Что такое слава? Это когда о тебе знают миллионы. Но все умрут, и слава исчезнет. Актеры быстро забываются. Кто такой Давыдов? Один звук и остался. А как гремел в свое время. А ножка о ножку балерин пушкинских времен? Как они танцевали? Должно быть, хуже Улановой. Кто об этом знает. Конечно, Пушкину можно поверить, что хорошо тогда танцевали. А если не поверить? Он ведь был влюбчивый, и оценки его завышенны.

— Есть судьба — и от нее не уйдешь, — сказал Александр Сергеевич и опрокинул рюмку водки.

Миша молча доел свой шашлык, пригладил светлые волосы, он был высок и худощав, и сказал:

— Жаль, что все вы устали от жизни. Нет полета воображения, нет стремления к идеалу. Очень жаль. Вы нашли удобные оправдания своих неудач и успокоились.

Соловьев появился из правой кулисы с диапроектором в руках. Свет погас. На экране появился первый цветной слайд. Соловьев сказал:

— Это икона шестнадцатого века.

Все смотрели на икону.

Слайд сменился на Вологодский кремль.

— Это Вологодский кремль, — сказал Соловьев.

Слайд сменился. Затем следующий, следующий и т. д. Соловьев перечислял то иконы, то церкви.

— Русская живопись, русская архитектура говорят мне о том, что русский народ никогда не был религиозным, — сказал Соловьев. — Русский народ — художник. И только. Ему никакого дела до Бога не было. Икона украшала жилище. В церквях укрывались от врагов. Бог — это выдумка хитрых людей. Эти хитрецы и теперь завели нас в тупик. Все плохо. Только что по радио сообщили, что забастовали работники «Скорой помощи».

— Это бывшие коммунисты, — сказал врач Алексей, очнувшийся от дремоты. — Они теперь там под видом радетелей профсоюз независимый учредили. Их травят дустом в одном месте, так они быстро в другое перебегают. Запрети профсоюз — они организуют общество с ограниченной ответственностью. Лишь бы руководить и не работать.

Соловьев сурово взглянул на него, сказал:

— Руководители — это главные работники. Как хорошо работал наш НИИ в советское время! Зарплату выдавали вовремя, у каждого был библиотечный день. Я разработал схему функционирования всего народного хозяйства. И тут эти демократы пожаловали. НИИ сдох за год. Хорошо, что Абдуллаев поверил в меня.

Абдуллаев молча кивнул в знак одобрения.

— Но где нам набраться абдуллаевых? — спросил Соловьев.

— А почему вы не могли вместо Абдуллаева организовать инвестиционный фонд? — спросил Миша и тут же продолжил с некоторой злостью в голосе: — Да потому что вы бездарны. Я отработал у вас в НИИ год и понял, что это — всемирно-историческая липа. Вы, — ткнул пальцем Миша в Соловьева, — появлялись на работе раз в неделю, давали указания

по вычерчиванию ваших схем и удалялись. А все сотрудники смеялись над этими вшивыми схемами, потому что это была липа, и весь институт был липовым, и вы липовый доктор экономических наук, потому что Советы и экономика — две вещи несовместные. А вы ездили по своим церквам и деревням, снимали на слайды иконы и кресты, будучи безбожником. Вы из шкурных интересов вступили в партию, затем стали секретарем парткома. И все ради могучего оклада. Да вы зарабатывали столько, что всем прочим сотрудникам было завидно. И все это — липа. Теперь же вы опять на коне! Я не понимаю, за что вас держит Абдуллаев.

Абдуллаев улыбнулся и по-отечески добро сказал:

— За то, что он русский.

— Я тоже русский! — вскричал Миша.

— Ты — молодой русский. А он солидный русский. Вы, русские, хорошие, как дети маленькие, мы вам всем работу найдем. Конечно, вы ничего не понимаете в экономике, даже самые ведущие ваши экономисты не понимают ничего, но это не беда. Мы пришли и вас тихо-тихо покорим. Раньше мы на вас с огнем и мечом ходили. И напрасно. Вас нужно брать по-другому. Не обижайтесь, но русская нация исчерпала себя. Смертность опережает рождаемость, вы находитесь у последней черты. Мне всего лишь двадцать пять лет, но у меня уже трое детей. А у брата в Агдаме — тринадцать. Вы не обижайтесь, я очень добрый, я люблю, чтобы на меня русские работали, вы хорошие исполнители, но идей у вас нет. Вы вступили в полосу интеллектуальной деградации. Поэтому не любите нас, обзываете нас чурками, черными, чеченцами, азерами. А это — от бессилия. Мы скупаем ваши города и села, мы двигаем производство, мы гоним нефть на Запад, мы устанавливаем курс валют на бирже, мы ездим на лучших автомобилях. А вы все ругаетесь. Да мы ваши благодетели. Я люблю все нации, я люблю русских, обожаю евреев, люблю таджиков, негров, украинцев. Я всех люблю, потому что ислам любвеобильнее православия. Ислам укроет вас своим божественным крылом, спасет вас и сохранит. Я люблю живопись, люблю театр. Маша, вы прекрасны. Миша, вы очаровательны. Я всех вас люблю.

— Хоть правда глаза колет, но Абдуллаев прав, — сказал Соловьев.

Почти что всех присутствующих кольнула речь Абдуллаева, но никто не осмелился высказаться против.

Алексей вышел к рампе с балалайкой, запел:

В огне труда и в пламени сражений
Сердца героев Сталин закалил.
Как светлый луч, его могучий гений
Нам в коммунизм дорогу осветил...

— Да... Россия не может жить умом, — вздохнул Александр Сергеевич. — Мы живем только мышцами. Поэтому генералы просят увеличить бюджет. Коли нет мозгов, то нужны танки. Вы посмотрите на наш генералитет! Тупые, колхозные физиономии! Что от них можно ждать? Ровным счетом ничего, кроме требований: дайте, дайте, дайте...

— А мы им больше давать не будем, — сказал Абдуллаев. — Мы их постепенно научим подчиняться и работать.

— Я всегда старался изображать генералов умными, — сказал Александр Сергеевич и состроил умудренную опытом физиономию полководца.

— Вы прекрасный, изумительный актер! — похвалил Абдуллаев.

— По системе Станиславского работал, — сказал Александр Сергеевич. Алексей вновь ударил по струнам балалайки, пропел:

Мы строим счастье волей непреклонной,
Дорога нам указана вождем.
Подняв высоко красные знамена,
Мы в коммунизм за Сталиным идем...

Ильинская подошла к Алексею, положила руку ему на плечо и не своим голосом воскликнула:

— «Люди, львы, орлы и куропатки... Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни...»

Наступило молчание. Свет погас. Взвизгнула скрипка и тут же смолкла. Резкий луч прожектора выхватил лицо Абдуллаева, профиль отразился на белом экране, где недавно Соловьев показывал слайды, профиль в белом диске, похожем на полную луну.

Миша, сложив руки на груди, подошел к Абдуллаеву и сказал:

— Вы критикуете Россию с истинно российских позиций. Вся наша интеллигенция только тем и занимается что самобичеванием. Вы, однако, не учитываете одну поразительно загадочную вещь: иностранец, приезжающий в Россию с целью покорить ее изнутри или научить ее чему-то, сам превращается против собственной воли в русского. Это доказано веками. За примерами далеко ходить не приходится, стоит вспомнить Лермонтов, Ганнибалов... Россия — это космическое болото, зашедшему в него — возврата нет, он заболачивается, то есть, как я уже сказал, становится русским. У нас и Пастернак — русский, и Мандельштам — русский, и Ландау — русский, и Хачатурян — русский! Вот в чем дело. И не вы, господин Абдуллаев, нас покоряете, а мы вас! И делаем это с потрясающей хитростью и непревзойденным умом.

Абдуллаев пораженно смотрел на Мишу, который между тем продолжал:

— В этом и есть загадка России. Посудите, вы же говорите на русском языке и думаете, наверное, на русском. Согласно Далю, человек, думающий на русском языке, считается русским. Так что поздравляю вас с тем, что вы русский!

— История нас рассудит, — нашелся Абдуллаев.

Ильинская предложила Александру Сергеевичу прогуляться к реке. Когда они подошли к тихой заводи, Ильинская сказала:

— Я не терплю этих кавказцев, но отдаю себе отчет в том, что они очень ловкие.

Из кустов выскочил мальчишка с рыжей крупной собакой и тут же швырнул палку в воду, за которой опрометью, с громким лаем бросилась собака и поплыла. Она плыла и повизгивала от предвкушения удовольствия овладеть палкой.

— Я тоже не очень счастлив их видеть, — сказал Александр Сергеевич. — Но что делать? Если бы не шефство над нами Абдуллаева, мы бы грызли сухари с водой от безденежья. Хо-хо, — вздохнул он.

Собака с палкой выскочила на берег и, улыбаясь, не выпуская из зубов палки, принялась отряхиваться от воды. Брызги долетели до Ильинской с Александром Сергеевичем, так что им пришлось довольно-таки резво отойти от берега.

— А Миша дельно ему возразил, — сказал Александр Сергеевич.

Из кустов послышался голос хромого Алексея:

— А-а... Вот вы где!

— Да вот смотрим на реку. Чудесный вид! — воскликнула Ильинская.

— Давайте прогуляемся по берегу к Благовещенью, — предложил Алексей. — А то как-то разморило меня, надо встряхнуться!

— Вам не тяжело будет? — спросил Александр Сергеевич.

— Нет. Я привык. На работе всегда на ногах. В нашей реанимации не посидишь. То один умирает, то второй. Одного сдашь в морг, нового везут.

— Вы об этом говорите так, как будто на складе товар передвигаете! — слегка возмутилась Ильинская.

— А мы и есть товар, — сказал с долей шутки Алексей и похромал впереди по тропинке вдоль реки.

С неба послышалось тяжелое гудение. Все подняли головы. То летел пассажирский самолет, мигая бортовыми огнями.

— Иной раз режешь человека и забываешь, что режешь себя. Отложишь скальпель, подойдешь к столу в другой комнате, колбаски отрежешь, поешь. Пьем, едим и режем. Все рядом. Ко всему привыкли. Я и на себе испытания проводил для космонавтов. Зонд на шнуре по сосудам мне в сердце загоняли. Заплатили хорошо. Тогда я машину купил, потом развелся и машину продал, так и не поездив. Наше дело врачебное — самое потустороннее. Для меня что свинья, что человек. И там и там органы пищеварения, дыхания, кровообращения. Все очень просто. Сконструировано по одной мерке. Только наш мозг душу генерирует и передает информацию, а свиньи информацию не передают, ну, ту, которую мы считаем информацией. Радио там, телевидение и прочие человеческие премудрости.

— А теперь вы на Абдуллаева работаете? — спросила Ильинская.

— Чего ж не работать? Благодать. На всем готовом. Квартиру мне новую купил. Ту я дочери оставил.

— Для каких целей он вас держит? — спросила Ильинская.

— На всякий случай, говорит. Чтоб врач под рукой был. Медикаменты, оборудование — все есть. Да он всем этим, наряду с другими делами, торгует оптом. Склады огромные, раньше там книги складывали, забиты германским и прочим товаром медицинским. Талантливый человек, одним словом!

С колосников опустился второй задник и закрыл реку. На сцене появилась Маша все в тех же черных джинсах и черной водолазке. Следом вышел Миша.

— Когда я увижу тебя в юбке? — спросил он.

— Увидишь.

— Зимой я видел из окна, как ворона схватила оброненную девочкой сушку, взлетела на крышу, села на край трубы, положила сушку на теплые кирпичи и стала ждать, пока сушка согреется. Из трубы шел дымок, печь топились.

— Вороны способны к сложным формам поведения, — сказала Маша.

Миша смущенно вздохнул и посмотрел в зрительный зал. Наступила пауза. Было слышно поскрипывание кресел в партере, кто-то сдавленно кашлянул.

— А что случилось с твоей матерью? — спросил Миша.

— У нее была очень тяжелая смерть. Она знала, что умирает. Полгода мучилась. И это в сорок три года! Я до сих пор вижу ее лицо! Что такое смерть?

— Я не знаю, — тихо сказал Миша.

— Исчезновение, — сказала Маша. — Какие страшные слова: мама умерла.

— В этом случае слова обрели свою изначальную сущность.

— Я не хочу этой сущности! — воскликнула Маша. — До чего же примитивна классика! Я жизни своей не пожалею, чтобы бороться с этим примитивизмом. Их время кончилось!

Миша осторожно положил руку ей на плечо, но Маша тут же отстранилась.

— Не надо, — сказала она.

— Ты какая-то дикая.

— Я — ворона! Способна к сложным формам поведения, поэтому настоящую жизнь я не пускаю в свои рассказы, поскольку настоящая эта жизнь чужда искусству, надсмехается над искусством, убивает искусство. Непосредственная жизнь, составляющая, собственно, суть классической литературы, все эти историйки чичиковых, обломовых, гуровых, — примитивы, чтиво для плебса.

Из правой двери появилась Ильинская. Она слышала последние слова Маши. Ильинская сказала:

— Извините, что вмешиваюсь, но плебс книг не читает.

Миша сложил руки на груди, сказал:

— В общем, это так. Зачем плебсу читать книги?

Следом за Ильинской вошли Александр Сергеевич и Алексей.

— О чем витийствуем? — спросил Александр Сергеевич.

Ильинская с улыбкой взглянула на него, сказала:

— О плебсе.

— Тема, достойная подробного рассмотрения, — сказал Александр Сергеевич и протянул Ильинской еловую шишку. — Посмотрите, какая красивая!

Ильинская взяла шишку, стала ее рассматривать, нюхать.

— Как выразительно пахнет смолой, лесом и даже Новым годом!

— А ведь в этой шишке закодировано несколько жизней, — сказал Александр Сергеевич. — Жаль, что елки не читают книг и относятся к плебсу! Вся природа относится к низколобому плебсу!

Маша подошла к нему и, глядя в лицо, с некоторым раздражением сказала:

— Вы этим хотите укорить меня, но я не обижаюсь. Я не обижаюсь! Ваше время прошло! Вам не дано проникнуть в запредельность моей словесной вязи!

— А я и не собираюсь проникать, — отшутился Александр Сергеевич. — Мне Чехова достаточно: «Дуплет в угол... Круазе в середину...»

Из левой двери появились Абдуллаев с Соловьевым. У Соловьева в руках был пухлый скоросшиватель с квартальной отчетностью.

— Налоги режут без ножа! — фыркнул Соловьев.

— Загоняйте все в производство, — сказал Абдуллаев. — Прибыль покажите самую минимальную.

— Все плохо! — воскликнул Соловьев. — Государство грабительскими способами хочет сколотить бюджет. Но это у него не получается. Никто не хочет отдавать девяносто процентов честно заработанных средств на всех этих бывших коммунистов, номенклатуру.

— И это говорит бывший коммунист?! — усмехнулся Миша.

— Все мы — бывшие, — сказала Ильинская.

— А я — будущая! — из чувства противоречия сказала Маша.

— Бог в помощь, — сказал Александр Сергеевич.

Алексей вышел к рампе, нагнулся, взял балалайку, заиграл и запел:

Строим движется единым
Большевистской рати мощь.
Лётом сталинским, орлиным
Всё ведет нас мудрый вождь...

Миша подошел к Александру Сергеевичу, спросил:

— Вы читали Пруста?

— Кто это?

— Понятно, — сказал Миша.

— А мы чай будем пить? — спросила Ильинская.

— Да, я распорядился, — сказал Абдуллаев. — На террасе.

— Сегодня хорошая погода, — сказала Ильинская и села на скамейку.

— Я бы об этом сказала иначе, — начала Маша. — Примерно так: воздыхать о воздушном воздухе воздушных замков, парить, не падая духом, в розовых, розовых, розовых лепестках утренней зари, в уме намерения постичь непостижимое из ничего, поскольку из наличного и обычного никогда не вычитать розовой, розовой, розовой истины зари!

— Вы прелестны, очаровательны! — с чувством сказал Абдуллаев. — И чем непонятнее вы говорите, тем вы прекраснее!

— Я бы все это запретил, — сказал Соловьев.

Алексей тренькнул струнами балалайки и сказал:

— Ну что вы, господин Соловьев! Зачем запрещать человечеству размножаться? Нам нравится песня соловья? Нравится! А он от половозрелости поет! Так и молодежь. Она во все века пела без смысла. Ну, вот, послушайте, я сейчас сыграю на этом отеческом инструменте хорошо знакомую вам мелодию...

Играет «Не корите меня, не браните».

— Что эта мелодия выражает? Да ровным счетом ничего.

— Мелодия многое выражает, — заметила Ильинская.

— Слово дано для слова, а мелодия дана для мелодии, — вполне определенно выразился Соловьев.

Маша села на скамейку рядом с Ильинской, сказала:

— И пространство мое широко, оно распахнуто шире широкого.

— Маша права, — сказал Миша.

— В чем? — спросил Соловьев.

— В том, что наше пространство шире широкого.

— Мне Чехова достаточно: «От трех бортов в середину...» — сказал Александр Сергеевич.

— Мы будем пить чай? — спросила Ильинская.

— Необлагаемая часть прибыли могла бы пойти на развитие искусства, но этой части нет, — сказал Абдуллаев.

— Все обложили! — прошипел Соловьев. — Эта армия меня сведет с ума. У соседа ночью забрали сына. Наряд милиции приехал! Сволочи! Крепостное право, да и только!

Алексей еще раз тренькнул струнами, сказал:

— В развитии общества нет никакой логики. Все происходит стихийно. А этот Маркс — просто дурак!

— Смело! — сказал Абдуллаев. — Раньше бы вас за эти слова...

— Эти слова в кремлевке я слышал каждый день, — сказал Алексей, — да еще вперемешку с матом! Вот тебе и незаменимые правители коммунизма!

— Можно мне бросить стихотворную реплику? — спросила Маша.

— Бросай, — разрешил Миша.

Маша вышла на авансцену, свет погас, луч прожектора выхватил из темноты ее лицо.

Когда, с бичом в руке над дышлом наклонен,
Он держит на вожжах полет четверки дикий, —
Знай, варвар, в этот миг он, гордый и великий,
Стократ искуснее, чем сам Автомедон...

— Вы чудная! Очаровательная! — воскликнул Абдуллаев, и на его смуглом кавказском лице с тонкой ниткой усов отразился восторг.

— Можно и мне бросить стихотворную реплику? — спросил Александр Сергеевич.

Откуда-то с небес мощно прозвучало божественно-режиссерское:

— Валяйте!

В свете прожектора старый актер бархатным голосом прочитал:

Веселое время!.. Ордынка... Таганка...
Страна отдыхала, как пьяный шахтер,
И голубь садился на вывеску банка,
И был безмятежен имперский шатер.
И мир, подустав от всемирных пожарищ,
Смеялся и розы воскресные стриг,
И вместо привычного слова «товарищ»
Тебя окликали: «Здорово, старик!»
И пух тополиный, не зная причала,
Парил, застревая в пустой кобуре,
И пеньем заморской сирены звучало:
Фиеста... коррида... крупье... кабаре...

А что еще надо для нищей свободы? —
 Бутылка вина, разговор до утра...
 И помнятся шестидесятые годы —
 Железной страны золотая пора.

— Как это хорошо, Александр Сергеевич! — сказала с придыханием Ильинская. — Какие были годы!

— Было время! — сказал Александр Сергеевич.

— Были люди! — сказал Алексей.

— Не знаю, не знаю, — сказала Маша. — Эти шестидесятники просто нытики какие-то! Шли прямо на предмет, забыв об искусстве. Да, Борхеса среди вас не было.

— Но и Борхес для компании Гоголя и Чехова, думаю, маловат, — сказала Ильинская.

— Вы читали Борхеса? — спросил Миша.

— Просматривала.

— Пойдемте пить чай, — сказал Абдуллаев.

Медленно, под звуки виолончели, опустился занавес. Актеры вышли на улицу покурить. В парке пели птицы. Было по-июньски светло. У забора еще тлели угли от шашлыка. Миша как бы впервые посмотрел на высокую ель и заметил на кончиках ветвей светло-зеленые молодые наросты. Выше, над елью, было небо, синее, с белыми облаками. Когда долго смотришь на небо, то голова начинает кружиться. Миша опустил голову и посмотрел в даль липовой аллеи, ведущей к новому дому Абдуллаева. А в дом идти не хотелось, так хорошо было на улице.

Между первым и вторым действием прошло два года. Поднялся занавес под взвизги скрипки. На сцене — одна из комнат в доме Абдуллаева. На кровати лежит сильно исхудавший Соловьев. Возле него сидит старый артист Александр Сергеевич.

— Полегчает, — сказал Александр Сергеевич.

— Не умирать же в пятьдесят лет! — шутливо, но тихо, с одышкой, сказал Соловьев.

Помолчали.

— Надо было раньше Алексею показаться, — сказал Соловьев.

— У тебя сразу шишка на спине выросла?

— Год назад почувствовал вдруг — растет и болит. Начал вспоминать. Вспомнил, что зимой, у гастронома, поскользнулся и упал на спину. Ударился.

— Пройдет, — сказал Александр Сергеевич, хотя не верил в то, что говорил.

— Вспоминаю свое счастливое детство, — еще тише прежнего сказал Соловьев. — Я ведь деревенский, родился в Воронежской области. Деревня наша замечательная была. Босиком по траве бегал. Кнут сам себе плел, был подпаском. Хорошо. Молоко из-под коровы пил. Зачем мы в Москву приехали? Не понимаю. Учиться, учиться! В Москву, в Москву! Оглядываясь назад, вижу, что все куда-то провалилось... Шампанского бы теперь...

Соловьев затих. Александр Сергеевич в испуге встал. Свет погас. Потянула свою волынку виолончель. Когда свет зажегся — на скамейке в парке сидела Ильинская с книгой в руках.

Александр Сергеевич с Алексеем подошли к ней.

— Соловьев умер, — сказал Александр Сергеевич.

Ильинская уронила книгу на колени, вскрикнула.

— А Абдуллаева все нет, — сказал Алексей. — Поехал за Машей.

Через полчаса к дому подъехала «скорая». Санитары вынесли тело Соловьева на носилках, погрузили в машину и повезли в морг.

Перед гробом Соловьева в зале прощания стояли: Абдуллаев, Миша, Маша, Ильинская, Александр Сергеевич, Алексей, родственники, бывшие сослуживцы из НИИ.

— Кому теперь ругать жизнь? — вздохнул Александр Сергеевич.

— Некому, — сказала Ильинская и пошла по липовой аллее к дому.

На застекленной террасе с видом на реку играли в карты Абдуллаев, Алексей, Миша и Маша.

— Надоело играть, — сказала Маша, отбрасывая карты. — Да и статью мне надо заканчивать.

Маша работала уже год у Абдуллаева, в его газете, главным редактором.

— Я и не думала прежде, что мне так будет нравиться работать в газете. Ведь вот что удивительно: слова для меня приобрели другое значение. Каждое слово на вес золота.

— Например? — спросил Миша.

— Да вот — первая полоса. На ней должно быть не менее шести материалов, чтобы глаз бежал у читателя, было что посмотреть. А я должна этот глаз каким-то приемом остановить. Я сигналию: «Анатолий Чубайс решил, что чековая приватизация увенчалась полным успехом». Крупно так это, черным, то есть полужирным шрифтом. И все! Понимаешь? Это целое искусство! Я понимаю, Миша, что ты меня можешь назвать изменницей, но книжка моих рассказов, выпущенная два с лишним года назад тиражом в тысячу экземпляров, до сих пор не распродана. И все в той книжке — детский лепет. Эти, извини, сопли в сахаре: «Розовые, розовые, розовые лепестки утренней зари...» А тут в номер: «Американская финансовая группа 20-20 рассматривает возможности инвестиций в России». Понимаешь?

Бывший врач кремлевки Алексей, хромяя, вышел к рампе с балалайкой, пропел:

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил.
Черные дни миновали,
Час искупленья пробил...

— Почему ты не ходишь в черном? — спросил Миша. — Тебе очень был к лицу черный цвет. Твои короткие, ершистые черные волосы, черные брови...

— У меня есть черное вечернее платье. Когда-нибудь увидишь.

— Маша, ты прекрасна, изумительна, великолепна! — сказал Абдуллаев. — С тобою мы завоюем не только Россию, но и весь мир!

Миша вышел на авансцену и проговорил в зал:

— Вороны способны к сложным формам поведения.

На террасе была плетеная мебель. Кресла-качалки, стулья, круглый стол — все сплетено из белых прутьев хорошего дерева.

Александр Сергеевич сидел в кресле-качалке. Миша сел возле артиста на стул. Миша спросил:

— Вы прочитали мой последний рассказ?

— Да. С удовольствием. Вы в архивах работали?

— Нет. Но о многом из эпохи Грозного вычитал в книгах.

— Сильный и страшный рассказ! — воскликнул Александр Сергеевич. — Как там у вас живых баграми заталкивают под лед в Новгороде! А пьяный царь девок щупает. Очень сильно! Вы взяли прекрасный сюжет из русской истории. Так и нужно. Обязательно художественное произведение должно выражать серьезную, большую мысль. Как говорил Чехов, только то прекрасно, что серьезно. Продолжайте писать, вы талантливый человек!

Миша от смущения покраснел.

— Пора и обедать, наверное, — сказал Алексей.

— Я распорядился, — сказал Абдуллаев. — Через полчаса все будет готово.

— Какой чудесный вид с террасы на реку! — со вздохом умиления сказала Ильинская. — Живу здесь два года и никак не привыкну к этой красоте. Такое впечатление, что паришь над рекой!

— Красиво, — согласился Алексей.

— Очень красиво! — усилил оценку Александр Сергеевич.

Свет на сцене медленно погас, затем луч прожектора выхватил из тьмы восторженное лицо Маши.

— В заголовки новостей субботнего номера! — начала она и продолжила: — Банкиры России не склонны преувеличивать проблему оттока капиталов на Запад. АО «Пермские моторы» получило заказ на изготовление двигателей для правительственного авиаотряда. Конфликт Вила Мирзаянова с генпрокуратурой и контрразведкой завершился победой ученого.

Дали общий свет. Александр Сергеевич беседовал с Мишей.

— Вот некоторые субъекты говорят, что раньше было лучше, жизнь была спокойнее, — сказал Александр Сергеевич. — Но это не так, и вы это здорово показали. Культурный прогресс человечества идет очень медленно. Мы живем в лучшее время, по сравнению с прошлыми временами, хотя дикости еще много, но значительно меньше, чем прежде. И вы пишете лучше, чем прежде... Тогда вы плели, как вон Маша, — кивнул Александр Сергеевич в ее сторону, — непроницаемую словесную ткань, и только. Хотя тканью то плетение назвать нельзя. Ткань — вещественна и имеет свое предназначение, а то было нечто... бессмысленное. Когда нечего сказать, я думаю, когда пуста душа, то начинается плетение, объемы, главы, как роман на голову, вместо снега! Мертвые слова, фанерное искусство. А у слов есть душа! Вот в чем дело. Эту душу слов нужно почувствовать и познать слово со словом. А это могут делать единицы.

Ильинская, сидевшая рядом с Алексеем, шепотом спросила у него:

— Как вы думаете, Маша живет с Абдуллаевым?

— Разумеется, — прошептал Алексей.

— А как же Миша?

— Миша ее никогда не любил. Он прежде видел в ней коллегу по художественной прозе, а теперь... Инерция знакомств, работы. Абдуллаев теперь ему платит тысячу долларов.

— Пойдемте обедать, — сказал Абдуллаев.

Свет погас. Прожектор выхватил крупно руки Маши. Алексей из темноты бодро запел:

Пройдут года, настанут дни такие,
Когда советский трудовой народ
Вот эти руки, руки молодые,
Руками золотыми назовет.

Повсюду будем первыми по праву.
И говорим от сердца от всего,
Что не уроним трудовую славу
Своей страны, народа своего!

После этого луч прожектора осветил сидящую в кресле Ильинскую. Она задумчиво смотрела в зрительный зал.

— Муж оставил меня в пятьдесят шестом году. Я играла горничных и воспитывала сына. Когда сыну исполнилось двадцать лет, он начал заниматься штангой. За год накачался до неузнаваемости. Стал победителем первенства страны, и умер скоропостижно. Я думаю, он совершал ежедневное насилие над своим организмом ради дурацкой победы, о которой теперь никто не помнит. И я, сознаюсь, совершила насилие над собой, с горя родила от главрежа Гену. То было в шестьдесят шестом году. И вот Гена вырос, стал гражданином США, я пожила у него в Нью-Йорке, а теперь он здесь, устроил представительство своей фирмы, торгует компьютерами. И жизнь теперь кажется лирикой, которую можно читать, а можно и не...

Пошел дождь. По стеклам террасы потекли струйки.

После обеда Абдуллаев сказал:

— Я с Мишей съезжу на переговоры. К восьми часам вернемся.

Они ушли.

И дождь кончился. Выглянуло солнце. На улице было жарко, даже душно.

— Пойдемте купаться, — сказала Маша.

— Я останусь, почитаю, — сказала Ильинская.

— Что вы читаете? — спросила Маша.

— Борхеса.

— А я к нему охладела, — сказала Маша. — Вообще охладела к прозе.

— Может быть, и я охладею, — сказала Ильинская.

Александр Сергеевич поднялся, сказал:

— Да, нужно прогуляться к реке, ноги помочить.

— Идемте, — сказал Алексей. — Я удочку возьму.

— Днем, говорят, плохо клюет, — сказал Александр Сергеевич.

— А я так с ней посижу.

Они вышли на крыльцо и по асфальтированной дорожке, по обе стороны которой цвели пионы, спустились к реке. Тут был устроен пляж, насыпан желтый мелкий песок, врыты скамейки.

Маша разделась. На ней был белый купальник. Александр Сергеевич увидел ее загорелые плечи и худенькие, как крылья, лопатки. Маша стояла лицом к реке и размахивала руками.

— У вас красивая фигура, — сказал Алексей.

— Я об этом никогда не заботилась, — сказала Маша.

Алексей молча пошел вдоль берега к кустам. Там он размотал удочку, бросил крючок в воду и сел на траву, затем стащил с себя рубашку.

Александр Сергеевич не спеша разделся и, опережая Машу, пошел в воду. Он шел медленно, ощупывая ступнями дно, и когда вода стала ему по грудь, поплыл саженками на тот берег. Маша поплыла за ним подобием браса. Они вылезли на том берегу и принялись загорать.

— Я хотел вас спросить об Абдуллаеве, — сказал Александр Сергеевич.

— Что?

— Спрашиваю об Абдуллаеве. Что он за человек?

— Талантливый человек.

— Вы любите его?

— Нет. Я просто с ним сплю, — лениво сказала Маша.

— Собственно, это я и хотел узнать.

— Узнали?

— Узнал.

— А вы что тут делаете? — спросила Маша.

— Спасаясь от нищенства, — усмехнулся Александр Сергеевич.

— Спасибо за откровенность.

— У меня комната в коммуналке. В любую минуту я могу уехать отсюда. А зачем? Здесь я сыт, обласкан. Имею хороших собеседников, не беспокоюсь о куске. И мне Абдуллаев нравится.

— Чем?

— Никогда не задает вопросов.

— Вон кто-то на лодке плывет, — сказала Маша.

— Я бы сейчас поел окрошки, да чтобы квас был похолоднее и свежих огурчиков побольше... У вас, Маша, есть цель жизни? — вдруг спросил Александр Сергеевич.

Маша недоуменно посмотрела на него.

— Это про жизнь? Что ее нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? — усмехнулась Маша и добавила: — «Как закалялась сталь»...

— При чем здесь «Как закалялась сталь»? Это Чехов. У него бригада, писавшая эту «Сталь», списала. Я хорошо помню этот кусок. Слушайте:

«Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество или еще хуже того»... Но Чехов не был бы Чеховым, если бы не довел эту мысль до логического конца: «Я верю и в целесообразность, и в необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости, зачем пропадать моему «я»?» Вот в чем дело. В «Стали» человек стада дан, а у Чехова индивидуальности, жизнь каждого — бесценна, божественна.

Маша долгим взглядом следила за лодкой, затем сказала:

— У меня какие-то провалы в душе. Ничего не понимаю, что вы говорите. Со мной часто так бывает, смотрю, слушаю, но ничего не понимаю. Все куда-то проваливается. Но каждый отдельный момент кажется важным, самым важным! Я с какой-то иступленностью сочиняла рассказы, стремилась к оригинальности... И все провалилось, затянулось, забылось. К чему? Зачем? Неизвестно.

— Искусство требует каждодневной работы в течение всей жизни, безоголдного служения, и тогда, когда тебя печатают, и тогда, когда тебя не печатают. Каждый день!

— Мне скучно каждый день заниматься одним и тем же, — сказала Маша. — Я хочу разнообразия, полноты впечатлений!

— Значит, вы не художник, — мягко сказал Александр Сергеевич. — Ведь художник — это от слова «худо». Ему хуже всех на свете, но он тянет свою ляжку. А вы... Так, обыкновенная женщина. Через год вам надоеет газета. Вы найдете что-нибудь другое. Например, будете снимать фильмы...

Маша оживилась:

— Я об этом еще не думала. А ведь снимать фильмы — это самое замечательное, что может быть. Абдуллаев купит камеру и все необходимое, а вы, милый Александр Сергеевич, будете играть главную роль!

— Мне главную не надо, — сказал Александр Сергеевич. — Я вам генерала сыграю, но такого... В сценарии это нужно учесть!

— Честно говоря, я сейчас, глядя на вас, подумала, что старики в тысячу раз интереснее молодых. Жаль, что вы не молодой, а то бы я вас полюбила.

— Отчего это вам вдруг захотелось любви? Вам ее не хватает?

— Вам я могу сказать. Очень не хватает. То есть она у меня бывает почти что каждый день, но мне этого мало. Я какая-то ненасытная.

Александр Сергеевич погладил ладонью ее спину, потом быстро встал и пошел в воду.

Алексей задремал у куста, удочка выпала из рук.

— Клоует! — крикнул Александр Сергеевич, выбредая освеженным, в каплях, из воды.

Алексей встрепенулся, медленно вытянул леску из воды и начал смаывать удочку. Маша переплыла реку, вышла на берег, сказала:

— Чей выход?

Сверху послышался голос режиссера:

— Вороны!

— Я поменяю все свои жизненные устои ради свободного перемещения в пространстве истории, до истории и после истории, я невольница свободы, выброшенная из небытия биологическим мутным плевком кодирования осмысленной природы. Что это? Насмешка! Надо мной смеются! Минута любви и — вот тебе, пожалуйста, появляется человек, с его гуманизмом, историзмом, философизмом... Я не понимаю. Отказываюсь понимать плевое дело создания человека и такой огромный трагизм в конце: он умер! Его плюнули самым банальным образом, даже стыдливым образом, потому что все люди стесняются этих тем, так вот, его выплюнули — мгновение-жизнь — и конец. Иг-

райте Рихарда Штрауса! Вот в чем вся бессмыслица нашего существования — в нашем неволии в плевом деле жизни!

Вошли в калитку. Сначала Маша, затем Алексей, следом, замыкающим, Александр Сергеевич.

— Что-то я раздумался, и мне хорошо от этого состояния, — сказал Александр Сергеевич и продолжил: — Вот калитка скрипит, петли заржавели, хотят быть смазанными. Нужно смазать. Вообще нужно работать, работать... Работать над собой.

— Это ваша профессия — работать над собой, — сказал Алексей.

— Это дело всех и каждого, — сказал Александр Сергеевич. — Обратите внимание, что калитка при входе разных людей скрипит по-разному, словно вживается в наши характеры, и чем хуже человек, тем противнее она скрипит. Так как калитка скрипит в той или иной мере всегда, то я делаю вывод, что все мы по-своему плохие, нам только кажется, что мы хорошие.

— Александр Сергеевич, вы прекрасны в измерении лета! — воскликнула Маша. — Утром я проснулась и увидела в трехлитровой стеклянной банке букет свежесломанной сирени. Солнечный свет падал с тыльной стороны, и вода в банке источала золотое сияние. Я смотрела на это чудо и как бы окидывала взором всю свою «плевую» жизнь, и она — жизнь — казалась мне в эти минуты содержательной и даже счастливой.

Алексей почесал затылок и тоже поддержал тему:

— Знаете, когда светлые густые ветви березы при дуновении ветра отстраняются, то открывают в глубине растущую сосну, темные ветви которой напоминают выглядывающего из окошка старика. Если бы человек был столь же непосредствен, как природа, то он бы не гонялся за счастьем, а просто был бы счастлив всегда.

— Среди молодой крапивы пробилась садовая крупная ландыши, — сказал Александр Сергеевич и после паузы добавил: — Если бы ландыши цвели круглый год, то жить было бы скучно. Русский человек непостоянен потому, что живет в непостоянном климате. Зима и лето — суть перепады настроения русского человека, точнее: от добра ко злу.

Ильинская дремала в кресле-качалке.

— Абдуллаев молодец! — продолжил Александр Сергеевич. — Как ему все ловко удается. Я представить себе не могу, чтобы я мог придумать нечто подобное.

— Мало придумать, — сказал Алексей. — Придумщиков у нас хватает. Осуществить придуманное! Это да!

— И у меня где-то на доньшке души — волнение, — сказал Александр Сергеевич. — Вдруг да вся эта наша райская жизнь кончится. Ну, случится что-нибудь с Абдуллаевым.

— Случиться может с каждым, — сказал Алексей. — Генеральные секретари хоть и казались вечными, но...

— Это вы правы, — согласился Александр Сергеевич. — Ничего нет вечного... И тем не менее живешь и волнуешься.

— Жизнь — это и есть волнение, — сказал Алексей. — Волнение заканчивается со смертью.

— Эта мысль, мысль о смерти, говорит мне о том, что я живу, — сказал Александр Сергеевич. — То есть я хочу сказать, что смерть подчеркивает жизнь!

Приехали Миша и Абдуллаев. Они шли от калитки улыбаясь и о чем-то разговаривая. Голосов не было слышно. Абдуллаев нес дыню, а Миша — огромный арбуз. На площадке перед домом стояла корзина, Миша не заметил ее, споткнулся и выронил арбуз. Арбуз раскололся с хрустом и забрызгал красными пятнами белый костюм Абдуллаева.

— Ух, черт! — воскликнул Миша.

— Ничего, очаровательные мои! — сказал Абдуллаев.

— Бывает, — сказал Александр Сергеевич.
 — Какой вы неловкий, — сказала Ильинская.
 — Арбуз-то был спелый! — огорчился Алексей.
 — А я все равно попробую, — сказала Маша, нагибаясь к красной сахаристой мякоти.

Она упала на колени и стала жадно есть арбуз.

— Когда бы здесь никого не было, — сказал Миша, — с ели сле-тела б ворона прямо на расколовшийся арбуз. А услышав, что кто-то выходит из дому, схватила бы, как и ты, Маша, огромный кусок и как-то боком взлетела на дерево, и под ней закачалась бы ветка. Маша, взлети на дерево!

Маша рассмеялась, но с колен не встала, продолжая есть арбуз.

Миша указал рукой куда-то в правую кулису и задумчиво сказал:

— Этот старый дуб еще неделю назад стоял, как больной, без листьев среди уже вовсю зазеленевших деревьев, стоял как усыхающий, но, пережив вызванные, по народным поверьям, собственным пробуждением холода, разом ударил всюю своей кудрявой мощью.

Все посмотрели на предполагаемый дуб в правой кулисе.

На террасе сели обедать. Подали утиную шейку фаршированную, форшмак в булке, борщ, телятину, запеченную в молочном соусе.

— Если сегодня не будет дождя, — сказала Ильинская, — то его не будет сорок дней.

— Помню, месяц не могли снимать, потому что шел дождь, — сказал Александр Сергеевич. — Я тогда играл комиссара с четырьмя ромбами. С самим по прямому проводу должен был в кадре говорить!

— Никак не пойму, почему в мире происходит соподчинение? — сказал Алексей. — Все люди одним и тем же образом рождаются, но затем выстраиваются в соподчиненную цепь.

— Иначе нельзя, — сказала Ильинская. — Хаос будет.

— Вкусен же борщ! — сказал вспотевший Александр Сергеевич.

— Кушайте, очаровательные мои! — сказал Абдуллаев.

— Оказывается, крапива — очень красивое растение. Я читала в саду и время от времени любовалась ею, — сказала Ильинская.

— Каждое растение — полезное и бесполезное с точки зрения человека — по-своему красиво, — сказал Миша. — Каждое имя по-своему тоже очень красиво. Петр, Грозный, Скуратов!

— Да. Это любопытно. Каждая божья тварь имеет свое название, — сказал Александр Сергеевич. — Ползет гусеница, а у нее есть название.

— Человек придумал, — сказал Алексей.

— Да уж! Человек — он такой! Любопытен до безумия. Всему-то он дает названия и имена, — сказала Ильинская.

— Как мне приятно с вами, очаровательные мои! — сказал с улыбкой Абдуллаев. — Что вы за прелестные люди!

Потом все с большим аппетитом ели шоколадное желе с измельченным миндалем. И наконец закончили обед клюквенным киселем с мороженым.

— Вычитал в газете, что на одной литературной конференции докладчик умудрился два часа говорить о роли щегла в русской поэзии, — сказал Александр Сергеевич.

— Все хотят красивых птиц, — сказал Алексей и с некоторым лукавством посмотрел на Машу.

Маша усмехнулась, сказала:

— Теперь после нашей пьесы все будут говорить о роли вороны в русской поэзии!

— Но у нас же проза, — сказала Ильинская.

— А мы ее зарифмуем, — сказала Маша.

Алексей поддержал на балалайке и спел:

Летят перелетные птицы
 В осенней дали голубой,
 Летят они в жаркие страны,
 А я остаюсь с тобой.
 А я остаюсь с тобою,
 Родная навеки страна!
 Не нужен мне берег турецкий,
 И Африка мне не нужна.

— Bravo! — крикнул Миша. — Вот гимн вороны. Как я этого раньше не ухватил. Ведь ворона — птица неперелетная!

— А я не могу долго находиться на одном месте, — сказал Абдуллаев.

— Вы — перелетная птица? — спросила Ильинская.

— Возможно. У меня внутри всегда как-то беспокойно. Я сижу с вами, очаровательные мои, а думаю о других местах. Приезжаю в другие места — думаю о вас и хочу к вам скорее. Попадаю к вам — и уже хочу в следующее место.

— Это пройдет, — сказал Алексей. — Когда человек готовится к смерти...

— Бог с вами! — сказала Ильинская.

— Так вот, когда человек готовится к смерти, я это вам как врач говорю, ему уже не хочется никаких других мест. Он вдруг понимает, что все места в нем. И спокойно покидает сей мир, потому что ничего интересного в этих местах нет.

— Вы так это говорите, как будто сами готовитесь к смерти, — сказал Александр Сергеевич.

— Рано или поздно каждый человек начинает готовиться к смерти. Подготовленных не так жалко. Мы говорим в подобном случае — хорошая смерть, — сказал Алексей. — Сожалеем о неподготовленных, которые не все еще места осмотрели и не пришли к выводу, что все места — в нем самом.

— Умно! — воскликнул Александр Сергеевич.

На авансцену в свете прожектора вышел Миша. Он сказал:

— Хорошо умирать тогда, когда ты знаешь, что знаменит! Прекрасно быть знаменитым. Это поднимает ввысь. Надо иметь многочисленные архивы, трястись над каждой рукописью. Писать нужно с холодным сердцем, не отдавая всего себя творчеству. Пусть читатель трепещет над твоим произведением. Если и есть какая-нибудь цель у творчества, то это — успех, шумиха. Пусть ты сам как человек обыкновенен, в глазах сограждан ты вырастаешь до небес. Сограждане не читают книг, исключения лишь подтверждают правила, но как они произносят знаменитые имена! Надо быть самозванцем в искусстве, потому что без самозванства никому ты не нужен и под лежачий камень вода не подтекает! В конце концов, тебя любит не абстрактное пространство, не какого-то мифического будущего зов, тебя любят Иваны Ивановичи и Елены Сергеевны. В своей судьбе не нужно оставлять никаких пробелов, твою судьбу должны знать наизусть. Пробелы надо оставлять в своих произведениях, держать себя в узде, не распускать нюни, не потакать вкусам читающей публики, она — публика — ждет, что после поцелуя и легких намеков еще что-то будет, а ты ему с холодным сердцем — пробел, и переход к другой сцене! Не надо очерчивать на полях целые главы своей жизни — она в пробелах произведений и в подробнейшей биографии. Ты постоянно должен быть на виду, буквально окунаешься в известность, чтобы злые языки говорили: «Когда же он работает?!» Твои шаги должны звучать, как шаги Командора! Туман на местность нагоняют от неуверенности в своих силах. А ты в них уверен и прямо смотришь на солнце. Никто не пойдет по твоему следу, потому что никогда не поймут, как ты шел. У тебя должен быть профессиональный глаз, и победу от поражения ты обязан отличать с ходу, при беглом прочтении чужой ли, своей ли рукописи. Ни в коем случае не должно проступать

твое лицо в твоих произведениях, ты, по определению, многолик. Тогда тебя ждет посмертная слава, и никому в голову не придет мысль, что ты уже давно умер. И более живым ты становишься после смерти!

У правой кулисы высветилась дверь, в которую быстрым шагом ушел Миша. Уже при общем свете, в тишине, нарушаемой покашливаниями зала, из точно такой же двери слева показали Алексей и Александр Сергеевич, который курил папиросу.

— Странное впечатление у меня от Абдуллаева, — сказал Александр Сергеевич. — Он все время называет нас очаровательными, а я не верю!

— Бывает, — сказал Алексей. — Для чего-то он нас держит, а для чего, сам не пойму.

— То-то и оно! У меня в душе не прекращается волнение, вдруг да все это кончится!

— Кончится так кончится! — сказал Алексей. — В жизни нужно быть ко всему готовым! Не нужно думать об этом. Что будет, то и будет. А многие мысли — от безделья, от скуки.

— Да, нам создал Абдуллаев мирок, и мы живем в нем. Но мне, надо сказать, не скучно. Я как-то привык сам с собою разговаривать, думать, с вами общаться. А что еще есть в жизни? Только общение. Вот вы врач, а ничем человечеству помочь не можете.

— Я человечеству не смог бы помочь, даже если бы очень захотел сделать это. Человечество — это такая же фикция, как коммунизм. Человеку конкретному кое-чем я еще могу служить. Да и то в случаях понятных. А так медицина — видимость одна. Ну, разрежу, вырежу, зашью... И что же, я стану умнее? Нет. Все известно: анатомия, физиология... И ничего равным счетом не известно! Направляющего момента ухватить не могу. Бог — это выдумка писателей древности. Не скрою, хорошо писали. Но религия — это чистая политика, связывающая стадо человеческое в государство. Направляющая более загадочна, чем Бог. Направляющая сама создала Бога. Вот в чем дело.

Александр Сергеевич ходил по авансцене и курил.

— Как вы сказали? «Направляющая»?

— Да, направляющая.

— Хм... А направляющую кто направляет?

— Никто.

— Так не бывает. Вот играл я генерала армии. В преотличнейшем эпизоде. Зритель видел, что я решил исход нашей победы. Но это не так! Зритель не видел процесса съемки. А там сценарист задал тему, режиссер ее поставил, мне сказал: «Ты тут, Саша, построже!» Так и мы — видим готовый фильм.

— И сами в нем участвуем!

— Так точно.

Из левой двери появилась Ильинская.

— Ах, вот вы где!

— Да вот, беседуем о вечности.

— И что же вы о ней думаете?

— Интересную мысль высказал Алексей, — сказал Александр Сергеевич, — он считает, что существует некая направляющая, которая и самого Бога создала.

— Любопытно, — сказала Ильинская. — Не хотите сыграть в лото?

— С удовольствием! — воскликнул Алексей.

— Давно не играли, — сказал Александр Сергеевич.

Отдохнув после обеда, Ильинская выглядела свежо. На ней было белое платье, которое несколько полнило ее. На высокой груди поблескивал крестик с изумрудом.

Из правой двери показался Миша с лейкой в руках.

— Пойду полью пионы, — сказал Миша.

— Юноша и цветы... Это прекрасно! — задумчиво сказала Ильинская и добавила: — Нарезьте мне букет.

— Хорошо, — сказал Миша.

— А мы в лото собираемся играть, — сказал Александр Сергеевич. — Составите потом компанию?

— Я не люблю играть в лото, — сказал Миша. — Я пишу, вышел додумать мысль.

— О чем же вы сейчас пишете? — с придыханием спросила Ильинская.

— О времени Петра.

— Любопытно, — сказала Ильинская.

Миша удалился в левую дверь со своей лейкой.

— Право, он мне нравится, — сказала Ильинская.

— Поухаживайте за ним, — сказал Александр Сергеевич.

— Придется, — сказала Ильинская. — Странно, что он не увлекается женщинами. Во всяком случае, я его ни разу с ними не видела.

— Его женщина — писанина! — сказал Алексей и спел под балалайку:

Хороши весной в саду цветочки,
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке —
Сразу жизнь становится иной.

На лице у Алексея было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал этой песней и будто радовался, что в его репертуаре на каждый случай есть песня.

— Россия — зона рискованного земледелия, — сказал Александр Сергеевич.

— Согласен, — сказал Алексей. — Еще бы на Северном полюсе Москву заложили! Несчастливая страна! Но с великим будущим!

— Вы верите в будущее России? — спросила Ильинская.

— Без всякого сомнения, — сказал Алексей.

— И я верю! — твердо сказал Александр Сергеевич.

— Придется и мне поверить, — сказала Ильинская. — Пойдемте играть в лото.

Уходят.

Прошла неделя.

На сцену въехал «мерседес».

Абдуллаев и Миша вышли из машины. Абдуллаев сказал:

— Я не ожидал, что они все разом нахлынут за дивидендами. Еще чего придумали, платить им! Перебьются!

— Что делать? — спросил Миша. — Их же сотни тысяч!

Абдуллаев некоторое время смотрел в зал, затем сказал:

— Буду думать.

Миша развел руки в стороны.

Свет погас, а когда зажегся — на террасе сидели за столом Ильинская, Маша, Александр Сергеевич и Алексей.

— Сорок один, — сказал Алексей.

— Какой сегодня грустный день, — сказала Ильинская. — Пасмурно.

— Тридцать семь, — сказал Алексей.

— У меня «квартира», — сказал Александр Сергеевич. — Русское лето — сплошное мучение. Нет твердой перспективы хорошесть погоды. Прямо-таки издевка какая-то над населением!

— Одна страсть угасает, на смену приходит другая, — сказала Ильинская, время от времени поглядывая на дверь.

Вошел Миша. Вид у него был печальный. Миша сел к столу, сказал:

— Мне кажется, Абдуллаев собирается сматываться.

Все застыли на пятнадцать секунд.

Актеры в этом месте хорошо продержали паузу.

Тишину нарушил Александр Сергеевич:

— Как говорил Гоголь, философия торжествует над печалью прошлого и будущего, но печаль настоящего торжествует над философией.

— Что же произошло? — спросила Маша.

— Ничего особенного, — сказал Миша. — Просто валом повалили акционеры, а денег на дивиденды у Абдуллаева нет, или он просто не хочет с ними расставаться.

— Но он же богат! — вскричала Маша.

— Чем богаче человек, тем он жаднее, — философски заметил Алексей. — В погоне за пустяками мы упустили существенное: не поинтересовались у Абдуллаева, каковы его намерения.

Маша встала из-за стола и нервно заходила по террасе.

— Я его сейчас приведу, — сказала она наконец.

Уходит.

— Вот вам и фокус! — сказал Алексей, тоже поднялся и захромал за балалайкой, потом запел:

Над страной весенний ветер веет.
С каждым днем все радостнее жить.
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать,
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.

Абдуллаев появился как ни в чем не бывало под конвоем Маши.

— Очаровательные мои, в чем дело? Что за волнения, прелестные мои? Маша говорит, что я куда-то собираюсь исчезать. Это просто домыслы. Да, в данный момент я не могу выплатить дивиденды. Но я расплачусь акциями. Этих акций у меня на век хватит. Так что нет никаких оснований для волнений. Что касается исчезновения, то я действительно собираюсь в командировку в Аргентину. Но Миша прекрасно об этом знает. Почему я еду один? Да потому что я так хочу. Я захотел из ничего создать инвестиционный свой фонд. И что же? Создал! Я же не упрекаю вас, мои замечательные, что никто из вас ничего подобного не создал!

— Значит, вы все-таки уезжаете? — спросила Ильинская.

— Уезжаю. В командировку. На три недели.

— И в такое время ты можешь уехать? — вскричала Маша.

— В какое время?

— Когда по радио уже кричат, что Абдуллаевходимец! — с чувством сказала Маша.

— Это могут говорить невежественные люди, — сказал Абдуллаев и улыбнулся. — Очаровательные мои, нет никаких оснований для подозрений. А чтобы вы поверили мне окончательно, я выплачу до командировки всем вам по тысяче долларов.

— Неплохо! — сказал Алексей.

— Дешево же вы нас оцениваете! — твердо сказал Александр Сергеевич.

Абдуллаев, ничего не ответив, развернулся и ушел.

После некоторого молчания Ильинская сказала:

— Говорил что-то, а что, я так и не поняла. Почему ему приспичило ехать в эту Аргентину? Он нам не ответил. Умные люди в двух-трех словах умеют выразить свою мысль, а глупцы могут говорить часами и ничего не сказать! Он, мне кажется, неумен!

— Ну, это вы уж слишком, — сказал Миша. — Чего-чего, а ума у него навалом. Только ум у него другой, не наш. Он думает, что может обойтись

без нас. В этом он сильно ошибается. Но если мы подумаем, что мы обойдемся без него, то ошибаемся вдвойне.

— Я его не пущу! — крикнула Маша и убежала к себе.

— Абдуллаев сразу же стал мне малоинтересен, — сказал Александр Сергеевич. — Он похож на песенку «Листья желтые», которая быстро вышла из моды.

— Ладно, это все так, — начал Алексей. — Но что нам делать? Представьте себе — он исчезает. Придут органы, опишут дом и нам соучастие припишут!

— Точно! — согласилась Ильинская.

— Скажут, что мы — мафиози! — определеннее сформулировал Миша.

— Коррупционеры! — заострил Александр Сергеевич.

— А то и пойдём на скамью подсудимых, как одна банда! — испуганно произнесла Ильинская.

Все погрузились в глубокую задумчивость, как это случается с каждым, даже самым легкомысленным человеком, в минуту непредвиденного происшествия. Хотя происшествие предвидеть нельзя. Оно грядет всегда без предвидения.

Появился Абдуллаев с желтым дорогим чемоданом, следом Маша с черной сумкой под мышкой.

— Он берет меня с собой, — сказала Маша.

— Я этого не говорил, очаровательная моя! — изумился Абдуллаев.

Маша подошла к столу и стала копаться в своей сумке.

— Что-то вы поспешно собрались! — сказал с волнением Александр Сергеевич.

— Навещу семью, очаровательные мои! — сказал Абдуллаев.

— Поздно! — воскликнула Маша, направляя на Абдуллаева пистолет.

Раздался выстрел, затем второй, пятый.

Белый костюм Абдуллаева покрылся красными пятнами. Абдуллаев качнулся и упал.

— За что, очаровательные мои? — простонал он и затих.

Тихо заиграла музыка: виолончель со скрипкой.

Ильинская направилась к рампе. Свет погас, лишь прожектор осветил лицо Ильинской.

— Все пройдет, все успокоится... Вспомним тех, которые жили сто, двести лет до нас, которые пробивали для нас дорогу. Вспомним их с благодарностью, помянем их добрым словом... Придут новые поколения и будут жить и работать, работать. Но все мы, как ни крути, сольемся в едином потоке и с теми, кто был до нас, и с теми, кто будет после нас. Мы сольемся в едином благородном порыве — добром, честном, красивом. Мы услышим ангелов и увидим небо в алмазах.

Занавес медленно закрывается.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

*

ПИСЬМА К П. ЮРКЕВИЧУ (1908, 1910)*

«...Я иногда с умилением вспоминаю нашу с Вами полудетскую встречу... Как мне тогда было грустно!» (из письма М. Цветаевой к П. Юркевичу от 21 июля 1916 года).

«Тогда» — это восемь лет назад. Марине Цветаевой неполных шестнадцать. Ей очень трудно; ее гнетет одиночество, неприкаянность; порою ей кажется, что в жизни ей нет места, нет смысла, а сама жизнь уныла, монотонна. Некого любить, не за что гореть. Так далеко позади остался 1902 год, когда десятилетняя Марина влюбилась в... революцию. Да, в революцию, олицетворенную для нее в двух российских изгнанниках (о них пишет Анастасия Цветаева в своих «Воспоминаниях»). Она жила тогда в итальянском городке Нерви. Потом была Ялта, девятьсот пятый год; кругом были знакомые «революционеры», и все «революционное» в воздухе носилось... А дальше — страшный удар: летом 1906 года в Тарусе умерла Мария Александровна Мейн. Сестры Марина и Анастасия осиротели (вероятно, маленькой Асе все же было легче — в силу возраста и по складу характера). Жизнь в опустевшем доме стала невыносимой, и осенью Марина поступила в частную гимназию-пансион фон Дервиз; там она избывала на людях свое одиночество, а в конце недели приходила домой, где одиночество не отступало, а окружающее не согревало. (Все это отразится в ее полудетских стихах.) Чья-либо малейшая невольная безтактность больно ранила душу; крупная же внимания — растопляла ее... Может быть, обнаружатся когда-нибудь дневники Цветаевой-гимназистки. Скорбь по умершей матери, тоска по высоким идеалам и героике — таково, скорее всего, было содержание дневников этой юной одинокой бунтарки...

Весной 1907 года девушка покинула пансион, где царил чуждый ей дух, и осенью поступила в гимназию Алферовой — но и там все было ей чужим и враждебным, и ее тоска и бунт не находили успокоения. Но сохранились дружеские отношения с Соней Юркевич, соученицей еще по предыдущей гимназии. Соня познакомила подругу со своим старшим братом Петром, а летом пригласила ее погостить в их имение Орловку под Тулой. Так произошла «полудетская встреча», о которой вспоминала потом Цветаева.

В Орловке она «оттаяла» и, по ее признанию, «приручилась» к Пете Юркевичу. Он был на три года старше, студент, — и, вероятно, казался ей чересчур спокойным, уравновешенным, серьезным — но зато надежным. После отъезда из Орловки Марина начинает засыпать посланиями своего нового знакомого (друга? приятеля?), она сама не знает, как назвать их отношения, стоит ли обижаться на его невозмутимость, на то, что он, по-видимому, не принимает близко к сердцу ее переживания. Но жажда высказать себя, стремление одинокой души быть понятой, получить сочувствие побеждает, и девушка с обезоруживающей, даже пугающей откровенностью обрушивает на корреспондента весь «поток сознания». «Но как примириться с мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней и жизнь!» Революция, для ее шестнадцати лет, — вовсе «не... средство наполнения голодных желудков, а... горение за мечту», которая — она уже это знает — недостижима. «Итак, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не

* Публикация О. П. ЮРКЕВИЧ. Составление, подготовка текста и комментарии Е. И. ЛУБЯНИКОВОЙ и Л. А. МНУХИНА. Предисловие А. А. СААКЯНЦ.

за большинство, которое тупо, глупо и всегда неправо»; «...как убедить людей, что гореть надо, а не тлеть». Именно эти переживания запечатлены в строках стихотворения, написанного летом 1908 года, — строках, которые впоследствии прорастут в грандиозные пожары ее стихов и поэм:

Хорошо быть красивыми, быстрыми
И, кострами дразня темноту,
Любоваться безумными искрами
И как искры сгореть — на лету!

(«Лесное царство»)

Спасаясь от одиночества и тоски, юная Цветаева бежит к людям и с удивительным мужеством признается: «О, Петя, как тяжело жить одной... Бегу ко всем, лишь бы забыться». И еще: «Как бы Вам объяснить лучшие, почему мне так трудно жить. Видите ли, я сознаю свою полную непригодность для жизни». «Мне страшно хочется умереть рано, пока еще нет стремления вниз, на покой, на отдых». (Отсюда, кстати, знаменитое стихотворение «Молитва»: «Ты дал мне детство — лучше сказки / И дай мне смерть — в семнадцать лет!») Она жалуется, что в ее жизни нет ничего яркого, ради чего можно и пострадать, и не страшиться одиночества. Ее сумеречное настроение усугубляется еще и тем, что необходимо сдать два противных экзамена — ведь занятия в гимназии она пропускала...

Она явно неравнодушна к Пете Юркевичу, болезненно реагирует на малейшую его, как ей кажется, небрежность. Расшифровав слова из его письма, которые тот из деликатности зачеркнул, она пеняет ему: «...жаль, что не зачеркнули почерней, т<a>к к<a>к я всегда очень основательно изучаю зачеркнутые места, в полной уверенности найти там что-нибудь неприятное».

Эта цв е т а е в с к а я (ибо сохранится на всю жизнь!) обезоруживающая прямота раздражала, могла и оттолкнуть. Через несколько лет, будучи уже матерью двоих детей, Марина Цветаева пожалуется мужу: «Я самый беззащитный человек, которого я знаю. Я к каждому с улицы подхожу в с я. И вот улица мстит. А иначе я не умею...» Она р а с ш и б а л а с ь о людей, об их непроницаемые «грудные клетки». Вскипающая обида сменяется в письмах жалобным детским желанием, чтобы кто-нибудь «приласкал» ее; за «слишком гордым видом» в ее сердце пряталась «безудержная нежность» — так она напишет позже, в стихах. Эти два начала борются в ней, а вопрос так и остается неразрешимым: любит ли она Петю, или же ей это только кажется?

Только грустно порою брести сквозь туман,
От людей свое горе тая, —
Может быть, это был лишь красивый обман,
И не знаю, любила ли я.

Письма и стихи шестнадцатилетней Марины Цветаевой к Петру Юркевичу — это типично цветаевский эпистолярный роман. Поразительно, что из всех ответов Юркевича судьба сохранила черновик одного-единственного, притом того самого, которое и требовалось, чтобы роман получился именно ц в е т а е в с к и м. Вот это письмо:

«Марина, Вы с Вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову. Поэтому отвечай искренне и просто на Ваш ребром поставленный вопрос если бы Вы знали, как мне трудно. Что я Вам отвечу? Что я Вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти два месяца, как не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю... Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую, славную девушку, словесный и письменный обмен мыслями с которой как бы возвышает мою душу, дает духовную пищу уму и чувству. Если бы я чувствовал, что люблю сильно, глубоко и страстно, я бы Вам сказал: люблю, люблю любовью, не знающей преград, границ и пренятствий, ты мое счастье, моя радость, жизнь мою превратишь в царство любви. Но чувствую: сказал бы сейчас это фразой, а не делом, и в скором времени сплеховал бы каким-нибудь позорным образом. Вот Вам мой ответ правдивый, честный, искренний (но не страстный).

Любящий Вас, преклоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле.

Ваш П. Ю.»¹

¹ Опубликовано в газете «Московский комсомолец», 1994, 22 ноября, № 227.

Схожая ситуация роковым образом повторится впоследствии: сохранится лишь одно письмо Анатолия Штейгера (цветаевских — свыше двадцати пяти) и, по-видимому, только один раз ответит А. Вишняк на десять писем Цветаевой. Но судьба Поэта диктовала именно этот сюжет.

...Остывала ли детская влюбленность Цветаевой, или то была дань гордыне, но одно из осенних писем к Юркевичу говорит о том, что ее чувства обращены к другому. К ушедшей тени герцога Рейхштадтского, несчастного сына Наполеона. (В это время, как вспоминает А. Цветаева, Марина уже переводит пьесу Э. Ростана «Орленок».) «...умерла бы за встречу с ним с восторгом, а за встречу с Вами — нет», — наивно пишет она.

А единственное сохранившееся письмо Цветаевой лета 1910 года уже совсем иное — светлое и дружественное. И, что самое главное, оно свидетельствует об исцелении юной Марины Цветаевой от «революционной болезни». «Природа и книги — выше и ярче нет ничего». Они, а не революция дают «сладкую способность вечно волноваться».

Так рос Поэт.

А. А. СААКЯНЦ.

Публикуемые ниже письма и стихотворение Марины Ивановны Цветаевой к Петру Ивановичу Юркевичу 1908 — 1910 годов* — часть сохранившейся переписки между ними 1908 — 1916 годов. Другая ее часть была напечатана ранее в альманахе «Минувшее»¹ (Публ. Е. И. Лубяниковой, Л. А. Мнухина. Вып. 11. Paris. «Atheneum». 1991, стр. 335 — 360; М. — СПб. «Atheneum». «Феникс». 1992, стр. 335 — 360).

Несколько слов об адресате писем.

Петр Иванович Юркевич (1889 — 1968) родился в семье известного московского педагога и ученого-географа И. В. Юркевича (1854 — 1920). В молодости Иван Викентьевич был приглашен домашним учителем в семью С. И. Мамонтова, в пору расцвета абрамцевского художественного кружка. Прочные узы связывали И. В. Юркевича с художественной интеллигенцией и в последующие годы. Посвятив всю свою жизнь педагогике, он много сил и времени отдал воспитанию и собственных детей, оказывая большое влияние на них своим авторитетом. Обаяние его незаурядной личности передают два портрета абрамцевского периода работы И. Е. Репина (масло, 1879, музей «Абрамцево») и В. А. Серова (карандаш, 1879, музей «Абрамцево»). (Подробнее об И. В. Юркевиче см.: Москвинов В. Н. Новые материалы о И. Е. Репине. — В кн.: «Сообщения института истории искусств. Живопись. Скульптура. Графика». М. Изд. АН СССР. 1960. № 13-14, стр. 89 — 103).

Старший брат П. И. Юркевича, Владимир Иванович (1885 — 1964), — всемирно известный корабельный инженер, создатель французского суперлайнера «Нормандия», завоевавшего в 1935 году «Голубую ленту» Атлантики. В годы публикуемой переписки В. И. Юркевич — студент кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского Политехнического института (1903 — 1909), затем молодой балтийский судостроитель.

Будучи младшим сыном в семье, П. Юркевич рос как бы в тени своих старших братьев, находясь под их постоянной опекой. В 1907 году он — серебряный медалист 4-й московской мужской гимназии. В том же году он поступает на медицинский факультет Московского университета, испытывая, однако, колебания между медициной и филологией. Отдав ненадолго все же предпочтение последней, он под влиянием среднего брата, студента-медика, снова возвращается на медицинский факультет, который оканчивает в 1913 году со степенью лекаря. В 1914 — 1915 годах П. И. Юркевич в качестве корабельного врача совершает длительное

* Первое и последнее из писем настоящей подборки представлены в публикации Н. Дардыкиной «Любовь юной Цветаевой» («Московский комсомолец», 1994, 22 ноября, № 227), изобилующей разного рода ошибками.

¹ Тогда же нами высказывалось предположение о возможной цветаевской опiske в дате одного из писем, влекущей за собой неверное датирование другого письма и нарушение хронологической последовательности писем 1908 года (см.: «Минувшее», стр. 343). Догадка эта полностью подтвердилась. Таким образом, правильная датировка писем, опубликованных в «Минувшем», следующая: 1 — 22 июля 1908 года (вместо 22 июня), 2 — 13 августа 1908 года (вместо 13 июля). В дальнейшем в ссылках на эти письма дается исправленный вариант их датировки.

путешествие на борту торгового судна. По возвращении в Москву он попадает на фронт первой мировой войны, где специализируется в области военной терапии. Затем принимает участие в гражданской войне. Демобилизовавшись из Красной Армии в 1920 году, он поступает на работу в Благушинскую городскую больницу (ныне городская больница № 36), где работает всю свою жизнь, пройдя путь от ординатора до главного врача. В годы второй мировой войны служит на Южном и Карельском фронтах, заканчивает войну в Корее; награжден орденами и медалями. В 1947 году удостоен звания заслуженного врача РСФСР, в 1953 году избирается ученым секретарем Московского терапевтического общества.

В настоящее время автографы публикуемых писем и стихотворений находятся в архиве дочери адресата — О. П. Юркевич. Письма 1, 3 и 4 написаны карандашом, 8 — синими чернилами, все остальные — черными чернилами; письмо 11 — на бланке Музея изящных искусств им. Императора Александра III. Сохранился единственный конверт, с адресом, надписанным сначала карандашом, а затем введенным черными чернилами: Разъезд «Толстое» / Данково-Смоленской ж<елезной> д<ороги> / Имение Орловка / Его Высокоблагородию / Петру Ивановичу Юркевичу. На конверте имеется почтовый штемпель: Таруса Калуж<ской губернии>, 1.8.08. Этот конверт, судя по формату и дате почтового штемпеля, соответствует письму 7. Тексты печатаются по оригиналам в соответствии с новой орфографией, особенности пунктуации по возможности сохранены.

Авторы примечаний выражают искреннюю признательность О. П. Юркевич, а также племянницам адресата Е. С. Липеровской и М. С. Бессмертной за предоставленные сведения и материалы, касающиеся его семьи.

Список сокращений, используемых в примечаниях:

АИЦ-3 — Цветаева А. Воспоминания. Изд. 3-е, доп. М. «Советский писатель». 1983.

Воспоминания — «Воспоминания о Марине Цветаевой». Сост. Л. А. Мнухин, Л. М. Турчинский. М. «Советский писатель». 1992.

Минувшее — «Минувшее. Исторический альманах». Вып. 11. Paris. «Atheneum». 1991; М. — СПб. «Atheneum». «Феникс», 1992.

Е. И. ЛУБЯННИКОВА, Л. А. МНУХИН.

1

<21 июля 1908 г., Орловка>¹

На 18-ое июля

Когда твердишь: «Жизнь — скука, надо с ней
Кончать, спасаясь от тоски»,
Нет ничего светлей и радостней
Пожатья дружеской руки.
Душа куда-то ввысь возносится,
Туда, где ярк солнца свет,
И в сердце тихо произносится
Молчаньем скрепленный обет.
Не будем строгими и зрелыми,
Пусть мы безумны, ну т<а>к что ж!
Мы знаем, правда только с смелыми,
А всё другое только ложь.
Пусть скажут: «Только безрассудные
Поверят дружеским словам»,
За светлый луч в минуту трудную
От всей души спасибо Вам.
И вот теперь скажу уверенно
(Я знаю, между нами — нить):
«О нет, не всё еще потеряно,
И есть исход и можно жить!» —

Не вообразите о себе слишком многого, избалованный² Понтик! —

Написано в «веселом» настроении 21-го июля 1908 (после езды на конях)³.

[Сложенный втрое лист надписан рукой Цветаевой:]

Вечерняя почта из Горбачева⁴

«Понтику» (своеобразному пойнтеру, не вошедшему в возраст).

¹ Данное послание, как и стихотворение, датируется днем отъезда Цветаевой из Орловки (см. письмо от 13 августа 1908 года — *Минувшее*, стр. 343; примеч. 4).

² Это ироническое обращение к адресату, возможно, вызвано отзывом о нем С. Юркевич (см. письмо 3).

³ Цветаева вспоминает о верховой езде с Юркевичем в письме от 21 июля 1916 года (см.: *Минувшее*, стр. 346).

⁴ Горбачево — Вероятнее всего, именно в Горбачево при прощании Цветаева и передала стихи адресату, из рук в руки.

2

<22 июля 1908 г., Таруса>

Говорила я Вам, Понтик, что буду писать по два раза в день¹.

Сегодня получила письмо от Сережи².

Представьте себе, в каких обстоятельствах он вспомнил меня: оркестр в японском театре заиграл Хиавату³, и он, конечно, не мог меня не вспомнить.

Не могу сказать, чтобы я была очень польщена этим обстоятельством⁴.

Сейчас особенно темно на душе. Ася⁵ с Андреем⁶ уехали в гости с ночевкой, я одна с французенкой⁷. Ворчит-поварчивает на столе самовар, темная, совсем осенняя ночь обступила стены дома и старается проникнуть в него через черные стекла.

У меня был сегодня странный разговор, после к<оторо>го я ник<а>к не могу прийти в себя.

Странный субъект — этот мой знакомый⁸. Он не сильный, я его страшно боюсь. Боюсь его и иду к нему, потому что не могу не идти.

Он холодный, мертвый. Увидит светлую точку и мгновенно загасит ее. Зажечь он ничего не может. Вся жизнь его полна призраков.

Сегодня он мне сказал такую вещь:

— «К<а>к прекрасно иметь в себе огонь и тушить его!»⁹ — Я долго над этим думала. Что можно ответить на такую вещь?¹⁰

К чему гасить огонь? Гасить его не надо. А к чему разжигать? Человек может погибнуть, если огонь вспыхнет в нем слишком сильно. Горение могут вынести только немногие избранные. Я лично говорю: надо всегда разжигать костер в сердце прохожих, только искру бросить, огонь уж сам разгорится.

Лучше мученья, огненные, яркие, чем мирное тленье. Но к<а>к убедить людей, что гореть надо, а не тлеть. Они потребуют моментально гарантию, расписку в счастье.

Всё сводится к риску и дерзости. Только они спасут людей от спячки.

Дерзость мысли, чувства, слова! Говорить, не боясь преград, идти смело, никому не отдавая отчета, куда и зачем, влечь за собой толпу...

Это чудно! Но... если не горенье нужно, а замерзание! Вот Брюсов¹¹, — забрался на гору, на самую вершину (по его мнению) творчества и, борясь с огнем в своей груди, медленно холодеет и обращается в мраморную статую.

Разве замерзание не т<а>к же могуче и прекрасно, к<а>к сгорание? Милый Понтик, глядя [на] всё это с медицинской точки зрения, Вы скажете, что это всё сплошная отвлеченность, что природа не считается с капризами отдельных личностей и пр<очее>.

Но Вы мне тем-то и нравитесь, что в Вас эстетик сильнее врача, а то бы я не стала Вам писать всего этого.

Вы, м<ожет> б<ыть>, помните мои стихи «В монастыре»¹², к<отор>ые показывала Вам Соня¹³? Они написаны под впечатлением разговора с этим странным знакомым.

В нем есть что-то каменное и холодное. Когда я поговорю с ним, всё светлое, красивое, смелое исчезает и дает место какому-то кошмарному бреду, полному диких ужасов и страшных картин.

Во время разговора с Вами я чувствовала себя т<а>к ясно, т<а>к хорошо. Вообще я очень отдохнула в Орловке¹⁴. А теперь всё смято, беспорядочно, сумбурно. В голове бродят какие-то отрывки мыслей. Ничего не могу обобщить. Связь к<а>к-то утерялась.

Порой мне бывает страшно и откуда-то со дна всплывает что-то темное. Мне кажется, что это начало сумасшествия. Впрочем, это шаблонно — все т<а>к говорят и никто не сходит с ума.

Прочтите это письмо еще раз вечером, если хотите меня понять.

О, Петя, к<а>к тяжело жить одной. Я боюсь одиночества и своей тоски. Бегу ко всем, лишь бы забыться. К<а>к бы мне хотелось быть сейчас в столовой и слушать «Два гренадера»¹⁵. Вижу отсюда, к<а>к Соня полулежит на диване, а Вы вкладываете валик и приговариваете:

— «Ах ты черт, странно, что ж это он не лезет?» —

Глажу Вас против шерстки.

Лапу, товарищ!

МЦ.

22-го июля 1908

¹ Первое письмо от 22 июля 1908 года было написано утром (см.: *Минувшее*, стр. 337 — 339).

² Сережа — Юркевич Сергей Иванович (1888 — 1919), брат П. Юркевича. Окончил с золотой медалью Московскую 4-ю гимназию, в 1906 — 1912 годах — студент медицинского факультета Московского университета, затем — земский врач, в первую мировую войну был призван на фронт в качестве хирурга. Умер от сыпного тифа. Подробнее о нем см.: *Минувшее*, стр. 353 — 354.

Был первым взрослым гостем сестер Цветаевых в Трехпрудном переулке. Переписка М. Цветаевой с ним, начавшаяся в 1907 году, очевидно, не сохранилась. В упомянутый период С. Юркевич, по-видимому, находился на летней практике.

³ Хиавата. — Можно предположить, допуская возможность различного транскрибирования английских слов, что речь идет об опере (или об увертюре к ней) чешского композитора Антонина Дворжака (1841 — 1904) «Hiawatha» (1892 — 1895), созданной по поэме американского поэта Генри У. Лонгфелло (1807 — 1882) «The Song of Hiawatha» (1855). Не исключено также, что речь может идти о симфонии Дворжака «Из Нового Света», № 5 (1893), связанной отчасти с «Песней о Гайавате» (программной основой второй части симфонии является сцена похорон Миннегаги — подруги Гайаваты).

⁴ Установить в точности источник этой аллюзии не представляется возможным. Рискнем, однако, указать на вероятную связь между цветаевской мотивировкой прошлогодней ссоры с ней С. Юркевича (см. письмо 4) и образом Гайаваты — пророка, учителя. Ср. такие строки поэмы:

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно...

(Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Пер. И. А. Бунина. СПб. Изд. Т-ва «Знание». 1903, стр. 10 — 11). Поэма к тому времени была хорошо известна в России; полный ее перевод был осуществлен И. А. Буниным в 1896 — 1903 годах. В других переводах выходила под названиями «Песнь о Гиавате» и «Гайавата».

⁵ Ася — Цветаева Анастасия Ивановна (в замуж. Трухачева; 1894 — 1993), младшая сестра М. Цветаевой, в то время училась в гимназии В. В. Потоцкой (в 1908 году перешла в 4-й класс); впоследствии писательница, мемуаристка.

⁶ Андрей — Цветаев Андрей Иванович (1890 — 1933), сводный брат М. Цветаевой. Учился в Московской 7-й гимназии (в 1908 году перешел в 8-й выпускной класс), в 1909 — 1916 годах — студент юридического факультета Московского университета; впоследствии оставил юриспруденцию, работая в Госторге экспертом по картинам.

⁷ Неясно, о ком идет речь. Французская девочка Анна Ажерон, согласно воспоминаниям А. И. Цветаевой, гостила в Тарусе летом 1907 года (см.: *АИЦ-3*, стр. 235 — 242). Вместе с тем никаких гувернанток после смерти матери (в 1906 году) у сестер Цветаевых не было. Данное выражение вряд ли приложимо и к жившей в Тарусе вдове их деда — С. Д. Мейн, швейцарке по происхождению. См. также примеч. 6 к письму 4.

⁸ Вероятнее всего, имеется в виду Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888 — 1946) — будущий писатель; в 1906 — 1912 годах — студент философского отделения историко-филологического факультета Московского университета (ученик И. В. Цветаева), в 1921 — 1924 годах — директор Государственного Румянцевского музея.

Знакомый сестер Цветаевых по Тарусе и Москве, увлекался младшей из них. В 1907 году началась дружба М. Цветаевой с его сестрой Ниной (см. обращенные к ней стихотворения «Нине» и «„Прости“ Нине» в сб. «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь»). Выведен впоследствии М. Цветаевой в очерке «Жених» (1933). Период, о котором идет речь, для Виноградова — время мучительных религиозных исканий. (См. об этом: «А. К. Виноградов у Льва Толстого». Публ. Ст. Айдиняна. — «Новый мир», 1994, № 8, стр. 214 — 221).

⁹ Ср. фрагмент записи А. К. Виноградова 1909 года о Д. С. Мережковском: «Великой волей своей он себя держит и не позволяет пролиться этому огню» (РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, ед. хр. 296, зап. кн. 2, стр. 57). Указано Ст. А. Айдиняном.

¹⁰ Этот «вечный» вопрос продолжал волновать Цветаеву и годы спустя. С поисками ответа на него связана одна из важнейших тем ее творчества — «победы путем отказа» (слова С. М. Волконского), наиболее ярко выраженной в стихотворении «Прокрасться...» (1923). См. также поздние размышления Цветаевой на эту тему в лирическом эссе «Письмо к Амазонке» (1932, 1934): «Уметь все сказать — и не разжать губ. Все уметь дать — и не разжать руки. Это отказ, который <...> является главной движущей силой моих поступков. Силой? — Отказ? Да, потому что подавление энергии требует бесконечно большего усилия, чем ее свободное проявление — для которого вообще не нужно усилий. <...> Что трудней — сдерживать лошадь или пустить ее вскачь? И — поскольку лошадь, которую мы сдерживаем, — мы сами — что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы?» (перевод с франц. К. М. Азадовского. — «Звезда», 1990, № 2, стр. 183).

¹¹ Брюсов Валерий Яковлевич (1873 — 1924) — поэт, критик, основоположник русского символизма. Цветаева увлекалась поэзией Брюсова в юности. Адресат ее письма 1910 года, а также двух стихотворений в сб. «Волшебный фонарь» и «Из двух книг». Ему посвящена цветаевская проза «Волшебство в стихах Брюсова» (1910?) и «Герой труда» (1925).

¹² Об этом стихотворении Цветаевой нам ничего не известно. Позднее к «монастырской» теме она обратилась в стихотворении «А всему предпочла...» (1918).

¹³ Со ня — Юркевич Софья Ивановна (в замуж. Липеровская; 1892 — 1973), младшая сестра Юркевича, подруга Цветаевой по гимназии им. В. П. фон Дервиз, которую окончила с золотой медалью в 1908 году, продолжив затем обучение в 8-м педагогическом классе. Впоследствии педагог, писательница, автор воспоминаний о Цветаевой (см.: *Воспоминания*, стр. 31 — 41). Подробнее см.: *Минувшее*, стр. 351.

¹⁴ Орловка — имение Юркевичей в Чернском уезде, Тульской губернии (ст. Скуратово), находилось неподалеку от тургеневских и толстовских мест; принадлежало Александру Николаеву (урожд. Ивановской; 1865 — 1934) — матери адресата. Орловка славилась открытостью дома, гостеприимством хозяев, обстановкой высококультурного интеллигентного быта, многие элементы которого строились И. В. Юркевичем по абрамцевским образцам. В доме было много музыки, молодежи (одно время там был устроен гимназический пансион), игр, веселья, привлекала верховая езда, при этом «высокая поэзия» совмещалась с сельскохозяйственными работами в поле и на усадьбе.

¹⁵ «Два гренадера» — баллада немецкого композитора Роберта Шумана (1810 — 1856) на стихи Генриха Гейне (1797 — 1856) «Die beiden Grenadiere»; русский текст принадлежит М. Л. Михайлову (1829 — 1865). Была особенно любима Ф. И. Шаляпиным, и вполне допустимо, что речь идет о грамофонной записи его исполнения.

3

<23 июля 1908 г., Таруса>¹

Вы, Понтик, пожалуйста, не воображайте, впрочем, Вы такой умный, что ничего и не вообразите.

Передо мной лежит раскрытая химия² и ехидно улыбается.

Знаете что? Устроим зимой кружок, хотя бы литературный с рефератами по поводу прочитанного и прочим. К этому я стремлюсь из чувства

самосохранения: с другими тоска не т<а>к страшна, да [и] приятно (хотя слово «приятно» сюда не годится) обмениваться мнениями насчет прочитанного и таким образом проверить стойкость и верность своих убеждений. К<а>к Вы думаете на этот счет? У Вас, верно, есть кто-нибудь, кто бы пожелал участвовать?

Оказывается, что экзамен мой будет числа 28-го сент<ября> месяца³, т<а>к что я напрасно не осталась у Вас, чтобы ехать в Соковнино⁴. Ругаю себя, но от этого ничего не меняется.

Погода у нас беспросветная.

«Дождь и холод, грязь и слякоть,
Светлых точек нить*,
Небо хочет нас оплакать
И похоронить...»⁵

Все тарусские находят, что я загорела, к<а>к цыганка. Здесь — всё лес и лес, даже странно с непривычки и грустно без открытого горизонта тульских широких полей.

Кто-то теперь без меня ласкает Буяна⁶?

Да, Петя, пожалуйста, составьте мне список Ваших достопримечательностей (не лично Ваших, хотя, если хотите, и этот), а то я было начала перечислять и запнулась на Чермашне и Мокром⁷.

Папа⁸ очень доволен, что я побывала у Вас, и, кажется, ничего не имеет против меня еще когда-нибудь отпустить к Вам.

Соня на меня не дуется, не знаете? Мы ведь с ней порядочно грызлись.

Завтра беру первый урок по алгебре, — перспектива не из приятных.

Химию начну сегодня же, по крайней мере надеюсь начать.

К<а>к я только приехала, Ася тотчас же начала изводить меня, впрочем, очень дружелюбно. Она представляла, к<а>к я в очках, согнувшись в 3 погибели, прицепилась к лошади и к<а>к последняя, тоже скрючившись, лениво двигается.

Слушайте, Понтик, Вы ничего не имеете против того, чтобы осенью познакомиться с одной нашей знакомой зубоврачихой⁹ — разочарованной барыней слегка в декадентском вкусе.

У нее всегда бывает много народа, иногда интересного.

Нас с Асей она, не знаю за что, очень любит и всегда рада всем нашим знакомым и друзьям. Ее гостиную я зову «зверинцем», уж очень разнообразные звери там бывают.

Не ручаюсь, что это общество Вам понравится, но посмотреть стоит. К<а>к полная противоположность ей — у меня есть одна знакомая эсдечка, смелая, чуткая, умная, настоящая искорка¹⁰.

В ее присутствии всем делается светло и радостно на душе, уж очень она сердечный и искренний человек.

Посмотрите, Петя, познакомьтесь — влюбитесь, да мимо нее нельзя пройти равнодушно.

В свою очередь погляжу на Ваших знакомых, т<а>к к<а>к, судя по Вашим рассказам, есть среди них интересные. Соня мне говорила, что Вы очень избалованы всеми.

Это правда?

Трогательно: отсылаю одновременно письма всем троим: Сереже, Вам и Соне. Не хватало бы еще письма Володе¹¹. Кстати, когда будете ему писать, напишите, что ему надо еще много практиковаться, прежде чем определять верно по почерку характер человека.

Впрочем, задатки у него есть, и Бог знает, м<ожет> б<ыть>, он прославится не к<а>к инженер, а к<а>к определитель людей по почерку.

К<а>к он узнал, что я близорукая? Это интересно.

Сердечно завидую Вам: 24-го или 25-го будете слушать музыку¹², а я, м<ожет> б<ыть>, в это же время буду учить, к<а>к «кристаллы падают, т<а>к вообще»...

* Этого, положим, нет. (Сноска М. Цветаевой.)

Папа окончательно велел нам бросить с Асей наши фуражки¹³. Он купил нам красные береты с берьями, к<a>к носили средневековые пажи. Представляю себе удивленные лица всех Ваших соседей, если б они их увидели.

Пока всего хорошего.

Пишите.

Ваша МЦ.

¹ Письмо датируется по упоминанию в нем о концерте в Соковнино.

² Цветаевой предстояла сдача экзаменов по алгебре и химии при поступлении в 6-й класс гимназии М. Г. Брюхоненко, где она проучилась до зимы 1910 — 1911 годов, уйдя из 8-го педагогического класса.

³ Известие об изменении срока экзамена привез, судя по всему, И. В. Цветаев. В дальнейшем этот срок снова изменился.

⁴ Соковнино — село Чернского уезда, Тульской губернии, расположенное на оживленной торговой дороге, в 20-ти верстах от Орловки. Там находилось имение тетки Юркевича по материнской линии, Анны Николаевны Бодиско; возможно, туда и собирались отправиться Юркевичи на музыкальный концерт.

⁵ Цветаева приводит первую строфу стихотворения без названия из книги революционного поэта Евгения Михайловича Тарасова (1882 — 1946) «Земные дали. Вторая книга стихов» (СПб. «Шиповник». 1908, стр. 38). В «Ответе на анкету» (1926) Цветаева поставила стихи Тарасова в ряд душевных событий своего отрочества. См. также письмо 4 и примеч. 14 к нему и письмо от 13 августа 1908 года и примеч. 5 к нему (*Минувшее*, стр. 341 — 342, 355 — 356).

⁶ Буян — кличка одной из собак в Орловке.

⁷ Чермашня и Мокрое — названия сел в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879 — 1880). Судя по всему, обитатели Орловки непосредственно связывали эти литературные упоминания с расположенными неподалеку живописными селами Белевского уезда — Чермошны и Мокрое. Между тем первое из названий, использованных писателем, восходит к местам его детства — деревне Чермашня (Чермошня, Черемошино) Каширского уезда, приобретенной в 1832 году его родителями. Второй топонимический источник вовсе не имеет отношения к Тульской губернии.

⁸ Папа — Цветаев Иван Владимирович (1847 — 1913), отец Цветаевой, известный филолог и историк искусств; заслуженный профессор Московского университета, директор Румянцевского музея, основатель и первый директор (с 1911 года) Музея изящных искусств в Москве.

⁹ Речь идет о Лидии Александровне Тамбурер (урожд. Гаврино; ок. 1872 — до 1937), друге семьи Цветаевых. Окончила Институт благородных девиц, с 1899 года занималась зубоврачебным делом; в те годы работала в гимназии им. И. и А. Медведниковых и вела частную практику. В первую зиму знакомства с ней сестер Цветаевых жила на Арбате, д. 19, кв. 2 (в доме Бромлей). В 1908 году ушла из семьи, порвав в мужем и матерью, и поселилась на Поварской, д. 10, кв. 6.

С Тамбурер непосредственно связаны ранние стихотворения М. Цветаевой «Последнее слово», «Эпитафия», «Сереже», «Лучший союз» (сб. «Вечерний альбом»), «Жажда» (сб. «Волшебный фонарь»). В очерке «Лавровый венок» (1936) М. Цветаева вспоминала о Тамбурер: «Это — наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бледней моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери, — Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка — княжеской крови и романтической души» (Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М. «Художественная литература». 1984, стр. 23). См. также АИЦ-3, стр. 256 — 258.

¹⁰ Эсдечка — социал-демократка. Сведениями об этом лице мы не располагаем. Возможно, это кто-то из революционных друзей сводной сестры Цветаевой.

¹¹ Володя — Юркевич Владимир Иванович, брат адресата (см. предисловие). Нам неизвестно, была ли Цветаева знакома с ним в России и пересеклись ли их судьбы в Париже. В. И. Юркевичу и его триумфу посвящено множество публикаций в парижской периодике 1930-х годов. В частности, см.: Лукин А. Ф. У. (Торжество русской идеи). — «Последние новости», 1932, 19 октября, № 4259, стр. 2 — 3; [Б. п.] За «Голубым бантом». — Там же, 1935, 18 мая, № 5168, стр. 3; [Б. п.] Чествование В. И. Юркевича. — Там же, 1935, 13 июля, № 5224, стр. 4; Днепров Р. У. В. И. Юркевича. — «Возрождение», 1935, 26 мая, № 3644, стр. 4. Биографическую справку о нем см.: Коваленский П. Е. Зарубежная Россия. Дополнительный выпуск. Paris. 1973, стр. 28 — 29.

¹² См. примеч. 4.

¹³ «Фуражка с венчиком» запечатлена Цветаевой в стихотворении «Проснулась улица. Глядит усталая...», датированном мартом 1908 года.

<28 июля 1908 г., Таруса>

Откровенность за откровенность, Понтик.

Хотите знать, какое впечатление у меня осталось от Вашего письма?¹

Оно всецело выразилось в тех нескольких словах, к<отор>ые вырвались у меня невольно:

— «Какой чистый, какой смелый!» —

— «Кто? — спросила сидевшая тут же Ася и многозначительно прибавила, — да мне вовсе не интересно знать. Кто бы то ни был — всё равно разочаруешься!» —

— «Не беспокойся, этого не будет! — сказала я. — Давай пари держать, что через месяц, много 1 1/2 ты придешь ко мне и скажешь: „А знаешь, Ася, это не то, совсем не то“». —

— «Пари держать не хочу, всё равно проиграешь ты. Знаешь, повесь меня, если это не будет т<a>к!» —

— «Ладно!» — Ася подошла к стене и нарисовала виселицу с висящей мной.

— «Я тебе дюжину примеров приведу, — продолжала моя дорогая сестрица, — больше дюжины, считая только последние два года!» —

Действительно, пришлось нехотя признаться в том, что каждое «очарование» влекло за собой неминуемое «разочарование».

А сколько их было! —

Но не о них я хотела говорить.

Ваш тип — тип смелого, чистого, самоотверженного борца сходит со сцены.

От Вас веет чем-то давно прошедшим, милым, светлым.

В Вас есть свойство, почти исчезнувшее, — энтузиазм, любовь к мечте.

А это много, скажу больше — это почти всё! Энтузиазм, стремление вверх, к звездам, прочь от пошлой скуки, жажда простора и подвига — вот что движет жизнь вперед, делает ее сверкающей, сказочной. А жизнь должна быть сказкой... по смыслу (по форме это редко удается). Только не детской веселой сказочкой с опасностью в виде бабы яги посредине и благополучным концом (в виде национального гимна и Тасенек²), а такой сказкой, чтобы дух захватывало, когда ее станешь читать или, вернее, когда «наши внуки» станут ее слушать.

Я люблю граненые стекла³ и в детстве была способна по целым часам их рассматривать, не скучая. Пусть наша жизнь будет к<a>к граненые стекла, — на меньшем мириться нельзя. Моему понятию о жизни всецело соответствует следующее стихотворение Максима Горького, писанное им, когда он еще не был правверным марксистом.

Песня о Марко⁴

В лесу над рекой жила фея,
В реке она часто купалась,
Но раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.
Ее рыбаки испугались,
Но был с ними юноша Марко.
Схватил он красавицу-фею
И стал целовать ее жарко.
А фея, к<a>к гибкая ветка,
В могучих руках извивалась
И в Марковы очи глядела
И тихо чему-то смеялась.
Весь день она Марко ласкала,
А к<a>к только ночь наступила,
Пропала веселая фея...
У Марко душа загрузила.

И день ходит Марко, и ночи
В лесу над рекой, над Дунаем,
Всё ищет, всё стонет — «Где фея?» —
А волны смеются: «Не знаем!» —
Но он закричал им — «Вы лжете,
Вы сами играете с нею!»...
И кинулся юноша глупый —
В Дунай, чтоб найти свою фею... —
Купается фея в Дунае,
К<a>к прежде до Марко купалась,
А Марко уж нету, но всё же
О Марко хоть *песня* осталась!
А вы на земле проживете,
К<a>к черви слепые живут, —
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют.

Конечно, если смотреть на всю эту историю с точки зрения «пользы» и «результатов» — получится бессмыслица. К чему Марко бросился в реку? Наконец, не лучше ли ему было остаться на берегу за чистой рыбой и бросить мысли о промелькнувшей в его жизни сказке — фее.

Такая идиллия: чистил бы Марко свою рыбу или возил бы ее в соседний город, откуда возвращался бы навеселе, а на следующий день снова закидывал свои сети, и т<a>к всю жизнь.

Но случилось нечто странное: увидев фею, Марко вдруг понял, что Дунай лучше жизни с продажей рыбы.

Он сгорел за свою мечту, за свой порыв. Именно т<a>к я понимаю революцию — не к<a>к средство наполнения голодных желудков, а к<a>к горение за мечту, м<ожет> б<ыть>, такую же призрачную и обманчивую, к<a>к дунайская фея.

В этом мы, наверное, с Вами разойдемся. Вы говорите: отдать жизнь за счастье других. Я скажу: отдать жизнь за мечту (к<отор>ая, может быть, причинит людям вред, впрочем, в моем случае и в Вашем это не т<a>к).

Сейчас душно, — собирается гроза, и поэтому к<a>к-то не пишется.

Вернулась сейчас с купанья, во время к<оторо>го произошла следующая сценка. Когда мы пришли на берег — там сидел один маленький мальчишка с коровой и теленком. Мы пообещали ему стеречь корову, если он уйдет. В самый разгар купанья корова и теленок, накупавшись вдоволь, ушли на луг. Вскоре послышался рев пастушонка, к<отор>ый околачивался где-то поблизости.

— «К<a>к, ты здесь, Лялька, ты не ушел? — крикнула Ася, обрадовавшись предлогу избавиться от коровы и теленка, — ты обещал уйти, а сам не уходишь, вот теперь загоняй их сам!» —

Рев еще более усилился.

— «Да, Лялька! — поддержала я, — и не воображай, что мы будем их загонять!» —

Рев перешел в нечто еще более сильное, чему названия я не знаю.

— «Загоняй сам!» — радостно вопили мы из воды. Вдруг среди рева послышалось нечто похожее на слова.

— «Что?» — переспросили мы.

— «-ё-ё-ёнка!» — донеслось с горки.

— «Что?» —

— «Тейё-ё-ёнка-а-а!» —

— «Да что?» —

— «Я койову, а вы тейе-ёнка!» —

На том и порешили. Лялька с ревом загнал корову, а теленка, к<отор>ый был рядом с ней, оставил для нас. Простите за такую ерунду, просто очень уж смешно было, а Вам, наверное, со стороны просто странно. Вчера вечером я вышла побродить в поле. У нас полей мало, всё больше лес. Ну вот бродила я меж желтой рожью, садилось солнце — и край неба был огненно-красный, переходящий в золотой. Приближающаяся темнота, бледный месяц, голубоватая даль — всё это настраивало к грусти. Я думала над тем, почему люди т<a>к одиноки. Ведь это ужас, подумайте, это проклятие. И ведь никогда люди, даже самые, самые близкие, не могут знать, что происходит в душе друг у друга. Счастлив тот, кто не гонится за тем, чтобы понять. Вот я говорю с Вами (это я т<a>к для примера беру) и никогда не знаю, серьезно ли Вы говорите или шутя, не могу поручиться за то, что Вы понимаете мое настроение...

Ну вот, я думала т<a>к и медленно шла, глядя на тоскливую даль. [Зачеркнуто.] И к<a>к-то сразу сделалось холодно и захотелось домой.

Небо совсем померкло, а при свете луны поля сделались какие-то странные, грезящие, холодные.

Вся оторванность человека от природы вдруг ярко стала мне понятна. И вышло т<a>к: люди — чужие, природа — чужая, далекая.

И грустно-грустно было возвращаться по лесу домой, где кроме химии и алгебры никто не ждет.

Вы будете виноваты, если я провалюсь по обоим предметам, т<a>к и скажу.

— «Это Петя виноват, я хотела учиться!»—

— «Какой Петя?» — удивленно спросит педагог.

— «А такой, Понтик! — сквозь слезы отвечу я и для пояснения прибавлю, — черный!»—

На педагогическом совете будет разбираться вопрос о причине неуспешности экзамена г<оспо>жи Ц<ветаевой>.

— «Мое мнение, — проворчит нечто вроде Степаненки⁵, — что она во сне увидела какого-нибудь арапа, Петю...» —

— «Почему же Петю, а не Колю?» — тоненьким голоском спросит учитель алгебры.

— «Это всегда т<а>к во сне! — скажет начальница, — думаешь про Колю, а увидишь Петю».

— «И т<а>к испугалась, что ничего не сумела сказать», — докончит «нечто».

— «Черный... Гм... Это не антихрист ли? — глубокомысленно изречет батюшка, — оно иногда того...» —

— «Именно, именно, анархист! — тоненьким голосом поддержит «алгебра», — а за знакомство с анархистом...»

— «Антихристом!» — поправит батюшка.

— «Да, да, я т<а>к и сказал. Ит<а>к, за знакомство с недозволенными лицами мы г<оспо>же Ц<ветаевой> поставим 0». —

— «Для возрождения злонравия», — буркнет «нечто».

— «Для возвращения заблудшей овцы на путь истинный!» — пробасит молчавшая «химия».

Ит<а>к, Вы и анархист и антихрист, а по-настоящему милый черный пойнтер. К<а>к у нас красиво! Я часто ужасно жалею, что Вас здесь нет. Такая широкая спокойная река, отражающая все настроения неба, заглохшие дороги, заливные луга, горы Вам бы, верно, здесь очень понравились. Почему я не могу Вас пригласить вместо Сони?⁶ Сижу на своей вышке⁷, где провожу почти весь день. Видна голубая вдумчивая река, нежно-зеленые, трепетные березы, в к<отор>ых я в детстве по близорукости и сильно развитой фантазии видала рыцарей и волшебников с длинными бородами. Вы когда-нибудь обращали внимание на красоту дыма. Он т<а>к хорошо умирает наверху, в голубом небе!

Недавно я написала стихи, конч<ающиеся> т<а>к:

[Зачеркнуто.]

Не смущайтесь, люди, исканьями правды напрасными,

Будьте дети, идите к тому, что вас манит и радует,

Только в смерти должны мы печальными быть и прекрасными,

К<а>к те грустные листья, что падают, падают, падают...

Когда я получила Вашу закрытку, я ужасно удивилась и весь день ходила в очень странном настроении.

Мне даже одну минуту показалось, что Вы — нечто мной вымышленное, а не действительность.

Бывают такие дни, когда ходишь к<а>к во сне, мало замечая то, что происходит. Мой учитель по алгебре был страшно удивлен, вернее, недоволен тем, что я ник<а>к не могла понять, что такое разложение на множители и алгебр<аическое> деление. (Последнее, кстати, т<а>к и осталось непонятым мною, и опять Вы виноваты.)

Больше всего меня удивило в Вашей закрытке то выражение, что «и у меня» бывает хандра. Повторяю Вам, что тоска — мое обычное состояние, из к<оторо>го я на время вышла, благодаря Вам. Унизительно жить, не зная зачем. А вот что Вы, избалованный, хорошенький дамский кавалер, очаровательный «jeune homme»⁸ — и вдруг отрицаете саниновщину⁸ — это меня ужасно удивило и обрадовало.

Я Вас раньше ведь терпеть не могла (м<ожет> б<ыть>, это т<а>к будет, не ручаюсь за себя дольше сегодняшнего дня, и то много!), всё говорила Соне — «Ну, милая, и противный же твой Петя, вот антипагичный!»—

⁸ молодой человек (франц.).

Я никого больше на свете не ненавижу, чем хороших студентов, для которых цель жизни «побеждать» всех, начиная с высокопоставленных дам и кончая горничными и другими еще лучше, а Вы мне казались именно таким типиком. И вот, когда я узнала от Сони, что Вы должны скоро приехать⁹, может быть, уже приехали, мне сделалось очень неприятно, так как я не желала нарушать тишины Вашего дома и вместе с тем быть приветливой к «победителю»¹⁰ не могла. Я даже колебалась, ехать ли.

А что я немножко «щетижилась» вначале — естественно.

Во всяком случае, в настоящую минуту я к Вам отношусь очень хорошо, а что будет — не знаю, тогда увидим. Это и не так важно.

Потом когда-нибудь, в Москве, если будем друзьями, я Вас спрошу одну вещь, которую мне бы хотелось знать. Только не в комнате. Где-нибудь на улице, вечером, а то я совсем не могу разговаривать, когда на меня смотрят¹¹.

Теперь лунные ночи. Гуляете ли Вы? Давайте поедem на шарабане сегодня вечером. Никогда не забуду того тоскливого чувства одиночества, которое охватило меня, когда поезд двинулся¹².

Слушайте, пожалуйста, назовите Вашу первую дочь Мариной, ладно?

Часто ли Вам пишет Е(ва)?¹³

Глажу Вас против шерстки и буду рада, когда она отрастет.

Писал ли Сережа? Насчет него я нахожусь в одном сомнении.

Я на Вас загадывала по одной книге, и вот что вышло:

«...И думы шептали: «Не ждите чудес,
Жрецы Вам солгали, и Он не воскрес!»
И долго с тревогой глядели в окно.
Там не было Бога, там было темно»¹⁴.

Вы, наверное, очень мучились над религиозными вопросами?

Нравное, Соня очень рада, что я уехала. Устроила ли она Вам то, о чем я ее просила, или нет?

[Зачеркнуто.]

Пока всего Вам хорошего. Спасибо за хорошее письмо.

Написала много ерунды — не взывайте.

Исполнится ли Асино предсказание, — мне интересно. Пишите.

МЦ.

Вечером 28-го июля 1908.

Милый щененок Вы мой (не обижайтесь, что я Вас так зову, я очень люблю собак), как бы Вам объяснить получше, почему мне так трудно жить.

Видите ли, я сознаю свою полную непригодность для жизни¹⁵. Революция, как и всякий подъем, — только миг, а жизнь так длинна. Представьте себе, ведь не сразу же Вы из маленького мальчика с оскаленными постоянно для смеха зубами сделались большим и серьезным.

Это ведь всё сделалось день за днем, никаких скачков в Вашей жизни не было. Ведь вся жизнь — бесконечный ряд «сегодня», «вчера» и «завтра».

Чем заполнить жизнь? Ну, укажите мне что-нибудь такое, чем можно было жить всю жизнь.

Мне страшно хочется умереть рано, пока еще нет стремления вниз, на покой, на отдых.

Ну представьте себе такую встречу. Вы — почтенный учитель гимназии, отец семейства и прочее. Я — сорокалетняя дама с солидным супругом. Очаровательно, не правда ли?

А самое худшее — это если мы оба не окончательно заснем и при встрече вспомним прошлое.

Подумайте, до чего легко свернуться с пути. Момент слабости, отчаяния, минутное увлечение — и расплата на всю жизнь.

* Так в оригинале письма.

Нужно быть вечно на страже, к<a>к бы не свихнуться.

Петя, Вы вот умный, смелый, чистый, скажите — чем нужно жить? Если жить чувством, порывом — какое право мы имеем тогда обвинять Санина? Делить порывы на добрые и злые слишком рассудочно и скучно. Выходит какая-то добродетель на постном масле. Выходит т<a>к: или постоянно следить за собой, держать себя в своих руках, или жить по голосу сердца, называя добрым то, что искренно, будь это хоть та же ненавистная саниновщина.

Я понимаю — быть одиноким ради чего-нибудь, ради какой-нибудь идеи. Но не имея ничего определенного, что бы заполняло всё существо, и быть одиноким — трудно.

На пути столько заманчивых станций, кажется, что только на минутку зайдешь отдохнуть, а там не хватит силы выбраться на настоящую дорогу, махнешь рукой и останешься.

Вот странно, я Вас т<a>к мало знаю и говорю с Вами т<a>к откровенно, к<a>к с немногими. М<ожет> б<ыть>, это потому, что я пишу вечером? Но начало письма писалось утром, при солнце.

Если Вы думаете, что я ломаюсь, — пожалуйста, напишите.

М<ожет> б<ыть>, Вы и сам ломаетесь, а совсем не я. Меня злость разбивает.

Мы едем с Вами в шарабане. Уже стемнело. Звезды. Налево небольшой лесок, кругом всё поле, ровное-ровное, к<a>к будущий строй.

Мне жаль, что я не знала Вас маленьким. Какой Вы были? Самолюбивый, с выдержкой, мне кажется. Отчего-то с Сережей нам никогда не удавалось поговорить к<a>к следует. Пробовали переписываться прошлым летом и рассорились. Сережа больно взъелся на меня за то, что я была причиной падения (на очень короткий срок) его авторитета в глазах Сони. Кстати, Соня прислала Асе «серьезное» письмо, полное «изречений».

Будем ли мы видеться в Москве?

Ну, пора кончать, да и Вам пора спать. По-прежнему ли Вы спите целыми днями? Весело ли было в Соковнине? К<a>к сошел концерт?

Написала я Вам, кажется, много лишнего, но горе мое в том, что я всегда пересолю, — не умею остановиться вовремя.

Никогда бы не сказала, что буду писать такие длинные письма «избалованному мальчику».

К<a>к хорошо, что мы не «благородно ретировались» друг перед другом, правда?

Напишите мне хорошенько обо всем.

Всего, всего лучшего.

МЦ.

¹ Речь идет о первом ответном письме Юркевича.

² Ср. «сценку» из будущей жизни Юркевича, описанную в письме от 22 июля 1908 года (*Минувшее*, стр. 399).

Т а с е н ь к а — воображаемая дочь Юркевича.

В 1908 году торжественно отмечалось 75-летие русского национального гимна «Боже, Царя храни» (музыка А. Ф. Львова, слова В. А. Жуковского); официально он был введен в России в конце 1833 года вместо употреблявшегося в 1816 — 1833 годах английского гимна «God Save the King» композитора и поэта Г. Кэри (H. Carey).

³ След этого пристрастия (как и увлечения поэзией К. Д. Бальмонта) мы находим в таких ранних (неизвестных) строках М. Цветаевой:

В зеленой башне все было странно,
Глядели окна так многогранно,
Как будто взоры миллиона глаз...

(записаны А. И. Цветаевой по памяти, датированы ею приблизительно зимой 1907 — 1908 годов).

⁴ Ранняя редакция стихотворения впервые опубликована в тексте сказки «О маленькой фее и чабане. Валашская сказка» («Самарская газета», 1896, 11 мая, № 98). Как самостоятельное произведение (редакция не позднее 1903 года) под заголовком «Легенда о Марко» вошло в изд.: Горький М. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. Легенда о Марко. СПб. Изд. Т-ва «Знание». 1906, стр. 8 (Дешева 6-ка Т-ва «Зна-

ние». № 1); в дальнейшем при жизни автора не перепечатывалось. Текст стихотворения был положен на музыку А. Ф. Спендиаровым («Рыбак и фея». Баллада, 1903), С. Волковым-Давыдовым («Рыбак и фея». Мелодекламация, 1907), Базилевским («Фея», 1907), А. Туренковым («Фея», 1917). Цветаева, по всей видимости, цитирует стихотворение по памяти.

⁵ По-видимому, имеется в виду Николай Николаевич Степаненко — преподаватель Женской гимназии им. В. П. фон Дервиз, где обучалась Цветаева в 1906 — 1907 годах, и Московской 4-й мужской гимназии, которую окончили Юркевич и его братья.

⁶ Очевидно, речь идет о вторичном приглашении С. Юркевич в Тарусу, которое осталось нереализованным (см. настоящую переписку). Что касается первой поездки, то сведения о ее сроках разноречивы. Говоря о ней в своих воспоминаниях, С. И. Липеровская (Юркевич) указывает на лето 1907 года (см.: *Воспоминания*, стр. 37 — 39). А. И. Цветаева относит приезд С. Юркевич в Тарусу к лету 1908 года, а также оспаривает утверждение мемуаристки о том, что М. Цветаева принимала гостью в доме С. Д. Мейн, а не у себя на даче «Песочное» (см.: *АИЦ-3*, стр. 263). Возможно, с этим противоречием связана и отмеченная выше трудность в атрибуции одного из тарусских персонажей (см. письмо 2 и примеч. 7 к нему). В пользу 1907 года, как нам кажется, можно было бы трактовать эпизод ссоры М. Цветаевой с С. Юркевичем (см. настоящее письмо). Однако, с другой стороны, такие строки письма, как «когда я узнала от Сони, что Вы должны приехать [в Орловку], м<ожет> б<ыть>, уже приехали» (см. там же), легко принять за свидетельство пребывания С. Юркевич в Тарусе в 1908 году.

⁷ Подразумевается небольшая, левая, светелка на втором этаже тарусского дома Цветаевых. Аналогичную ей правую светелку занимала А. Цветаева.

⁸ Правильнее: «санинщина», или «санинизм» — по имени главного героя натуралистического романа М. П. Арцыбашева (1878 — 1927) «Санин». Роман впервые увидел свет в 1907 году («Современный мир», № 1 — 9); в 1908 году вышел двумя изданиями (Арцыбашев в М. [Сочинения.] Т. 3. Санин. СПб.; 2-е изд. СПб. «Жизнь»). Был сразу же переведен на многие языки и вызвал ряд судебных процессов над автором в России и за границей. Увлечение Саниным и его проповедью аморализма было, по мнению М. Горького, «неоспоримым признаком интеллектуального банкротства» современной жизни (Горький М. Собр. соч. В 30-ти томах. Т. 24. М. ГИХЛ. 1953, стр. 48).

А. И. Цветаева в своих воспоминаниях отмечала «не наше увлечение молодежи книгами: Вербицкой «Историей одной жизни», «Саниным» Арцыбашева (что «все позволено» между мужчиной и женщиной) и «Гневом Диониса» Нагродской (о том же). Это было — чужое» (*АИЦ-3*, стр. 310). См. также примеч. 11 к письму от 22 июля 1908 года (*Минувшее*, стр. 350).

⁹ Речь идет о приезде Юркевича в Орловку.

¹⁰ Образ «победителя» вызывал негативную реакцию и зрелой Цветаевой. Ср. ее письмо к Е. Б. Тагеру от 11 января 1940 года: «— Если Вы хоть немножко дорожите нашей дружбой, не делайте из меня чудовища, нечеловека, победителя — и т. д.» (копия из архива Е. И. Лубянской). Интересно отметить, что о собственной «победоносности» Цветаева говорила лишь однажды, см. ее письмо к А. В. Бахраху от 25 июля 1923 года: «Двадцати лет, великолепная и победоносная...» (*Литературное обозрение*, 1991, № 9, стр. 102).

¹¹ Не отсюда ли берет начало цветаевская манера (к тому же близорукого человека) говорить не глядя на собеседника, которую впоследствии отмечали многие мемуаристы — В. Л. Андреева, О. Е. Колбасина-Чернова, М. Л. Слоним, Ю. П. Иваск (см.: *Воспоминания*, стр. 292, 306, 365, 430) и другие?

¹² Речь идет об отъезде Цветаевой из Орловки. См. письмо от 22 июля 1908 года (*Минувшее*, стр. 337).

¹³ Здесь, вероятно, игра Цветаевой, восстанавливающей по инициалу имя корреспондентки Юркевича не без намека на библейский персонаж. Ср. ироническое упоминание «всяких Ев и тому подобных прелестей» в письме от 22 июля 1908 года (*Минувшее*, стр. 339).

¹⁴ Цветаева цитирует стихотворение «Бог» из сборника Е. М. Тарасова «Земные дали» (СПб. «Шиповник». 1908, стр. 38), соединив воедино две строфы, 3-ю с конца и последнюю.

¹⁵ Эти слова стали лейтмотивом всей цветаевской жизни.

<Не позднее 31 июля 1908 г., Таруса>¹

Никакой милости от Вас в виде «протянутой руки» и Ваших посещений я не желаю, и не думала даже рассчитывать на Вас, т<а>к что Ваши опасения оказались напрасными.

Помилуйте, рассчитывать на такого интересного молодого человека — да еще в Москве, к<отор>ая переполнена такими хорошенькими барышнями (даже в декадентском вкусе есть), — это мне даже в голову не приходило, а если и приходило — то на очень короткое время и теперь уж не придет, смею Вас в этом уверить.

Извиняюсь за те длинные сердечные излияния, к<оторы>ми утруждала Вас, жалею, что Вы с самого начала нашего знакомства не «указали мне мое место».

Впрочем, винить здесь некого, т<а>к к<а>к я сама должна была бы его знать.

Очень благодарна Вам за перечисления знаменитостей, населяющих Тульскую губ<ернию>.

Забудьте эпизод нашего знакомства и не берите на себя труд мне отвечать.

М. Цветаева.

¹ Письмо датируется по упоминанию о нем в письме 7.

6

<Между 18 и 24 августа 1908 г., Москва>¹

Ну вот я и в Москве. Что-то странно после Тарусы: шум экипажей, фонари, толпа на улицах. Учю свою химию (25-го и 26-го экз<амены> по ней и по алгебре). В общем, рада, что в городе, хотя тех немногочисленных знакомых, с к<отор>ыми еще не рассорилась, еще не видала.

Спасибо Вам за письмо, Петя. Я хорошо понимаю Ваше тогда настроение. Такой фразы я бы, пожалуй, никогда не простила². Вот и Вы простить-то простили, а уж, верно, забыть ее никогда не сможете.

Насчет моих стихов, о к<отор>ых писала, [зачеркнуто] присылаю Вам их³, [зачеркнуто]. Мне очень трудно теперь стало Вам писать, какое-то неуверенное чувство.

Рада буду повидать Вас в Москве. Здесь всё еще по-летнему: стук экипажей, зеленые деревья, пыль на улицах. Очень тянет в синематограф, такая подзадоривающая музыка⁴. Помните, к<а>к мы все ходили тогда весной. Я еще сказала Вам: «Если буду объясняться в любви — Вы не верьте. Весной я всякому готова!» —

Да, Понтик, Вам Соня давала читать мое последнее письмо? В нем нет ни слова правды, это мы с Асей Соню мистифицируем⁵. Только не выдавайте нас, прошу. А Вы поверили?

Соне я пишу, верней, писала в многочисленных письмах, что я влюблена в одного там типа. Сонечка аккуратно в каждом письме объясняла мне, что такое любовь, к<а>к надо любить и пр<очее>. Между прочим, от нее узнала Ваше мнение, что исход любви — брак. Это к<а>к-то с Вами не вяжется.

Сегодня папа разрыл мой дневник⁶ и прочел в нем наши проделки в Тарусе. Приходит весь взволнованный к моей старшей сестре Валерии⁷ и объявляет ей — «Представь себе, Марина влюблена в Мишу⁸» (это сын нашего сторожа, симпатичный мальчик). Валерия т<а>к и не могла разуверить его в этом. Ну, пускай думает.

Скучно дома. Всё какие-то толки, предостережения, намеки. (Папа читался Санина и выражал Валерии опасение, к<а>к бы я не «вступила в гражд<анский> брак» с каким-нибудь гимназистом, каково?)

Кстати, что это Соня всё только и говорит что о браке, любви и пр<очем>. Которое письмо уж.

Ну, Петя, Вы не сердитесь, что пишу т<а>к неинтересно и мало. Я к<а>к останусь одна — т<а>к сейчас грусть.

Внешние неудачи, домашние скандалы, разные сплетни — ерунда, вот уж что меня не огорчает, а «вопросы»⁹ разные — мое горе. Хочется понять жизнь.

Какой Вы, Понтик, хороший, а еще ругались на меня за то, что я слишком много о Вас думаю.

Отчего люди т<а>к скрывают хорошие стороны?

До свидания, спасибо за славное, искреннее письмо. Не думайте, что я не оценила Вашего доверия.

Крепко жму Вам руку.

МЦ.

Когда будете в Москве?—

¹ Датируется по упоминанию сроков отъезда Цветаевой из Тарусы (см. письмо от 13 августа 1908 года — *Минувшее*, стр. 342) и предстоящих экзаменов (см. настоящее письмо).

² По всей видимости, Цветаева ссылается на фразу из письма 4, которое послужило причиной ее эпистолярной размолвки с адресатом.

³ Возможно, речь идет о стихотворении, упомянутом в письме от 13 августа 1908 года: «Написала одни стихи, — настроение и мысли в вагоне 21-го июля, когда я уехала из Орловки. Прислать?» (*Минувшее*, стр. 343). Текст этого стихотворения в семейном архиве адресата не обнаружен. Публикуемое нами отдельное стихотворение «Если слышишь ты в сердце малиновый звон...» не соответствует данному письму ни форматом автографа, ни тем более содержанием и тональностью (ср. начало письма от 22 июля 1908 года — *Минувшее*, стр. 337).

⁴ Ср. воспоминания А. И. Цветаевой: «Иногда — и все чаще — мы шли в синематограф. От картин тех лет в памяти — светлый туман. Каждый наш поход туда погружал нас в романтику, обогащал еще одной печалью, трагедией еще чьей-то судьбы» (*АИЦ-3*, стр. 270). Увлечение кинематографом сохранилось у М. И. Цветаевой на всю жизнь.

⁵ М. и А. Цветаевы были в те годы большие любительницы приключений, мистификаций, шутливых розыгрышей и т. п. О других мистификациях М. Цветаевой тех лет см.: *АИЦ-3*, стр. 238 — 240, 301 — 302; *Воспоминания*, стр. 18, 50.

⁶ О том, что Цветаева в те годы вела дневник, до сих пор было известно лишь из воспоминаний ее бывшей гимназической подруги В. К. Перегудовой (Генерозовой). Вот что она писала по этому поводу: «...дневник свой она [Цветаева] начала вести с самого раннего детства, когда она жила с матерью в Италии, в Нерви (Цветаевой было тогда 10 лет. — *Е. Л., Л. М.*). <...> Я перечитала тогда все толстые клеенчатые тетради (ее детские дневники), которые Марина постепенно перетаскала мне <...>. Меня поражало, когда я читала ее детские записи, как мог маленький ребенок так осмысленно, почти по-взрослому, описывать свою жизнь, то есть свои радости, горести, игры и шалости, обиды, наказания и прочие детские переживания. В основном же, как в дневниках (уже более старшего возраста), так и в своих письмах, Марина скупо описывала какие-нибудь события из своей жизни, а больше в них было размышлений и рассуждений на самые разнообразные темы» (*Воспоминания*, стр. 25).

Дневники Цветаевой времен ее отрочества и ранней юности не сохранились.

⁷ Валерия — Цветаева Валерия Ивановна (1883 — 1966), сводная сестра М. Цветаевой; автор «Записок». В 1895 — 1900 годах обучалась в Екатерининском институте, затем на историко-филологическом факультете Московских высших женских курсов В. И. Герье, которые окончила в 1907 году. Проработав год учительницей гимназии в Козлове, вернулась в Москву, где с осени 1908 года преподавала в частной гимназии Е. Б. Грановской. В 1918 году — инструктор внешкольного образования ЦЕПУТЬКУЛЬТА, в 1919 году — сотрудник музейного фонда РСФСР. В 1920 году организовала и до 1932 года руководила Государственными курсами «Искусство движения». Последние годы жизни провела в Тарусе.

⁸ Миша — Монахов Михаил Семенович (1890 — ?), сын сторожа тарусской богадельни и расположенной рядом с ней цветаевской дачи «Песочное». О его семье и дружбе с ним сестер Цветаевых см.: *АИЦ-3*, стр. 238 — 240, 263 — 264. Выведен «рыцарем» младшей сестры в посвященном ей стихотворении М. Цветаевой «Лесное царство» (Таруса, 1908, сб. «Вечерний альбом»). Дружба эта оборвалась по причине переезда семьи Монаховых в Серпухов после лета 1908 года.

⁹ В письме от 13 августа 1908 года Цветаева писала: «А «больные» вопросы, Вы правы, теперь не следует затрагивать, лучше когда-нибудь потом» (*Минувшее*, стр. 343).

7

<Между 18 и 27 августа 1908 г., Москва>

Написано после письма насчет «рассчитывания» и пр<очего>, 31-го VII 08¹.

Стало холодно вдруг и горели виски
И казалась вся жизнь мне — тюрьма.
Но скажите: прорвалась хоть нотка тоски
В ироническом тоне письма?

Был ли грустной мольбы в нем малейший намек,
 Боль о том, что навек отнято,
 И читался ли там, меж презрительных строк
 Горький оклик: «За что? О, за что?» —
 Кто-то тихо сказал: «Ты не можешь простить,
 Плачь в душе, но упреков не шли.
 Это гордость в себе свое горе носить!» —
 И сожгла я свои корабли...
 Кто-то дальше шептал — «В сердце был огонек²,
 Огонькам ты красивым не верь!» —
 И за этот за горький, тяжелый урок
 Я скажу Вам — спасибо теперь.
 Только грустно порою брести сквозь туман,
 От людей свое горе тая, —
 Может быть, это был лишь красивый обман,
 И не знаю, любила ли я...

И Вы в свою очередь, Петя, не смейтесь. Ведь очень легко можно сказать Вам: «Вот сентиментальная девица. Почти что признание в любви!» — На это ответчу: это дело прошлое. Стихи эти написаны под впечатлением обиды и живым воспоминанием о Вас, каким я знала Вас в Орловке. Теперь всё изменилось. Не то чтобы ссора наша отдалила нас друг от друга, а всё-таки есть что-то. Вы и сам, верно, это чувствуете. Согласны ли Вы? —

Ну т<a>к вот, Вы не смейтесь. А всё-таки мы, пожалуй, еще будем друзьями, и близкими. Мне отчего-то т<a>к кажется. О многом поговорим, когда увидимся и если увидимся.

Какое впечатление осталось у Вас от моих этих стихов? Пишите.

Соне передайте от меня, что «Лева³ в Москве». —

Ну, до свидания.

Хорошо бы, если бы зимой началось что-нибудь! Т<a>к жить нельзя, копаться в своей душе вечно — значит лишиться себя всякой радости. Поменьше комнатной жизни! —

¹ Речь идет о письме 5.

² Ср. с фразой из письма 13: «Я когда-то заметила в Вас искорку».

³ Лева — по-видимому, имеется в виду Лев Николаевич Липеровский (1887 — 1963), брат будущего мужа С. Юркевич. Сын священника, в 1907 — 1913 годах — студент медицинского факультета Московского университета, затем земский и военный врач; участник московских религиозных кружков. После революции вступил в Братство Св. Алексия, был посвящен патриархом в чин «благовестника». Эмигрировал в Шанхай. Впоследствии жил во Франции, где стал активистом Русского христианского движения, принял священство (умер в сане протоиерея).

8

<27 августа 1908 г., Москва>

Какая у меня сейчас отчаянная тоска, Понтик! Осень, колокольный звон, сознание, что лучшее время уходит без радости. Вы вот говорите о том, что я слишком много занимаюсь своим «я». А откуда взять внешние события, когда их нет? Ходить в гости? Но это мне доставляет гораздо больше мучения, чем радости. Кто-нибудь пошутит, т<a>к себе, без всякого умысла, а я потом думаю, думаю об этой фразе, выворачиваю ее во все стороны, пока не додумаюсь до того, что всем на меня наплевать и пр<очее>.

Бывают у меня минуты, когда мне хочется, чтобы меня пожалели. Под таким настроением (опять-таки только настроением) вылилось у меня след<ующее> стихотворение, к<отор>ое Вы найдете на 2-ой стр<анице>.

Я сама знаю, что не надо т<a>к возиться с собой. Да если бы теперь началось «что-нибудь», разве я бы стала хандрить? При одной мысли о возможности революции у меня крылья вырастают. Только не верится что-то.

Гляжу сейчас на поблекший хмель на стенах сарая, на безучастные крыши домов, на небо без просвета, без голубого клочка... А где-то солнце, цветы, где-то люди смеются.

Ну, слушайте стихи.

В ожидании ответа на мое «покаянное» письмо¹.

Вы простите, я знаю, мы встретимся дружно
И не будем смеяться намеками зло,
Но о том, что казалось т<a>к близко, т<a>к нужно,
Не смогу я сказать — ведь т<a>к много ушло!
Эта грустная мысль уж меня не тревожит,
Вспыхнет вновь ли костер, что горел в темноте?²
Будут новые искры, и лучше, быть может,
Будут новые искры, но только не те.
Это рок. Человеческой жизни тоска в нем.
Помню всё, и порывистый наш разговор...
Вспоминаю о нем к<a>к о милом, о давнем,
Хоть немного недель промелькнуло с тех пор.
Если всё это было не призрачным словом,
Что читалось под солнцем июльского дня,
Снова вспыхнет тоска, и в доверии новом
Я приду и скажу: «Пожалейте меня!»³ —

В одном из Ваших писем, Понтик, Вы спрашиваете, откуда я беру данные для пессимистического мировоззрения. Ну хотя бы из такой хандры, к<отор>ая иногда длится несколько дней подряд.

Из гордости не лезу к людям за участием («а ко мне лезешь» дополните Вы), а сами приласкать не догадываются. Малейшая шутка т<a>к бесит, т<a>к обижает, что иногда даешь себе волю и говоришь, что попадетя на язык. Разумеется, уж не нежное.

Конечно, глупо обвинять мир в том, что мне скверно, да я и не обвиняю, но невольно общие выводы окрашиваются в черный цвет, или в серый, это верней. Это всё очень банально, что я говорю.

От Вашего письма у меня осталось двойственное впечатление. Т<a>к было я ему обрадовалась, и вдруг натыкаюсь на такую зачеркнутую фразу:

— «Вот Вам мой взгляд. Понимайте к<a>к хотите. Мне совершенно всё равно, т<a>к к<a>к это меня сейчас совершенно не интересует».—

Я это и т<a>к знаю, Петя, у меня душа не из носорожьей кожи³, я всё очень быстро понимаю.

Жаль, что не зачеркнули почерней, т<a>к к<a>к я всегда очень основательно изучаю зачеркнутые места в полной уверенности найти там что-нибудь неприятное.

Желаю Вам удачного перехода на естественный факультет⁴. Теперь Вам, конечно, недосуг будет писать, ну, а когда освободитесь немножко, буду рада получить от Вас известие, к<a>к Вы устроились и пр<очее>.

Всего лучшего.

Оба экзамена выдержала на 4 (по отдельности)⁵.

Иду на молебен.

МЦ.

27-го VIII 08.

¹ Речь идет о письме от 4 августа 1908 года (см.: *Минувшее*, стр. 343 — 344).

² «Пожалейте меня» — со временем эта любовная формула изменилась на: «Пожалеть тебя» (см. стихотворение «Не сегодня-завтра растает снег...», 1916). См. также письмо от 21 июля 1916 года: «Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, так хочу ему помочь, «пожалеть»...» (*Минувшее*, стр. 345).

³ Ср. позднейший отзыв М. Л. Слонима о Цветаевой: «Одна голая душа. Даже страшно!» (письмо от 7 апреля 1929 года в кн.: Цветаева М. Письма к А. Тесковой. Прага. «Academia». 1969, стр. 75).

⁴ Когда мы ломали балки-то, помните? Каж<ется>, 19-го вечером. (*Сноска М. Цветаевой.*)

⁴ В письме от 13 августа 1908 года Цветаева спрашивала корреспондента: «Как же Вы решили насчет университета?» (*Минувшее*, стр. 342). Колебания Юркевича в выборе профессии отражены и в нарисованных Цветаевой «сценках» из будущей жизни, где он предстает или врачом, или учителем (см.: письмо от 22 июля 1908 года — *Минувшее*, стр. 339; письмо 4). В действительности, как показывают издававшиеся ежегодно «Алфавитные списки студентов Императорского Московского университета», Юркевич поступил в 1907 году на медицинский факультет, в 1908 — 1909 учебном году обучался на историко-филологическом факультете, за 1909 — 1910 учебный год сведения о нем отсутствуют, затем он снова числится студентом медицинского факультета.

⁵ См. примеч. 2 к письму 3.

9

<Не ранее второй половины сентября 1908 г., Москва>¹

Милый, славный Понтик! Не сердитесь, всё равно этим ничего не достигнете. Нужно было чем-нибудь выразить то чувство, названия к<оторо>го я не знаю, — если вышло по-ребячески и глупо — изменять теперь поздно. Обещать ничего не обещаю, совсем не вижу, почему я *должна* обещать. Скажу одно: такие поступки не повторяются.

Сейчас вечер. В комнатах ясный сумрак. Небо желто-розовое, светлое, звонят колокола.

В такие вечера я ник<а>к не могу найти себе места. К<а>к красиво, когда лучи заходящего солнца отражаются в окнах домов! Точно чьи-то широко раскрытые блестящие глаза! Дребезжат пролетки...

Милый мальчик мой, к<а>к мне вчера было хорошо с Вами.

Любовь, дружба ли — не всё ли равно? Дело не в названии.

Господи, Понтик, к<а>к много в жизни такого, чего нельзя выразить словами! Слишком мало на земле слов.

Крепко жму Вам руку. Не сердитесь за вчерашний порыв. Бывают минуты, когда не сама действуюешь, а под влиянием чего-то очень сильного. Если всё-таки недовольны, постарайтесь забыть. Я напоминать не буду.

Ну, друзья, что ли?

Ваша МЦ.

PS Прилагаемое письмо будьте добры — передайте Сереже.

Напишите, к<а>к Вы, сердитесь или нет? Милый, хороший!

¹ Датируется по черновику письма Юркевича, полный текст которого приводится в предисловии к настоящей публикации. Возможно, его содержание имеет отношение к данному письму Цветаевой и упомянутому в нем инциденту.

10

<Не ранее второй половины сентября 1908 г., Москва>¹

Знаете, Понтик, я ник<а>к не могу решить, Вас ли я любила или свое желание полюбить?² «Жить скверно и холодно, согревает и светит любовь». Т<а>к говорят люди. Я хотела попробовать, способна ли я любить или нет. Но все встречные были такие противные, мелочные, дрянные, что, увидев Вас, мне показалось: «Да, такого можно любить!» И мало того — я почувствовала, что люблю Вас.

Все дни, когда от Вас не было писем, и эти последние, московские дни мне было отчаянно-грустно. А теперь я несколько дней совершенно о Вас не вспоминала. А герцога Рейхштадтского³, к<оторо>го я люблю больше всех и всего на свете, я не только не забываю ни на минуту, но даже часто чувствую желание умереть, чтобы встретиться с ним⁴. Его ранняя смерть, фатальный ореол, к<отор>ым окружена его судьба, наконец, то, что он никогда не вернется, всё это заставляет меня преклоняться перед

ним, любить его без меры т<а>к, к<а>к я не способна любить никого из живых. Да, это всё странно.

К Вам я чувствую нежность, желание к Вам приласкаться, погладить Вас по шерстке, глядеть в Ваше славное лицо. Это любовь? Я сама не знаю. Я бы теперь сказала — это жажда ласки, участия, жажда самой приласкаться. Но сравниваю я свое чувство к Наполеону II с своей любовью к Вам и удивляюсь огромной их разнице.

М<ожет> б<ыть>, т<а>к любить, к<а>к люблю я Наполеона II, нельзя живых. Не знаю⁵.

Чувствую только, что умерла бы за встречу с ним с восторгом, а за встречу с Вами — нет.

Понтик, я считаю Вас настолько чутким, что надеюсь, Вы не обвините меня в бегстве перед Вами.

То, что сказано, — сказано. Если Вы думаете, что я теперь из гордости говорю Вам всё это, — можете потребовать от меня чего-нибудь, что меня бы унизило. Я исполню.

Трусить я перед Вами не трушу и не раскаиваюсь в том, что было, а просто делюсь с Вами сомнениями, к<отор>ые возникли у меня на этот счет.

Я купила большой портрет Герцога Рейхштадтского ребенком⁶: продолговатое личико с недоверчивым взглядом темных серьезных глаз, высокомерное выражение красивых губ, мягкие, пушистые волосы, оттеняющие высокий лоб... Общее выражение лица грустно-надменное. По целым часам могу смотреть на это чудесное личико сломленного жизнью гениального ребенка.

У меня к нему такое чувство восторга, жалости и преклонения, что я бы на всё пошла ради него.

Я всё лето, всю прошлую весну жила мыслями, снами, чтением о нем. Есть драма «Орленок» («L'Aiglon»)⁷, это моя любимая книга. В ней в проникновенных стихах выражается вся трагическая судьба сына Наполеона I⁸. Его детство, смутные воспоминания о Версале, об отце, потом юность среди врагов, в Австрии, все его грезы о Франции, о битвах, вся его молодая странная жизнь проходит перед нами. Есть места, к<отор>ые можно перечитывать без конца. Читаешь и чувствуешь, к<а>к подступают слезы, и плачешь, плачешь в тоске по этому молодому, чудесному, непризнанному ребенку, т<а>к несправедливо загубленного судьбой⁹.

Да, такая любовь, к<а>к моя к этому болезненному мальчику, этому призраку, — это действительно любовь¹⁰.

Если бы мне сказали: «Ты согласишься сейчас увидеть драму «L'Aiglon», а потом умереть?»¹¹ — я бы без колебаний ответила — «Да!»—

Увидеть эту аристократическую голову, эту гибкую фигуру с белокурой прядью на лбу, услышать этот голос, говорящий предсмертные слова. — Господи, да за это все мучения можно претерпеть, не то что умереть!

Я знаю, что никогда не достигну своей мечты — увидеть его, поэтому и буду любить его до самой смерти больше всех живых.

Ну, заговорила я.

Милый Понтик, не сердитесь, верьте мне, я не виновата в том, что я такая неровная.

Крепко жму Вам руку.

Ваша МЦ.

PS [Зачеркнуто.] Я люблю Вас больше всех живых на свете, оговорку*, о к<отор>ой я раньше забыла.

¹ Датируется по содержанию письма Юркевича (см. примеч. к письму 9).

² По всей видимости, это и последующие признания Цветаевой вызваны ее неудовлетворенностью «ответом» корреспондента (см. предисловие к настоящей публикации).

³ Герцог Рейхштадтский, или Наполеон II (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт; 1811 — 1832) — сын Наполеона I и Марии-Луизы, получил титул короля Римского. С 1814 года постоянно жил при австрийском дворе, в замке Шенбрунн под Веной, где и умер от чахотки. В 1815 году был провозглашен французским императором, но

* Так в оригинале письма.

** Так в оригинале письма.

никогда не правил. В 1818 году получил во владение от австрийского императора богемский город Рейхштадт.

Пылкая любовь Цветаевой к Наполеону II выражена в таких ранних стихотворениях, как «В Шенбрунне», «Камерата», «Расставание», «Стук в дверь» (сб. «Вечерний альбом»), «Герцог Рейхштадтский» (сб. «Волшебный фонарь»). О неизменно любовном отношении к нему Цветаевой и в зрелые годы см.: Н и в Ж. Миф об Орленке. По материалам женевских архивов, связанных с Мариной Цветаевой. — «Звезда», 1992, № 10, стр. 139 — 143.

⁴ Подобное чувство было пережито корреспонденткой в двенадцатилетнем возрасте в связи со смертью Н. Иловайской, о чем позднее Цветаева рассказала в «Доме у Старого Пимена» (1933): «...эта любовь была — тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти — для встречи. Нестерпимое детское „сейчас!“». А раз здесь нельзя — так не здесь, раз живым нельзя — так. „Умереть, чтобы увидеть Надю“ — так это звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как „Отче наш“» (Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М. «Художественная литература». 1984, стр. 62).

⁵ А. И. Цветаева писала о сестре: «Кого из них [Наполеона I и Наполеона II] она любила сильнее — властного отца, победителя стольких стран, или угасшего в юности его сына, мечтателя, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь» (АИЦ-3, стр. 269).

⁶ Имеется в виду портрет работы английского живописца Томаса Лоренса (Лауренса; 1769 — 1830) «Le Roi de Rome» («Король Римский», 1820). Репродуцирован в кн.: Aubry O. L'Aiglon. Des Tuileries aux Invalides. [Paris.] «Flammariion» [Б. г.], фронтиспис.

Ср. описание этого портрета в воспоминаниях А. И. Цветаевой: «...овальный портрет отрока Рейхштадтского, знаменитый портрет Лоренса — нежное личико мальчика лет девяти, с грациозной благожелательностью и с недетской печалью глядящее из коричневатых волнистых туманностей рисунка, словно из облаков» (АИЦ-3, стр. 269).

⁷ Речь идет о пьесе французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868 — 1918), посвященной герцогу Рейхштадтскому (поставлена и издана в 1900 году). В 1908 — 1909 годах Цветаева сделала русский перевод «Орленка» (перевод не сохранился). С этого произведения в дневниковой записи Цветаевой 1919 года начинается список «Мои любимые — в мире — книги». В «Ответе на анкету» (1926) оно же указано в последовательности любимых книг, каждая из которых дает эпоху: «L'Aiglon» Ростана — ранняя юность.

⁸ В «Ответе на анкету» Цветаева писала: «Постепенность душевных событий: <...> с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом, <...> 16 лет — разрыв с идейностью, любовь к Саре Бернар («Орленок»), взрыв бонапартизма, с 16 по 18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массон, Тьер, мемуары, Культ)» (Воспоминания, стр. 10 — 11).

⁹ Ср. воспоминания А. И. Цветаевой: «Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет!» (АИЦ-3, стр. 269).

¹⁰ Интересно сопоставить эти слова Цветаевой с наблюдением современного исследователя. В работе С. В. Поляковой «К вопросу об источниках поэмы Цветаевой „Царь-Девница“» высказывается мнение, что «самая схема сказочного сюжета <...>, т. е. несчастная любовь мужского склада женщины к женственному (resp. слабому, молодому) избраннику, отвечала личному опыту Цветаевой и была жизненно близка ей» и что «уже в молодые годы, не говоря о зрелых <...>, любовные отношения Цветаевой укладываются в подобную формулу» («Russica-81. Лит. сб.». N. Y. «Russica Publishers Inc.». 1982, стр. 224). Той же психологической схеме соответствует, как нам кажется, и отношение юной Цветаевой к герцогу Рейхштадтскому (как и любовь к нему графини Камераты). Следовательно, тот «любовный» ряд указанных исследователем лирических адресатов и литературных героев Цветаевой можно было бы открыть не именем ее мужа, С. Я. Эфрона, а по крайней мере именем Орленка.

¹¹ В воспоминаниях А. И. Цветаевой упоминается о попытке самоубийства М. Цветаевой на спектакле «Орленок» с участием прославленной французской актрисы С. Бернар. Подробно останавливаясь в своем комментарии на этом эпизоде (см.: *Минувшее*, стр. 348), мы высказывали предположение, что датировка этого события ошибочно отнесена мемуаристкой к масленичной неделе 1910 года, тогда как речь, по-видимому, должна идти о рождественских каникулах 1908 — 1909 годов, поскольку труппа С. Бернар в последний раз гастролировала в Москве в декабре 1908 года (спектакли «Орленка» были сыграны 14 и 22 декабря на сцене Интернационального театра), а в зимне-весеннем репертуаре московских театров за 1909 и 1910 годы «Орленок» не значится.

В письме от 13 августа 1969 года к одному из авторов примечаний А. И. Цветаева уточняла, что поступок сестры имел место в «1909 или 1910 — п<отому> ч<то> приезд М<арины> в Тарусу (и мне, на ходу, «не удалось») был во время рождеств<енских> каникул, и было ли это до 1 янв<аря> или после — кто скажет?» (архив Е. И. Лубянини-

* соответственно (лат.).

ковой). Таким образом, наша версия о связи упомянутого события с рождественскими каникулами нашла свое подтверждение.

Впоследствии М. Цветаева видела «Орленка» (также с С. Бернар в главной роли) весной 1912 года в Париже, во время своего свадебного путешествия, но это был один из самых счастливых периодов в ее жизни.

11

<Осень 1908 г., Москва>

Ну вот, хотела с Вами посориться¹, да сейчас раздумала.

Читаю я «Дух времени» Вербицкой². Вещь совсем не талантливая, но, дойдя к описанию октябрьских событий, похорон Баумана³, я прямо не выдержала: швырнула книжку в потолок и села за письмо к Вам. Мне прямо *больно* читать такие книги. Мысль, что всё это прошло, что молодость пройдет без этого, не дает мне покоя. Подумайте, вдруг, когда нам будет по сорока лет, всё это начнется. Ведь нельзя жить без этого!

Можно жить без очень многого: без любви, без семьи, без «теплого уголка». Жажду всего этого можно превозмочь. Но к<a>к примириться с мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней и жизнь?

Рядом с мыслью о ней всё т<a>к мелко, все эти самолюбия, намеки, весь этот чад, вся эта копоть!

Охотно прощаю Вам Ваше «спать хочется»⁴. Всё это ерунда. Хочется — и спите. Спите крепко, без сновидений. Спать хочется? С чем и поздравляю. Нет, всё это не стоит тоски!

Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? Неужели всё кончено?

Слишком много могу Вам сказать. Вот передо мной какие-то статуи...⁵ К<a>к охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следила бы, к<a>к горит наш милый старый дом!

Ничего не надо, ничего не жалко!

Только бы началось.

Восьмидесятников⁶ у меня нет, искала-искала, не нашла.

МЦ.

¹ См. примеч. 4.

² Вербицкая Анастасия Алексеевна (урожд. Зяблова; 1861 — 1928) — писательница, издательница, педагог. Реабилитировала форму бульварного, или сенсационного, романа. Была очень популярна в годы реакции, наступившей после революции 1905 — 1907 годов. Главные темы ее творчества — вопросы пола и женская эмансипация. Подробнее см.: Грачева А. М. Анастасия Вербицкая. Легенда, творчество, жизнь. — В кн.: «Лица. Биографический альманах». 5. М. — СПб. «Феникс». «Atheneum», 1994, стр. 98 — 117. «Дух времени» — роман, отражающий жизнь русского общества в период с 1903 по 1905 год, включая события Московского вооруженного восстания; с 1907 по 1912 год выдержал три издания и был переведен на несколько европейских языков.

³ Бауман Николай Эрнестович (псевд. Грач; 1873 — 1905) — профессиональный революционер, большевик. Убит черносотенцами. Его похороны 20 октября 1905 года в Москве вылились в трехсоттысячную политическую демонстрацию.

⁴ Речь идет об эпизоде, когда Юркевич «не допроводил» Цветаеву до дому. Этот случай послужил поводом для написания стихотворения «Месяц высокий над городом лег...» (см.: *Минувшее*, стр. 359 — 360), героический пафос которого заметно отличается от снисходительного тона письма.

⁵ Как вспоминала А. И. Цветаева, в их доме в Трехпрудном переулке, в углах гостиной, у окон, на белых круглых колоннах-постаменты стояли бюсты греческих богов Аполлона и Дианы (см.: *АИЦ-3*, стр. 42, 302). Названия этих скульптур, о которых М. Цветаева пишет как о «статуях», были ей, несомненно, хорошо известны.

Ср. иной тон упоминания о них в ее юношеской поэме «Чародей» (1914):

Вплываем в царство белых статуй
И старых книг.

.....
Бюст Аполлона — план Музея —
И всё — как сон

(Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М. «Художественная литература». 1988, стр. 341 — 342).

⁶ Имеются в виду либеральные народники, влияние которых усилилось в середине 1880-х годов, в период кризиса народничества («малых дел теория» Я. В. Абрамова, выступления против марксизма Н. К. Михайловского и др.). См. также примеч. 10 к письму от 22 июля 1908 года (*Минувшее*, стр. 350).

12

<Осень 1908 г., Москва>

Спасибо за Ваше письмо. Я рада, что Вы прочли мою автобиографию¹.

Не подумайте, Петя, что я забыла о Вас вчера, но Эллис² довольно капризен и, пожалуй, не зная о Вас от меня, стал бы ехидничать или вообще выкинул бы что-нибудь. Поэтому я Вас не позвала. Вы, к<a>к человек обидчивый, наверное, рассердились бы, и вообще заварилась бы каша. Если он Вас интересуется и Вы пожелали бы его повидать — ожидайте худшего, к<отор>ое, м<ожет> б<ыть>, и не осуществится. Напишите мне насчет этого — тогда извещу Вас, когда он у нас будет.

У меня сейчас настроение досады на себя. Мне кажется, что я веду с людьми себя непростительно-искренно и глупо.

Дождь, дождь, дождь. Крыши такие унылые со своим мокрым слезливым видом. Что может быть хуже домов? Ящики: непростительно правильные, грузные, все такие похожие³.

Что было здесь несколько тысяч лет тому назад? Т<a>к же падали желтые листья, только вместо «рыжего дома со ставнями»⁴ здесь были борта.

А всё-таки осень хороша. К<a>к красиво падает лист! Вот он оторвался, в нерешимости кружится, потом опускается ниже, ниже и наконец плавным движением припадает к земле, где лежат его братья — все тем же путем окончившие короткую жизнь. Падение листьев — символ жизни человеческой. Все мы рано или поздно после недолгого кружения по воздуху своих мыслей, грез, заветных дум возвращаемся к земле⁵. Все радости и все печали осени — в ее неминуемости. Желтый сарай с увядшим хмелем, мокрая черная земля, скользкие мостки, желтые грустные листья — всё это и ненавистно и дорого, и ласкает и мучит.

Да, грустно. Радует меня то «нечто», чем пахнет в воздухе. Только не могу, не смею верить я, что оно действительно осуществится. Не забастовка, нет, но боевая готовность, уснувшая даже в лучших, жажда грозных слов и великих дел.

Нет больше пороха в людях, устали они, измельчали, и не верю я, что эти самые, обиденные и довольные, могли бы воскресить революцию⁶. Не такие творят, о нет! А м<ожет> б<ыть>, те, что творят, настоящие, нежные и глубокие только и существуют что в сочинениях Вербицкой и «Андрее Кожухове» Степняка⁷. Можно бороться, воодушевляясь прочитанным, передуманным (никакими экономическими идеалами и настоящими марксистами нельзя воодушевиться), можно бороться, воодушевляясь мечтой, мечтой нечеловеческой красоты, недостижимой свободы, *только недостижимой!*

Красота, свобода — это мраморная женщина, у ног к<отор>ой погибают ее избранные. Свобода — это золотое облачко, к к<оторо>му нет иного пути кроме мечты, сжигающей всю душу, губящей всю жизнь. Ит<a>к, бороться, за недостижимую свободу и за нездешнюю красоту я буду бороться в момент подъема. Не за народ, не за большинство, к<отор>ое тупо, глупо и всегда неправо. Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо⁸ большинством⁸. Идти против — вот мой девиз!⁹ Против чего? спросите Вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику,

¹ В оригинале письма: «гонито».

против капитализма во имя социализма (нет, не во имя его, а за мечту, свою мечту, прикрываясь социализмом), против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!

Нет ничего реального, за что стоило бы бороться, за что стоило бы умереть. Польза! Какая пошлость. Приятное с полезным, немецкий педантизм, слияние с народом... Гадость, мизерия, ничтожество!

Умереть за... русскую конституцию. Ха ха ха! Да это звучит великолепно. На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня. «Это громкие слова», скажете Вы. Пусть громкие слова! Громкие красивые слова выражают громкие, дерзкие мысли. Я безумно люблю слова¹⁰, их вид, их звук, их переменность, их неизменность. Ведь слово — всё! За свободное слово умерли Джордано Бруно, умер раскольник Аввакум, за свободное слово, за простор, за звук слова «свобода» умерли они.

Свободное слово! К<a>к это звучит!

Понтик, милый мой, брат, милый брат, Вы меня понимаете?

Вдруг исчезла бы Москва с синеатографами, конками, гостиницами, экипажами, четвергами, субботаами, всей этой суетней, и вместо нее — Кавказ, монастырь, где томилась Тамара, скалы, орлиные гнезда, аулы, смуглые лица черкесов, их гортанный говор, пляска их девушек, обрывы, кони, звездные ночи, вершины Казбека и Эльбруса. Но Кавказ дикий, девственный, Кавказ 300 — 400 л<ет> тому назад.

Быть героем какой-нибудь книги, ехать ночью верхом, скатиться в пропасть, встретиться с душманами. Изведать хоть раз чувство одинокого творчества там, наверху, забыть о Москве, не знать о митингах, кадэтах* и эсдеках, холере и синеатографах. Вы понимаете?

Дождь, дождь, дождь. Мокрые крыши, желтые листья, заливаются на соседнем дворе шарманка...

Пишите, Понтик.

Ваша МЦ.

¹ Упоминание об автобиографии содержится также в недатированной открытке Цветаевой к В. Генерозовой: «Автоб<и>ография» подвигается 411[?] стр.» (архив Л. А. Мнухина). Другими сведениями об этом документе мы не располагаем.

² Эллис Лев Львович (наст. фам. Кобылинский; 1879 — 1947) — поэт, переводчик, теоретик символизма; сын педагога Л. И. Поливанова. Друг М. и А. Цветаевых, с которым они познакомились зимой 1907 — 1908 годов в доме Л. А. Тамбурер; был желанным гостем сестер в доме в Трехпрудном переулке. В конце 1909 года сделал предложение М. Цветаевой, которое ею не было принято. С 1913 года жил в Швейцарии.

Эллис — адресат писем М. Цветаевой 1909 — 1910 годов и герой ее стихотворений «Ошибка», «Чародею», «Бывшему чародею», «Луч серебристый» (акростих), «Первое путешествие», «Второе путешествие» (сб. «Вечерний альбом»), поэмы «Чародей» и др. Ему посвящены многие страницы воспоминаний А. И. Цветаевой (см.: АИЦ-3, стр. 258 — 322). Ср. такую его характеристику: «Эллис, в своей полной материальной неустроенности, был насмешлив, неблагодарен до мозга костей, надменен к тому, у кого ел, повелителен к тому, от кого зависел» (там же, стр. 258).

³ Надо полагать, эта характеристика относится скорее к современным строениям, свое отвращение к которым Цветаева высказала в стихотворении «Домики старой Москвы» (сб. «Волшебный фонарь»):

Вас заменили уроды,—
Грузные, в шесть этажей

(Цветаева М. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М. «Художественная литература». 1988, стр. 43).

⁴ Подразумевается дом Цветаевых в Трехпрудном переулке, № 8. По свидетельству А. И. Цветаевой, «крашенный — сколько помню его, с 1897 г., — коричневой краской» (АИЦ-3, стр. 40).

⁵ Ср. позднейшее обращение Цветаевой к этому образу в стихотворении «Когда я гляжу на летящие листья...» (1936). Здесь налицо явное смещение авторского акцента. Если для юной Цветаевой падение листьев — символ человеческой жизни,

* Так в оригинале письма.

то в зрелом поэтическом осмыслении этот образ несет в себе символику человеческой смерти.

⁶ Ср. письмо от 22 июля 1908 года: «Поглядите на окружающих, <...> неужели это люди? <...> Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?» (*Минувшее*, стр. 337).

⁷ Степняк Сергей Михайлович (наст. фам. Кравчинский; 1851 — 1895) — революционер-народник, писатель. Член кружка «чайковцев», участник «хождения в народ», в 1878 году примкнул к «Земле и воле», убил шефа жандармов Н. В. Мезенцова. В эмиграции основал «Фонд вольной русской прессы». Автор произведений о русских революционерах: романа «Андрей Кожухов» (английский оригинал «The Career of Nihilist», 1889), очерков «Подпольная Россия» (1882) и др.

Цветаевой могли быть доступны издания: Степняк С. (Кравчинский С. М.) Андрей Кожухов. Роман. Пер. с англ. Предисл. Г. Брандеса. Женева. Изд. Ф. Степняк. 1898; Степняк-Кравчинский С. М. Собр. соч. В 6-ти ч. Ч. 4. Андрей Кожухов. Пер. с англ. и предисл. Ф. М. Степняк. Под ред. и с предисл. П. А. Кропоткина. СПб. «Светоч». 1907. Об увлечении Цветаевой-гимназистки этим романом упоминают ее бывшие подруги В. К. Перегудова (Генерозова) и С. И. Липеровская (Юркевич), последняя вспоминает: «Особенно увлекал Степняк-Кравчинский; Андрей Кожухов стал любимым героем. Марина пополняет арсенал «недозволенных» книг» (*Воспоминания*, стр. 32).

⁸ Эта теория, говоря словами Цветаевой, действительно никогда ее не обманула. О своем неподчинении «никакому организованному насилию, во имя чего бы оно ни было и чьим бы именем ни оглавлялось», она позднее писала Ю. П. Иваску, а в другом письме к нему утверждала: «Все мои непосредственные реакции — обратные. Преступника — выпустить, судью — осудить, палача — казнить» (письма от 4 апреля 1933 года и 27 февраля 1939 года — «Русский литературный архив». Нью-Йорк. 1956, стр. 212, 232). Близо знавший Цветаеву В. Б. Сосинский отмечал ее «слабость <...> к побежденным, к проигравшим игру, к людям, выкинутым из истории на свалку» (*Воспоминания*, стр. 373), что, конечно же, было не слабостью, а нравственным императивом.

⁹ Как отмечает современный исследователь, «жизненная позиция „против течения“ была завещана Цветаевой ее матерью — Марией Александровной Мейн. В записи 1919 года Цветаева вспоминала «ее любовь к очень элементарным, но прекрасным — суть пересилила форму, дошла вопреки форме — стихам [А. К.] Толстого «Против течения», — девиз ее жизни» (Цветаева Марина. «Двух станом не боец...» Публ. и послесл. Е. Б. Коркиной. — «Наше наследие», 1988, № 1, стр. 73). К сказанному можно добавить, что и помимо материнского завета эта позиция должна была стать самодовлеющей для «мятежницы лбом и чревом» Цветаевой — как безусловный атрибут поэта-романтика.

¹⁰ Ср. письмо от 4 августа 1908 года: «Соглашаюсь с Вами, что слишком люблю красивые слова» (*Минувшее*, стр. 343).

13

Weisser Hirsch, 8-го Июля 1910 г<ода>¹.

У меня к Вам, Петя, большая просьба: пожалуйста, прочтите Генриха Манна «Богини» и «Голос крови»².

Вы этим доставите мне большую радость, а себе — по меньшей мере несколько ярких, незабываемых часов.

Чтение Манна — плаванье по очень яркому морю, под очень синим небом, на очень красивой галере с очень красивыми гребцами, мимо очень пестрых городов.

Судите немцев не по добродушным бюргерам, а по таким, к<a>к Манн³. Хотя нельзя сказать «по таким», т<a>к к<a>к Манн один и не похож ни на кого из всех существующих и когда-либо бывших писателей.

Если сравнивать его с кем-н<i>б<удь> — его, пожалуй, можно сравнить еще с D'Annunzio⁴.

Знакомы ли Вы с произведениями последнего?

Если нет — будьте хорошим мальчиком, прочтите его «Огонь», «Наслаждение», «Девы скал»⁵.

Поймите, я прошу только для Вас. Сама я ведь читала эти вещи, и выгоды в том, что Вы их прочтете, для меня никакой нет.

Я когда-то заметила в Вас искорку, Петя, и мне хочется, чтобы она никогда не погасла, несмотря ни на что.

Берегите ее! Все лишившиеся ее перестали жить.

Все, никогда ее не имевшие, вовсе не жили.

И в Орловке можно жить с тревожно бьющимся сердцем.

И в Париже можно жить без всякого волнения.

Всё зависит от нас — не от нас, желающих чего-н<и>б<удь>, а от нас, всегда чувствующих себя, ощущающих каждое биение своего сердца.

Понятны Вам мои слова?

Природа и книги, — выше и ярче нет ничего⁶. Музыка, музеи, книги, розовые вечера и розовые утра, вино, бешеная езда, — всё это мне необходимо, ибо только тогда я живу, когда чувствую в себе дрожь яркого переживания.

Всё остальное — самообман.

Я не боюсь пошлости, т<a>к к<a>к знаю, что ее во мне нет.

Я боюсь одного в мире — минуты, когда во мне замирает жизнь.

Это — расплата за каждый праздник. И тогда я бессильна перед жизнью. Кроме такого мгновенного затишья нет для меня ничего страшного, потому что я чувствую в себе бесконечный восторг перед каждым облачком, напевом, поворотом дороги.

И вот, Петя, мне хотелось бы и Вам передать свою сладкую способность вечно волноваться.

Мне хотелось бы, чтобы Вы, благодаря мне, пережили многое — и не за были его.

Верьте и доверяйтесь мне.

Я много перемучалась. Вспомните то, что я говорила о расплате за праздники.

Читайте, Понтик, Манна и д'Аннунцио и читая вспоминайте меня. Это мне будет большой радостью.

Ни один человек, встретившийся со мною, не должен уйти от меня с пустыми руками.

У меня т<a>к бесконечно много всего!

Умейте только брать, выбирать.

Я говорю: «ни один человек»...

Пожалуйста, не думайте, что я хочу сказать: «ни один первый встречный». Нет, я говорю только о тех, с кем у меня есть хоть немного общего.

Обижаться на мое письмо, если Вам и захочется, Понтик, не надо! К чему эта мелочность? Я пишу Вам в хорошую минуту. Сумейте увидеть в этом письме настоящую меня и не обижаться на то, что Вам покажется обидным.

Я пишу Вам с горячим желанием передать Вам свое настроение. Возьмите его, если захотите... Вот и всё!

МЦ.

¹ Лето 1910 года М. и А. Цветаевы провели в местечке Лохвиц в горной части маленького городка Вайсер-Хирш, под Дрезденом, в семье пастора Бахмана. М. Цветаева вспоминала об этой поездке в дневниковой прозе «О Германии» (1919). См. также: АИЦ-З, стр. 331 — 341. Возможно, письмо датировано по новому стилю, принятому в то время в Германии.

² Манн Генрих (1871 — 1950) — немецкий писатель. «Богини» — имеется в виду трилогия: «Die Göttinnen oder Drei Romane der Herzogin von Assy. I-III (Diana. Minerva. Venus)». München. A. Langen. 1903). В России трилогия «Богини, или Три романа герцогини Асси (Диана. Минерва. Венера)» вышла в свет в составе Полного собрания сочинений Г. Манна (Т. 1 — 3. Пер. В. М. Фриче. М. «Современные проблемы». 1909 — 1910). «Голос крови» — под таким названием в переводе М. Славинской и Р. Ландау (М. «Польза» В. Антик и К°. 1909) был опубликован роман Г. Манна «Zwischen den Rassen» («Между расами») (München. A. Langen. 1907).

Свободно владея немецким языком, Цветаева, вероятнее всего, читала Г. Манна на языке оригинала. В прозе «О Германии» упоминается о чтении ею в Вайсер-Хирш романа «Zwischen den Rassen». Пространный ее отзыв о трилогии «Богини» и других произведениях писателя см. в письме к М. А. Волошину от 5 января 1911 года; в нем она, в частности, писала: «Если хотите блестящего, фантастического, волшебного Манна, — читайте «Богини», интимного и страшно мне близкого — «Голос крови»...» («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975». Л. «Наука». 1977, стр. 159).

³ Пристрастное отношение к Германии, представителям ее культуры и всему немецкому образу жизни Цветаева продекларировала в прозе «О Германии».

⁴ D'Annunzio — Д'Аннунцио Габриеле (1863 — 1938), итальянский писатель, сторонник идеи «сверхчеловека» и диктатуры «сильной личности».

⁵ «Огонь» — роман «Il fuoco» (1900); в России был опубликован под названием «Огонь жизни» (Пер. Е. Д-ва. СПб. Ред. «Нового журнала иностранной литературы». 1901) и под названием «Пламя» в двенадцатитомном собрании сочинений Д'Аннунцио (Т. 7. Пер. Э. Венгеровой. СПб. «Шиповник». 1909). «Наслаждение» — роман «Il piacere» (1889); вышел в указанном Собрании сочинений (Т. 5. Пер. Е. Летковой. [Б. г.]) и отдельным изданием (Пер. Е. Роговиной. Под ред. Ю. Балтрушайтиса. М. «Идея». 1908). «Девы скал» — роман «Le vergini delle rocce» (1895); в русском переводе выдержал несколько изданий.

⁶ О своем отношении к книгам Цветаева горячо высказывается в письме к М. А. Волошину от 18 апреля 1911 года; среди прочих немаловажно такое ее признание: «Книги мне дали больше, чем люди. Воспоминание о человеке всегда бледнеет перед воспоминанием о книге, — я не говорю о детских воспоминаниях, нет, только о взрослых!» («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975», стр. 164).

Ниже публикуются еще два стихотворения юной Марины Цветаевой. Одно из них навеяно общением с Петром Юркевичем, другое обращено непосредственно к нему.

Если слышишь ты в сердце малиновый звон,
Переливчатый звон с колокольных высот,
Это подвиг пришел, это он, это он,
О, иди, он зовет, он зовет!
Это подвиг в венце лучезарных лучей,
Светозарных лучей ярко искристый свет,
Это отклик на стон, это верный ответ
На загадку бессонных ночей.
Если рвется в восторге безумном душа,
Если рвется безумно в простор голубой,
Ты узнаешь, что жизнь — это радостный бой,
А что смерть хороша, хороша.

[1908.]

Прежнему Понтику

В наших душах, стоявших на страже,
Вдруг при встрече растаяла мгла.
Было странно и радостно. Чья же,
Чья же тень между нами легла?
Я не скрою: мы были капризны:
(Всё обида сердцам молодым!)
Под дыханьем больной укоризны
Нашей дружбы развеялся дым.
В спорах злы, в объясненьях неловки,
Мы расстались без трепета рук.
Вашей темной, кудрявой головки
Я ценила упрямство, мой друг.
Всё, что ценно, — непрочно и хрупко,
Мы живем, к<a>к велит ветерок...
Только помните, друг, не уступка
Эти несколько ласковых строк!
Я нечаянно прошлого зонтик
Приоткрыла: мечта — расцвела...
Чья же тень, расскажите мне, Понтик,
Между нами, родными, легла? —

31-го Августа 1909 г. Таруса.

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА



НИКОЛАЙ МИРОНОВ*

В «Новом мире» проза Анастасии Ивановны Цветаевой появилась впервые в 1930 году. Тогда был опубликован ее документальный очерк о М. Горьком (под псевдонимом А. Мейн, девичьей фамилией матери). По ее словам, этот очерк был своего рода выражением благодарности Горькому, который заступился за арестованного друга Анастасии Ивановны, поэта Б. М. Зубакина (см. о нем в новомирской публикации за 1992 год, № 7).

Долгие годы Анастасия Ивановна в советских журналах более не печаталась, она была, как говорили ей тогда собратья писатели, «слишком идеалист»... В 1937 году арест и — свинцовая тяжесть лагерного забвения. После реабилитации А. И., в 1966 году, в «Новом мире» вышли фрагменты воспоминаний о детстве, обратившие на себя общее внимание; фрагменты выросли в книгу, которую со страниц того же «Нового мира» (1972, № 6) приветствовал П. Антокольский, называя ее «удивительной, вдохновенной», «прозой, насыщенной электричеством памяти».

И вот теперь, когда старшей писательницы России уже нет в живых (она скончалась в сентябре 1993 года в возрасте почти девяноста девяти лет), мы вновь возвращаемся к ее мемуарной прозе. Ведь за пределами «Воспоминаний», выдержавших три отдельных издания (в 1995 году в издательстве «Изограф» выходит дополненное четвертое), остается еще немало замечательного мемуарного материала, все еще неизданного. К не опубликованным полностью (лишь в небольших отрывках) относится и глава «Николай Миронов».

Сохранилась фотография — две сестры, Марина и Анастасия Цветаевы, и между ними — молодой мужчина в котелке, большеглазый, со странным, но очень выразительным обликом. Это не кто иной, как Н. Н. Миронов (1893 — 1951), уроженец Вязьмы, сын потомственного почетного гражданина, поступивший в 1912 году на юридический факультет Императорского Московского университета.

О Миронове есть упоминание в книге А. И. Цветаевой «Неисчерпаемое» (М. «Отечество». 1992), в главе-новелле «Детские французские песенки» — о том, как «Леля Миронова 4-х лет и Коля, брат, на полтора года младше» в раннем детстве пленялись ритмом музыки-поэзии... Там же говорится о цыганском происхождении детей по отцу: «Их бабушку, цыганку, певицу, выкрал их дед — цыгане тогда жили в Грузинах — и женился на ней». С материнской стороны у Миронова была и немецкая кровь.

Н. Н. Миронов стал самой большой страстью всей жизни А. И. Цветаевой. Она в мистической новелле «Непонятная история о венецианском дожде и художнике Иване Булатове» («Неисчерпаемое», стр. 168 — 175) рассказывает, как в тридцать девять лет возобновила игру на рояле и даже начала брать уроки. Анастасия Ивановна говорила, что причиной этому была трагическая необходимость «потопить» в звуках всплывшее вновь, как в юности, чувство. Тогда, уже через много лет, Миронов вновь появился в Москве, приехав из Владивостока, где имел свою шхуну (ходил на ней в Японию, шхуна называлась «Конек-горбунок»). В юности Миронов, до приезда в Москву, окончил гимназию и жил в Иркутске; отсюда строки из лагерного стихотворения А. И. Цветаевой «Есть такие города на свете...»: «То Иркутск, / Там Коля жил Миронов, / Юности моей девятый вал!» В сборнике стихов Анастасии Цветаевой, что готовится к выпуску в упомянутом издательстве «Изограф», можно прочесть стихотворение об их первой с Мироновым встрече:

Николаю Миронову

Все, как в старинной балладе поэт:
Замок, камин, вино.
Горечь моих восемнадцати лет.
(Юность и горечь — одно!)

* Публикация, подготовка текста и комментарии СТАНИСЛАВА АЙДИНЯНА.

В бархатной куртке, кудри до плеч,
Вальсом коньки звенят.
Взгляд горделивый, веселая речь, —
Грусти смертелен яд...

Двери раскрылись. Вошла. Побледнел.
Диана Вернон и Роб-Рой.
Эрос. Психея! Сам Бог повелел!
Краток любовный бой.
Он мне сказал:
«Вас любить — мой удел,
Маленький лорд Фаунтлерой!»

Волос и голос цыгана. Молчит.
Взор твой крылат — моряка.
Эрос! Психея! Не прав Феогнид, —
Солнце любви над миром горит,
В руку легла рука.

День тот поныне — и я ль отрекусь —
Солнцем над миром стоит.
Пунша любви божественный вкус,
Кубка таинственный вид.

Пренебрегая горою обид,
Гордо иду сквозь их строй.
В сердце навеки отвагой горит
Маленький лорд Фаунтлерой!

Здесь в афористическом, поэтическом наклоне отражены некоторые события главы-воспоминания.

В комнате А. И. Цветаевой все последние ее годы стоял большой, больше других, портрет Н. Миронова в позднем возрасте. С его же образом мы встречаемся и в автобиографическом романе Анастасии Ивановны — в «Амор'е» (М. «Современник». 1991). Там рассказана история этой любви: ее невозможностей, прорывов, расставаний и немыслимо страстных встреч...

Вот как о них — в романе: «Прямо ко мне, шагом, крупным и твердым, полоща в ветре полы шинели, переходит пути человек в военной папахе. Помню его черноту, ее нет — папаха серая, весь в хаки, военный цвет. Одни брови черные! Забыла, что так улыбается... Что так сияют глаза: мрачной и восхищенной нежностью, в ней спаялись Рогожин и Мышкин... Я просто забыла Миронова. Стою, онемев. Чувствую ровно столько, сколько надо, чтобы сойти с ума. Сесть в поезд с ним и никогда не вернуться...» Но тогда чувство еще не дошло до апогея, а после оно чуть не стоило А. И. Цветаевой жизни — ее второй муж, Маверикий Александрович Минц (1886 — 1917), отчаявшись, хотел дать яду ей, их сыну Алеше и себе, но сдержал руку, не совершил непоправимого. А она — она любила их двоих: одного страстной, другого — родственной любовью, и в том была трагически-мучительная сложность. Любовь же Николая Миронова к Анастасии Ивановне была безмерна, но с такими долгими — на годы — расставаниями...

Что до Марины Ивановны Цветаевой, то и она, вслед за сестрой, пленилась Н. Н. Мироновым. Когда Марина Ивановна уезжала за границу из Москвы, Анастасия Ивановна в ее разоряемой перед отъездом квартире среди всевозможных бумаг заметила записную книжку, дневник, она раскрылась непрошено, на странице, где описывалось, как открылась дверь и стремительно вошел Н. Миронов с большим псом... А далее — судя по тональности предшествующих строк — должно было рассказываться о том, как... Но таков уж у Цветаевых характер, что младшая сестра, поняв, о чем пойдет речь, запретила себе читать дальше и никогда ни Марине, ни — при последующих встречах — ему не обмолвилась об их тайне.

Строки стихотворения Марины Цветаевой «Рок приходит не с грохотом и громом...» поставлены эпиграфом главы. Первое слово стихотворения в передаче А. И. Цветаевой не «рок», а «жизнь». Есть все основания считать, что именно таков и был первоначальный авторский вариант. Нельзя, однако, забывать, что глава о Миронове — это сокращенные и несколько измененные автором извлечения из всего корпуса воспоминаний, где в большом разделе под названием «Александров» (до сих пор не опубликованном) излагается история, с этим стихотворением, видимо, связанная. Считается, что оно обращено к Никодиму Плущер-Сарна (1881 — 1945), другу второго мужа А. И. Цветаевой, М. А. Минца. В то время он был «адресатом» немалого числа стихов Марины и предметом ее безответного чувства... Между тем из рассказа Анастасии Ивановны следует, что стихотворение хоть и было, в числе других, посвящено Н. Плущер-Сарна, но вдохновлено внезапным появлением Н. Миронова, неожиданно пришедшего к М. Цветаевой как раз во время разговора о нем.

«И как в саму жизнь, в еще не испытанное, мы провалились в Никодима в тот вечер, и Марина рассказала ему обо мне и Борисе (Б. С. Трухачеве. — Ст. А.), обо мне и Боре Бобылеве, обо мне и Миронове, и он все понимал, впивал, и случилось необычайное — но оно и не могло не случиться в тот вечер: только Марина стала кончать свой рассказ — вошла горничная, полька Соня, и сказала: «Барыня, вас и Анастасию Ивановну спрашивает офицер Миронов»...

Если и был романтиком Никодим, рассудок все же держал его в плену. «Как, — сказал он после Марине, — это на самом деле было для Аси и для вас неожиданно? Вы не знали, что он придет, когда о нем рассказывали?! Прямо с фронта? И как раз в ту минуту», — и уже провожаемый Соней, через столовую под фонарем потолочного окна, навстречу мне входил через темную проходную Коля Миронов, и сиянье встречи вспыхнуло в Марининой комнате — зарницей. Все тот же! Уж потерта гимнастерка и будто бы еще похудели щеки, а их и раньше не было — один остов лица, но те же глаза, темно-темно-золотые, <...> тот же их взгляд — медленного и пристального любования, восторга, преданности и те же брови... Мои руки в его руках — моя рука у его губ — и жизнь моя провалилась куда-то — это все та же наша первая встреча в переулке Собачьей площадки; трех прожитых лет как не бывало, все — с плеч!

Стихи Марины тех дней:

Жизнь приходит не с грохотом и громом...»

Таковы небезынттересные подробности, связанные со стихотворением М. Цветаевой. Основной же смысловой узел публикуемого фрагмента ложится на отражение трагических настроений, охвативших культурный слой русского общества в годы первой мировой войны. Самоубийства тогда стали ежедневным достоянием газетной хроники. Об этом рассуждали ученые-психологи; об этом Михаил Арцыбашев написал свой известный в то время роман «У последней черты», герой которого, офицер Краузе, кончает с собой, потеряв всякий вкус к жизни... А студента Бобылева подталкивает к «последней черте» его «неразрешимая» любовь. Обратим внимание на фразу А. Цветаевой, обращенную к подруге ее брата Андрея — В. И. Топольницкой: «Все очень страшно». Чувство оставленности, брошенности в те дни доходит у нее до предела. Потом оно изольется на страницах первой ее философской книги «Королевские размышления. 1914 год», лейтмотив которой: «нас бросили в этот мир и забыли»... Тени событий, происходивших тогда, найдем и во второй ее книге — «Дым, дым и дым. 1916» (М. 1916). Например: «Куда мне идти? У Л<идии> А<лександровны> (Тамбурер — подруги покойной матери. — Ст. А.) прием. К Марине? Но там мне так ясно видится Б<обыле>в, в зале на этажерке стоит золотая корона, которую мы клеили для его маскарадного костюма». Или: «Я каждый день ездила на могилу Б<обыле>ва, ставила цветы, смотрела, горит ли лампадка, и говорила со сторожем. Когда он уходил, я становилась на колени и целовала влажный песок холмика. Было тихо...»

Текст печатается по оригиналу, предоставленному автору этих строк Анастасией Ивановной Цветаевой незадолго до ее кончины.

...Жизнь приходит не с грохотом и громом,
 А так: падает снег,
 Лампы горят. К дому
 Подошел человек.
 Длинной искрой звонок вспыхнул,
 Вззошел. Вскинул глаза.
 В доме совсем тихо
 И горят образа¹.

М. Цветаева.

Я возвращалась домой по пушистому снежку Арбатским переулком, неся торт. На мне была черная плюшевая шубка, подарок папы. В окнах Бориса² я еще издали увидела огонь. Лампа кидала мягкий отсвет неравно освещенных окон на снег, делавшийся золотистым. Ботинки весело топали по снежку. Минувя горести, безысходности и печали, мои восемнадцать лет дышали легко и радостно в этот зимний вечер, отчего-то беззаботный и светлый под черным ночным небом. Я позвонила. Кто-то бежал отворять по коридорным ступенькам. Боря Бобылев!³ Зеленая студенческая тужурка, стройный рост, добрый взгляд серо-голубых глаз, тонкие черты юношеского лица. Высоко стоящие над высоким прекрасным лбом волнистые темно-русые волосы. Какая преданность в улыбке полного чистого рта. Мальчик мой! Мой чудесный друг... Юный, еще не коснувшийся бездн. Благословен да будет твой путь!

— Боря дома? У нас есть вино. Берите торт! Я немножко замерзла! Камин затоплен?

Я вошла в крошечную переднюю, увешанную, густо, шубами.

— Миронов приехал! — сказал Бобылев, снимая с меня шубу. Его лицо сияло. Навстречу нам шел мой Борис, движеньем лба отбрасывая длинные легкие волосы, золотые. За ним был еще кто-то. Ниже обоих Борисов навстречу шел человек, незнакомый, тоже в студенческом. Но тотчас же пропали и зеленый цвет формы, и рост, и факт незнакомства — были одни глаза, карие, широкие, длинные, и как ласточкины крылья — раскинутые черные брови. Они длинным взмахом своим продолжали взгляд, и это был один миг, но мои глаза утонули в нем, и рука обняла мою руку — большая, теплая, сдержанно-чужая рука. Я увидела прямой пробор черных волос, прямой большой нос и маленький рот, одновременно добрый и твердо сомкнутый.

— Миронов⁴, — сказал он, и это одно слово не погрузилось в шум голосов, а подержалось в нем, как лодка на узоре воды.

Затем вечер пошел своим чередом, и первое впечатление, странность его — потухла, отошла куда-то назад, разумно и равнодушно, как случайное, недостоверное среди таких двух достоверностей, как Борис и его друг Боря, прочно живших в душе. Но я отметила и в этот, и во все следующие его приходы, что он совсем другой, чем они оба. Он меньше говорил, речь его была совсем иначе построена, он говорил о вещах гораздо более простых, веселее и спокойней, чем оба его друга, и казался мне менее интеллектуальным. И был в нем покой каких-то более взрослых лет, чем их лета, а он был их возраста. Он был мне много более чужд, чем они. В его широком, всегда неожиданном, отличном от их юморе было несходство с тем, что я любила. И держался он от меня отдаленно, в этом не было возможности дружбы. Миронов был просто совсем другой человек, чем Борис и чем Бобылев. Я не совсем понимала их близость. Он часто говорил о Сибири, которую любил каким-то обожаньем, рассказывал о Байкале с таким затаенным восторгом, который был мне чужд. Позже Марина сказала мне о нем: «Миронов любит природу как-то вне своей души, какой-то одержимой любовью». В этих словах Марины был тот же отенок далекости от такого, какой был во мне.

Но не помню, в первый ли вечер после вечера, камина, торта, вина, засыпая — или в другую ночь я вспомнила вдруг из моего четырнадцатилетия то лицо, виденное с Мариной на спектакле в театре Корша: оно принадлежало человеку, стоявшему за роялем и глядевшему на ту, которая играла, на женщину, несчастную в доме мужа, которая потом, схватив канделябр, подожгла дом. Он глядел на нее над клавишами неотрывным, «неотвратимым» взгля-

дом»*. У него был прямой пробор черных волос, тоже, как крылья, были раскинуты брови над огромными темными глазами, лицо из сумрака глядело бледностью, худобой, резко сужено книзу. Это было лицо из сна. Пьеса называлась «Эрос и Психея»⁵.

Рождественские каникулы. Бобылев чаще бывал у нас — лекций не было. Почему в карнавальном маскараде я не помню ни Бориса, ни Миронова? (Я звала его «Николай Николаевич».) Марина и я шили костюмы: себе — два костюма пажа (шаровары, бархатные пелерины, береты со страусовым пером, чулки, туфли с пряжками). Пелерины (полуплащи) — темно-малиновые. У нас кудри и маленькие блестящие шпаги. Бобылев — король, его одеяние зелено-вато, на голове — картонная корона, оклеенная листовым золотом. Он очень хорош. Я не помню других костюмов, но с нами едут и Эфроны, и Пра⁶. Куда?..

В какие-то незнакомые мне дома. Мы танцуем вальс. Марина в костюме пажа — восхитительна. Ее лицо римского отрока оживлено нежным румянцем. Она прелестно танцует вальс, преодолевая застенчивость. В ее румянце нет оттенка грубых румянцев: кирпичности. Ее щеки похожи на лепестки роз, дышащих легчайшей тенью малиновости, светлой. Мне чудится, за далью лет, Сережа в костюме принца. Но не более явно, чем сон.

Когда мне бывает тяжело, одиноко, смутно, я еду к Марине.

Мы, как всегда, много рассказываем друг другу, много смеемся. Идем в детскую, любимся Алей⁷. Ее глаза еще много больше, чем были Андрюшины⁸, — у нее огромные глаза, светло-голубые. (У Андрюши — темно-серые) Аля плачет басом. Она очень упряма. С кормилицей опять нелады, снова придется ехать в контору. Она очень неряшлива, капризна, не умеет ухаживать за ребенком. В доме уютно. Маринина узкая комнатка в два окна — рядом с Алиной детской; наверху еще кладовая, в которой нет ничего, кроме веревок с Алиными пеленками. Кормление Марина бросила с большой радостью, оно ей не далось. Ей непонятна моя печаль, что пришлось бросить кормить, и я не говорю с ней об этом. В ее жизни все сейчас хорошо. Но во всем, что тяжело в моей, она мне сочувствует и всегда (и Сережа тоже) старается меня утешить.

Андрюшина кормилица — милая, ласковая, миловидная (помнится, Феня?) — вполне незаметно увезла из сундука почти все мое приданое.

Это было совершенно невероятно. Но, открыв сундук одним из ключей, которые я всюду бросала, я удивленно оставилась в его открывшиеся глубины: сундук был на три четверти пуст. Ни стопок полотняного, еще мамино приданого, белья, простыней с ее метками, ни материй — и разостланных и штуками, закатанными на палках, ничего из составлявшего главное содержимое большого кованого сундука. Прибежавшая на мой зов няня («старая няня») всплеснула руками. На нее было больно смотреть.

— Добросались связкой ключей! — причитала она, — разве в нынешний век советов старших слушают? Сколько раз я вам говорила: спрячьте ключи! — нет!..

— Да что ж я, ключница, что ли, ходить с ключами и думать о них? — отвечала я, — я же не Плюшкин (я вам о нем потом расскажу!) — но главное, няня, чтоб не узнал *papa*⁹! Для него это будет беда — столько лет хранил мамину... Научите меня, как от него скрыть?..

— Она, она это, — шептала старушка, — говорила я вам: не раскрывайте при ней сундук! Нет, *всем* верите! А она...

— Но она же *милая*, добрая, я ее так полюбила...

— Вот она, добрая-то, на поверку и выходит подколотная змея... Ах, негодная! Хорошо, что вы-то мне верите, знаете — я господское, как свое, бере-

* Как сказано у Тургенева в «Отцы и дети» об отце Базарова (?) — у постели умиравшего сына. (Примеч. автора.)

гу, у графа Сергея Львовича¹⁰ все добро на моих руках было. Шестнадцать лет я у них прожила... А она, негодная, польстилась, да и на меня тень...

— Няня, перестаньте! У нее молоко пропадет со страху... Ее надо спросить *потихонечку* — мне Андрюша дороже!..

И вот, после беседы старой няни с кормилицей, у моих ног лежит молодая, кроткая, милая женщина — в рыданиях! *не веря* моему обещанию не отдавать ее в полицию! Отчаяние нас обоих — равно. *Мое* звучит так: «Умоляю вас, перестаньте плакать! У вас испортится молоко! *Пожалейте* маленького! *Он-то* чем виноват? Неужели ж вы *мне* не верите? Я же даю вам слово! *никто* не узнает! и *никуда* я вас не отправлю, в деревню — тоже. Будете жить, как жили. Кормить. Но войдите же в *мое* положение: отец берег все эти вещи, еще моей матери, много лет! Мне они дороги — память матери! В вас же есть сердце?! Няня правильно выдумала: поезжайте с ней, куда вы их увезли, и что еще *цело* — будьте же честной! — привезите назад. Чтоб хоть не так пусто в сундуке было — чем я его наполнию, если отец скажет: «Открой-ка, покажи матери мамины! Тебе надо сшить платье!» Господи! Перестаньте же плакать, встаньте сейчас же, успокойтесь, умойтесь... *Молоко* пропадет!» Ее отчаяние *так* звучало: «Бес попутал! Сестра уговорила! Чтоб ей на том свете... Отродясь нитки чужой не брала!.. Нет, открой да возьми, спрячу, никто не узнает... Она ж мне как мать!.. характер у ней — и не приведи Бог! Сгубила она меня, окаянная, пропаду я теперь в полиции, под каторгу меня подвела...»

Так мы дуэтом говорили — сколько хватило сил.

Они съездили на квартиру к сестре и привезли две вещи: рулон серебристой материи, уцелевший, и дешевую аметистовую (мою любимую, мной купленную) брошь. А молоко у Фени со страху пропало, и Марина снова поехала со мной в контору.

Наступал новый год: 1913-й. Нашим первенцам было — моему четыре с половиной месяца, Марининой дочке — без малого четыре. Уж горели их первые елки. Они глядели во все глаза на горение и блеск, еще не понимая. Через год это уж будет *их* праздник с радостно схваченными елочными игрушками. *Эти* елки — еще во мгле...

Был вечер, снег, метель. Вернувшийся Борис и Боря Бобылев (это мне поздней рассказывал Борис), выйдя из нашего домика, шли по тихому переулку.

Им навстречу из снежной смуты, из полутьмы вынырнуло женское лицо. Увидав чье-то из их лиц, первое выплывшее из тумана-метели, она крикнула звонко и требовательно, колдовским правом гаданья:

— Как имя?

Но уже выплыло и второе лицо, оба на одной высоте.

— Два Бориса! — крикнули они в ответ, не уменьшая шага, летя по своему пути. Затем кто-то из них опомнился. Продолжая игру, мужской голос кинул вслед с тою же требовательной повадкой:

— А ваше имя как?

Из сомкнувшейся за нею метели донеслось явственно — и уже затихая, тоже — она спешила прочь:

— Анастасия!

Борис сказал мне, что это слово их потрясло, они шли плечо к плечу, молча, и каждый знал, что сердце рядом забилося тем же волнением нежданности — и сужденного...

Они купили вина и долго пили его в тот вечер, не вступая в рассуждения о жизни, не дивясь и не споря, приняв голос как необъяснимую данность, как таинственный перст судьбы¹¹.

Марина встретила меня в состоянии такого смеха, что и мой приезд не остановил его. В другом углу комнаты, с толстой книгой в руках, слегка покачиваясь на длинных ногах, — Сережа хохотал все новыми и новыми взрывами.

Переждав пароксизм, я села слушать: Марина, отвращаясь от изобретения блюда для обеда и ужина, заказывая прислуге еду на завтра, велела ей сделать номер такой-то второго блюда, дав ей (прислуга была грамотная) — Елену Молоховца¹².

Покорная женщина списала себе на бумажку этот следующий номер и пошла в лавку. В лавке нужного не оказалось; из лавки в лавку ходила бедняга, расстраиваясь, что опаздывает к обеду это будущее блюдо изжарить. Наконец, отчаявшись, она в слезах возвратилась домой, но, доложив хозяевам случившееся, она была поражена неожиданной для нее реакцией, объяснимой, видимо, их молодостью: они так смеялись, что падали.

В книге, распахнутой Сережей на заказанном, не глядя, номере жаркого, стояло: «Задняя часть дикого вепря»¹³.

Марина в своей комнатке во втором этаже на фоне стены с портретами Наполеона и его сына.

— Знаешь, в нашем издательстве, которое мы с Сережей выдумали — «Оле-Лукойе»¹⁴, — я тебе говорила? — я хочу выпустить маленькую книжку стихов — выбранные из двух книг. Обдумываю предисловие. Сережину «Детство», рассказы, где он пишет о себе и о Котике... — Она прерывает себя: — Температура у него не в порядке, я так беспокоюсь, что опять вспыхнет процесс. Ему же нельзя заниматься — столько! — а он вбил себе в голову непременно весной сдавать на аттестат зрелости. Я понимаю, надо, конечно, но зачем же так скоро? Столько предметов, постоянное умственное напряжение... Я его уговариваю отложить на будущий год. Разделить труд на две зимы — не полгода, а полтора года, понимаешь? Ведь ему же мало лет, он же на год моложе меня, девятнадцать! Ты, конечно, знаешь, что он родился тоже двадцать шестого сентября?

— Ты уже ходила и говорила, столько уже понимала — а он только родился! Как это теперь странно кажется, правда?

— Он тоже очень рано начал говорить!

— А из них только он болеет туберкулезом?

— Нет, его старший брат — Петр — тоже...

— Он — актер, да? Что, он на них всех не похож, что ли, что они как-то странно к нему относятся?

— Не знаю. Может быть, оттого, что рано женился на какой-то неподходящей женщине, — она его не любила, наверное, то есть не *так* любила! Он давно уж живет отдельно...

— Лиля и Вера как-то никогда о нем не рассказывают, — сказала я, — как будто избегают говорить: плохого не хотят, а хорошего...

— Да-а... — Марина отбросила привычно свои уже отросшие, на концах вьющиеся волосы, — пойдем Алю посмотрим, хочешь?

Мы стоим перед (какой?) кормилицей, с важностью, ревниво глядящей на мать, держа великолепного ребенка с уже густеющими светлыми волосами. Над огромными голубыми глазами обозначаются бровки.

— Хорошее имя я ей выбрала? — задумчиво говорит Марина. — Ариадна...

Каток Патриарших прудов. Тот же круг льда¹⁵, та же будка, где желтеют трубы у рта музыкантов, и, может быть, играет тот же военный оркестр. В той же дрезденской длинной синей вязаной кофточке на тех же норвежских коньках, беговых, я вышла на лед, и моя восемнадцатилетняя рука держит руку Бориса, моего упоительного партнера по льду. Я ее держала шестнадцатилетней рукой! Мы старше на два года, и в нашем доме (какое чудо с тех пор совершилось! Я тогда ничего о его доме не знала, теперь у нас общий дом...), — и в нем — разве это не чудо, тоже? — растет *наш* сын! Еще только шестой месяц, а он с плеча его держащей смотрит иногда таким величавым взглядом, так умно и серьезно — смотришь, и не верится...

Мы сегодня в первый раз с *тех* встреч на катке — вышли на лед. Прошлая зима — Берлин, Женева, Ницца, Трайас... *Как* давно! Кажется, не год прошел, а пять лет!

Да, тот же вальс! Будто *коньки* дрогнули под нами (точно ноги циркового коня!), руки сами легли крестом меж нас, и мы несемся по льду в такт музыки. Мы молчим (мы не молчали тогда!).

Острый прилив тоски неслышно сотрясает меня, — я беспомощно сжимаю Борисову руку. Он отвечает пожатием. Мы пролетаем мимо Коли Миронова. Его глаза неотрывно смотрят на нас. На Борисе та же шапочка, желтая, меховая, так же — чуть набок... Тот же пиджак. Те же кудри у меня по плечам. Что же, что же стало — другое? Но ведь я же люблю его! В тот вечер, помнится, и Боря Бобылев был с нами. Они тоже были на коньках, он и Миронов? Или только Борис и я?

Когда я осознала присутствие Миронова в моей жизни?

Когда я впервые сказала о нем Марине? Не в тот ли вечер, когда мы все четверо — Борис, его оба друга детства и я — пошли в театр смотреть «Идиота»¹⁶. Это был театр Незлобина. Он был рядом с Большим театром, слева (напротив Малого). Мне кажется, это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Они играли эту безумную вещь так, будто луч этого безумия пал на них со страниц Достоевского, и они — 3 часа? 4 часа? — жили в нем. Настасью Филипповну играла Жихарева, Мышкина — Асланов. Кто играл Рогожина — я не помню. Но это был Парфен Рогожин. А мы — мы — нас не было! (Как тому назад полтора года в Финляндии, когда Борис читал вслух 1-й том «Идиота».) Теперь я, обещавшая год его не читать, чтобы папа встал от болезни, недавно его дочетшая, — вошла в этот второй том будто в домик на Собачьей площадке. И все перестало существовать...

Вот мы четверо пятьдесят лет назад, восемнадцати- и девятнадцатилетние, сидим, не чувствуя кресел (— земли!), забыв о театре, и живем меж Мышкиным, Рогожиным, Аглаей и Настасьей Филипповой до их конца.

Мы помним конец книги. Аглая, все пережив, ушла прочь от всех, за фанатиком проповедником. Лев Николаевич Мышкин вернулся в лечебное заведение, откуда, вылечась, ехал в начале романа. Он безнадежен. Он стал идиотом.

Нет, это не конец — послесловие. Конец — вот: затемненные окна большой (низкой?) комнаты. Вечер, ночь, утро? На полу, сняв с дивана составляющие его спинку подушки, пристроились — до окончания веков — Рогожин и Мышкин. Фон — занавесы алькова. Там над чем-то, что было их жизнью, жужжит муха. Там — недвижно.

Заикаясь (один), другой в начинающейся горячке — сидят вместе, шепчась, вспоминая. Тот садовый кривой нож. Ее. И хоть они живы еще, но и их уже нет, как ее. Жива одна муха над телом. И ночь слушает стук двух сердец человеческих над тишиной смерти.

Мы поднялись не чувствуя ног, вместе со всем театром мы вышли в эту московскую ночь. Мы шли по своим судьбам, по своей смерти, по той тишине ночи. Четверка в одну упряжь впряженных коней, мы шли молча, и молча на нас с высоты Большого театра глядела четверка взлетевших, онемевших коней. Мы прошли пол-Москвы, не ища, как проехать, подошли к маленькому парадному домика № 8. Кто-то нажал кнопку звонка. Кто-то нам отворил. Мы вошли. Кто-то снял с меня шубу, повесил. Глаза Миронова неотступно смотрели. Мой Боря или мой второй Боря зажег камин. Только пламя открыло наши глаза, отомкнуло уста. Оно нам сказала, что мы навек обречены друг другу.

Я вернусь назад, я забыла: 2 января 1913 года.

После той встречи двух Борисов и Анастасии в новогоднем гаданье, после маскарада, где Марина и я были в костюме пажей, после недель (месяцев?) дружбы с Борей Бобылевым я написала ему письмо. Это было, помнится, во-

* Я на миг отвлекусь: недавно в России, пятьдесят лет спустя, поставили на экране 1-й том «Идиота». Второй — не поставили, без объяснения. Экрану он, может быть, не под силу? Зрители остались в положении, близком к моему в 1911 году. Перервалась участь людей на середине романа. (Примеч. автора.)

семь (?) страничек почтовой бумаги, и число — 2 января — стояло в начале. Помню это число до сих пор. Я жалею, что не помню это письмо как надо, потому что это был документ человеческой безысходной печали и нежности, голос Психеи¹⁷, ищущей путь и в него уж не верящей. Это было воспоминанье о трагизме безнадежных бесед, о пожатии рук и тоске юных уст, не ищущих поцелуя. Это была встреча, и это было прощанье. И кончалось оно строчками Блока (которым я не увлекалась никогда так, как многие. Но эти слова мне звучали):

«Но в камине дозвенели угольки,
За окошком догорели огонки»¹⁸.

Камин — это было сердце нашего дома — Борисова, моего и его двух друзей детства. Это была печать к письму.

Я отослала его — и забыла, среди ежедневных метаморфоз встреч и прощаний, среди печалей и восхищений, забот и усталостей дня. Будет день, когда я его вспомню.

Приходила Маруся, сестра Бориса. Она была полна собой (своим несчастьем)¹⁹. Прелестна. Она знала друзей брата с детства (думала, что их знала), глядела мимо них, к будущему. Ей, как и многим из нас, оставалось недолго жить. Может быть, человек это подспудно знает?

Потом Боря Бобылев принес мне пузырек с белым порошком. Это был цианистый калий. Может быть, он и я захотим когда-нибудь, скоро? Мы говорили о том, почему нельзя умереть в вальсе? Исчезнуть, перестать быть? «Опьянение, опьянение...» — слова Милы и Нолли²⁰ в сказках Вагнера «Кота Мурлыки». Они летели на ланях над пропастью.

Я сижу на коленях перед горящей печкой и сую в нее лист за листом мою повесть²¹, любимую, росшую, расцветавшую. Я ее кидаю в огонь, не сказав Бобылеву, который ее читает с восхищением, повесть о всех нас. Я ее жгу, потому что схватила за сердце безумная жалость к моему Борису, холодному, одинокому, которому не могу помочь, потому что он отвергает помощь. Я все реже молось, все отчетливее отвергаю Бога, но я чувствую какую-то судьбу вокруг нас и в ее пасть — как непонятное, но несомненное приношение — бросаю то, что мне сейчас всего труднее отдать, — эту стопку листов.

Они скручиваются в легчайшем танце темной воздушной скорлупкой — и их нет. Так не будет и нас. Тютчев. «Бесследно все — и так легко — не быть!»²²

Я встаю, радостная, с колен.

— Борис, в путанице чувств, лиц, взглядов, иронических и нежных слов я нашла один ясный поступок — отдала, ради вас, свое полюбленное создание. Это было так трудно! Но я решила и делала это в восторге. Это должно вам помочь! Вы разлюбили мои писанья, которые вы так слушали два года назад (еще нет двух!). Но их любят ваш Боря. (Это будет удар ему...)

— Зачем вы сделали это?! — сказал мне, узнав, Боря Бобылев в яростной горечи. Взволновавшись, ходил по комнате. Я просила его надписать мне — его фотографию. Он надписал: «Пусть все сгорит! Б. Б.». Это ли было началом нашей размолвки?.. Как могла меж нас быть — размолвка? Я еще помню слова Бобылева: «Вы думаете, я потому страдаю, что вы стали более внимательны к Миронову, говорите не только со мной, но и с ним? Ася, я могу принять это! Но когда вы не мне теперь, а ему даете поддержать ваш браслет (когда браслет вам на минуту мешает) — вот это мне *больше!*» («Как маленькие вещи — *больше* больших!» — писала я позднее, в моей первой книге...) С браслетом же (бабушкиным, золотым, состоявшим из крест-накрест звеньев то расходящихся, то смыкающихся вплотную, как резной заборчик) было так: я никогда не позволяла то, что легко допускали многие женщины, — чтобы кто-то надевал и застегивал им ботинки. Поза мужчины, ставшего на одно колено перед женщиной и занятого ее обувью, была мне просто комична, безвкусна, немыслима. Я ботинки надевала сама, но в это время браслет, соскользнув к запястью, широкий вокруг него, — мешал; и я, перед тем как нагнуться, привычным

движением снимала браслет и давала его Боре. Раза два, может быть, протянула его Миронову. Об этом и сказал Бобылев.

И была еще брошь, скромная, из трех аметистов, которую вернула мне после кражи Андрюшина кормилица. Аметист — по тогдашним календарным поверьям — «спасает от вина». Я не любила, когда Борис с друзьями пили вино. У камина, со мной, одной бутылки легкого десертного хватало на всех, с торгом. Но без меня, одни, молодые мужчины пили больше, могли выйти за предел. Никогда не выходили, но я чуждалась этого, не любила. И я давала Боре Бобылеву носить эту брошь — заколов галстук, «спасти» его от вина. Он был неосторожен:пил валерьянку — целым пузырьком, пробовал составы химических опытов... Так давно жил без матери!

Бобылев не был у нас несколько дней. Размолвка.

Я с Мироновым стою в цветочном магазине на Никитской, выбираю цвет гиацинта: лиловый, голубой, бледно-розовый? Мы едем к Боре, избегаем по лестнице нового дома. Его нет. Комната не заперта. Мы ставим горшочек с гиацинтом на его стол, я пишу записку: почему не приходит? С радостным чувством, что протянута пальма мира, спускаюсь по лестнице. Мы никогда не говорим ни о чем внутреннем с Мироновым. Он рассказывает что-то веселое, странное. Иногда — о Сибири... На душе, как всегда, когда кто-то рядом внимательный, — легко.

Марина тончайшим образом понимает различие Бобылева и Миронова. Как я, она нежно заинтересована обоими. Понимает меня с полуслова. Она и Бориса любит, чувствуя всю трагичность невозможности прочных отношений с ним. Иногда она и Сережа приезжают к нам. Все сидим у камина, пьем чай, вино, едим сладкое. Говорим о наших детях, проходим к Андрюше в детскую, смотрим на него, сравниваем его с Алей, рассказываем друг другу о всем новом в них за последнее время. И на час все кажется хорошо, как должно быть, даже весело. Когда оживленное приветливое лицо Сережи, укутанное в высокий воротник дохи и в боярскую шапку, и нежное, как лепесток розы, Марино лицо, из меховой шубки и шапочки, — все, спеша, исчезает во мгле вечера, — я всхожу по ступенькам парадного хода во мгновенном ощущении, что моя жизнь — фантазмагория, что я совсем одинока...

Туманно помню мое свидание с Галочкой, Галей Дьяконовой²³. Затем ко мне приезжает гостить из Тарусы подруга моих отроческих лет Кланыя Макаренко²⁴. Она не понимает сложности отношений всех нас, ей у нас весело, ей нравится моя жизнь, эти милые молодые люди — мой муж и его друзья, я поддаюсь этой целительной простоте, отдыхаю с Кланей, молодею.

В ответ на гиацинт и записку Боря Бобылев пришел к нам; провели все вместе вечер, пили вино из недавно купленных на Кузнецком широких фужеров цветного, отливающего мыльным пузырем стекла; через соломинку. Не могу вспомнить: в этот ли вечер мы почему-то ждали, что Бобылев уйдет (он был смутный, несколько отдаленный, нервный), и после него пили вино — Миронов, Кланыя, Борис, я, или был еще один вечер вскоре, когда Боря Бобылев пробыл с нами до позднего часа, ушел и мы легли спать? Память уж не вернет точности тех дней. Но обиду (за что?) ему этим вином после него — мы совершили. Никогда не узнаю, в последний ли его день.

Утром меня будят. Усталую, сплю. Просыпаемся вместе с Кланей. Голос, меня будящий:

- Вставайте скорей! Борис Сергеевич отравился!
- Какой?! — вскакиваю в ужасе.
- Бобылев!
- Жив?
- Нет. Умер!²⁵

Хватаю вещи, одеваюсь. зуб на зуб. Четкое решение, тотчас же — туда. Одной. Опережаю Кланю, Миронова, Бориса, бегу по улице. Пересекаю Арбат, вбегаю в Кривоарбатский. На какой-то этаж. Жизнь оборвалась. Замерла.

Боря Бобылев лежит на спине на кровати. Глаза закрыты, очень опухшие губы. Он отравился цианистым калием, но выпил слишком много. Это сказали студенты, жильцы квартиры — медики. Полтора часа жил, захлебывался кровавой рвотой. У них не было денег на кислородную подушку, и не знали адреса Бобылевых (где-то близ Арбата же) — отец, мать, брат. Ни нашего — переулочек по ту сторону Арбата. Горничная нашла мокрый от слез платок на (шкафу, комод?). Придя поздно от нас, долго играл на скрипке. А когда выпил яд и не умер — вышел к студентам, сказал: «Товарищи, помогите. Я отравился». Сознательно выпил? Пробовал, как не раз уже рискуя, изучая свой организм? Никто ничего не знает.

Он лежит спокойный, как спит. Высокий лоб, над ним высоко темно-русые волосы. Неузнаваем рот, вздуты губы. Его руки! Лежат невинно, на одеяле. Стою, смотрю, слезы льются, побарываю всхлипы. Трясет.

Подхожу к столу, ищу письмо, мое. Чтоб не в чужие руки. Нахожу. Вот оно! Беру. У конца его, вбок от моей подписи, приписка карандашом, Борина: «Упрекать Асю в том, что она женщина, значит не понимать целой, иной части ее души». Читаю, складываю, возвращаюсь к кровати. Целую ли руку? Лоб? Оборачиваюсь: в дверях Борис. Стал в ногах, смотрит на друга молча, не сводя глаз. Долго стоим. За плечом его — догнал — Миронов. Стоим.

— Ну, с меня довольно! — говорит Борис, поворачивается, выходит. Миронов и я идем за ним. Давно ли мы шли после гибели Мышкина, Рогожина, Настасьи Филипповны? Гибель одного из нас...

Арбат. Почему-то весенний день. Идем тесно, молча.

Было 6 февраля 1913 года.

У нас. Комната моего Бориса. Камин. Мы трое. Кланя? Не помню. Мы сидим, как всегда, и тесная наша дружба, горем спаянная, безмолвная; возросшая нежность друг к другу есть замена присутствия Бори. (Их «Бобылик»...)

Борис подчеркнуто бережно добр ко мне. Я не таила от него любви Бори ко мне и моей к нему. Я не пряталась. Не лгала. Не лукавила. Все было на виду, явно. Все было Борису ясно, любовь его друга Бори ко мне — так понятна, упрекнуть можно было, только если бы мы обманывали или если бы перешли черту. Мы не перешли ее, даже не подошли к ней. Ни Боря, ни я не тянулись друг к другу физически. (Трудно поверить? Но — так. Боря был юноша. Я — и до него, до Бориса так долго отворачивалась физической близости. Перешла черту только для Бориса и с ним. В эту область никто мною не был впущен. Жена, я была верна Борису. И он это знал.)

Удивительно: смерть одного из нас бросила нас друг к другу. Мы трое у огня, который увел четвертого, стали драгоценны друг другу, заставив задуматься и опомниться, увидеть друг друга. И было странное чувство, что хоть Бори нет, а и он с нами в этом наставшем прозрении, в тишине и добре горя.

В эту тишину пришла вызванная Марина. Бледная, с закушенным ртом, с посветлевшими, заплаканными глазами — она села у огня, протянув к нему — погреть — руки.

— Он похож на Пушкина в гробу, — сказала она, — очень похож. Только — красивей! Его непременно снять надо. Не упустить — туда...

Кто ее свел к нему? Не знаю. Она слушает его смертную повесть, глаза — в огонь, и слезы капают из них неудержно («Состояние ранености, — говорила она годы поздней о себе, — каменное лицо, и по нему истукански, идиотски текут слезы»).

Мы снова у Бори, все. Я не помню тех дней. Кто обмыл и одел его? Мать ли пришла, не любившая, от которой он ушел из квартиру; горничная ли?.. Как может это быть, что хоть полвека спустя — забыла имя ее, к которой потом, когда все стихло, «прошло», — я ходила и ходила по этажам, чтобы посидеть у нее, еще раз вспомнить его, его последнюю ночь, эту скрипку и этот платок, и слова студентам о помощи, и незнание никем адреса его матери и отца, и нашего, пока жил?.. (Узнали, когда умер!) Кислородную подушку, стоявшую столько-то (чудится мне, 20 рублей). Мог бы остаться жив? Ходила к ней, потому что она жалела его, больше, чем мать, и я как с его сестрой, близ него жившей, хотела — никогда не забыть эту ночь... Но я ее имя — забыла.

Фотограф снял Борю в цветах. И, по желанию Марины, второй снимок — с одной розой у груди, у сложенных рук, у пуговицы студенческой тужурки. Роза

была темна. Он действительно походил на Пушкина, но черты строже. Уже чуть опукался вспухший от яда рот. Сидя у огня, Борис сказал мне: «Ася, вы не виноваты ни в чем. И он вас любил...» Цветочный магазин на Никитской — тот самый, где покупала ему гиацинт. (Гиацинт был еще жив, на окне.)

Марина и я выбрали Боре большой металлический венок незабудок, чтобы долго жил на могиле. Мы все почти не расставались. Почти не спали. В тот же день, на другой ли? до похорон ли? к нам пришла сестра Бориса — Маруся. Я ее с нами — не помню. Она пришла прямо к брату — «Мне надо поговорить». Мы вышли. Она заперлась с Борисом и час ли, полтора? что-то ему говорила. Затем — ушла. После ее ухода Миронов и я, старая няня — не узнали Бориса: он сидел и глядел в одну точку. Затем взял зеркало и долго себя рассматривал, молча. Его лицо было пристально, что-то отсутствующее, выраженье безумного. Затем он встал и ушел, не сказав куда. И — пропал.

В наш дом пришла Ирина Евгеньевна, мать Бориса. На ней не было лица. Она обратилась ко мне с упреком: «Ася, я *говорила* вам: не пускайте Марию Сергеевну, она вас разведет с Борюшкой! Вы не послушали, не поверили! Он ушел. Не ко мне! Не приходил! Жив ли он? Я подниму на ноги всех, чтобы найти...»

Она была ласкова и добра ко мне. Верила. Удивлялась, что сын мог поверить сестре.

Я не помню подробностей похорон. Хоронили на Смоленском кладбище, далеко по правой горизонтальной дорожке. Были ли там могилы их близких? Я помню яму (песок? глину?). Весенний день. Плотную фигуру матери в шляпке, подростка-брата. Много чужих. Отца не помню. Он Борю любил, и Боря любил отца. Был ли на похоронах мой Борис? Не помню.

Если он пропал до похорон, то на похоронах не был, потому что нашли его неделю спустя.

Мы искали его у всех друзей, родных и знакомых. Нигде. С помощью ли полиции? но ведь он не был на том месте прописан! мать нашла его где-то далеко, на 6-м этаже, взял комнату. Денег не было. Питался одной булкой в день.

Мать разубедила его в лжи сестры: та сказала ему, что у меня с Бобылевым была физическая тайная связь, что из-за этой связи он умер. Маруся больше не появлялась к нам. Боря не возвращался, из-за стыда ли передо мной, что ушел, не спросив, что поверил, что лгу. Жил у матери — очень недолго: слег на операции аппендицита в лечебницу Руднева (в Серебряном переулке). Я навещала его? Затем память путается. Знаю, что в двадцать лет Борису делали другую операцию — саркомы (на шее). Удачно. Не повторилась. Но, оставшись одна после лжи обо мне мной так любимой Маруси Трухачевой, я осталась с четырьмя дружественными близкими мне, в нашем домике: мой шестимесячный сынок Андрюша, старая няня, Миронов, не покидавший меня после исчезновения Бориса, ставший на мою защиту, и, наконец, утвердившаяся в доме пятая после меня кормилица, средних уже лет Соня, привязавшаяся к Андрюше и хорошо относившаяся ко мне. Среди них я жила мои дни. Но и их мало прошло теперь в квартирке на Собачьей площадке: я не смогла там жить. Так тяжело мне было в тех комнатах, где бывал Боря Бобылев, где я помнила его то на диване, то у стола, то — идущего, улыбающегося, нежного, радостного, слушавшего чтение моих дневников и моей повести, любовавшегося Андрюшей, входившего и уходившего с Борисом... Чтобы справиться с этой смертью и жить дальше, быть матерью сыну, сестрой Марине, надо было переехать с той квартиры. Я сказала Миронову: «Мне надо другую квартиру. И надо — скоро, чтобы папа, придя, нашел уже все устроенным, чтобы не огорчать его ответами на вопросы, слухами. Папу надо щадить. Скажу, что удобней, что тут были недостатки — ему не нравилось, кажется, что все проходное и что окно столовой в потолке. Вы поможете мне, Николай Николаевич? Что Боря умер — папа слышал».

Мы нашли квартиру — тут же, за углом от Собачьей площадки, в Борисоглебском, дом № 6*. Квартира была большая, шесть комнат, три передних — фасад первого этажа — остались пустые. Я заняла три задних, с выходом во

* В нем, но в другом, левом от ворот, флигеле с 1914 г. поселилась Марина, когда я уже в нем не жила. Несколько лет назад этот правый флигель *сожгли*. (Примеч. автора.)

двор. Вещи перевезли. В два светлых окна длинная детская, в два окна темней (смежно) — моя. Полутемная побольше с решетками на окнах — столовая.

Тогда ли? Или еще раньше? сын старой няни зачем-то (в семье ли понадобилась?) увез ее к себе. Ее место заняла пожилая круглолицая добродушная, толстая Маша, кухарка. Узколица, полногрудая Соня с хитрым веселым взглядом носила красавца Андриюшу, показывавшего по ее учебе «где наши птичечки?» (ручкой на стену, где она повесила игрушечную птичку). Он уже говорил много упорных, неясных полуслов, звонко кричал, сжимал кулачки, сердясь, и капризничал. Я на швейной машинке шила ему байковое пальтецо и шапочку для прогулок — зимой я боялась его выносить. (Я не сказала, что по старинке его свивали, и он был счастлив, выйдя из этих длинных повязок мученья — в платица и кружевные простынки.) Манную кашу он ненавидел пылко и с ней боролся умело, научась дуть в дудку (на седьмом месяце, в восторге, в ликовании от звука), он дул в кашу, и она разлеталась в лицо нам с Соней и об стену. При этом он ликовал — особенно, и личико его было насмешливо. Его веселая детская залита была солнцем, кажется, розовая. В моей комнате, куда от него вела дверь, иногда было сумрачно, когда солнечных лучей в окнах не было. Там стоял диван, накрытый ковром, письменный мамин стол, маленький старый шкафчик старинного образца. На стене — портрет нашей юной бабушки, все те же, что на Собачьей площадке, парижские бра, венецианские бусы. Книжки. Казалось, что тут живут — давно. Папа приходил, но я его приходов не помню. Приезжали Марина, Сережа, одобрили переезд, устройство. Марина утешала, входила во все. Любовалась Андриюшей. Весной, в тепло, они встретятся с Алей. Аля уже больше его, говорит много слов. Кормилица Груша тоже уже прижилась.

Все дни после смерти Бобылева мы — Миронов и я, часто и Марина с нами — ездили на его могилу. Мы смастерили к кресту фонарь и зажигаем каждый раз в нем лампадку; издали виден мерцающий огонек. На могиле был крест и венки — наш с Мариной голубой, незабудочный, лежал на холмике (или висел на кресте?). Мы мало говорили, Миронов и я. Но знали, что дружба — навек. Ему было, может быть, стыдно за Бориса, меня оставившего. Он покидал меня только на ночь. Он помог с отысканием квартиры, с перевозкой и расстановкой вещей. Мы были очень усталые — от малого сна тех ночей. И мы не могли и тут рано лечь, все ходили по полутемным комнатам взад и вперед, вспоминали Бору, Бориса.

Брат Андрей²⁶, узнав, что у меня есть свободные комнаты, собирался занять их на время — он купил дом, хотел его перестраивать на свой манер (думал жениться, может быть? Жил с папой в Трехпрудном). Но, сказав, медлил. И Миронов не оставлял меня.

Была глубокая ночь. Мы ходили. Наши шаги отдавались гулко; казалось, кто-то где-то идет, но я ничего не боялась с Мироновым. Я чувствовала, что еще никогда никто не был так добр ко мне, так рыцарственен. Чувство горя о Боре, тоски по Борису, благодарность к Миронову — сливались в одно, наполняя сердце до верха.

(Нет. Я боялась себе сознаться, что я смутно догадывалась, что Миронова я — люблю. Нельзя было теперь думать об этом, понять и назвать это. Могила Бори, исчезновение Бориса затмевали и это.)

Но была глубокая ночь. Маша, Соня, Андриюша спали. Мы были одни. На повороте (бессчетном) по пустым полам передних ночных комнат (путь к ним был через столовую; начинаясь поперечно, — продольно, сбоку), Миронов сказал медленно, тихо, одновременно решенно и безудержно:

— Ася, я должен сказать вам. Я думал. Я не могу ничего с собой сделать. Я вас люблю.

Это было признание? Или название беды еще новой? Кажется, так. Но голос его был полон такой силы (слова сознавались — в слабости), что, охваченная ею, как парус захвачен ветром, я ответила — а мы все шли и глядели вперед:

Николай Николаевич! Я чувствую большой восторг от ваших слов, хоть мне — страшно. Мне кажется, что я вас люблю, тоже...

Даже и от самой меня скрыт тот миг. Я не помню его слов мне. Но я знаю, что движенья друг к другу — не было: меж нас была смерть и долг (мой, к Борису). Но мы ходили, и счастье летело с нами, и ночь слушала нас.

Признание было — прощаньем. Мы это поняли — оба. А на другой день, рассказав все Лидии Александровне²⁷, Драконне, я, вернувшись, полная ее предостереженьем и требованьем — они и во мне звучали, — сказала Миронову, что он должен уехать. Написать отцу в Сибирь, чтобы тот ему выслал (он занимал пост на железной дороге) — билет. А пока чтобы перешел к Марине и не приходил ко мне. Он не спорил. Согласился. Мы теперь друг на друга не глядели. Любовь и восторг от нее делали все — легким, даже разлуку.

Не возьмусь передать речь Миронова. Марину, Бориса, папу, других — слышу. К его речи прикоснуться не смею — искажу. Без конца говорили мы, ходя по дому, вечерние и ночные часы, когда все утихало; быт, как игральные кости в шкатулку, укладывался, потухал о ночь, все спали. Тогда — днем в недомолвках, во взглядах, в удержанном, в лихорадке, вздохе, просыпался наш разговор. У нас нет настоящего. Мы прощаемся (как тогда с Нилендером²⁸, когда уезжала с Борисом). И теперь я должна ехать с ним на хутор к отцу. И уеду. Чтoб не появился в минуту его оскорбленности, одиночества — второй холм на кладбище. Но у нас — за это — где-то во мгле, впереди — цветет будущее!

Через годы? когда? будем вместе!.. И есть прошлое. Тот день моих четырнадцати лет на «Эрос и Психея» с Мариной, тот, за роyleм, взгляд, неотвратимый... И медовой струей, в деготь клеветы, в горечь дней, — рассказ Миронова мне о его первой встрече со мной: я вошла с мороза, кудри и снег. Глаза, лицо, голос. Он шел навстречу. Знакомят. Рукопожатие. Борина жена! Нет! «Маленький лорд Фаунтлерой»!²⁹ Любовь с первого взгляда — «Я вас полюбил навсегда, Ася...»

Он переехал к Марине, от нее узнавал обо мне. Ждал билета. Брат Андрей собирался ко мне. Борис выздоравливал (от первой операции). Я ждала к себе в гости папу, обещавшего в этот вечер прийти. Он не шел. На пороге стояла Маша, докладывая, что меня спрашивает пожилой господин.

Маша еще не видела папу. Я поспешила мимо нее — навстречу. В передней стоял грузный старик, мне незнакомый. Он тяжело смотрел на меня, глаза были выпуклые. Мне показалось (в эту ли минуту? позднее?), что он нетрезв. Маша ушла. Мы были одни. Он ступил ко мне, переспросил мое имя. Я подтвердила. Я не догадывалась. Он шел, и я стала спиной к стене, лицом к нему. Это было в пустой комнате, первой, куда должен был, опоздав, войти папа. Полная этим ужасом, я вошедшего — не боялась. Должно быть, это было в лице. Он подошел и долго молча, близко мне глядя в глаза, стоял передо мной. Его старые руки, дрожа, поднялись, и он стал, не отводя взгляда, трогать ими, немного сжимать перекрестно концы накинутаго на мою шею боа — плоского, широкого, желтого, из куницы. Я думала только о папе — с ужасом о том, что же будет, если он сейчас войдет! Может быть, это, наоборот, было — недолго? Вошедший вдруг стал снижаться. Падать? Он опускался на колени и — снизу, сжав мои руки:

— Я — отец Бори Бобылева! — сказал он, — я пришел к вам... Я не знал. Нет, я знал! Ася! Боря так о вас говорил... Он говорил: «Ася — святая!» — Он зарыдал. — Я люблю моего сына...

Я подымала его. Мы плакали вместе. Я забыла, что должен прийти папа. Он уверял меня, что Боря прав, я — дитя и он верит, что я...

От него пахло вином. Но я не боялась, я была полна горем. Он говорил, что счастлив, что увидел меня, о которой так говорил его сын. Что мы — «вместе с вами — я и вы — поставим ему памятник на могилу».

Затем — сколько мы говорили? — он ушел. Я ходила теперь в дрожи по комнате. Папа в этот день не пришел. Я еле дожидала до утра. Утром я попросила Александру Олимпиевну³⁰ передать к Марине — Миронову, что я прошу его ко мне прийти. Я больше никогда не видела отца Бори. Я ему раз звонила по телефону — о памятнике. Что-то не состоялось во встрече. Затем — я уехала из Москвы на лето. Потом были другие события и отъезд из Москвы — надолго. От Бориса? или еще от кого я услышала, что отец Бобылева шел ко мне с тем, чтобы меня убить.

Наступила весна. У меня еще был цел пузырек с цианистым калием — я, подержав его в руке, уничтожила.

Сколько у меня пробыл Миронов? Не помню. Он успокоил меня. В его любви, совершенно бескрайной, навек, все стало снова легко. (Без него я уж перестала верить, что он — есть.) Из больницы пришел ко мне Борис. Я сказала ему о Миронове. К нему, как и в иные дни наши с Бобылевым, — вернулась любовь ко мне. Он смотрел на меня глазами 1911 года, уверял, что я не могу его любить (как и тогда). Но это были — часы. Затем он менялся, делался совершенно другой (в нем, может быть, вспыхивало недоброе к Коле Миронову?), но и это проходило, и еще что-то шло на смену. Я уставала ужасно. Жалость к нему (пережившему еще и физический нож, похудевшему) была вне мер. Я радостно сообщила ему, что Миронов скоро уедет. Говорила, что вновь будем вместе. (Говоря это, я внутренне умирала.) Он не верил. Я начала плакать. Он смотрел на меня, как Леонардо на чертеж летательной машины или — на, может быть, рассеченный для изучения живой организм. Он ушел однажды наконец, со мной простясь, ласково, но я не пускала, не зная, куда идет, и до двери черного хода шла за ним (не сделает ли что над собой), залитая слезами, еле держась на ногах.

Он ушел. Онемев, устав до предела, я рухнула на диван и заснула. Я проснулась от тихого стука в окно: это был он. Вернулся? Я бросилась открыть. Он остановил меня не входя, на пороге: «Нет, я сейчас уйду. Я только хотел посмотреть, все ли еще вы плачете или уже успокоились? Вы спали. Прощайте. Я ухожу». Я схватила его руки. Он вырвал их. Не слушал. Шаг стихал. Я рухнула в поток слез.

В Столешниковом переулке мою руку взяла цыганка. Насильно. Всплеснулся голос. Она мне сказала, что я пережила смерть, недавно. Умер молодой, светлоглазый. Меня любил... Я шла, вырвав руку. Была сияющая весна.

Брат Андрей переехал ко мне и заболел. Дал мне адрес: Вера Ивановна Т-цкая. «Съезди, скажи, что я болен. Не зови. Как хочет». Я поехала. Высокая белокурая, в слезах вышла ко мне:

— Мы любим друг друга, но у меня муж, ребенок. Приду, но —

— Не могу советовать, — сказала я ей, — но я только что пережила самоубийство друга. Берегите его. Обоих! Все очень страшно.

Вечером она приехала к Андрею.

Я не знаю о них ничего.

Из дневника³¹.

Это было три года назад. В Москве стояла весна. В тихом Борисоглебском переулке в часовне горела лампадка перед ликом старого святого. Я часто молилась ему, встав на колени у окна, в одной из передних комнат, среди груды книг, лежащих на полу. Мне было восемнадцать лет. Андрюше было семь месяцев. Б. был где-то вдали — не то в больнице, не то у матери — наша жизнь с ним была порвана; во что сложится жизнь, что со мной будет, — я не знаю в своей жизни другой такой смутной поры.

Я была всеми брошена. Миронов, вставший тогда на мою защиту и полюбивший меня, — по просьбе моей только что уехал в Иркутск, и был еще туман от дней, от безумного напряжения разговоров, бывших с ним. И мои восемнадцатилетние плечи вынесли все без малейшей помощи — гибкостью, покорностью, чудом!

— Смотрите, каким цветком распустился шатавшийся стебелек, склонявшийся ниц, к евангелию, к добру, перед лампадкой.

По вашим приговорам, по всеобщему осуждению, я, как по лесенке, взошла наверх, — где прекрасно! — и солнце ласкает атлас моих лепестков, и небо широко надо мной!

Борис и я ходим по тем комнатам, где я ходила с Мироновым. Поздно, темно. Наши шаги раздаются по пустым полам, и кажется, что кто-то ходит в дальней комнате. Мне жутко. Борис бледен. Его тонко очертанный профиль пронизан прислушиванием. Ноздри дышат — в волнении. Я взглядываю на него. Он думает о том же. Холод трогает наши сердца, шевелит волосы. Лицо Бориса становится почти вызывающим. (С таким лицом он пошел потом на

войну. Но тут война объявлялась нам — незримо? Только одним слухом слышимая.) Кому из нас стало стыдно, что забыли, какой добрый был Боря, ушедший... Чьей доброй силой мы себя взяли в руки, пришли в себя?

Было 21 марта 1913 года. День отъезда Миронова.

Чудный весенний день. Не помню, как мы встретились, долго ли были вместе. С того пятьдесят один год. Я помню: мы едем на вокзал в автомобиле. Я провожаю. Лица любимей, нужней всех — рядом. То профиль — большой прямой нос, худая щека, выступ губ; твердый юношеский еще подбородок. Темно-золотой родной глаз. То — поворачивается ко мне лицо нежной юношеской худобы, вверху шире, резко сужаясь книзу. Маленький, твердо и добро сложенный рот. Крылья бровей брошены по надбровью. И ни с кем не сравнимый, упоенный восторгом взгляд. Я не вижу глаз, я утонула во взгляде — их душе. Огромное сердце рядом полно мной. Мы в бездне. Из нее говорит голос:

— Ася, нам нельзя вместе жить, но мы вместе умрем... И где бы мы ни были — мы позовем друг друга...

КОММЕНТАРИИ

¹ Ср. стихотворение М. И. Цветаевой «Рок приходит не с грохотом и громом...» (в кн.: Цветаева М. И. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 1. М. «Элис Лак», стр. 327). В собр. соч. не комментировано; имеет дату 16 ноября 1916 года. Отличается в записи А. И. Цветаевой первым словом.

² Борис — Трухачев Борис Сергеевич (1892 — 1919), первый муж А. И. Цветаевой. О нем см. в кн.: Цветаева А. И. Воспоминания. М. «Советский писатель». 1984, стр. 368 и далее^{*}, а также в романе «Апог», стр. 155 и далее, под именем «Глеб».

³ Боря (Борис) Бобылев (1892 — 1913) — см. о нем в кн.: «Воспоминания», стр. 480 — 488.

⁴ Миронов Николай Николаевич — о нем см. в предисловии к настоящей публикации, а также в романе А. И. Цветаевой «Апог» (М. 1991, стр. 115 и далее), где он выведен под своим именем.

⁵ «Эрос и Психея» — пьеса польского драматурга Юрия Жулавского (1874 — 1915), шедшая на сцене театра Корша.

⁶ ...с нами едут и Эфроны, и Пра. — Эфроны — муж М. И. Цветаевой — С. Я. Эфрон (1813 — 1941), его сестры — Эфрон Е. Я. (1885 — 1976) и Эфрон В. Я. (1888 — 1945). Пра — Е. О. Кириенко-Волошина (1850 — 1923), мать поэта М. А. Волошина.

⁷ Аля — Ариадна Сергеевна Эфрон (1912 — 1975), дочь М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона.

⁸ Андрияша — А. Б. Трухачев (1912 — 1993), сын А. И. Цветаевой.

⁹ Папа — И. В. Цветаев.

¹⁰ Сергей Львович — С. Л. Толстой (1863 — 1947), сын Л. Н. Толстого. Старая няня ранее, до службы у А. И. Цветаевой, служила у него.

¹¹ Эпизод крещенского гадания дан в кн.: «Воспоминания», стр. 486 — одним абзацем, который заключает сдержанное замечание, что на Б. Трухачева и Б. Бобылева встреча эта «произвела какое-то тягостное впечатление».

¹² Елена Молоховец — автор широко принятой в русском обиходе кулинарной книги «Подарок молодым хозяйкам».

¹³ Эпизод, в котором рассказывается о комическом происшествии, связанном с «задней частью дикого вепря», см. в главе «Дикий вепрь» в «Воспоминаниях о Марине Цветаевой» М. И. Кузнецовой-Гриневой («Россияне», 1992, № 11 — 12, стр. 16).

¹⁴ Упоминание об издательстве «Оле-Лукойе» внесено в «Воспоминания» А. И. Цветаевой несколько в ином контексте (см. стр. 485).

¹⁵ Каток Патриарших прудов — там А. И. Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Б. С. Трухачевым. Об этом см.: «Воспоминания», стр. 367 — «Встреча на льду».

¹⁶ Темой «Идиота» и «Братьев Карамазовых», настроением и тоном Ф. М. Достоевского проникнута юность А. И. и М. И. Цветаевых, об этом часто — в «Воспоминаниях».

* Далее ссылки на это издание: «Воспоминания», страница.

¹⁷ Голос Психеи... — здесь: голос души.

¹⁸ Две строки из стихотворения А. А. Блока «В углу дивана...» (из цикла «Маски», 1907).

¹⁹ Имеется в виду многолетний конфликт Маруси, М. С. Трухачевой (? — 1919), с ее родителями. Об этом см.: «Воспоминания», стр. 493.

²⁰ Мила и Нолли — героини одноименной сказки Н. П. Вагнера (см.: Вагнер Н. П. Сказки Кота Мурлыки. М. «Паллада». 1992, стр. 41 — 53).

²¹ Эпизод об уничтоженной повести вошел в «Воспоминания» (стр. 486 — 487). Повесть без названия имела дневниковый, автобиографический характер. Подобная судьба постигла несколько произведений А. И. Цветаевой, среди них — повесть «Скарлатина», книга о В. В. Розанове. Уничтожения эти имели для автора жертвенный характер и являлись кульминациями самых трагических периодов ее жизни в молодости.

²² Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...».

²³ Галя (Галина) Дьяконова (1894 — 1976) — гимназическая подруга А. И. Цветаевой, будущая жена П. Элюара, затем С. Дали, о ней см.: «Воспоминания», стр. 243 и далее.

²⁴ Клэня Макаренко — одна из подруг детства А. И. Цветаевой по жизни в Тарусе. См. упоминание о ней: Цветаева А. Таруса. — Газ. «Культура», 1993, 11 сентября, стр. 12.

²⁵ Эпизод отравления, самоубийства Б. Бобылева дан в «Воспоминаниях» (стр. 487) только в форме фактического упоминания.

²⁶ Брат Андрей — А. И. Цветаев (1890 — 1933), сводный брат А. И. и М. И. Цветаевых по первому браку отца.

²⁷ Лидия Александровна Тамбурер — приятельница матери сестер Цветаевых, их добрая, доверенная подруга, родная душа, советчица. О ней см. у А. И. Цветаевой в «Воспоминаниях» (стр. 256) и в очерке М. И. Цветаевой «Лавровый венок» (см. также примеч. 9 к письму М. И. Цветаевой 3 в первом разделе настоящей публикации).

²⁸ Нилендер В. И. (1883 — 1965) — переводчик Гераклита, знаток древних языков и литератур, друг юности сестер Цветаевых; ему посвящены стихи М. Цветаевой в первом сборнике «Волшебный фонарь»; о нем подробнее см.: «Воспоминания», стр. 304 и далее.

²⁹ «Маленький лорд Фаунтлерой» — образ из одноименной повести американской писательницы Френсис Бернет, памятной сестрам Цветаевым с детства. Образ этот стал своего рода «паролем» любви А. И. Цветаевой и Н. Миронова (ср. стихотворение А. И. Цветаевой «Н. Миронову», приведенное в предисловии).

³⁰ Александра Олимпиевна — экономка в отцовском доме сестер Цветаевых. О ней см.: «Воспоминания», стр. 496 и др.

³¹ «Из дневника» — фрагмент из второй книги А. И. Цветаевой — «Дым, дым и дым. 1916» (М. 1916, стр. 175). Приводится автором без изменений, дословно.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЭРОСА

Вместо послесловия

Свет из тьмы. Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.

Вл. Соловьев.

Небольшой литературно-психологический мемуар, публикуемый «Новым миром», хотя и заинтересует любителей «всего цветаевского», но, на первый взгляд, далек от общекультурных проблем, представляя собой сугубо интимный документ: его герои никакие метафизические проблемы не обсуждают, о прочитанном не разговаривают; разве что однажды заходят в какой-то театр... Сюжет же по нынешним временам и вовсе незамысловатый: трое молодых людей любили молодую замужнюю женщину, один из них покончил с собой — житейская, словом, история.

И все-таки почему же ушел из жизни Боря Бобылев? Из-за верности героини узам брака и, вследствие этого, невозможности полной близости? Однако за замёрзшими окнами комнаты с камином давно уже в разгаре двадцатый век, и времена Анны Карениной (не то что Татьяны Лариной) — в далеком и забытом прошлом. И хотя героиня пишет что-то о том, что не могла или не хотела обманывать мужа, тут же сама и проговаривается: муж и брак тут совершенно ни при чем — влюбленные, они с Бобылевым, как ей казалось, не тянулись к физической близости; более того, такая близость вызывала у автора некое отвращение. Зачем же приносил этот студент цианистый калий, зачем предлагал вместе уйти из жизни? Так вся эта история начинает напоминать другую, еще более давнюю, вспомнив которую И. А. Бунин написал: «Дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой — очень сложно...»

19 июня 1890 года, в Варшаве — тогдашней «национальной окраине» империи, двадцатидвухлетний корнет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Бартев застрелил из револьвера свою возлюбленную, актрису Марию Висновскую. Дело получило широкую огласку; писали о нем не только местные, но и переполненные собственными новостями столичные газеты¹, и даже толстые литературные журналы, криминальную хронику высокомерно игнорировавшие, в этот раз увлеченно излагали на своих страницах, казалось бы, заурядную уголовщину². Защиту корнета-убийцы взял на себя уже успевший прославиться Ф. Н. Плевако³. С окончанием судебного процесса дело Бартева сразу же становится достоянием массовой беллетристики: в 1892 году однополчанин Бартева, проходивший к тому же свидетелем по делу, гвардейский ротмистр и литератор Ю. Л. Елец выпускает романизованную версию недавней драмы под симптоматичным названием «Болезнь века», а спустя три года та же история подробно излагается Л. Ф. Снегиревым в двадцать третьем номере выпускаемой им библиотеки уголовных процессов.

Впрочем, дело это — подобно массе других дел, некогда будораживших печать и общество, — наверняка ушло бы в забвение, если бы в 1925 году о нем не вспомнил живущий в Приморских Альпах И. А. Бунин и не написал на основе его сюжета рассказ «Дело корнета Елагина», который в творчестве писателя занимает несколько необычное место. В нем очень мало того, что называется художественным вымыслом: события излагаются исключительно точно — вплоть до текста предсмертных записок жертвы; весьма близко к тексту передана и речь защитника. В итоге участие автора-рассказчика сводится к комментирующим репликам.

Что же такого странного и неразрешимого увидел, вслед за пронизательным защитником, в этом деле И. А. Бунин? И если бы молодой корнет в последний момент не смалодушничал, а в соответствии с кодексом гвардейской чести пустил после убийства возлюбленной пулю в лоб, имели бы мы на сегодняшний день названный рассказ Бунина? Чем, собственно, «дело Бартева» отличалось бы тогда от многих аналогичных — ведь кровавые развязки любовных драм были в русской жизни конца минувшего века столь же обыденным и чуть ли не ежедневным явлением, как кровавые развязки криминальных разборок — на исходе века нынешнего: убийства и самоубийства «от любви» составляли повседневность культурного быта наступившего fin de siècle. Рубрики «Происшествия» сообщали: то в Люблине, в номере гостиницы «Виктория», драгунский юнкер бивает выстрелом из револьвера свою замужнюю знакомую, к которой, как сообщили газеты, «довольно долгое время питал страсть», а затем стреляется сам⁴; то в Москве, в меблированных комнатах на Рождественском бульваре, штабс-капитан полиции В. В. Золотухин стреляет в девятнадцатилетнюю телеграфистку Ольгу Гончаренко, после чего

¹ В феврале 1891 года «Московские ведомости» перепечатавали из «Варшавского дневника» хронику заседаний Варшавского окружного суда, в котором слушалось дело Бартева; о «популярности» процесса можно судить по фельетону В. Буренина «Дело об утоплении опереточной канканерки Юзи Пршеканальской вольным наездником сводной закутильской молодежи Васей Полупьяновым» («Новое время», 1891, 22 февраля, № 5383). К процессу проявили внимание и более серьезные корреспонденты — см., например: Инкогнито [Немирович-Данченко Вл. И.]. Варшавская драма. — «Новости дня», 1891, 11 февраля, № 2738.

² Из провинциальной печати: «Варшавские и другие газеты об убийстве артистки Висновской». — «Северный вестник», 1891, № 3.

³ См.: Плевако Ф. Н. Речи. М. 1912.

⁴ См.: «Местная хроника». — «Варшавский дневник», 1889, 27 февраля, № 48.

также кончает жизнь самоубийством⁵. Эти сюжеты никому не показались загадочными или таинственными и годились разве что для «бульварного романа»; а между прочим, стоило бы задуматься: понятно, когда счесть с жизнью (своей и чужой) сводят из-за неразделенной любви, — но какая же «неразделенная любовь» может быть в гостиничном номере или меблированной комнате? Впрочем, в тот «нервный век» убийство могло произойти на почве ревности, последующее самоубийство — из-за ужаса от содеянного... Однако в деле Бартенева не было ни ревности, ни неразделенной любви, а из свидетельских показаний обвиняемого следовало, что он и его возлюбленная решили вместе добровольно уйти из жизни, и его выстрел был лишь исполнением этого решения; поэтому его вина состоит лишь в том, что он не решился исполнить задуманное до конца.

Вообще проблема добровольного ухода человека из жизни начала беспокоить «общественность» где-то с середины XIX века; озабоченность «манией самоубийств» прозвучала и в речи В. С. Соловьева на его магистерском диспуте 24 ноября 1874 года⁶, касался ее и Достоевский в «Дневнике писателя». Причины охватившей общество мании чаще всего объяснялись той социальной ломкой, которая происходила в России в 1860 — 1870-е годы («перестройка виновата»). Однако и после успокоения реформаторской деятельности правительства число добровольных уходов из жизни продолжало возрастать. «В короткое время в г. Судак, в Крыму, было 11 самоубийств, — сообщалось в 1885 году в московской газете, — замечательно то, что все самоубийцы были женщины и все избрали один и тот же способ для самоубийства: все они отравились раствором из фосфорных спичек»⁷. А спустя четыре года корреспондент «Нового времени» с недоумением указывал на те незначительные, порой просто курьезные причины, которые способны толкнуть современного человека свести счеты с жизнью: в Харькове некто покончил с собой из-за испорченной портным французской материи, в другом месте фельдфебель повесился потому, что кум не позвал его на крестины⁸.

Надо сказать, что русская литература — при всем своем реализме и психологизме — как-то затруднялась в собственно художественном освоении этой общественно-болезненной темы (мы не рассматриваем «низовой» литературы, где самоубийство служило удобным сюжетобразующим элементом) — во всяком случае, русские писатели-«классики» вплоть до конца века не создали сколько-нибудь запоминающихся образов самоубийц. (Идейные и несколько «экспериментальные» самоубийства героев Достоевского не в счет.) С чего, собственно, было стреляться или вешаться героям русской классики? — имений они не пропивали, наследства и приданого в карты не проигрывали... Разве что опять-таки — от неразделенной любви? Но, как ни странно, при всей насыщенности русской литературы XIX века любовью такие сюжеты как-то не вспоминаются: русский интеллигент после неудачного rendez-vous обыкновенно отправлялся «потрудиться на народной ниве» — а в исключительных случаях предпочитал погибнуть на какой-нибудь баррикаде; к отчаянным порывам страсти оказывалась способна разве что «дева гор», экзотическая черкешенка. Можно ли себе представить стреляющегося Лаврецкого? вешающегося Обломова? принимающего яд после любовной неудачи Константина Левина? (Современная критика, правда, высказывает предположение, что Базаров нарочно порезался, а Писарев — не случайно утонул в Рижском заливе; на наш взгляд, мы имеем дело с типичным примером идейного анахронизма: критикам минувшего столетия такие идеи в голову не приходили.) Иное дело — литература и искусство XX века: тут уж редкий писатель не отправит одного-двух своих героев на тот свет — тем или иным способом.

Конечно, половая любовь — чувство, наименее подверженное каким-либо временным изменениям; в то же время понятно, что культурное представление о том,

⁵ «Московские известия. Убийство и самоубийство». — «Московские ведомости», 1889, 23 декабря, № 354. Этот случай вышел за границы «местной хроники» и попал на страницы столичной прессы («Разные разности». — «Неделя», 1890, № 1); однако он не вызвал сколько-нибудь сравнимого с делом Бартенева общественного резонанса.

⁶ Соловьев В. С. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М. 1989, стр. 15 — 18 (Приложение к журналу «Вопросы философии»).

⁷ «Масса самоубийств». — «Голос Москвы», 1885, 2 сентября, № 177.

⁸ «Маленькая хроника». — «Новое время», 1889, 14 августа, № 4834. Отметим, что в конце 1880-х годов рост числа самоубийств становится предметом уже не только уголовной газетной хроники, но церковной печати (см., напр.: Свящ. Ф. Орнадский. О самоубийстве — «Православное обозрение», 1889, № 11-12 и др.).

что же такое, наконец, эта самая любовь, существенно различается в разные исторические эпохи, и в девятнадцатом веке любили не совсем так, как в начале века двадцатого. Даже если в основе любовного влечения лежит самый что ни есть древний природный инстинкт (что вопрос), то ведь нет, наверное, другой такой сферы человеческого бытия, которая со стороны культуры была бы столь плотно обложена разнообразнейшими ограничениями и запретами; именно в этой сфере культура была (и отчасти остается) наиболее тоталитарна и репрессивна.

Говорить о неких общих культурных архетипах применительно к XIX веку чрезвычайно трудно и чаще всего вряд ли продуктивно: общество вступило, по авторитетному заключению, в стадию «смесительного упрощения», и различные социальные группы уже образовали собственные субкультуры, зачастую не имеющие «пересекающихся» ценностей. При всем том оставалась некая ценность, в равной мере признаваемая всем культурным сообществом. Такой ценностью и была любовь — любовь мужчины и женщины, понимаемая, по слову поэта, как «прямое благо: сочетание двух душ». Приведем здесь только две цитаты:

«Бог, проявившись в природе, сотворил животное и вдунул в него божественную искру — часть этой высокой идеи, так хорошо выраженной гармонией мира <...> Что же такое человечество? Бог — вложенный в материю. Жизнь его — стремление к свободе, к соединению со всем; выражение его жизни — любовь, этот основной элемент Предвечного. Это дружественные частицы, разделенные одна от другой, силою материи отделенные от их высокого Источника! Вот откуда происходит симпатия одного человека к другому <...> Они дают друг другу руку, чтобы сбросить иго материи, они сильны единением <...> Единение мужа с женой дает совершенную гармонию. Это единое существо, заключающееся в двух существовании».

«Побуждение к браку и цель его — исполнение коренного правила природы, в силу коего живая и цельная личность человека стремится дополнить себя, ищет себе дополнения <...> в такой же личности другого пола <...> Неверно приискивать и ставить для брака цель специальную, как, например, деторождение, ибо брак есть цельный органический союз, и идея его коренится в основном законе природы: приведение к единству и цельности раздвоенной на два пола природы человека».

Первый фрагмент заимствован из частного письма молодого М. А. Бакунина; второй — из лекций для студентов-правоведов, читанных К. П. Победоносцевым⁹. Источник такого взгляда на брачную любовь вполне очевиден: Платоновое учение об изначально цельном человеке, разрушенном пополам и вновь ищущем утраченного единства (впрочем, будущий обер-прокурор Синода наверняка сослался бы на слова Апостола), многократно преломленное европейским и отечественным романтизмом, восточным богословием, университетской философией, прочно усвоилось культурным сознанием русского интеллигента. При этом телесность платоновского мифа заменялась романтическим (наверное, все же романтическим, а не христианским) спиритуализмом: в любви видели, конечно же, не плотско-оргастическое сплетение телесных половинок, но то самое «сочетанье двух душ», итогом которого является восстановление утраченного в грехопадении первозданного человеческого единства.

Будучи изгнан спиритуалистами из садов культуры, эрос обретал неограниченную свободу в чаще дикой, некультуренной природы; «души» сочетались сами по себе, «телесные половинки» — сами по себе. Достаточно ознакомиться с интимными документами (письмами, дневниками) русского интеллигента XIX века (начиная с «идеалистов» 1830 — 1840-х годов: переписка дружеского кружка М. Бакунина, Н. Станкевича, В. Белинского, вся так называемая «премухинская история» — образец предельно искреннего напряжения идеального любовного чувства), чтобы увидеть, что именно в любви мыслился не только смысл индивидуального существования, но и всей мировой жизни. И при этом в своей частной жизни авторы этих писем и дневников вовсе не придерживались идеалов аскетичности или даже не могли служить примером простого житейского целомудрия: религиозное служение Афродите Небесной мирно уживалось в их жизни с необходимыми жертвоприношениями Афродите всенародной. В то время как «дружественные частицы» в возвышенной переписке «подают друг другу руки», сброшенное «иго материи» живет

⁹ Письмо к Наталье Андреевне Беер от 7 мая 1835 года (в кн.: Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М. 1915, стр. 132); Победоносцев К. П. Курс гражданского права. СПб. 1896, стр. 13 — соответственно.

собственной, независимой жизнью: тут и «погибшие, но милые создания», белошвейки, работницы, крепостные (дворовые) девки, Трубная площадь и, естественно, то, что до последнего времени тщательно вымарывалось из всех публикаций¹⁰.

В общем, именно так — или почти так — и понимался «смысл любви» на протяжении всего XIX века; дабы не утонуть в примерах, напомним известный, но вполне проходной эпизод из «Анны Карениной» — романа, которого все равно не миновать в рассуждениях о любви и самоубийстве в России.

Вспомним, что причиной знаменитого «всесмешения» в доме Облонских была обнаруженная женой связь Стивы с французенкою-гувернанткой. Можно предположить, что именно здесь и заключена завязка будущего романа: налицо прелюбодейание и нарушение брачного обета... И, главное — ведь m-lle Roland — «и хуже всего то, что она уже...». Соответственно далее либо могла последовать история нравственного воскресения Облонского, либо, если такового не случится, герой вполне мог угодить под паровоз — авторский эпиграф может ведь навести и на такие предположения. Но в итоге все завершилось по слову Стивиного слуги Матвея, то есть «образовалась»; эпиграф, оказывается, относится вовсе не к судьбе сластолюбивого ловеласа. Непонятно, почему аналогичный эпизод в жизни Нехлюдова разворачивается в многостраничный нравственный роман, а о судьбе французенки, жизнь которой едва ли «образовалась» столь же благополучно из-за отсутствия Матвея и наличия известных последствий, Толстой так ни разу и не вспомнил. С другой стороны, грех Анны Карениной кажется неизмеримо более простительным, нежели грех Стивы и тем более — Нехлюдова. Однако факт остается фактом: Стива, развлекавшийся с гувернанткой и бросивший ее «в положении», ест себе спокойно устриц, и никто ему не «воздаст»; Анна, полюбив Вронского всем своим существом, — умирает ужасной смертью.

Жестоко-кроважидное отношение Толстого к своей героине долго возмущало публику. «Сама ошибка Толстого, бросившего несчастную Анну под поезд, — писал по этому поводу признанный специалист в таких делах В. В. Розанов, — при всем авторском сознании даров ее души, ее прямодушия, честности, ума — лучше всего иллюстрирует странный и темный фанатизм общества против несчастных семей. Даже гений впадал в безумный бред, видя здесь не бедствие, в которое надо вдуматься и ему помочь, а — зло, которое он ненавидел и в тайне души именовал „беспутством“. Анна, видите ли, „чувственна“¹¹. Если исключить ссылку на «темный фанатизм общества», вызванную личной семейной проблемой писателя (вообще там, где дело касалось разводов, Розанов легко превращался из глубокого мыслителя в тривиального социального обличителя), то причина, по которой «гений» бросил героиню под поезд, указана очень точно: потому Толстой прощает Стиве, что в его «интрижке» была чистая физиология, а чувственной страсти не было никакой; за физиологию же Толстой ни своих героев, ни себя в период «Анны Карениной» еще не наказывает¹².

Существует мнение, что русская классическая культура была отравлена, а затем и окончательно убита тем «ядом эротизма», который был введен в ее здоровое тело некими не из хорошего места появившимися декадентами в «конце века». В действительности русское культурное общество было поставлено лицом к лицу с «бездной пола» самым что ни на есть «классическим» писателем — Львом Толстым: молодые «декаденты», будучи более восприимчивыми к новым культурным «веяниям» и «течениям», в отличие от современников Толстого не отвернулись в ужасе от вскрытой писателем проблемы, а восприняли ее со всей серьезностью¹³ и мучительно пытались ее разрешить — и в жизни, и в творчестве (что для «декадентов», как известно, было одно и то же). «Крейцера соната» оказалась для общественного сознания своеобразным коллективным «психоаналитическим сеансом», снимающим «златотканый покров» и обнажающим «бездну с страхами и

¹⁰ Пытливо читателя отсылаем к публикации: Са ж и н В. Рука победителя. Выбранные места из переписки В. Белинского и М. Бакунина. — «Эротика в русской литературе. От Баркова до наших дней». — «Литературное обозрение». Специальный выпуск. М. 1992.

¹¹ Розанов В. В. Семейный вопрос в России. Т. 1. СПб. 1903, стр. 11.

¹² Вспомним впечатление, произведенное на Кити Щербацкую чтением дневника Левина, повествующего о его холостых забавах (эпизод, как известно, автобиографический): Кити, как и Долли, очень огорчалась; но и ждать за это «отмщения» как-то чрезмерно...

¹³ О чем сами они — от Мережковского до Белого — неустанно повторяли, хотя им никто и не верил: как же, Толстой, и вдруг такое...

мглами»¹⁴. Между тем в «Крейцеровой сонате», буквально шокировавшей современников и запрещенной цензурой (едва ли не первое литературное произведение, запрещенное не по политическим мотивам), Толстой лишь договаривает то, что он уже отчетливо почувствовал в «Анне Карениной», но стыдливо спрятал за внешней беззаконностью любви Анны и Вронского: «союз души с душой родной» — не более чем «метаморфозы и символы» либидо. Что же тогда остается от всей русской культуры XIX века — от «Аси», «Первой любви», Лизы Калитиной, Наташи Ростовской? Было от чего прийти в отчаяние одному из самых строгих охранителей «русской классики», давнему почитателю Толстого — Ю. Н. Говорухе-Отроку, который с горечью писал о том, что Толстой уступил Мефистофелю последнее, что у него осталось, — «сочетание двух душ», признав, что всем своим предшествовавшим творчеством «только «бредил наяву» <...>, когда описывал историю Кити и Левина, когда описывал, как Левин узнает, что Кити его любит, когда описывал ночь в гостинице» и т. д.¹⁵. Критик выделил в романе лишь привычные сцены идеальной любви, исполненные в поэтике любимого им Тургенева, «союза душ», освящаемого церковью; его не смутил уже увиденный Толстым «угрюмый, тусклый огонь желанья»¹⁶, которым вдруг засветились в темноте глаза Анны, — он был уверен: так блестят глаза только у прелюбодеев.

Дикий зверь, выпущенный из лесу, разрушает хозяйственно организованное человеком пространство поля, сада, парка; эрос, поднявшийся из «бездны» в человеческую душу, разрушает и культурное пространство, и самую человеческую личность. Зрелище разрушающейся под напором эроса культуры не может не ужасать привыкшего к стройным классическим формам человека, и первая реакция на это зрелище совершенно естественна: этого зверя надо убить. Самоубийство Анны, так же как и убийство Позднышевым своей жены, — это прежде всего убийство дикого зверя в себе. Можно, конечно, попытаться приручить, окультурировать дикое животное, сделать его домашним и поселить в специально отведенном для этого пространстве культуры — но это требует работы долгой, кропотливой, за которую рискнет взяться скромный буржуазный доктор где-нибудь в Вене, но не русский писатель в Тульской губернии...¹⁷

Понятно теперь, почему один из журнальных обозревателей отметил сходство «дела Бартенева» с «Крейцеровой сонатой»¹⁸, и так же понятно, почему этот сюжет вдруг вспомнился И. А. Бунину после создания «Солнечного удара» и «Митиной любви»: внешне немотивированная попытка «двойного самоубийства» — попытка выскокить из плена эроса двух влюбленных, стремящихся к «сочетанию двух душ».

«Дело Бартенева» и «Крейцера соната» интересуют нас сейчас как определенный симптом идейно-психологического перелома в обществе: симптом начавшегося распада существующих традиционных форм последних и, как казалось, наиболее устойчивых социально-культурных институций — брака и семьи¹⁹. Сегодня очень соблазнительно судить культуру и быт «эпохи рубежа веков» по их внешним, наиболее ярким и запоминающимся проявлениям: картинки Феофилактова, живопись Сомова, «элевинские мистерии» на башне Вячеслава, причудли-

¹⁴ Стихотворение Ф. И. Тютчева «День и ночь» отмечено Толстым: «Красота. Глубина» (см.: Тютчев Ф. И. Лирика. Т. 1. М. 1966, стр. 376).

¹⁵ Елагин Ю. Н. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Литературно-критические очерки. «Крейцера соната». — «Русский вестник», 1891, № 2, стр. 324.

¹⁶ Стихотворение Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг...», хотя и было написано в 1836 году, впервые было напечатано спустя много лет после смерти поэта и, естественно, Толстому очень понравилось, в особенности — «угрюмый, тусклый» (см.: Тютчев Ф. И. Указ. изд., стр. 370).

¹⁷ Об истории психоанализа в России, а также о русских пациентах З. Фрейда см.: Эткинд Александр. Эрос невозможного. М. 1994. В названии его книги использовано выражение Вяч. Иванова, характеризующее настроение эпохи.

¹⁸ «Из провинциальной печати». — «Северный вестник», 1891, № 3. Заметим, что прочитать повесть Толстого герои «варшавской истории» не могли по обстоятельствам даже чисто хронологическим: доступный текст «Крейцеровой сонаты» появился лишь в мае 1891 года.

¹⁹ Примечательно, что, несмотря на несомненную либерализацию российского законодательства, вызванную общественно-политическими реформами 1860 — 1870-х годов, законы, относящиеся к семье, оставались неизменны вплоть до начала XX века, когда было узаконено право на раздельное жительство супругов и облегчена процедура разводов. Даже пресловутый классицизм в образовании рухнул уже в 1890-е годы, тогда как в начале XX века муж еще мог затребовать к себе жену по этапу!

вые любовные тре- и многоугольники, «Крылья», «Тридцать три уroda» и прочие сиреневые туманы декаданса. Культура той эпохи искала «новые формы» не по прихоти безнравственных эстетствующих декадентов — она просто вынуждена была это делать после того, как породила Достоевского, Толстого, В. С. Соловьева; общество уже не могло делать вид, что не услышало четко и громко сказанного Толстым, что если любовь основана на духовном сродстве и единстве идеалов, то незачем ложиться спать вместе, — мысль, которой на прежнем уровне общественного сознания не принято было задаваться. Духовная атмосфера эпохи была пронизана предельным эротическим напряжением²⁰, — однако трудно сказать, чего в ней было больше: буйного оргазма или замешанной на крутом мистицизме аскетики. На каждый «соборный брак» наверняка можно отыскать и брак целомудренный, причем все в той же самой что ни на есть «декадентской» среде. Очутившись перед лицом всплывшего из «темной бездны» эроса, общество в целом все же не решилось принести жертву ради победы над диким зверем; однако, в то время как культура постепенно «приручала зверя», заполняя пространство между Аполлоном и Дионисом, частному человеку в его частной жизни приходилось порой выполнять эту работу самостоятельно. Предшествующая культурная традиция не давала для этого сколько-нибудь твердой и надежной опоры: попытка В. С. Соловьева разъяснить «смысл любви» оказалась малоудачной и художественно гораздо менее убедительной, нежели толстовский аскетизм и «бездны» Достоевского. Не следует забывать, что если для культурологов наших дней пресловутая оппозиция Аполлона и Диониса представляет интерес чисто теоретический, то философы начала века писали об этом чаще всего на основании собственного интимного опыта — порой очень мучительного. О глубине и силе внутренних переживаний, о трагической раздвоенности, которую испытывал вполне зрелый и образованный человек предреволюционной эпохи, можно судить по следующему фрагменту письма из сохранившейся интимной переписки:

«Душа моя, все эти светлые хорошие дни ты предо мною, и все эти дни я мучусь именно этой болью. Отчего в этой самой большой радости мы не можем быть вместе? Отчего именно в *светлом* воскресеньи мы разлучены?

Друг мой, бесценный и дорогой, пойми, что для меня это невыносимо тяжело. Но что же делать. Почувствуй наконец, что я тебя *обожаю* и что у меня не одна, а целых *две* любви к тебе.

Есть страсть, мучительная до боли. Но и эта — не настоящая, т. е. не высшая моя любовь. Есть другая, бесконечно выше и глубже. И обе эти любви к тебе во мне борются. Вторая — высшая — из *самой глубины* сердца: всем сердцем ты мне дорога, всей душой близка. Каждое чувство, каждую мысль мне нужно делить с *тобой*, чувствовать себя с тобой наедине, забыть целый мир и видеть одну тебя.

И вот, я чувствую, первая низшая любовь-страсть мешает полному осуществлению первой — высшей любви. Она совершает грех, который волей-неволей остается *за порогом храма*. Она соединяет нас призрачно здесь, но разлучает *в Христе и в воскресеньи*.

Душа моя, обожаемая моя. Как я хотел бы, как я пламенно желаю, чтобы окончательно и *полно* восторжествовала вторая, *высшая любовь*, чтобы грех нас больше не разлучал никогда, ни в чем и чтобы он был окончательно побежден, чтобы *ничем* не омрачалась моя бесконечная радость быть с тобой, переживать это тесное соединение наших душ.

Родная моя! Неужели это так невозможно. Тяжел, бесконечно тяжел тот аскетизм, который предшествует разлуке, — вообще мысль о разлуке с тобой становится для меня невыносимой. Но мысль о лишении себя всего ради полного соединения с милым, ради разделения с ним высшей радости воскресенья! неужели такая мысль в самом деле так невыносима! Неужели не стоит принести высшую жертву, чтобы в самом радостном и дорогом никогда не разлучаться»²¹.

«Боря Бобылев!.. Юный, еще не коснувшийся бездн». Скоро ему пришлось с ними соприкоснуться. Это соприкосновение стоило ему жизни.

Александр НОСОВ.

²⁰ Об этом ярко и красочно написал В. Ходасевич в известном очерке «Конец Ренаты».

²¹ ОР РГБ, ф. 171, к. 9, ед. хр. 1, л. 3.

Ю. КАГРАМАНОВ

*

ЧУЖОЕ И СВОЕ

Что демократия неотъемлема от культуры, философы догадывались уже давно, но только в наше время догадка эта перешла в уверенность. Тому отчасти способствовала трансформация самого понятия «культура». В прежние времена его употребляли почти исключительно в оценочном смысле: культура — все высшее и лучшее, что создано человеком; культурен тот, кто умеет пользоваться ножом и вилкой, ходит в оперу и т. д. За последние десятилетия, однако, вошло в обиход и другое, описательное его понимание: культура — совокупность обычаев, нравов, духовных ценностей (как бы мы к ним ни относились), свойственных тому или иному народу, той или иной исторической эпохе. В этом втором значении культура обрела такую весомость, тяжесть, что по законам, схожим с законами небесной механики, она притягивает к себе другие сферы — экономики и политики, например, — более, нежели сама влечется к ним.

К сожалению, «наше время» — не совсем наше время. Растеряв собственное интеллектуальное наследство (по крохам собираемое сегодня), мы отстали в культурном отношении от других стран и не очень-то спешим преодолеть свою отсталость. В силу давнишней инерции мы продолжаем мыслить экономическими и политическими категориями, о которых приходится сказать, что они или недостаточно, или вовсе не согласованы с культурными реальностями. Такая несогласованность, естественно, усиливает общее замешательство и неразбериху. Если в практическом смысле исподволь уже налаживается какая-то новая жизнь, то общественное сознание, поскольку оно еще есть, напротив, раздирается на части; как и в экспозиции ко второму тому гётевского «Фауста», «больное царство мечется в бреду», а собравшиеся у его изголовья диагносты торопятся со своими заключениями, порою прямо противоречащими друг другу. От чего у многих из тех, кто может их слышать, вянут уши и опускаются руки.

Уныние и скепсис «опрокидываются» на всю русскую историю. Слова о том, что Россию нельзя понять умом и измерить общим аршином, повторяются с интонацией, прямо противоположной той, с какой они были изначально сказаны. Скептики представляют наше любезное отечество то «черной дырой», засасывающей без остатка световые лучи, то какой-то гигантской чертовой ямой, где любые разумные начинания — по крайней мере если речь идет о текущем столетии — оканчиваются ничем или даже, хуже того, превращаются в нечто, им противоположное, то мировой аномалией, где стрелка компаса вдруг почему-то «забывает», где север и где юг, то еще чем-нибудь в подобном же роде. Надо ли говорить, что такой взгляд на положение вещей отнюдь не способствует их исправлению.

Вера в то, что у России «особенная статья», есть, собственно, вера в чудо (и лично я не закрываю ушей, когда слышу, что чудо еще возможно). А попытка представить неудачу русской истории в XX веке чем-то исключительным по своему алогизму, то есть как бы «чудом наоборот», есть неверие в возможности рационального объяснения истории. В действительности же эти возможности у нас несколько не меньшие, чем где-либо еще (то есть достаточно большие, хотя, конечно, и ограниченные). Что произошло с Россией в роковом 1917 году, в общих чертах было ясно уже авторам сборника «Из глубины»;

более того, многое они сумели предвидеть на десятилетия вперед (если не тогда же, то в 20-х годах во всяком случае). И вся последующая наша история, со всем тем, что есть в ней туманно-загадочного, не такова, чтобы к ней нельзя было подобрать ключей. Другое дело, что нельзя все объяснить с ходу; надо искать и для начала хотя бы правильно формулировать вопросы.

Мощным инструментом познания служит в истории — как и в медицине — аналогия, объясняющая менее известное (исследованное) при помощи более известного (исследованного). (И что такое, к примеру, «идеальные типы» Макса Вебера, ныне пользующиеся большим кредитом, как не приглашения к аналогиям?) Выявление общего, типического нисколько не принижает специфику каждого исторического феномена в отдельности, напротив, способствует более точному ее определению. Вряд ли кто станет отрицать, что Россия в составе Европы — особенная страна; тем не менее болезни, которыми она болеет в XX веке, — это в основном общеевропейские болезни, только у нас они протекают в более тяжелой форме.

Цель настоящей статьи — навести, так сказать, лупу на два темных (но проясненных усилиями тамошних исследователей) пятна на карте Европы, что позволит нам лучше понять и наше вчера, и наше сегодня.

Где была «русская Вандея»

Первое из этих пятен — Вандея.

Русскую революцию называли «дочерью» французской, той, что традиционно именуется «великой». Действительно, французский пример занимал чрезвычайно большое место в сознании революционной интеллигенции, и не случайно, например, «Марсельеза», наряду с «Дубинушкой», стала главной песней Русской революции на раннем, энтузиастическом ее этапе. А по мере того, как улетучивался февральский почти всеобщий энтузиазм, французский пример поворачивался темной своей стороной: впереди вставал призрак долгого и кровавого пути, которым шли французы с 1789 по 1794-й и далее¹, в еще усугубленном варианте. С победой большевиков призрак обретал конкретные очертания: в 20-е годы русская эмиграция жила ожиданиями Термидора и (или) Восемнадцатого брюмера. Ход событий, однако, ее чем дальше, тем больше и разочаровывал, и озадачивал: казалось, что Россия идет каким-то особым путем (если и возникли параллели, то ближние — с итальянским и немецким фашизмом); поэтому французские параллели постепенно как-то поблекли.

И ведь зря поблекли. Мне уже приходилось писать, что и Термидор, и Восемнадцатое брюмера, то есть отдаленные их эквиваленты, у нас были — только «хитрые», сокрытые (как сокрыто изображение какого-либо предмета на «загадочной» картинке) и, в отличие от французских прототипов, сильно растянутые во времени (будущие исследования позволят уточнить сроки: вероятно, Термидор начался после смерти Ленина или даже еще при его жизни и закончился ссылкой Троцкого в 1927-м; Восемнадцатое брюмера, скорее всего, началось где-нибудь в первой половине 30-х годов и закончилось в 1937-м). Иначе говоря, у нас была не только революция, но и контрреволюция — факт, который сейчас или вообще игнорируется, или по крайней мере не акцентируется. Принято говорить о советском периоде или режиме, датируемом 1917 — 1991 годами; хотя, по сути дела, у нас были два советских периода, два режима (и переходный период между ними), во многом схожие, но еще больше отличные друг от друга — как отличны якобинская диктатура и наполеоновский режим во Франции.

В самом значительном исследовании советской эпохи, «Архипелаге ГУЛАГ», как и в других произведениях Солженицына, сближение, условно говоря, ленинского и сталинского периодов проводится до почти полного их неразличения: Сталин продолжает и развивает то, что начато Лениным. Такой подход, очевидно, продиктован полемическими задачами: необходи-

¹ Новейшая и, вероятно, более точная датировка революции: 1789 — 1799-й (ее предлагал еще Токвиль). А если брать в расчет период внешней экспансии, явившийся как бы продолжением революции, то кровавый путь придется закончить 1815-м.

мо было показать, что не существовало, в рамках советской эпохи, никаких таких «правильных» начал, которые потом кто-то искажил или свел на нет, что те ориентиры, на которые следует равняться, остались за гранью Октябрьского переворота. Сейчас, когда весь советский период дискредитирован в глазах сколько-нибудь мыслящих россиян, пришло время для более объективного, более академичного, если угодно, рассмотрения исторического материала. Мы уже можем позволить себе думать не о полемической «выгоде» (хотя бы и в самом моральном смысле, какой только можно вложить в это понятие), но о том лишь, что нельзя оставить недопонятой целую историческую эпоху, тем более такую, которая еще сидит в нас и долго будет сидеть.

Разумеется, я никоим образом не хочу сказать, что книга Солженицына «устарела»: как своеобразный крик о справедливости, «главный крик» эпохи, по выражению Жоржа Нива, она останется, надо полагать, на веки вечные (перечитав недавно «Архипелаг ГУЛАГ», я уже, конечно, не так остро ощутил чувство изумления и ужаса, вызвавшие у меня при первом чтении, много лет назад, самую черную меланхолию, но зато открыл для себя, что это бодрящая книга и что переживание жизни, которым она заражает читателя, — назовем его трагически-оптимистическим — сохраняет свою действенность совершенно независимо от условий, его породивших). Не забудем также, что именно этот крик вызвал лавину, похоронившую под собой советскую власть и, между прочим, открывшую перед нами самую возможность академических штудий, заслуживающих этого имени. Да и как «художественное исследование» она, вероятно, сохранит свою ценность еще очень продолжительное время. Но утверждение Солженицына, что Сталин «шел стопой в указанную ленинскую стопу, и по советам Троцкого», — слишком явная натяжка, даже если иметь в виду конкретно репрессивную практику государства; все-таки Сталин шел своим путем, в этой области, как и во всех остальных, и моменты разрыва с предшественниками значат в его политике несколько не меньше, а скорее даже больше, чем моменты преемственности.

Жирно подчеркну, что противопоставление двух советских периодов не должно давать повода для каких-то предпочтений. Речь идет не о том, который из них лучше, а который хуже. «Оба хуже». Но каждый хуже очень по-своему.

Между прочим, есть и своя «выгода» в таком противопоставлении. Считая, что один и тот же большевизм «правил бал» в 1917-м и 1937-м, мы этим как-то затемняем чрезвычайно важный в мистериальном плане истории факт: Божья кара настигла тех, кто совершил революцию. Контрреволюция, проведенная под красным знаменем революции, была дурная и ползучая, но она была куда более свирепой, чем та, что могла бы осуществиться, скажем, в 1919 году. Деникину с Колчаком и в голову не могло прийти так жестоко наказывать крестьянство (чьими руками в значительной степени совершалась революция), как это сделал Сталин. Да и так чисто срезать почти всю верхушку большевистской партии и Красной Армии вряд ли бы им удалось: значительная ее часть наверняка ушла бы в эмиграцию и в новое подполье. Бог, «расточающий во гневе», наказал провинившихся руками «красных» впятеро, вдесятеро против того, что он мог бы сделать руками белых.

И еще «выгода»: то обстоятельство, что и революция, и контрреволюция имели у нас одно и то же символическое «обеспечение», лишает «красную» символику всякого смысла. Змея, сама себя укусившая за хвост (древний мистический символ подмигнул нам из глубины времен), годится лишь на то, чтобы выбросить ее на помойку².

Разгадать все эти «хитрости» поможет, как мне кажется, еще одна французская параллель — Вандея.

Но прежде надо сказать о перемене взгляда на Вандею (как и вообще на «великую» революцию), происшедшую за последние годы во Франции.

² Наполеон тоже сохранил трехцветное знамя республики, но надо учитывать, что оно было принято в ранний, либеральный период революции, когда Франция оставалась еще монархической. Наполеон не выставлял себя преемником Робеспьера, да и никак не мог бы этого сделать, приняв императорскую корону из рук папы римского.

Такая перемена вызвана прежде всего переменами внутри самой исторической науки — настолько радикальными, что их не без оснований называют революционными (и даже — «Великой французской революцией в исторической науке»). Если коротко, то речь идет о повороте от изучения экономических и политических структур в сторону культурной антропологии. Начатый еще в 30-е годы на страницах журнала «Анналы», он был продолжен большой группой историков, уже не только французских, многие из которых снискали себе мировую известность, работая в самых разных областях. В начале 70-х «Новая историческая наука», как ее стали называть, овладела Сорбонной, несколько позднее Гарвардом и другими бастионами академизма и стала бесспорно ведущей школой в своей сфере.

Внимание «Новой исторической науки» привлекают не условные участники «политической борьбы» или «экономических отношений», но живые люди во всей их реальной противоречивости. Эмпирические наблюдения привели «новых историков» к убеждению, что поступки людей определяют не столько «интересы» (и еще менее того «расчеты»), сколько верования и предрассудки, помыслы и чувства, выразившие себя в каких-то определенных формах или не нашедшие таковых, а нередко и просто минутные страсти. С их точки зрения, не так интересны институты, как тот «эфир», который их окружает и питает (включая сюда представления о власти, о собственности, о справедливости, о бедности и богатстве, о смерти и мире ином и т. д.), и не столько важна внешняя, событийная сторона истории, сколько те явления повседневной жизни, которые подготавливают событие, но сами остаются в тени. Такая широта подхода к изучению каждого, даже самого малого, исторического явления предопределила обращение к соседним дисциплинам: «новые историки» сплошь и рядом пользуются достижениями психологии, социологии, этнологии, семиотики, истории искусства и литературы, фольклористики и других наук.

У «новых историков» были, разумеется, предшественники — это те историки (например, Токвиль, который, кстати говоря, выглядит сейчас и наиболее крупным социальным мыслителем XIX века), что не забывали о таких «простых» вещах, как обычаи, нравы, иначе говоря, сохраняли в поле зрения общекультурный контекст политической и социальной истории. На протяжении второй половины XIX — первой половины XX века такое понимание истории было задавлено политико-экономической систематикой, и его пришлось воссоздавать заново, на более прочной основе.

«Новые историки» сумели углубить понятие культуры, в плане исторического изучения, до уровня ментальностей. (История ментальностей, более всего связанная с именами Жоржа Дюби и Мишеля Вовеля, имеет, впрочем, и нефранцузские истоки, такие, как известная у нас «Осень средневековья» Й. Хейзинги и «Творчество Франсуа Рабле» М. М. Бахтина.) Понятие «ментальности» ввело в научный оборот бес- и полусознательные элементы культуры, которыми историки, как правило, пренебрегали. Все внимание было обращено на светлую, сознательную часть — искусство, литературу, философию, четко артикулированные идеологии, кристаллические понятия законов; теперь взоры сместились к «сумрачному лону», где можно уловить и автоматические умственные привычки, и смутные брожения, неявные «мечты и звуки» и где связную речь вытесняет лепетанье. В этом полумраке коллективное преобладает над индивидуальным: одни и те же полумысли-получувства объединяют Цезаря с последним из его легионеров.

Историки ментальности с некоторой завистью смотрят на «соседей» — этнологов, мифологов, психологов, лингвистов: для тех коллективное бессознательное сводится к каким-то неизменным структурам. К примеру, К. Леви-Строс открыл своеобразную «механику» ума (которая сама по себе «пуста», как пуст желудок без пищи), названную им «диким мышлением», от Адама до наших дней оставшуюся практически неизменной. Еще раньше К. Г. Юнг открыл архетипы — содержательные образы-схемы, тоже раз и навсегда данные. И так далее. Историк ментальностей имеет дело с гораздо более «трудным» материалом: он не может «приказать» ему остановиться хотя бы на миг; в поле его внимания — все подвижное, меняющее форму, гибкое и ломкое. Ибо в истории — «все течет». И нет в подлунном мире таких ориентиров, которые позволили бы вычислить, что именно, куда и почему течет.

Змеится луна в воде, —
Но лжет, золотясь, дорога...

(З. Гуннуис)

Правда, в отличие от верхнего пласта истории, «событийного», порывистобурливого, «нервного», в «глубоких водах» — на уровне коллективного бессознательного — течение сильно замедленное; но зато эти пласты особенно темные, трудно проницаемые для исследовательского взора. И нужна одновременно и научная смелость, и интуиция сродни художественной, чтобы суметь в них проникнуть.

Приходится повторить, что мы ленивы и нелюбопытны. Из того, чем богат Запад, мы часто хватаем лежащее на поверхности, а более существенного не замечаем. Что знаем мы о «Новой исторической науке»? Есть три-четыре переводные книги (М. Блок, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф), самая «свежая» из которых у себя на родине вышла более тридцати лет назад. И еще две-три критические монографии, судя по их тиражам, предназначенные для узкого круга специалистов³. (Ссылки на запреты советского времени уже не могут служить оправданием: прошло достаточно лет с того момента, как они пали.) Совершенно невозможно представить, чтобы в предреволюционные годы столь мощное интеллектуальное движение на Западе имело бы у нас столь слабый отклик⁴.

Теперь о Вандее. На протяжении первой половины XIX века сложился миф о «великой» революции, в котором Вандее было отведено место национального пугала. Миф представлял дело таким образом, что французский народ в едином порыве устремился навстречу идеалам «свободы, равенства и братства» и только темные вандейские крестьяне (в семье не без урода), ведомые попами и аристократами, полезли «поперед батьки в пекло». Этот миф нашел отражение и в знаменитом романе Гюго «Девяносто третий год». Правда, Гюго стремился примирить враждующие стороны: выше политических пристрастий он поставил силу и благородство характеров (читая в возрасте нежном «Девяносто третий год», я разрывался между симпатиями к «синему» Говэну и «белому» маркизу де Лантенаку — избыточествующее благородство с той и с другой стороны делало вопрос политических цветов едва ли не третьестепенным). Но в политическом плане Гюго целиком был на стороне республиканцев, которых определенно идеализировал; напротив, вандейских повстанцев он представлял «порождением стоячих вод».

Параллельно существовал другой миф, поддерживаемый Церковью и угасающей аристократией. Вернее, это был тот же самый миф, только с обратным знаком: Вандея спасла честь доброго французского народа, сохранив верность Богу и своему королю; вандейский мужик с вышитым на кожаной куртке «сердцем Иисуса» (знак принадлежности к повстанцам) оказался достойным своего рыцаря-сеньора, как и рыцарь-сеньор, в свою очередь, оказался достойным своего мужика. Антимиф, впрочем, пользовался значительно меньшим кредитом и все больше утрачивал его с течением времени.

Напротив, миф о «великой» революции оказался чрезвычайно живучим. Должен был склониться к концу XX век, чтобы в общественном мнении на сей счет произошли серьезные перемены. Два обстоятельства сделали их возможными. Во-первых, более либеральное, свободное от национализма понимание демократии. Во-вторых, практическое исчезновение воинствующего антиклерикализма, отличавшего Францию среди других европейских стран.

³ Последнюю из них, книгу нашего известного историка А. Я. Гуревича «Исторический синтез и Школа „Анналов“» (М. 1993), можно было бы адресовать и более широкому кругу читателей. Надо только иметь в виду, что в ней не нашлось места некоторым достаточно крупным фигурам, как и некоторым важным темам. Это легко объяснить нежеланием автора слишком далеко уходить от своей специальности — медиевистики.

⁴ Для сравнения: на одну только (правда, очень важную) книгу О. Шпенглера «Закат Европы» Москва (еще старая Москва, хотя уже взятая в плен Советами) почти немедленно ответила сборником, среди авторов которого были Франк, Бердяев, Степун и другие наши известные философы.

В годы, предшествовавшие двухсотлетию штурма Бастилии, значительная группа «новых историков» предприняла ревизию прежних взглядов на Французскую революцию, затронувшую и такие ее стороны, которые в республиканском сознании считались неприкасаемыми (среди тех, кто начал ревизию, первым должно быть названо имя Франсуа Фюре, а все точки над *i* расставил Пьер Шоню). С их позиции, действительно великим событием было принятие Декларации прав человека и гражданина (26 августа 1789 года), а отнюдь не штурм Бастилии, толкнувший революцию на кровавый путь, с которого она уже не сошла. Попытка форсировать процесс политического освобождения общества дала обратные результаты, нерасчетливый рывок вперед привел к срыву, к откату назад — во времена самого дикого варварства. Массовые убийства, совершаемые во имя мистифицированной Нации (новый абсолютизм, заменивший абсолютизм короля), запятнали дело свободы и сделали объективно оправданной контрреволюцию; так, в частности, обстояло дело в Вандее. Совершенно необоснованным было гонение на Церковь; полное запрещение всех христианских культов, осуществленное на II году Республики (такого даже в советской России не было!) и продержавшееся целое десятилетие, имело весьма тяжелые последствия в долговременном плане. В целом революция нанесла огромный вред французскому обществу, надолго лишив его как прежней устойчивости, так и прежнего динамизма.

Замечу, что такая оценка «великой» Французской революции очень близка той, которую мы находим в работах С. Л. Франка и Г. П. Федотова 20 — 30-х годов.

Что касается Вандеи, то здесь картина складывается еще более сложная. Исследования показали, что перед революцией Вандея (уточню, что речь идет о «повстанческой Вандее», охватившей территорию четырех департаментов: Дё-Севр, Мен и Луара, Атлантическая Луара и Вандея; ее называют также Лесной Вандеей) не отличалась сколько-нибудь существенно от других регионов. Не были вандейцы образцовыми пейзажами с фарфоровых чашек; как и в других местах, их отношения с сеньорами не лишены были элементов недоверия и глухой враждебности. Не были они также идеальными «добрыми католиками»; как и вся крестьянская Франция, Вандея исповедовала «народную религию», сочетавшую христианство с пережитками телесного космизма, знакомого нам хотя бы по книге Бахтина. Правда, к концу XVIII века это были уже именно пережитки. Французские критики Бахтина указывают, что логика «обратности» (периодически возносящей вверх телесный «низ»), которую он считал универсальной, по крайней мере для христианского мира, на самом деле характерна именно для времени Франсуа Рабле и гораздо менее характерна как для предшествующего, так и, особенно, последующего времени⁵. За два столетия (XVII — XVIII), именуемые классической эпохой, Церковь удвоила усилия по искоренению наиболее грубых форм язычества в народных массах (как будто пытаясь возместить тем самым утрату прежнего своего влияния на элиты) и в известной мере преуспела в этом.

И в начальный период революции Вандея еще ничем не выделилась среди других провинций. Громовое слово «свобода», докатившееся из Парижа, встретило здесь благоприятный отклик: крестьяне связывали с ним какие-то смутные надежды. Пожалуй, вандейцы проявляли даже большую лояльность по отношению к новой власти, чем жители некоторых городов. Поэтому, когда в апреле 1793-го, спустя почти четыре года после падения Бастилии, вся Вандея вспыхнула вдруг, как сухой хворост, это явилось полной неожиданностью для революционной столицы.

Исследования «новых историков» показали, что разгадку этого феномена надо искать не в политике или экономике, но в культуре. Вандея жила в совершенно иных культурных измерениях, чем парижские читатели газет. И не

⁵ Книга Бахтина заслуженно имела мировой резонанс: во многих отношениях она является подлинно новаторской. К сожалению, Бахтин не только блестяще описал тот грубый и порою отвратительный натурализм (в широком смысле слова), которым отличалась «народная» культура в эпоху Возрождения, но едва ли не воспел его. Очевидно, такое его отношение к этой культуре могло сложиться лишь в атмосфере слепого народопоклонства, собственного предреволюционной российской интеллигенции и не вполне изжитого еще и в первые пореволюционные десятилетия.

одна Вандея. Говоря о культурном разрыве между интеллигенцией и «народом» (то есть фактически крестьянством) в дореволюционной России, мы нередко забываем о том, что в Европе разрыв был не меньшим. И не только в конце XVIII века, но и значительно позднее. Бальзак писал в «Крестьянах» (1844), с характерным для того времени городским высокомерием, что для того, чтобы увидеть дикарей, незачем отправляться в Америку — достаточно посетить бургундские деревеньки: там живут своего рода «краснокожие», не хуже, чем у Фенимора Купера. Герцен в «Былом и думах» несколько не преувеличивал, утверждая, что о крестьянской жизни в Европе мало знают и в самой Европе: «западное образование не проникает в эти циклопические работы, которыми история приросла к земле и граничит с геологией» (писано во второй половине XIX века).

Как в России, так и во Франции революционный город, едва только у него появились основания быть недовольным поведением крестьянства, тотчас вспомнил о его «темноте» и «забитости». Не отрицая известную правомерность этих определений, все же нельзя не поправить: корень взаимного недопонимания в том, что у крестьян была иная культура, о которой городские книжники обычно имели более чем смутное представление. Культурный мир традиционного крестьянства — это чувственный мир, где реально только то, что можно потрогать рукой или окинуть взором. Здесь привыкли мыслить не отвлеченными понятиями, но образами окружающих предметов и явлений. Даже бездонное небо здесь приближено к человеку; вспомним хотя бы образы фольклора: солнце — златокудро, звезды — овцы и козы и месяц им пастух, и т. д. (так у французов и так же — у русских). Что касается верховного Пастыря, то Его образ остается труднодоступным без посредничества земных заступников — Богородицы и святых, часто местных, французских, или офранцузенных (так же, как в России — русифицированных). Всякое слово здесь привязано к конкретному «этому» или «тому»; как средство коммуникации, оно чуждается «пустого» пространства и всегда ищет живого, конкретного собеседника. В центре этого магического круга высится родная колокольня, служащая ориентиром в буквальном, физическом смысле. «Когда они (вандейские крестьяне. — Ю. К.) теряли из вида колокольню своего села, они плакали, как дети» — Гюго не обошелся без гиперболы, но суть дела он в данном случае передает верно. Свойственный традиционному крестьянину близкий и взгляд не проникает за пределы его «малой ойкумены»; дальше для него начинается уже совершенная фантастика. Зато свой, внутри оокоема помещающийся мир обжит им до самых малых малостей — причем не только практически обжит, но и украшен силою воображения.

Книжная культура, если овладеть ее кодом, открывает новые миры, но человека без должной подготовки ее понятия ставят в тупик. Абстрактный универсализм, на языке которого говорила революция, оставался для вандейского крестьянина чужим и непонятным; он делался ненавистным по мере того, как усиливался исходящий из Парижа поток всевозможной документации, долженствующей перестроить всю жизнь «на принципах Разума» (когда вспыхнет восстание, крестьянские отряды, занимая города, в первую очередь будут жечь официальные бумаги). Тем более что богиня Разума, которую ее почитатели изображали прекрасной матроною, на глазах стала меняться в лице: как у гогаевского казака, у нее вытянулся нос, вылез изо рта клык — и заговорила она языком декретов, предписывавших карать ослушников самым суровым образом, вплоть до отсечения головы посредством хитроумного приспособления, изобретенного просвещенным доктором Гильотеном.

Из книги историка Алена Жерара «Почему Вандея?»: «Наступление городского «прогресса» встретилось с еще вполне живой сельской культурой. С того момента, как революция начала проводить в жизнь свои универсалистские ценности, игнорируя факты истории и социологии, обозначилась возможность сопротивления...»⁶. Эта возможность осуществилась, когда революция стала проводить свои ценности с помощью силы. Непосредственным же толчком к мятежу явился декрет Конвента о массовом призыве в армию, заменившем прежнюю рекрутчину: вандейский крестьянин, как, наверное, и любой другой

⁶ Gérard A. Pourquoi La Vendée? Paris. 1990, p. 111.

(русский, во всяком случае), привык видеть в солдате пропащего человека, а малопонятный оборот «Отечество в опасности» ничего ему не объяснял (сравним с Россией: судя по Некрасовской поэме «Кому на Руси жить хорошо», даже в пореформенный период слово «Атечество» еще воспринимается крестьянами как новое и не очень понятное).

И на этой стадии Вандея не так резко выделялась среди других провинций, как это представляли создатели революционного мифа. Во-первых, крестьянская война в какой-то момент охватила весь северо-запад Франции, а не только Вандею, но в других местах была быстро подавлена (и остатки разгромленных, например, в Бретани крестьянских отрядов уходили в вандейские леса); на этом фоне вандейцы выделались лишь своим упорством. Во-вторых, глухое сопротивление революционной власти крестьяне оказывали и во многих других регионах Франции, где дело не дошло до вооруженных выступлений.

Во многих — но не во всех. И здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно характерной закономерностью.

В социологии есть понятие — «посредники» (медиаторы); оно, в частности, применяется к сфере отношений между городом и деревней. На долю посредников объективно выпадает важная задача — постепенного приобщения крестьянства к городской культуре. В описываемое время функцию посредников выполняла во Франции главным образом сельская буржуазия. И вот замечено, что там, где она была достаточно многочисленной, там крестьянство с большим пониманием (или с меньшим непониманием) встречало новости из Парижа. Там же, где этого культурного «редуктора» не было, происходила реакция отторжения. Значительная часть крестьянской Франции, застигнутая «бурей и натиском» революции, заболела характерной болезнью — несварением нового; но Вандея стала той «железой», которая впитала в себя наиболее сильнодействующие токсины.

Мятеж, поднятый против центральной власти, нуждался в каких-то устойчивых ориентирах; иначе говоря, он не мог обойтись без символического «оформления». Выбор оказался невелик. «Белый» «жених» многими своими чертами был не мил Вандее, но он был предпочтительнее «синего»; к тому же его окружал ореол легитимности. Подняв над своими рядами снежно-белое, с золотыми лилиями королевское знамя, вандейские мятежники ввели в заблуждение не только «синих», но отчасти и самих себя. Ибо вандейские крестьяне отнюдь не испытывали ностальгии по старому режиму; на самом деле они защищали свои конкретные свободы («вольности») от тех, кто нес им малопонятную абстрактную свободу. На освобожденной от «синих» территории стихийно складывалась прямая демократия, отчасти напоминающая наши Советы того периода, когда они реально еще что-то значили. Соответствующим было и вандейское войско: маркизы и виконты, стоявшие во главе крестьянских отрядов (впрочем, многие отряды возглавлялись самими крестьянами), фактически использовались как военспецы; в принципиальных вопросах им приходилось выполнять волю своих подчиненных. Иначе говоря, Вандея «явочным порядком» создала у себя тот тип демократии, до которого доросла культурно.

Вандея, так сказать, подложила свинью революционному Парижу. Там привыкли трубить, что врагами революции могут быть только аристократы (потом к ним добавили попов), а тут против нее выступил народ! Атлантическая провинция оказалась орешком, о который якобинская диктатура едва не сломала зубы. Увязнув в «семи страшных лесах» и неся большие потери, армия «синих» сумела переломить ситуацию лишь тем, что перешла к тактике выжженной земли, уничтожая вандейских «зверей» без всякой пощады. Увы, «синие» показали себя при этом зверями еще худшими. Крестьяне-то убивали солдат регулярных войск, а другая сторона поступала так же с населением (по разным оценкам, в Вандее было перебито от трехсот до шестисот тысяч крестьян, большинство которых составляли старики, женщины и дети). Так что если и были в армии «синих» те добродушные герои, которых мы встречаем в романе Гюго, не они задавали в ней тон; тон задавала городская шваль, продукт межкультурья — феномен по тому времени новый, у которого все еще было, как говорится, впереди.

Дальнейшая судьба Вандеи к нашей теме прямого отношения не имеет, но, поскольку в ней есть нечто поучительное, я коротко скажу и о ней. Атлан-

тическая провинция, естественно, не забыла о пролитой крови: вплоть до начала нашего столетия она будировала перед республиканской властью. И здесь мы встречаемся с показательным явлением. Более или менее произвольно выбранная символика оказала обратное воздействие на ментальности: Вандея сама уверовала в свою «старорежимность»; вынужденная смириться с национальными триколорами на зданиях мэрий, в сердце своем она хранила верность белому с золотыми лилиями знамени. Понадобилось новое грандиозное кровопролитие 1914 — 1918 годов, когда вандейская кровь смешалась с общепольской, чтобы вандейцы смогли наконец психологически слиться с остальной частью нации.

После первой мировой войны Вандея пришла в упадок, что было вызвано главным образом эмиграцией трудоспособных элементов в соседние регионы. Но в 70-е годы во Франции вновь заговорили о «вандейском феномене», на сей раз в совершенно ином ракурсе. Хотя верность белому знамени стала для нее отдаленным воспоминанием, Вандея сохранила смутное чувство некоторой своей особенности и большую, в сравнении с иными регионами, религиозность — это подвигло ее на поиск своего пути, только уже не в политическом смысле, а в культурно-цивилизационном. Оставаясь преимущественно аграрной, Вандея стремится сочетать элементы крестьянского традиционализма, включая сюда отношения в семье и в местной общине, с новейшей технологией и новейшими ноу-хау. Вот цитата из книги Жерара: «Сегодня Лесная Вандея предстает как настоящая социальная лаборатория... За пассивным образом, за масками политического театра вырисовывается другая Вандея, прочно укорененная и новаторская в одно и то же время»⁷.

Прощаясь с Вандеей, хочу подчеркнуть, что во взглядах на Французскую революцию общественное мнение, судя по всему, склоняется на точку зрения ревизионистов. Это говорит о том, что историки, по крайней мере французские (а надо заметить, что сочинения некоторых «новых историков» читаются во Франции больше, чем исторические романы), не утратили способности создавать и пересоздавать общественно принятый образ своей страны — как это удавалось когда-то Мишле во Франции, Ранке в Германии и Карамзину в России.

«Русской Вандеей» обычно называют или Дон, или Тамбовскую губернию, или — собирательно — все те места, где крестьянство открыто восставало против большевистской власти. Сейчас мы можем сказать, что это довольно поверхностные аналогии. Более глубокое изучение феномена Вандеи позволяет провести гораздо более широкую параллель: в известном смысле вся Россия была гигантской Вандеей. Почти все элементы, определившие ситуацию Вандеи, присутствовали и у нас, только в несколько иных сочетаниях (другое дело, что у нас было много такого, чего в Вандее не было и вообще в конце XVIII века быть не могло).

Русские революционеры свято верили в европейскую науку, точнее, в ее «последнее слово». Между тем в деле запланированного ими пересозидания мира «последнее слово» науки было далеко не лучшим ориентиром — хотя бы уже потому, что оно вступало в некоторое противоречие с другими ее «последними словами», как вступавшим, так и последующим. Оглядываясь назад, мы видим, что наука подвигалась вперед зигзагами (иначе она и не может): от биологического детерминизма к детерминизму экономическому, от воли к власти к власти пола и т. д. И вся теоретическая подготовка Русской революции была проведена на одном зигзаге экономизма (так же, как, например, «студенческая революция» 1968 года на Западе возникла на зигзаге власти пола). Правда, в начале XX века экономизм, особенно в его марксистской интерпретации, уже не был «последним словом» европейской науки, но он более всего соответствовал «пономарско-немецкому» (как писал Набоков, «лорнирующий» Чернышевского) складу ума русских революционеров, принявших «Капитал» за новую Библию.

Какими-то лунатиками кажутся сегодня марксисты конца прошлого — начала нынешнего века (например, Ленин в «Развитии капитализма в России»),

⁷ Ibid., p. 234 — 235.

которые всё считали — пуды, версты, десятины, дворы с промыслами и без оных, единицы инвентаря (пахотного и перевозочного), возы навоза и прочая, и прочая. И только душ человеческих не замечали. А если и замечали, то в качестве «ревизских». Русская революция опрокинула эти расчеты и прошла мимо них. Правда, Ленин был не только плохим экономистом, но и ловким политиком: на гребне революционной волны он выказал себя «хозяином положения», броскими лозунгами купив мужика «с душой и сапогами». Но как только волна стала его опускать (лично его она еще опустила мягко), он, кажется, перестал понимать что бы то ни было. Впрочем, не только большевики страдали лунатизмом. Франк имел основания сказать уже в 1918 году: ошибались все. Была общая сосредоточенность на политико-экономических схемах, не учитывавших в должной мере культурный контекст. Война схем, культурно не обеспеченных, кончилась тем, что все схемы поломались и открылось то, что раньше было затемнено: основные силовые линии проходили в поле культуры.

Вопреки марксистам Русская революция была вовсе не пролетарской, а крестьянской, крестьянин же, писал Франк, считал своим врагом «барина» — но не столько как «эксплуататора», сколько как чуждого в культурном отношении человека. В баре записывались все те, кого мы сегодня назовем «белыми воротничками»: чиновники, инженеры, врачи, учителя. Вражду к ним нельзя объяснить, как это часто делали, одною только вековой обидою бывшего раба. Здесь был именно конфликт культур. Традиционная сельская культура разлагалась под натиском культуры городской; гибнул обжитый до самых малых своих изгибов крестьянский мир, в котором земля была не только кормилицей и поилницей, но и никогда не кончающейся сказкой, с молочными реками и кисельными берегами, вещими птицами и другими «говорящими» аксессуарами. Еще важнее, что само Небо (не физическое небо, где размещаются солнце, луна и звезды, но высокое Небо единосущной Троицы) пошатнулось в крестьянском представлении: из города тянулся упорный слух, что «там» ничего нет, что «все зарастет лопухом». А если учесть, как прочно соединялись в крестьянском сознании Земля и Небо, можно было догадаться, каким обвалом все закончится.

«Русский бунт» XX века не был таким уж «бессмысленным» (со времен Пушкина много воды утекло): в первую очередь он был направлен против нарушителей порядка на символическом уровне. Статичная картина мира не могла устоять, но ее должна была более или менее плавно сменить динамичная картина мира. Чего не произошло. Бедою нашей стало отсутствие должного культурного посредничества (казус Вандей). Много говорилось о том, что России не хватало сильного класса сельских собственников, который одним фактом своего политико-экономического существования способствовал бы движению по пути реформ. Но, вероятно, еще важнее то, что такой класс сыграл бы роль культурного «редуктора» в деле постепенного приобщения крестьянства к городской культуре (я сейчас не касаюсь вопроса о противоречиях внутри самой городской культуры, отодвигая его в конец статьи).

Зато чересчур много было таких культурных посредников, которые запутывали крестьянство: звали его к лучшей жизни, а с другой стороны, внушали ему, что оно, как подлинный «народ» (как будто дворянство и духовенство, интеллигенция и купечество — не народ), уже лучше всех остальных сословий и что интерес (понятие, которое мужик долго наматывал на ус, но в конце концов — так, по крайней мере, казалось — наматал крепко) его в том, чтобы, прогнав «бездельников», «тлю обжорно-плутовскую», самому стать хозяином своей судьбы. Чем отозвался этот гипертрофированный руссоизм (в самой Франции никогда не принимавший таких масштабов), хорошо известно. Вконец замороженный, мужик проникся ненавистью или, по меньшей мере, недоверием ко всем образованным, включая сюда и культурных доброхотов. Революция дала выход долго копившимся чувствам: «Топи очкарика!» и «Бей шляпу!» стали самыми понятными, самыми доступными из лозунгов (и еще долгие десятилетия бедная «шляпа» будет встречать косые взгляды). А ведь искони «башковитых» уважали на деревне едва ли даже не больше, чем сильных и отчаянных.

Город жестоко обманул село; в свою очередь, село жестоко обмануло город. Федоты и панкраты, на которых «неровно дышала» народническая интел-

лигенция (а интеллигенция вся была народнической), обернулись совсем другими федотами и панкратами — охальниками и разбойниками. Надо также учитывать, что революция активизировала худшую часть крестьянства; как заметил, в частности, Бунин, вперед выступил тип разрушителя — буян, ярыга и шатун. И, наоборот, лучшую часть она обрекла на относительную пассивность. «Вредный», по Демьяну Бедному, мужик заслонил мужика, скажем так, среднего. Отчего у «народа» остался как бы один глаз — злой; другой временно закрылся. И ничего святого, вопреки известным видениям, в его «черной зlobe» не было; а было желание, прогнав «барскую сволочь», занять ее место. А что мужик, занявший место барина, становится «стервой еще худшей» (Бунин в «Окаянных днях»), «хуже всякого барина» (Солженицын устами отца и сына Благодарёвых в «Октябре шестнадцатого»), было известно давно, но в советскую эпоху получило даже чересчур убедительное подтверждение.

Теперь о символическом «обеспечении» крестьянской революции. Выбрав красное знамя «пролетарского интернационализма», значительная часть российского крестьянства поступила, казалось бы, прямо противоположно тому, как поступило крестьянство вандейское. И однако же в обоих случаях мы видим нечто существенно общее: выбор знамени был в значительной мере условным. Причем в России он был еще более (гораздо более) условным, чем в Вандее (что подтверждают и многочисленные «измены» крестьянства — целыми волостями, уездами и даже губерниями — однажды выбранному им знамени). Реальные пожелания в обоих случаях были, судя по всему, очень схожими: самим, без чьего-либо постороннего участия, управляться на селе и, может быть, немножко дальше (в России — до уровня волости, уезда). И не втягиваться в разорительную войну с далеким малопонятным противником (какая разница, что во Франции войну начала революционная власть, а в России легитимная, — в обоих случаях речь ведь шла о внешнем враге).

Затем, однако, пути маленькой Вандеи и великой России все больше расходятся. И дело здесь не только в особенностях французской и русской истории, но и в том, что слишком велик временной разрыв между двумя революциями. П. Б. Струве писал в сборнике «Из глубины», что современный русский народ в своей массе вряд ли менее культурен, чем французский в эпоху «великой» революции. Думаю, что это высказывание нуждается в некоторых уточнениях. По степени готовности или, скорее, неготовности к социокультурным переменам крестьянство в России, вероятно, оставалось на уровне наиболее отсталой части французского крестьянства конца XVIII века. С другой стороны, оно непосредственнее, шире, плотнее столкнулось с городской культурой — по той причине, что городская культура, на службу которой были поставлены железные дороги, телеграф и многое другое, стала в XX веке куда более агрессивной. Вот этот диссонанс между обострением вызова и неготовностью ответить на него явился, очевидно, главным источником катастрофы, постигшей Россию в текущем столетии.

Втянутое против своей воли в исторический процесс, крестьянство должно было как-то осваиваться в поистине фантастической для него ситуации; ум «мужицкой складки, привыкший с ранних лет брести путем угадки» (Демьян Бедный), впотьмах нащупывал свои ходы-выходы на враждебной ему территории, где царили разные мудреные «измы», а в материальном плане поражали воображение «чудеса» науки и техники, тоже требовавшие каких-то фундаментальных мировоззренческих сдвигов. Что там происходило в этих потьмах, трудно разглядеть и сегодня. Угадываются могучие объятия (любовь-борьба) двух утопий: стихийной крестьянской утопии и книжной, головной, марксистской утопии. Свет падает лишь на плод этого противоестественного соития — чудище сталинского «самого передового в мире» государства, которое, подобно Зевсу, низвергнувшему отца, поспешило разделаться с каждым из своих родителей.

Его можно сравнить и с вышедшей из Зевсовой головы Афиной, ибо оно явилось на свет во всеоружии своих грозных учреждений. Нам сейчас эти учреждения представляются наделенными какой-то мистической силой, настолько они подчинили себе людей, включая и тех, кто призван был их возглавить. «Закон перешагнул через людей, люди отстали в жестокости» («Архипелаг ГУЛАГ»). Но ведь люди же их (учреждения) создали, и только потом, встав «на собственные ноги», они обрели некоторую способность к

самодвижению! Кто были эти люди? Если мы станем искать их в кремлевских «коридорах власти», то найдем там скорее исполнителей, чем заказчиков. Заказчиков же надо искать в той, крестьянской по своему происхождению, с вкраплениями рабочих, массе «большевиков», что, плотно обступив институты власти, постепенно оттесняла от них большевиков без кавычек и в конечном счете почти всех их выпихнула в небытие. Критерий отличия большевиков от «большевиков» был культурный в первую очередь. «Большевики» «на глазок» определяли, кто «наш» и кто «не наш». Если человек книжной культуры (пусть и самой элементарной, самой неуклюжей разновидности этого типа), если чересчур «идейный» — значит, «не наш». Напротив, «наш» — тот, кто догадался, что идея должна иметь служебное значение, что реально значат какие-то другие вещи — из области неартикулируемого, подразумеваемого; в книге он находит не выход в другие миры, но тупик, в котором можно раз и навсегда остановиться⁸.

Лишним подтверждением, что культурный критерий был в революцию решающим, является то, что мужик хоть и не без ропота, но, в общем, принял новую власть, несопоставимо более жестокую и эксплуататорскую, чем прежняя, именно потому, что она была представлена «своими» в культурном отношении (или, во всяком случае, не до конца «испорченными» книгой) людьми. «Интерес», скромно потупясь, отступил на задний план.

Вот где открывается простор для истории, ориентированной культурно-антропологически! В особенности для истории ментальностей с ее повышенным вниманием к «простым» людям и явлениям повседневной жизни. Тут у французских учителей многому можно поучиться.

Нет, я не призываю повторять старые ошибки и принимать «последнее слово» западной науки за истину в последней инстанции. Воздав хвалу «новым историкам» за то, что они покончили с тиранией экономики и политики, отметили и крупный их изъян — все они более или менее равнодушны к философии истории (за единственным, насколько мне известно, но зато весомым исключением Пьера Шоню, продолжающего традицию христианской философии истории⁹). От эмпирических наблюдений они возвысились до уровня умственных конструктов, близких «идеальным типам» Вебера, в рамках «Новой исторической науки» часто называемых культурными «сериями» («серийное» — повторяющееся в истории, могущее быть усвоенным, например, компьютером) — но не выше того! Их обращение к коллективному бес- (и полу-) сознательному было весьма своевременным: стало ясно, сколь могучая «логика замедления» виснет, если можно так сказать, на историческом процессе; но оно же привело к некоторой недооценке личностно-сознательного начала в истории, а следовательно, и того, что можно назвать свободой ускорения. Конечно, очень важно все, что объединяет Цезаря с последним из его легионеров, но не менее важно и то, что отличает Цезаря от всех его легионеров, вместе взятых. Как видим, и в данном случае «последнее слово» науки — лишь очередной зигзаг в ее истории.

И все-таки это полезный зигзаг, более того, необходимый: он позволяет ликвидировать перекокс в противоположную сторону — сознательной части исторического процесса. Ну, положим, слово и жест Цезаря останутся в истории словом и жестом Цезаря, но в нашу эпоху «восстания масс», кажется, уже не так важно, кто что сказал и кто что сделал, сколько другое: что «дергает за ниточки» и что «дергает за язык». «Новоисторическое» «изучение истории снизу»

⁸ «Тайну» рождения такого рода «книжности» подсмотрел Александр Воронский в своей книге воспоминаний «Бурса», вышедшей в начале 30-х годов: читающий бурсак «склонился над странными знаками, и человеческое, житейское в нем исчезло: глаза потеряли выразительность и блеск, помутнели; что-то каменное, тупое легло на лицо. Мертвая ли маска или еще живой человек?... И сколько таких оболваненных, заколдованных ежегодно распускается по стране родной! И сколько страшных дел можно с ними и через них понадедаться! Употребив настоящее в прошедшем, пронизательный Воронский в упор не замечает таких «заколдованных» среди своих товарищей по партии (среди которых, кстати, было много бывших бурсаков); но близилось время, когда их страшные дела ему придется испытать на собственной, как говорится, шкуре.

⁹ См. о нем мою статью «Фуга о свободе. Историософия Пьера Шоню». — «Вопросы философии», 1993, № 4.

как нельзя более соответствует реальностям советского периода нашей истории, вызванных к жизни действием «низовых» энергий и подсознательных психических импульсов (французы, таким образом, «подбрасывают» нам не только прецедент, но и полезную методику его истолкования). «Актеры» у нас не так важны, как важна «массовка». Скучные и смешные люди в упрощенного покроя френчах и парусиновых костюмах, вызывавшие у кого-то языческие экстазы, войдут в историю, как марионетки, приводимые в движение множеством ниточек; и внимание привлекут ниточки, а не они сами. Ибо государство, которым они были призваны управлять, свои пути-дороги выбирало не головой, а «нутром»; но что могло подсказать «нутро» в головоломно сложном мире XX века, кроме защитных реакций? И такими они были, эти защитные реакции, болезненно-резкими, что заставляли другие народы и государства шарахаться от безголового гиганта.

Но какие трудности ждут тех, кого у нас соблазнит история ментальностей! Расслышать «массовку», не театральную, с ее искусственным «говором толпы» («что говорить, когда не о чем говорить»), а реальную, совсем не так просто, как расслышать «актеров». Особенно в данном случае, когда придется иметь дело с культурными мутантами, еще не вышедшими из стадии мутации. Пока что нам о них говорит художественная литература — языком платоновских и зощенковских «героев» пореволюционного межкультурья, причудливо сочетающих близко лежащие слова с пришедшими издалека, «умными», должествующими как-то объяснить окружающую неразбериху (при этом платоновские персонажи нередко демонстрируют сноровку и находчивость, зощенковские — комическую беспомощность). Наверное, будущие историки не обойдут вниманием художественную литературу, но в первую очередь им понадобятся, естественно, подлинные документы, много документов. И тут возникает еще одна трудность. «Простые» люди вообще, как правило, не дорожат своими текстами и не обременяют ими потомство; а в интересующую нас эпоху они по известным причинам не слишком-то и доверяли бумаге свои мысли и чувства. И тем не менее по сусекам кое-что соберется. А кроме текстов есть и богатейшее устное творчество, тоже так или иначе задокументированное. Есть «подпольная» песня. И есть другие источники, например фотографии, только-только вводимые в оборот исторической наукой, — вроде бы они молчат, а в то же время сколь многое можно в них «вычитать». Если уж французы отваживаются на такую акцию, как «интерпретация молчания», почему бы и нам не попробовать?

История ментальности позволит выявить «швы», связывающие подсознательную часть советской культуры с сознательной. Как уживалась глубинная враждебность к книжной культуре с официальным ее признанием и даже поощрением? Наука, к примеру, не только была практически необходима, но и пользовалась известным «уважением». А вместе с тем в фильмах 30 — 40-х годов ученый, как правило, выглядит хотя бы чуть-чуть комической фигурой (даже если это великий ученый, а играет его такой актер, как Черкасов). Еще сложнее обстояло дело с классической литературой и искусством. В год, когда великий террор достиг своего апогея, пышно отмечался столетний юбилей Пушкина. Но поднимите образительную пушкиниану тех лет — обратите внимание на простецкость всего пушкинского облика, на то, как Пушкин заискивает перед первым встречным мужиком. В отношениях с классической культурой действовала какая-то хитрая диалектика притяжения-отталкивания; многое оставалось за пределами понимания сталинских «выдвиженцев»¹⁰, но что-то они искренне хотели сделать «своим». Ну и, конечно, делая (почти по Зоценко) «культурное» лицо, режим заботился о том, чтобы выглядеть респектабельным — в глазах остального мира и в своих собственных глазах. И еще: классическая литература и искусство использовались как щит против современной литературы и искусства, невнятных, загадочно-враждебных.

¹⁰ «Господа, — писал в этой связи Федотов, — унесли с собой в могилу — не все, конечно, ключи, но самые заветные, от потайных ящиков с фамильными драгоценностями» (Федотов Г. П. Россия и свобода. Нью-Йорк. 1981, стр. 117). Тем, кто хотя бы немного знает Федотова, ясно, что в приведенных словах нет никакого злорадства, а только сожаление. что вышло так, а не иначе.

А ведь был до 1917 года и нормальный путь приобщения крестьян к городской культуре: наиболее способные из них получали образование и вместе с ним перенимали характерную этику русской интеллигенции (в широком смысле образованных и нравственно развитых личностей) и таким образом становились ее неотъемлемой частью (помню некоторых дореволюционных интеллигентов в первом поколении, выходцев из крестьян: в среде советских образованцев они выглядели прямо аристократами). Хорошо известно, сколь много было среди людей культуры выходцев из крестьян и сколь быстро росло их число; да что культура — даже в такой традиционно «дворянской» среде, как офицерство и генералитет, «черная кость» постепенно оттесняла «белую кость». Не приходится сомневаться в том, что прошло бы еще не так много времени, и люди крестьянского корня заняли бы преобладающее положение во всех сферах общественной и культурной жизни России. И это была бы совсем не та Россия, которую мы «нашли» после 1917 года.

Основную массу крестьянства поразил вандейский синдром несварения нового. Как ни быстро расширялся «вход» в городскую культуру, в какой-то роковой момент он оказался слишком узким, и тогда задние навалились, смяли передних и пошли крушить что ни попадя. И невдомек было крестьянству, что, громя дворянские усадьбы и стреляя офицеров, оно тем самым роет могилу себе.

Огромный потенциал крестьянского мира в значительной мере пропал зря. Должно было пройти много десятилетий, чтобы крестьянство прозрело — в лице писателей-деревенщиков 60 — 70-х годов (если не считать ранних опаматований вроде клюевской «Погорельщины», оставшихся практически никому не ведомыми). И — охнуло: что было и что стало! Хотя и деревенская проза явилась прозрением лишь частичным: связь начал и концов не была в ней прослежена, взгляд не вышел за пределы магического круга, проведенного совсем недалеко от родной околицы (на что совершенно справедливо указал критик Е. Ермолин в № 72 «Континента»).

Между тем конец традиционного крестьянского мира еще не ставит последнюю точку в его истории. На уровне ментальностей, где резкие движения так же невозможны, как невозможны они в плотных слоях воды, мы сейчас сталкиваемся с продуктами его разложения, обещающего растянуться еще на неопределенно долгое время. Самый зловещий из них — мафиозное сознание. В считанные годы мафиозность стала одной из основных характеристик нашего общественного бытия, и, как это ни печально, справиться с ней за короткий исторический срок вряд ли удастся.

И здесь сама собой напрашивается другая «объясняющая модель».

Еще один «орешек»

Посетив Сицилию в 40-х годах прошлого века, Алексис де Токвиль писал: «Трудно найти в Европе другую страну, где крестьяне были бы так мало подготовлены к восприятию свободы, к которой они призваны. Слишком долго здешние князья держали их в черном теле, чтобы они могли проникнуться теми идеалами, которые, начав свое шествие в Париже, достигли ныне самых отдаленных уголков нашего континента»¹¹. Автор приведенных строк проявил, как обычно, большую прозорливость, указав на самое, пожалуй, важное из обстоятельств, коим обязана своим существованием мафия.

Еще в совсем недавние времена даже итальянцы смутно представляли себе, что такое мафия. Прорыв в этом отношении пришелся на 70 — 80-е годы. Северьянам в конце концов надоело постоянно ощущать какое-то зловредное тело, застрявшее в носке итальянского «сапога»; чтобы извлечь его оттуда, надо было для начала узнать, что это такое. На помощь им пришли социальные науки. В провинциальной, по европейским меркам, Италии они появились сравнительно поздно, но за короткое время достигли, как говорят, больших успехов. Во всяком случае, с мафией они позволили разобраться достаточно основательно: бытовавшие ранее представления о ней частью были существенно скорректированы, а частью вовсе перевернуты.

¹¹ Цит. по кн.: Correnti S. Storia di Sicilia. Milano. 1972, p. 32.

Римский Большой энциклопедический словарь, вышедший в начале 60-х, приводил два значения слова «мафия»: «1. Дух мафии», определяемый как род «низкого рыцарства» (*bassa cavalleria*), и «2. Организация мафия». Оба значения, как выяснилось, были ошибочными, по крайней мере отчасти. Мафия никогда не имела ничего общего с рыцарством, хотя бы и «низким». Приписывая ей рыцарство, ее путали с известной традицией «благородного разбоя», тоже, впрочем, не столько реально-исторической, сколько литературно-оперной (Фра-Дьяволо и Ринальдо Ринальдини у итальянцев, Робин Гуд у англичан и так далее), а в наше время еще и кинематографической. Вводило в заблуждение и само название мафии — *опогата società*, «общество чести» или «честное общество». Слово «опогате» («честь») в данном сочетании следует понимать своеобразно: более точный его русский эквивалент — «гонор». Представление о чести апеллирует к «высоким» понятиям, мафиозному сознанию недоступным; без них честь сжмается до гонора, которого и бандиту хватает.

Далее, мафия не является организацией в собственном смысле слова; самая идея организации, подразумевающая элемент логического конструирования, изначально чужда мафиозному сознанию. Скорее здесь преобладают стихийные элементы, в частности, элемент подражательного воспроизводства феодальных отношений, понятых на свой, крестьянский, лад. Традиционная мафия (как она сложилась уже в первой половине XIX века) есть не что иное, как форма крестьянского самоуправления, при котором сильные, в элементарно бойцовском смысле слова, то есть драчливые, искусно владеющие ножом и т. д., подчиняют себе более слабых, заставляя их работать на себя и связывая их посредством круговой поруки. Сходство с бандитизмом здесь в методах достижения цели. Но сама цель принципиально другая: сохранение определенного порядка («условного порядка», по терминологии Вебера, отличающего его от правового порядка). Поскольку природой так устроено, что на каждого сильного рано или поздно находится еще более сильный, порядок периодически нарушается: одни мафиозники бросают вызов другим, более сильный клан вытесняет менее сильный. Но это временные и, в общем-то, поверхностные нарушения порядка, оставляющие незывлемыми его основы.

Мафиозный порядок содержит очень много элементов крестьянского традиционализма. К примеру, все мафиозники обязаны быть образцовыми семьянинами (подчеркну, что речь идет о традиционной мафии). Устой семьи ограждены очень жесткими моральными нормами: если, допустим, мафиознику изменила жена, если согрешила дочь, он должен в первую очередь убить жену или дочь, а потом уж соблазнителя. Разнообразные обстоятельства связывают мафиозника и с многочисленными родственниками, кумовьями и т. д., и круговая порука, которою он связывает односельчан, вынуждает его самого вести себя определенным образом. То, что он не работает (фактически заменив, таким образом, прежних «бар»), принимается ими как должное, но ему не следует стремиться к чересчур большому богатству. Да оно обычно и не прельщает мафиозника, чей кругозор остается типично крестьянским: презирая «своих» бедняков, он тем не менее ощущает их культурно близкими себе людьми, и наоборот: аристократы и городские буржуа, с которыми он вынужден считаться, для него — чужаки, если не явные враги.

Возникновение мафии стало возможным после ликвидации феодальных отношений (в 1812 году, под давлением оккупировавших остров англичан) и частичной секуляризации. С упадком аристократии и ослаблением роли клира сицилийские крестьяне непосредственно столкнулись с «большим миром», к восприятию которого они не были должным образом подготовлены. Но так как «большой мир» до поры до времени не пытался подмять их под себя, их реакция была смешанной, сочетающей приспособление и отторжение (сравним с бурной реакцией испанского крестьянства на попытку Наполеона ввести в Испании французские порядки). Сохраняя формальную лояльность по отношению к городу и к центральной власти (которая в Италии, если исключить времена фашизма, никогда не была достаточно сильной), сицилийское крестьянство ушло в себя, как уходит улитка в раковину. В то же время оно уже не могло быть таким, каким было раньше: воздух свободы сделал его другим. Сицилийское крестьянство тех полутора веков, на которые пришлось засилье мафии, — разлагающееся тело; в нем копошатся маленькие упрямые «я», безот-

четно повторяющие некоторые жесты слабеющих феодалов, но при этом не выпадающие из привычного лона сельской общины.

И здесь, стало быть, культурный аспект важнее любых других. Близкий взгляд исключал из поля зрения сицилийского крестьянина мир универсальных ценностей, где кроме силы существует право, где открывается множество путей-дорог для самореализации и даже пути к власти — гораздо более сложные и тонкие, как правило не допускающие применения грубой физической силы. Экономика и политика ничего не значат для него, пока они прибегают к абстракциям, а только — в отношениях хорошо известных ему людей и вещей. Традиционный мафиозник, например, не доверяет бумажным деньгам, не доверяет банкам, все его накопления — непременно в звонкой монете и в кубышке. И когда он испытывает волю к власти, то имеет в виду только то, что можно иметь в виду физически: свое село, ближние хутора, ну, может быть, еще соседнее село и соседние хутора.

Даже мафия для него — абстракция. Поэтому когда он утверждает, что не знает, что это такое, то лукавит лишь отчасти. Он и в самом деле знает лишь какого-нибудь конкретного «дона» Микеле или «дона» Кармело, с которыми он связан определенными обязательствами, и еще некоторых других людей, связанных обязательствами с упомянутыми «донами» и друг с другом. И не более того.

Почему Сицилия? Почему именно на этом острове (а также в соседней Калабрии) получил развитие странный феномен, именуемый мафией? Отчасти на этот вопрос уже ответил Токвиль: местная аристократия держала крестьян «в черном теле». Слабая центральная власть (в Неаполе) едва-едва простирала сюда свою карающую и милующую длань; да и не привыкли сицилийцы уповать на центральную власть. Исторический опыт научил их больше полагаться на самих себя: слишком много царств сменилось на острове в продолжение тысячелетий. Политико-юридическое сознание сицилийского крестьянина не было «центрировано» на особе короля (как, например, во Франции), и он принимал как должное, что правосудие на острове отправляли местные феодалы по собственному произволу. Само понятие юстиции оставалось для сицилийского крестьянина маловразумительным, как и другие абстрактные понятия. Что вовсе не удивительно: школьное образование было поставлено на острове хуже, чем в других регионах Италии; точнее, его здесь почти не было.

С другой стороны, именно в Сицилии крестьянский традиционализм по ряду причин был особенно силен. «И в добром, и в злом Сицилия есть Италия в превосходной степени» (Эдмонда Шарль-Ру в романе «Забывать Палермо»). Сельский быт имеет в Италии многовековые корни (некоторые семьи по сю пору, как говорят, живут в домах древнеримской постройки). В Сицилии — гипертрофия корней; цепляясь друг за друга, мощные корни придавали особую устойчивость древним обычаям.

Специфика Сицилии, таким образом, — вопрос степени (того или сего), а не какого-то особого качества. Так и мафия не какая-то особенная местная болезнь. Просто в Сицилии (с Калабрией) она протекает в усугубленной форме. В более легкой форме болезнь отмечена в других областях итальянского Юга, на острове Сардиния, в некоторых областях Испании и Португалии. Посвоему проявляется она в ряде стран Латинской Америки. По-видимому, вирус мафии существует всюду, где идет процесс разложения крестьянской культуры. Просто Сицилия оказалась той «железой», где он мог проявить наибольшую активность.

Об устойчивости этого вируса говорит его приспособляемость к условиям города, изначально ему, казалось бы, противопоказанным.

Начиная примерно с конца 50-х годов разложение традиционного уклада в сицилийской деревне шло значительно быстрее, чем прежде. Новые коммуникационные средства резко сократили культурный разрыв между городом и деревней, а ускорившая темпы индустриализация проникала зачастую в самые глухие уголки. Мафия некоторое время сторожко присматривалась ко всем этим ошеломляющим новшествам, а присмотревшись, попыталась овладеть положением, сначала робко, потом более уверенно. В результате за каких-то два десятка лет произошла полная ее трансформация: из сельской она стала преимущественно индустриальной. Этот процесс весьма обстоятельно описан

и проанализирован социологом Пино Арлакки (стяжавшим в данной связи почетное прозвище «сицилийского Вебера»), и мне остается познакомить читателя с содержанием его работы.

Как показывает Арлакки, изменился прежде всего культурный тип мафиозника. Усатый молодчик в большой кепке, с явными чертами «деревенщины», изъясняющийся на «чудном» (для итальянского уха) диалекте, большинству итальянцев, как и нам, знакомый лишь по неореалистическим фильмам, уже не существует. Его сменил внешне более или менее отесанный образчик, нередко получивший формальное образование и способный «поддержать разговор» на темы, обкатываемые газетами и телевидением. Он может быть выходцем из среды городской буржуазии или городских люмпенов, не имеющим к деревне никакого отношения. Хотя это скорее в порядке исключения. В порядке правила он выходец из деревни, сохраняющий если не в облике своем, то в поведении некоторые существенные черты «простонародности».

Этот современный мафиозник — продукт межкультурья: «он больше не является человеком одной культуры, за пределами родной стихии чувствующим себя, как рыба, выброшенная из воды; напротив, он умеет лавировать между разными культурами и говорить на разных языках. В отличие от «человека чести» старого образца, этот тип сочетает различные идеи и ноу-хау, характерные для индустриального общества, с традиционными ценностями и элементами архаического поведения. Он и просвещен и суверен в одно и то же время, чванится своим индивидуализмом и постоянно опасается, как бы чем не выделиться среди других. Неравнодушный к успеху, к тому, что называют экономическим статусом, легко усваивающий новые модели потребления, он в критические моменты вдруг обнаруживает поразительную реакционность и кровожадность»¹². Такой мафиозник давно освоился с банковскими счетами и другими основными знаками экономических отношений, но он не может помыслить власть иначе, как «привязанной» к какому-то конкретному, четко определенному месту; ему, как псу, нужно твердо знать, где кончается «его» территория и начинается «чужая» (если он занимается операциями глобального характера, например торговлей наркотиками, то в этом случае перед его мысленным взором возникают не географические широты и долготы, но какие-то конкретные «доны», с которыми он связан конкретными договоренностями). Он уже не пялится на букву закона как баран на новые ворота, а в иных случаях даже неплохо знаком с уголовным кодексом — в той мере, в какой это нужно, чтобы уметь его обойти, ибо «улаживать» дела он предпочитает по старинке, опираясь на собственные силы.

Преображаясь на новом для нее поприще, мафия в какой-то мере преобразует и само это поприще. «Употребление мафиозной власти в промышленной сфере, — пишет Арлакки, — ведет к специфическим инновациям, а именно к приспособлению для данной сферы некоторых ценностей, характерных для архаического общества»¹³. Главной из этих, условно говоря, ценностей является грубая сила. Свободная конкуренция перестает быть таковою, когда конкурента угрожают убить или выкрасть его жену или детей. Сила позволяет давить и на профсоюзы: терроризируя рабочих или батраков, можно отказать им в повышении заработной платы и добиться таким образом снижения издержек производства. В результате возникают зональные монополии промышленного типа, пришедшие на смену прежним территориальным «монополиям» сельской мафии.

Случается, что и конкурирующая фирма, изначально ничего общего с мафией не имевшая, прибегает в конечном счете к тем же методам. Опухоль дает метастазы.

В жизни самой мафии сила играет значительно большую роль, чем прежде. На селе кровавые разборки между кланами или между мафиозниками одного клана были делом редким, едва ли не исключительным. Теперь мафиозные войны следуют одна за другой. Не удивительно, что нынешние мафиозники «тоже плачут»: нет былой спайки внутри клана, даже семейные узы уже не так прочны, как прежде, всюду мерещатся противники, все грозит бедой. У

¹² Arlacchi P. La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo. Bologna. 1985, p. 144.

¹³ Ibid., p. 108.

«мафьюзу» (так по-сицилийски) старого типа был достаточно высокий шанс умереть в своей постели; у его нынешнего преемника он резко упал. (Риторический вопрос: а не лучше ли было бы самим завязать с этой треклятой мафией?) Мафиозники пытаются обеспечить свое будущее путем расширенного воспроизводства потомков мужского пола (еще одна, наряду с эндогамией — обычаем заключать браки внутри своего клана, — примета архаического менталитета), но конкуренты изводят и наследников, иногда прямо в колыбели.

Плюс ко всему еще и органы юстиции не дают вести сладкую жизнь. Правда, покончить с мафией они пока не могут — слишком тверд «орешек». Но упрекнуть их в том, что они недостаточно с нею борются, кажется, нет оснований: все больше мафиозников оказывается за решеткой, все чаще — на сроки, заставляющие задуматься о смысле прожитой жизни.

Важно также отметить, что опухоль остается более или менее локализованной. Кроме как на Юге, мафия нигде больше в Италии не прижилась, несмотря на все ее усилия. (Не следует путать коррумпированность с мафиозностью: серия громких скандалов, разразившихся не так давно в итальянской столице, выявила множество фактов коррупции в высших эшелонах власти, но с мафией они были связаны лишь в последнюю очередь; да и результаты этих скандалов, плачевно окончившихся для самых высокопоставленных деятелей, говорят сами за себя.) Еще более четкие пределы поставлены мафии в Соединенных Штатах, куда она проникла вместе с итальянскими иммигрантами. В крысином «подполье» (игорный бизнес, торговля наркотиками и т. п.) она чувствует себя хозяйкой, но перевод нажитых «грязных» денег в легальный бизнес для нее чрезвычайно затруднен: мешают, во-первых, строгие законы, не дающие скрыть происхождение капитала, и, во-вторых, — что особенно хочется подчеркнуть — существующий в обществе моральный климат.

Не становится ли Россия в известном смысле гигантской Сицилией? Основные признаки «сицилийской» болезни в ее поздней, капиталистической, стадии у нас уже налицо; здесь даже специально «врачебный» взгляд не нужен: все слишком очевидно. Хотя капитализм мы строим, увы, не по Веберу (то есть не ставим религиозную этику во главу угла), «идеальные типы» создаем как раз (или почти) по Веберу: судя по всему, наши мафиозники мало отличаются от тех, кого мы видим в «Спруте» или в «Крестном отце». И не потому, конечно, что они насмотрелись западных фильмов (хотя элементы прямого подражания тоже имеют место); наше мафиозное сознание — продукт разложения нашей крестьянской культуры, на поздней его (разложения) стадии проявляющей себя уже в городе.

Казалось бы, уж так далеки «дрожащие огни» российских «печальных деревень» от этих старых сицилийских «паизи» (что означает «село», но также и «небольшой город»), одетых траченными временем камнем и больше похожих на средневековые города своими глухими стенами и узкими кривыми улочками. Да и вообще, если оставить в стороне такую вещь, как принадлежность к одной (христианской, европейской) цивилизации, что у России общего с этим продуваемым всеми средиземноморскими ветрами, выжженным солнцем островом на другом краю Европы! (Хотя, если покопаться в культурной генеалогии, кое-что все-таки найдется: например, Сицилия — единственное за пределами России место, где состоялась встреча византийской и скандинавской культур; далее, это одно из немногих в Европе мест, где в результате длительного сарацинского господства Восток оставил заметный след.) Но если мы снимем верхний слой экзотики («мрачные страсти», отличающие, по Стендалю, итальянский Юг), то найдем большую близость крестьянской психологии, а проследив ход ее ломки, обнаружим значащие параллели: мафизация сицилийского общества приблизительно соответствует мафизации российского общества в период, когда стало быстро падать доверие ко всем и всяким универсалиям.

Революция была для российской деревни звездным часом пропащих голов, древней повольщины и непутевщины, привыкшей орудовать кистенем или дреколем. Но пореволюционный мужик еще искал царя в каком-то новом обличии, как искал есенинский Хлопуша — Пугачева. И еще присматривался и прислушивался к смельчакам, грозившим стащить с неба за бороду старика Саваофа и заменившим иконы портретами бородатых людей, авторов нового,

всепобеждающего учения. Должно было пройти несколько десятилетий, чтобы всепобеждающее учение не в силах уже было скрывать свои ослиные уши, а новоявленные «цари» перестали вызывать мистический трепет, искони совсем не им предназначенный. За это время мораль и право оказались у нас так основательно покалечены, что единственной по-настоящему весомой реальностью оставалась простая «физика» властных отношений; естественно, что первой это поняла сама номенклатура.

М. Восленский в своей книге «Номенклатура» называет «ленинско-сталинскую» партию «революционной мафией», а установленный ею строй — «государственно-монополистическим феодализмом» (схожие определения дают и некоторые другие авторы, например, М. Джилас: «промышленный феодализм»). Подобные определения мне представляются довольно топорными: созданные под гипнозом «социально-экономических формаций», они не учитывают культурные реальности; будущие историки наверняка найдут иные, тоньше отграниченные определения. Что же касается сравнения ленинской партии с мафией, то оно является чересчур большой натяжкой. Вот сталинская партия, та и вправду обнаруживает отдельные черты мафиозности (читатель сам без труда найдет, какие именно). Но это только отдельные черты, ибо идейным стержнем сталинской партии было государственничество, в принципе несовместимое с мафиозностью; поэтому слишком увлекаться сравнением ее с мафией тоже не следует.

Первые ростки действительно мафиозного сознания появились у нас, скорее всего, во второй половине 60-х годов в нижних эшелонах номенклатуры, уловивших, что идейный стержень ослаб и начал прогибаться. Именно номенклатура должна была стать для них питательной средой, ибо мафия возможна только там, где есть уже некоторый жирок и есть мышца, позволяющая грести под себя. В то же время схема властных отношений в известной мере препятствовала чрезмерному росту мафиозности. Лишь с крахом прежней государственности и перемещением интересов в сферу частного предпринимательства картина властных отношений начала дробиться: крупные планы вытеснили общий план. До полного сходства с мафией новым властным «структурам» оставалось сделать лишь один шаг: обратиться к насилию уголовного характера. Не повсюду, конечно, но и не «в отдельных случаях» этот шаг был сделан с удивительной, на первый взгляд, легкостью, в результате чего от архаически монолитной государственности мы перешли к архаического типа «самоуправлению», последним «аргументом» которого является выстрел из-за угла или заложная в багажник автомобиля взрывчатка.

Переход к уголовному беспределу на самом деле был достаточно хорошо подготовлен беспределом государственным. Практика ГУЛАГа свела к нулю реальную ценность человеческой жизни, всех поравняв в этом отношении, без каких-либо исключений. То обстоятельство, что времена массового террора давно миновали, дела не меняет. Как раз в сталинские времена люди еще не расставались с иллюзиями, и только после известных отречений знание о лагерях стало распространяться в советском обществе, хотя бы и малыми дозами. «Тайна» о том, что человек «в натуре» ничего не стоит и с ним можно делать все, что угодно, откладывалась где-то в подсознании, производя там эффект, о котором мы можем только догадываться.

Тот же ГУЛАГ завещал нам свой опыт прямого сотрудничества государства с уголовным элементом: «социально близкие» так же работали на обесценивание человека, как и «органы». В этом смысле «татуированные груди» блатарей — «задницы голубых фуражек» НКВД («Архипелаг ГУЛАГ»). Заменим тут голубые фуражки дорогими мягкими шляпами — и мы получим образ современной мафии. Только на сей раз речь идет, естественно, не просто о сотрудничестве, но о слиянии какой-то части бывшей номенклатуры с бывшими теневиками и с уголовным элементом (и уголовный элемент привлекается, опять-таки, для создания или сохранения определенного порядка). Мафиозность становится у нас стилем жизни, который многим уже кажется чем-то само собой разумеющимся и по-своему привлекательным и который навязывает себя многим другим, даже вопреки их собственному желанию.

Упаси нас Бог вернуться к тому типу государственного насилия, от которого мы едва оправившись, — на сей раз для борьбы с мафией. Хотя бы уже по-

тому, что реально он ничего не даст. Об этом говорит и опыт Италии. Еще Мюрат, посаженный на трон неаполитанского короля, решил одним лихим кавалерийским ударом покончить с только-только зарождавшейся калабрийской мафией (в Сицилию его не пускали английские крейсера). И на первый взгляд преуспел в этом — но как? Расстреливая подряд всех подозреваемых, большинство которых были или вовсе невинные, или просто запуганные мафией люди. Стоило, однако, Мюрату исчезнуть с политической сцены, как обнаружилось, что срезаны вершки, а корешки остались и быстро идут в рост. Примерно та же история повторилась и в недавние времена: Муссолини прибежал к методам Мюрата, с той лишь разницей, что подозреваемых он не расстреливал, а сажал. И что же? Посажеными оказались, опять-таки, многие невинные люди, а из числа действительных мафиози преимущественно «мелюзга». Большинство «донов» осталось на свободе и, затаившись, сумело дождаться лучших времен. Да если бы даже и всех «донов» пересажали, все равно на их месте появились бы другие. Болезнь надо было лечить, а не загонять внутрь.

Разумеется, государство может и должно бороться с мафией — в той мере, в какой оно соблюдает нормы морали и права. А если оно тоже в какой-то своей части заражено мафиозной болезнью? Но даже вообразив себе государственные органы кристально чистенькими, можно ли было бы ждать от них скорых результатов? Дел-то — непочатый край.

Чтобы реально справиться с мафией (а заодно и свести к минимуму преступность вообще), надо «всего-навсего» разогнать тучи, скрывающие сияние общих понятий — таких, как Бог, Человечество, Демократия. И еще: Закон, Родина, Народ.

Общие понятия плохо доходят до сознания в нынешней ситуации межкультурья. Ибо для сколько-нибудь адекватного их восприятия нужен соответствующий духовно-душевный строй, который сам появляется в результате определенных усилий. Инструмент (если дополнить зрительную метафору слуховой) должен быть настроен, чтобы на нем можно было что-то сыграть.

Уходящий век был веком, когда резко ускорился переход от «космического» существования, связанного с селом, к «историческому», связанному с городом¹⁴. Повсюду в Европе этот процесс проходил достаточно болезненно, в некоторых странах и особенно в России — болезненно вдвойне. Кривая и хромая советская школа (я говорю о системе образования, а не об учителях, среди которых было немало «не советских» — по своему душевному складу, унаследованному от предшествующей эпохи), давая разные необходимые знания, в то же время оставляла незаполненными принципиальные пустоты, образовавшиеся в результате отрыва от старого крестьянского мирочувствия. Прогоняя через себя многомиллионные крестьянские массы, образовательный «сан-пропускник» выталкивал в мир, так сказать, первично обработанный «человеческий материал» — наскоро обтесанных людей, способных элементарно ориентироваться в окружающем, но лишенных того внутреннего строя, который является признаком культуры, все равно городской или сельской.

Отсюда культурный иммунодефицит, легкая восприимчивость ко всякого рода поветриям, в частности, тем, что исходили и исходят из-за рубежа. Полностью затвориться от всего света не удалось даже в самую глухую советскую эпоху (и сколько бы еще простояла советская держава, если бы такое было возможно?), а когда начались послабления, тогда, естественно, давление мирового культурного окружения на наш «перевернутый мир» стало постоянно расти. И естественно, что до нашей свежгородской массы в первую очередь доходило лишь самое доходчивое из того, что шло «оттуда», то есть, как правило, далеко не самое лучшее. На таком «сквозняке» происходили странные мутации — следствие неустойчивости унаследованных «генетических» признаков. Мне кажется, что анатомические фантазии позднего средневековья могут служить метафорами некоторых нынешних культурных состояний: если бы

¹⁴ Во Франции и Германии бурное разложение традиционного сельского уклада началось в последней трети XIX века, в странах южной и восточной Европы — несколько позже; во всех европейских странах оно практически закончилось примерно в 60-х годах нашего века.

удалось подвергнуть наше общество своего рода культурной рентгенографии, обнаружилось бы немало странных особенностей — с пёсыми головами или с ястребиными клювами, целиком покрытых жесткой чешуей, и т. д. и т. п.

Только в таком контексте могла у нас процветать мафия, причудливо сочетающая крестьянский след и городской тлетворный дух.

Я до сих пор говорил о трудностях приобщения крестьянства к городской культуре и ничего не говорил о превращениях самого города. Между тем одно с другим связано. Город, по крайней мере большой город и особенно тот, который зовут мегаполисом, перестал отвечать своему имени: «город» ведь — от слова «городить», а сейчас у него не только нет физической ограды в виде крепостной стены или вала, что слава Богу, но и условного предела, который позволил бы определить, что это такое. Есть постоянно расплывающееся, бесформенное скопление домов, жители которых смутно представляют себе, зачем они живут вместе. Еще менее поддается определению понятие «городская культура», ведь никакой другой, в сущности, уже не осталось: город, как мощная аэродинамическая труба, все в себя втянул, все по-своему переварил (уже и центром книжной культуры его можно назвать лишь с большой осторожностью, ибо куда деть аудиовизуальные средства?). Даже сохранение или возрождение сельских традиций становится (по крайней мере в Европе, да, кажется, и у нас тоже) преимущественно делом горожан, переселившихся в деревню.

Я разделяю пафос статьи Андрея Быстрицкого «Urbs et orbis» («Новый мир», 1994, № 12) — в той мере, в какой его похвальное слово адресовано городу как таковому, «городу вообще»; вот только его представление о городах современного Запада кажется мне чересчур розовым. Неужели еще где-то есть города, где «царит доброжелательность и любовь, предприимчивость и искусства»? Что-то не верится. Во всяком случае, о западных мегаполисах такого никак нельзя сказать. Благополучными они могут выглядеть только при сравнении с нашими городами. Сами жители этих мегаполисов, которые подобных сравнений, естественно, не делают, отнюдь не считают их благополучными — иначе откуда бы взялось такое известное явление, как бегство из городов? Жить в них стало неудобно во многих отношениях, это во-первых, а во-вторых, что, может быть, еще важнее, слишком много скопилось в их духовной атмосфере отрицательного электричества (от которого и малые города, насколько я знаю, не могут оборониться). Старожилы Нью-Йорка или Чикаго, например, жалуются, что немного осталось от той общительности, того взаимного дружелюбия, какие были характерны для этих городов еще три-четыре десятилетия назад.

Заметим, что ужесточение мафиозных разборок в городских условиях, о котором пишет Арлакки, нельзя объяснить исхода лишь из внутренней истории самой мафии, ибо оно есть результат «наложения» традиционно-мафиозных нравов на современные городские нравы. Медицине известно такое явление: рекомбинация вирусов, когда два разнородных вируса соединяются и обмениваются генетическим материалом; в итоге рождается новый вирус — рекомбинант. Подобным же образом вирус крестьянской мафии наложился на вирус городской «новой жестокости» (о которой западные социологи впервые заговорили в конце 60-х годов), дав жизнь новому вирусу, более сложному и, по-видимому, более стойкому, чем оба других.

Проблемы наших городов — это проблемы западных городов, возведенные в квадрат, в куб, в четвертую степень.

У нас и до революции не так уж много было городов, заслуживающих называться городами (что это за город, замечает Бунин в «Деревне», когда стадо по улицам прет!). А в советское время то, что от них оставалось, в конечном счете захлебнулось потоком сельских мигрантов: несчастная деревня при первой возможности покидала насиженные места в поисках сколько-нибудь сносной жизни. Город как бы утратил ощущение самого себя; дальнейший смысл существования этого человеческого муравейника едва мерцает в пропыленном воздухе, отравленном своего рода смогом — смесью блатной «субкультуры» с ошметками западной массовой культуры. Даже то, чем прежде был славен город, творческий разум, подменяется его субститутом, прикладной рациональностью, которая суется всюду, куда ее просят и куда не просят, включая самые интимные области жизни человека. Когда слышишь эту безликую особу,

прикладную рациональность, серыми губами выговаривающую серые фразы, в ушах звучит, по контрасту, слово отошедшего крестьянского мира — сочное, хорошо просолненное, певучее и ритмичное, — и думаешь о том, как трудно взвесить все приобретения и потери; и еще о том, что деревенская проза недаром заняла столь большое место в нашей культурной жизни: ей было что сказать в лицо такому городу.

Нет, я не теряю веры в «город вообще». Все надежды я связываю с «невидимым городом», как его назвал Льюис Мамфорд (известный американский историк цивилизации). Никакой мистики здесь нет. «Невидимый город» существует реально, а невидим потому, что растворен в теле современного города. Его не столь уж обширная панорама вряд ли существенно менялась на протяжении веков и даже тысячелетий: в центре его расположен храм, близ которого раскинулась рыночная площадь, где не только торгуют разными разностями, но где, допустим, Сократ может встретить какого-нибудь Калликла и разговориться с ним о последних мусических состязаниях, а где-то рядом, в больших красивых домах, уставленных приборами и книгами, передают, как принято говорить, эстафету знаний, из поколения в поколение наращиваемых и углубляемых. «Невидимый город» — это место, где от мысли до мысли близко (я перефразирую П. А. Вяземского), где достигается такая концентрация духовной энергии, которая делает возможным сохранение и развитие цивилизации; это «дружественный шум других» (Бродель), участвующих, каждый по-своему, в одном и том же «концерте» и восполняющих тонкостями «обращения» некоторую поверхность отношений, неизбежную при скоплении в одном месте множества людей.

«Невидимый город» должен «вытянуть» городскую цивилизацию из того состояния неопределенности, в котором она сейчас находится. В этой связи возникает множество вопросов инженерного порядка, таких, как перераспределение населения, разукрупнение больших городов, новая организация городского пространства. Над этими и подобными им вопросами давно уже ломают голову на Западе; более того, кое-что делается практически, хотя переломить стихийный рост урбанизма, в общем, пока не удастся. Приняв оптимистический сценарий XXI века, можно смело предположить, что нынешние российские мегаполисы покажутся нашим потомкам чем-то экзотическим-кошмарным, как экзотически-кошмарными кажутся нынешним англичанам и французам трущобы Лондона и Парижа времен Диккенса и Гюго.

Но одними инженерными вопросами не обойтись, надо еще вернуть полноту смысла человеческому общежитию, именуемому городом. Это значит — суметь перебросить мостки между частным и общим, между локалиями и универсалиями. Человеку естественно отталкиваться от того, что лежит близко от него, но смысл близкого раскрывается лишь при соотнесении его с далеким, со всем. А в наше время связь всего со всем из метафизической становится еще и физической, грубо материальной: «мое» и «наше», как никогда раньше, попадают в зависимость от того, что происходит по соседству или даже на другом конце света. Поэтому и думая о чем-то своем, узком, приходится, хочешь не хочешь, распахивать окно в «большой мир» и переводить хрусталик глаза в соответствующее положение. А там, в «большом мире», если перейти на язык поэзии, — «всюду простор и нигде не смыкается круг» (воспользуюсь строкою Рильке).

На таком фоне нелепо архаичной выглядит мафиозная круговая порука — последнее выражение и одновременно злая карикатура на круговую поруку крестьянского «мира».



В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



РУССКАЯ МУЗЫКА И ГЕОПОЛИТИКА

Выдающиеся историки Иоганн Густав Дройзен и Якоб Буркхардт были убеждены, что в роли исторического документа музыкальные произведения достовернее письменных хроник¹. Сегодня историк, заявивший подобное, будет заподозрен в пустой экстравагантности. И вовсе не потому, что есть аргументы в опровержение давних суждений. Их никто и не пытался опровергнуть — их просто забыли. С середины прошлого столетия много чего утекло, включая образовательные стандарты, в которых искусство звуков еще не было вытеснено на периферию просвещенности². Сейчас высокая музыка занимает место где-то рядом с балными танцами, среди необязательных виньеток на картинке «образованный человек». Симфонию и оперу разучились слышать и понимать, тем более — извлекать из них культурно-исторический смысл.

Между тем музыка многое может поведать, даже несмотря на массовую раскультированную слуха. Ведь у нее есть что предложить и читающим глазам: во всяком случае, достаточно, чтобы побудить к озадачивающим экстрамузыкальным интерпретациям. В том числе по теме, обозначенной заголовком этой статьи.

¹ См.: Droysen J. G. *Historik* (1851). 3. Aufl. München. 1958. «Чтобы быть эмпирически воспринятой, история должна быть понята», — писал Дройзен (*ibid.*, S. 24). А понять историю (в ее глубинном смысле) дает музыка — «духовное содержание истории». И — *nota bene*: при интерпретации музыки как исторического свидетельства «возможность заблуждения мала» (*ibid.*, S. 96). Что же касается Буркхардта (см.: Burckhardt J. *Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch.* — Gesamtausgabe, Bd. 5. St. /Bln./ Lpg., 1930), то, не выдвигая методологических максим, историк систематически вводит музыкальные реалии и понятия в объяснение общеисторических изменений.

² Оба названных ученых, как, впрочем, еще Макс Вебер или Теодор Визенгруд Адорно, не просто знали, что такое совершенный консонанс или фуга, но учились композиции у видных педагогов или дружили с крупными музыкантами.

Странности музыкальной ономастики

Интересная вещь — перечни сочинений в музыкальных энциклопедиях, если их читать подряд, от начала до конца алфавитно-монографического порядка. Где-то в районе буквы «к» начинает казаться, что все это кем-то ловко придумано. И что этот кто-то был активистом в спорах историософско-геополитического толка. Только непонятно, на чьей стороне.

Так или иначе, но сухие «именные списки» опусов западную классику изображают страноведчески индифферентной. Огрубляя, можно сказать, что Вагнер не видел дальше «Золота Рейна», а Иоганн Штраус — дальше «Голубого Дуная». А если не огрублять, то вот вам оговорки. Только они мало что изменят.

Конечно, И. С. Бах написал «Итальянский концерт» и «Французскую увертюру». И тем не менее остался музыкальным домоседом. Ведь приведенными названиями указывается на общеевропейские жанровые формы¹, сло-

жившиеся в соответствующих композиторских школах в начале XVII века, но никак не на Италию или Францию в смысле самобытного жизненного пространства. Можно вспомнить, что у Моцарта есть «Похищение из сераля» и «Турецкое рондо», и, наворачивая фактологическую статистику на проблему «западно-восточные взаимодействия», усмотреть в зальцбургском гении робкого апробанта ориенталистики. Но моцартовский условно-игровой «Восток» всего лишь отвечает жанровой задаче остранения привычного, и понятно, что композитор не столько «не сумел» проникнуться чужой музыкальной стихией, сколько не собирався этого делать. Или, скажем, у Гайдна есть «Парижские» симфонии, а есть «Лондонские». Но опять-таки не ищите в «Прощальной» или в Симфонии с тремоло литавр вчувствования в города и страны. Гайдн что в Париже, что в Лондоне сочинял симфонии Гайдна, а названы их циклы просто «по месту работы». И так далее.

Ситуация несколько меняется к концу XIX века, но не за счет утраты западными композиторами «автохтонности», а за счет расширения музыкальной Европы. Итало-франко-австро-германское ядро композиторского профессионализма оделось оболочкой новых национальных школ, в которых тоже создавалась главным образом «своя» музыка². Чех Сметана написал «Чешские танцы», норвежец Григ — «Старонорвежский романс с вариациями», финн Сибелиус — симфоническую поэму «Финляндия». И это понятно. Сам о своем не позаботишься, кто о твоём позаботится? Хотя на деле было кому.

Ведь если судить по одним только названиям сочинений, русская классика прямо-таки ломится от обилия чужих музыкальных территорий — так что своя едва помещается. В симфоническом наследии нашего музыкального «всего» — Михаила Ивановича Глинки на единственную «Камаринскую» приходятся две испанских увертюры и торжественный Польский. А в глинкинском манифесте оперной «русскости» — «Жизни за царя» — наиболее эффектен «польский» акт (не случайно танцы второго действия исполняются в качестве отдельных концертных номеров; «русские» же сцены, то есть вся остальная музыка монументальной оперы, «просочились» в сборные концерты лишь в виде нескольких усеченных фрагментов — арий Антонида, Вани и Сусанина, а также хора из эпилога). Вторая опера Глинки, «Руслан и Людмила», — и вовсе географический универсум. Каватина норманна Фарлафа — на одном его полюсе, арабские и турецкие танцы из садов Черномора — на другом.

Парадокс основоположника национальной школы, написавшего «чужеземной» музыки не меньше (если не больше), чем «отечественной», оказался парадоксом вдвойне, поскольку стал нормой. Ближайший последователь Глинки, Балакирев оставил две русские увертюры (против одной глинкинской), зато два масштабных кавказских сочинения (вместо единственной глинкинской Лезгинки из «Руслана»). И хотя Балакирев только один раз (впрочем, все-таки в двух редакциях) музыкально «побывал» в Испании (Глинка, напомню, дважды), зато область западного славянства он освоил шире своего кумира: к глинкинской Польше добавил свою Чехию (в виде симфонической поэмы с соответствующим названием). Другой прямой последователь Глинки, Даргомыжский, начал с «Эсмеральды» (оперы по «Собору Парижской Богоматери»), а закончил оркестровой «Чухонской фантазией». Свое же, этнически-исконное, в оперном жанре представлено полномерно («Русалкой»), а в симфоническом несколько куце и двусмысленно: шуткой-фантазией «Баба-Яга, или С Волги nach Riga».

И далее везде. Бородин в «Князе Игоре» из половецких сцен сделал такой «суперхит», что Игорю, Владимиру Игоревичу, Ярославне, Галицкому, Скуле и Ерошке, хорам путивлян надо очень постараться, чтобы в вокально-сценическом соревновании не проиграть «инородцам». Тот же Бородин с эпическо-почвенной «Богатырской» заставил соперничать оркестровую картину «В Средней Азии». Самые репертуарные симфонические сочинения Римского-Корсакова — «Шехеразада» и «Испанское каприччио», а не обработка «Дубинушки» или «Увертюра на три русские темы». При этом линию на освоение западнославянских территорий Римский-Корсаков продолжил «Фантазией на сербские темы».

Мусоргский как будто менее экстерриториален. Во всяком случае, ни Исландия (незаконченная опера «Ган Исландец»), ни французская «Африка» (также незаконченная «Саламбо»), ни Греция (музыка к трагедии «Царь

Эдип»), ни Ассирия (кантата «Поражение Сеннахериба») в его наследии ведущих позиций не занимают. Только польские сцены в «Борисе Годунове» почти так же роскошны, как польский акт глинкинской «Жизни за царя», и могут соперничать со сценами у Василия Блаженного и под Кромами. Но у Мусоргского есть «Картинки с выставки». А ведь этот фортепианный цикл ни много ни мало — географически-историческая энциклопедия. В нем Германия соседствует с Францией («Гном», «Старый замок», «Тюильри»), новый Запад («Лимож. Рынок») со старым (древнеримские «Катакомбы»), а через польскую деревню («Быдло») и еврейское местечко («Два еврея») западная цивилизация растворяется на русских просторах, представленных, впрочем, только призрачным колокольным звоном в «Богатырских воротах» и хтоническим полетом «русской Валькирии» в «Бабе-Яге».

Для полноты картины вспомним еще одного «кучкиста» — Цезаря Кюи. Список одних лишь его опер — пособие для митрофанушек всех времен. Тут и «Кавказский пленник», и «Сын Мандарина», и «Сарацин», и «Мадемуазель Фифи», и «Матео Фальконе», и еще восемь «заграничных» названий.

Но что Кюи! — фортификация ему, плодовитому композитору и музыкальному критику, но во всем прежде всего генералу-инженеру, удавалась лучше. Не забыть бы о Чайковском. Среди опер петербургского выпускника и московского профессора — «западные» «Орлеанская дева», «Ундина» и «Иоланта» (это в противовес «Черевичкам» и «Мазепе», «Онегину» и «Пиковой даме»); среди симфонических партитур — «Манфред», «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Гамлет», «Итальянское каприччио», «Моцартиана», «Вариации на тему рококо» (не слабые «контраргументы» кантате «Москва»).

А петербургские учителя и московские коллеги Чайковского? Антон Рубинштейн, отметившись в статусе первого российского консерваторского ректора «Куликовской битвой» и «Фомкой-дурачком», не остался чужд «Лалле Рук». Преемник же Чайковского во второй отечественной консерватории (Московской), Аренский «уравновесил» «Сон на Волге» «Налем и Дамянти» и «Рафаэлем» (все это оперы), да еще и балетом «Ночь в Египте». У петербуржца следующего поколения, Глазунова, тоже знаменательный баланс: одна финская и две греческих увертюры против одной русской фантазии и симфонической поэмы «Стенька Разин».

Статистика названий заставляет думать, что отечественные классики за чем-то взяли на себя труд написать музыку за всех¹, включая не только финнов, которым во времена «Чухонской фантазии» Даргомыжского до Сибелиуса было еще далеко, но и немцев, итальянцев, французов. А те-то ведь уже несколько веков как создали собственный пантеон образцовых шедевров и при этом мало помышляли о творческом освоении «иноязычных» интонационных территорий⁴.

Как тут не вспомнить о пресловутой «всемирной отзывчивости» русского менталитета! О ней принято говорить в связи с литературой, хотя, судя по ономастическому ряду, музыка дает для этого куда больше оснований.

Впрочем, имена музыкальных сочинений достаточно сложно соотносятся с их смыслом. Уже упоминались «Картинки с выставки» Мусоргского. Ближайший «перевод» названия указывает на принципиальную неприязнительность авторского замысла (можно думать, отсюда и уменьшительный суффикс): ну, отозвался композитор на вернисаж приятеля виртуозной сюитой из жанровых миниатюр — это вам не «Бориса Годунова» написать. Между тем «Картинки» — не меньше, чем «Борис Годунов». В них, в сущности, вся проблематика творчества Мусоргского уплотнена в сверхмалом объеме (вот чему на самом деле соответствует уменьшительный суффикс).

Но дело даже не в несовпадающих масштабах вербальных и музыкальных образов. Существует их диалог, когда под накатанной колеей слова музыка обнаруживает топь отслаивающихся в культурное бессознательное смыслов. Попытаемся с этой точки зрения разобраться в «территориальных претензиях» русской музыкальной классики.

¹ Французская увертюра — это медленное вступление + быстрая fuga, в отличие от итальянской увертюры, которая строится из разделов «быстро + медленно + быстро». Больше ничего слова «французская» и «итальянская» в названиях, подобных баховским, не значат.

² В странах «нового» профессионализма исключительно «свою» музыку сочиняли по другим причинам, чем в странах «старой» композиторской традиции. Композиторские столицы невозмутимо пребывали в ощущении культурного первенства и поэтому не оглядывались (или оглядывались изредка и снисходительно) на «иноязычные» музыкальные окраины. Напротив, недавно возникшие школы пытались избавиться от комплекса провинциальности и поэтому спешно сращивали «столичную» технику с «родной» интонацией и сюжетикой. Поэтому если немец называл симфонию «Героическая» или «Пасторальная», то чех — «Над Влтавой».

³ В советское время традиционное отечественное стремление творить «чужую» музыку неожиданно получило государственную-идеологическую поддержку и уродливо-естественным образом продолжилось. Когда московские и петербургские выпускники уезжали в столицы Средней Азии, Закавказья, Поволжья, сибирских автономий и там создавали первые оперы и балеты на местном национальном материале, то речь шла и о верности заветам Глинки и Балакирева, и о цивилизаторском патернализме Москвы, и о накачке репертуаром «искусства социалистического реализма, интернационального по содержанию, национального по форме».

⁴ Среди немногочисленных исключений — Лист. Впрочем, Лист, много путешествовавший, бывавший в том числе и в России, «чужую» музыку не столько писал, сколько обрабатывал. Его виртуозные транскрипции глинкавского «Марша Черномора» или алябьевского «Соловья» хорошо известны. Но Лист — это как бы микст новой национальной (венгерской) и староевропейской (франко-германской) традиций: венгр по рождению, он входил в интернациональную элиту западных музыкальных столиц, чувствуя себя здесь «полпредом» молодых композиторских школ. С другой стороны, его «чужая» музыка — дань отчасти эгоцентрическому типу творчества, свойственному романтикам. То есть, скажем, транскрипция «Соловья» означает не проникновение в романсовую меланхолию русского «домашне-светского» общения, а самоутверждение Листа, который смог преобразить непритязательную исходную модель в виртуозный монумент «фортепианной цивилизации».

Почему «Жизнь за царя» не стала популярной оперой

Полярность западной и русской музыкальных ситуаций XIX века проявляется в двух симметричных казусах музыкальной жизни — премьерных провалах «Кармен» Бизе и «Жизни за царя» Глинки.

Бизе — как бы «самый русский» (по «территориальному» размаху) западный композитор. Француз, начавший творческий путь с ориентальных «Искателей жемчуга» (1863), отметивший зрелость «арабской» «Джамиле» (1872), в конце жизни создал «испанский» шедевр — «Кармен» (1875). Ни одна из перечисленных опер успеха при жизни композитора не имела, а парижская премьера «Кармен» и вовсе провалилась с треском. Между тем «цыгано-испанскость» этой оперы — редчайший пример органичного вживания в чужую для автора интонационную стихию (не говоря уж о том, что музыка «Кармен» абсолютно неотразима, а для певцов так и вовсе подарок на все времена). Такой музыкальной Испании нет, пожалуй, и в наследии самих испанцев, а есть такая сочная, подлинная и совершенная Испания, может быть, только у Глинки. А между прочим, кто первым печатно назвал шедевром терзаемую французской прессой «Кармен»? — русский композитор Чайковский в 1880 году.

Глинка в начале творческого пути разрабатывал исключительно «родные» интонационные пласты. Симфонию на две русские темы он не закончил, зато закончил «Жизнь за царя» (1836) — первое и самое высокое из всего отечественного профессионального наследия воплощение русского мелоса. Но премьера оперы, мягко говоря, не вызвала всеобщего ликования. Публика искренне скучала, слушая равнинно-долгие линии крестьянских хором и видя на сцене громадное количество рубах и бород вместо такого же количества пудренных париков и камзолов (или пусть тех же бород и рубах, но условных, пасторальных или богатых, привычных по национально-сувенирным операм Верстовского). Отторжение от всерьез поданного «своего» (при таком выверенном совершенстве и такой духовной мощи композиции, какие заставляют вспомнить о Бахе!) сохранилось в советское время: когда 1939 году «Жизнь за царя» переделывали в «Ивана Сусанина», сочли за лучшее порезать костром-

ские действия и купировать потрясающий московский эпилог, но не польские сцены. При этом у первой оперы Глинки, несмотря на печатно выраженное сочувствие А. С. Хомякова, на популяризаторскую активность Балакирева, на плеяду великих басов, певших Сусанина, так и не случилось популярности, какую снискала-таки «Кармен» по всему миру, — не случилось до сих пор, и даже в собственной отчизне. Почему?

Казалось бы, название и сюжет предельно полно, да еще с мощной ценностной «подпиткой» героической старины выражают тот ментальный комплекс, в общезначимости и живучести которого заставляют верить, например, исторически недавние лозунги-клятвы типа «за родину, за Сталина». Гениальное произведение, отвечающее, казалось бы, такому ясному и неотменимому мотиву национально-государственной самоидентификации, с неизбежностью должно было стать культовым. Но не стало.

То есть сюжет-то в общих чертах знают все. Иван Сусанин (и именно оперный) в мифосознании общества занимает место лишь чуть менее видное, чем киногерои Чапаев или Штирлиц (симптом из школьных впечатлений: преподавательница литературы в ЦМШ, где я училась, прославилась фразой: «У Ивана Сусанина был советский характер»). Но «Ты взойдешь, моя заря» или тем более «Что гадать о свадьбе» вряд ли вам напоят хоть один из десяти соотечественников (это — снова в отличие от «Кармен»: что она там делала в каком акте, мало кто помнит, а вот ее Хабанеру напоят каждый второй, если не первый). Опера словно вытолкнула свой сюжет и героев в культуру «голыми» — без музыки. Она увековечила историческое событие, сама оставшись в стороне. И вместе с нею в стороне (в неосознаваемой глубине) осталось то, что культуре, видимо, не слишком хочется знать о себе самой. Например, то, как на внешнеидеологическом, внепонятийном уровне (а его-то музыка и ухватывает) противостоят «Русь» и «Запад». А «противостоят» они таким странным образом, что никакого однозначного отвержения «врагов» и выбора в пользу «наших» нет. На фоне музыкальной истины, выраженной Глинкой, название оперы словно присоединяет к себе вопросительный знак.

Музыкальная демаркация между русскими и польскими сценами прочерчена контрастом танцевальности и распевности. При этом танцы поляков 1612 года — узнаваемо-балльные, те, какие давно стали своими в российском свете (и просто в городской среде) к 1830-м. Поданы полонез, краковяк, мазурка с таким великодушным размахом и артистическим блеском, а хор вплетен в танцевальную ткань с такими остроумием и изобретательностью, так лихо и филигранно точно, что картина «вражеского стана» вызывает восторженное восхищение. Не забудем также, что танец включает ассоциации раскрепощенности: вольного игрового движения, свободного расположения себя в пространстве — ценностей, которые не могут не манить. И хотя в финальном действии поляки, поющие в заснеженной глухомани в прихотливом ритме мазурки, делаются как бы онтологически неуместны («нарубленная» на краткие отрезки танцевальная мелодия, которую вынужден через силу интонировать замерзший хор, служит знаком того, как «задыхаются» чужаки, попав из сияющего бального зала в темный лес), роскошь свободы из первых польских сцен этим конвульсивным отзвуком бальности не стирается полностью (поляков отчасти даже жалко).

Теперь о русской распевности. Она коренится не только в крестьянских протяжных песнях, но и в знаменном пении православной церкви². Отсюда аскетически-неэффективный характер партии старшего Сусанина, отсюда же медлительное, без подчеркивания структурных вех, чуть ли не аметричное развертывание хоровых линий. Такой распев требует от восприятия интровертивности, когда взору устремлен внутрь-ввысь, в неочевидно-умозримое. Собственно, именно поэтому в театральных условиях русские сцены кажутся «монотонными». На них лежит груз послушания и долга, давящий на темп и пластику. Если поляки раскованно танцуют и поют, то русские поют и монументально стоят. Эта статика не есть простое отсутствие движения — она есть отрицание движения, отрицание императивное: так, переступив порог храма, необходимо отбросить суетные помыслы.

Между прочим, имя главного героя в рукописи Глинка сокращал так: ИСус. Кроме того, старшему Сусанину, согласно пометкам композитора,

33 года (при ранних крестьянских браках у него вполне может быть дочь на выданье). Стоит отметить и то, что в предсмертной арии Ивана Сусанина на словах «мой крестный путь» звучит идущий от средневековой аллегорической мотив креста, а дети оплакивают Сусанина на фигурах неутешного рыдания, что роднит оперную партитуру Глинки с духовно-ораториальной традицией³. Еще: когда глинкинский ИСус ожидает своей мученической кончины, его приемный сын и полный тезка мчится к монастырю и стучится в ворота церковной обители, где укрывается будущий царь (это — выраженные действием слова: «Отче, для чего ты меня оставил?»). И еще: русские сцены оперы выстраиваются в сплошной церковный обряд — события начинаются в преддверии венчания дочери Сусанина Антонида с Богданом Собининым, заканчиваются венчанием первого Романова на царство, а «медиатором» между семейным и государственным венчаниями становится «терновый венец» главного героя.

В музыке «Жизни за царя» сталкиваются балет и литургия, театр и храм, светское и религиозное, замаскированные под сюжетных «врагов» и «наших». Музыка так трактует сюжет, что поляки (то есть носители западного начала) становятся как бы «мирянами» Руси, русские же — ее «клиром». «Запад» соотносится с «Русью» как реальная история со священной. Но жить одной лишь священной историей нельзя. Поэтому «Русь» — тоже «Запад», по крайней мере тогда, когда из сусанинского рода-народа превращается в государство.

В эпилоге (в восстановленном полном виде он звучит в Большом театре с 1989 года) сусанинские дети поют величественно-скорбное трио, оплакивая отца. В шемющем контрасте с аккламациями троицы сирот (из которых один, напомним, — полный тезка свершившего подвиг отца, то есть как бы воскресший ИСус) оперу завершает знаменитый торжественный хор воцарения Романова: гимническая государственная самоидентификация оканчивается воздвигнутой на «слезе ребенка» как своего рода светский, «западный» этатизм.

И вот что симптоматично: при купировании оперы упорно выбрасывают именно это горестное трио — очевидно, бессознательно стремясь к тому, чтобы ликование заключительного хора не отзвучивало монументальным бессердечием. Не хочется, чтобы в победной концовке оперы на «главную», национальную, тему разверзлась этическая пропасть. Не хочется заглядывать в самих себя — в проблему выбора между одинаково важными «западными» и «русскими» ценностями (они же — ценности «мирские», то есть государственная мощь, и «священные», то есть народное страдание), раз эту проблему невозможно решить.

Глинка гениально (как композитор) и точно (как историк) завершил «Жизнь за царя». И именно поэтому, думается, его опера не нашла в отечестве подлинной популярности. Зато нашел ее «Князь Игорь» — опера, автором не завершенная.

¹ Вспомнить об И. С. Бахе необходимо еще и потому, что Глинка брал уроки композиции у его «внучатого» ученика З. Дена. Многие в «Жизни за царя» (написанной как раз по возвращении в Россию после занятий с Деном) — от впитанной в Германии традиции духовных кантат и пассионов. В частности, Глинка инкрустировал в партию Сусанина и его детей особые мелодические обороты — так называемые риторические фигуры, имевшие в баховские времена символический «перевод».

² Фактически Глинка перенес на театральную сцену традицию духовных концертов и церковного музыкального обихода. Само обилие хоров в «Жизни за царя», абсолютно не свойственное западным операм, как и операм российских предшественников Глинки, заставляет думать о литургической природе его композиции.

³ Опора на западный опыт церковно-ораториальной музыки не случайна. Дело не просто в том, что Глинка — по пройденной им композиторской школе — оказался «правнуком» И. С. Баха. В конце жизни композитор мечтал «повенчать» мессу со знаменным пением. Глинка думал о музыкально-духовном синтезе католических и православных традиций богослужебной музыки и отчасти осуществил его уже в «Жизни за царя». В этом свете особенно проблематичен (не в сюжете, а в музыкальной ткани оперы) «вражеский» статус католических пришельцев.

Почему «Князь Игорь» стал популярной оперой

Бородин работал над оперой «Князь Игорь» около восемнадцати лет: с 1869 до самой кончины. То, что партитура осталась незавершенной, объясняют занятостью ученого-химика, профессора, заведующего кафедрой. Однако другие достаточно крупные произведения, писавшиеся в этот же период, Бородин закончил (кроме едва начатой Третьей симфонии). Да и оставшихся набросков и готовых сцен «Игоря» наберется минимум на полторы оперы. Словом, внешние обстоятельства могли мешать сочинению, но в искусстве все определяют обстоятельства внутренние. Видимо, само произведение, как его задумал Бородин, «не завершалось». Видимо, сам замысел оперы предопределял невозможность финала.

Мы свыклись с этой оперой (в редакции Римского-Корсакова и Глазунова). Но, если подумать, она достаточно странная. Начнем с того, что в ней пять низких мужских голосов — четыре баса и баритон. Оперная норма — максимум два баса (а лучше один). Ведь бас — голос фундаментальный, ниже его тесситуры нет ничего, он — «твердь», на которую опирается аккордовая вертикаль. Бас надо экономить, поскольку он (семантически) слишком сильная величина. В «нормальных» операх басом поют воители и правители, персонажи опорные, главные, а их не может быть много.

А если их так много, как у Бородина, значит, дело не в ролевых характеристиках. Дело — в целостном звукообразе. Чтобы понять — каком, вспомним, что знаменный распев исполняется низкими мужскими голосами. Так что перед нами символ литургический — твердыни из твердынь, несокрушимой православной державы. Допустим на момент такую интерпретацию, ведь она отвечает образу Руси в национальном сознании.

Но допустить не получается. Во-первых, что происходит на сцене? Игорь самонадеянно идет «испытать шелоном Дона», не обращая внимания на Божье знамение — затмение солнца. Далее своевольный князь теряет дружину, попадает в плен, бежит оттуда (отчасти обманув доверие Кончака), возвращается в разграбленный родной город — к жене, едва не сделавшейся жертвой предателей, к народу, терпящему непосильные лишения. Возвращается практически ни с чем, кроме неутраченной харизматичности (ее хранит баритоновая тесситура).

Во-вторых (и это более важно), в распределении ролей все басы — либо враги, либо изменники, либо жалкие бесхребетники: ханы Кончак и Гзак, разгромившие русское воинство, разгульный негодяй Владимир Галицкий, метящий в самозванные правители Путивля, наконец, один из скоморохов, трусливо мечущихся между выгодой служить Игорю или Галицкому. Напротив, высокие или относительно высокие тесситуры расположены на «русском» фланге: Игорь — баритон (похоже, его военные неудачи — от недостатка «басовости»), его сын — тенор, помогающий Игорю бежать из плена крещеный половчанин Овлур — тоже тенор. Аналогично обстоит дело с женскими партиями. Кончаковна — контральто; Ярославна — сопрано, няня Ярославны — тоже сопрано.

Итак, с одной стороны, сползший в басовую сферу баланс вокальных регистров — знак вечной прочности национально-исторической почвы. С другой стороны, этот же заглубленный регистровый строй означает враждебных степняков (или «своих», но предателей). Образ Руси как бы раздваивается: он велик, он прочен — «нерусью». А поруган он — «своими».

Даже если сказанное — слишком «крутая» интерпретация, существует по меньшей мере художественная паритетность русской и половецкой музыки: ни одна из них не бледнее другой¹ и не короче. Взвешено, как на аптекарских весах, хотя влед за Глинкой Бородин заставил «врагов» преимущественно танцевать, тогда как «своих» — петь. Однако певческое и танцевальное начала в опере Бородина не противостоят так, как у Глинки. Ритмика «русских» хоров достаточно упруга: хотя хористы и стоят, их движение слышно — музыкально они «идут». (Большая раскрепощенность «половецкой» ритмики, подтвержденная балетным действием, означает лишь специфически «степную», «неоседлую» — скорее конную, чем пешую, скорее связанную с набегами, чем с пахотой, — энергетику.) Путивляне «идут» в своем пении, однако, туда, где пели глинкинские крестьяне. Хоровой распев в «Жизни за царя» настоян на

аскетической дисциплине сосредоточенной молитвы; пение дружины Игоря, бояр и горожан — на преображенном в хоровой гимн колокольным звоне (послушайте хор бояр «Нам, княгиня, не впервые» — это ведь чистая колокольность); путивляне «идут», следовательно, призываемые колоколом в храм. Но «путают» его с полем битвы и со станом язычников. А здесь вместо сублимированных в хоровое звучание колоколов — лязганье мечей, подтвержденное плясовым топотом: другой, воинственный, металл. Это взаимопроникновение музыкально-драматургических символов подтверждается и на прочих слоях музыкальной ткани. Внимательный анализ удивляет тем, что «русская» музыка «Князя Игоря» гармонически, мелодически и даже ритмически не так уж далека от «половецкой». Хроматических «варваризмов» в виде нетрадиционных аккордовых структур достаточно и в партии Игоря, и в хорах путивлян. А в «Плаче Ярославны» изысканные украшения мелодии (их функции — изображать дрожание рыдающего голоса) напоминают о партии Шемаханской царицы из Корсаковского «Золотого петушка».

Именно взаимозависимость «восточной» и «славянской» музыки не позволила ни одной из них в финале возобладать. А значит, не позволила состояться самому финалу оперы. Ведь в последней сцене эпического повествования о сражениях «наших» с «не нашими» кто-то должен торжествовать (лучше — «наши»). То, к чему мы привыкли на театре, — а именно: к редакции Римского-Корсакова и Глазунова, в которой заключительный хор как ни в чем не было славит «аварийного» князя, — явная натяжка, попытка сохранить верность стереотипу финальной здравицы, заложенному в «Жизни за царя» (и многократно воспроизведенному, с более «прозрачной», чем в первой опере Глинки, семантикой, в сказочных операх: у того же Глинки в «Руслане» или у Римского-Корсакова в сочиненных к началу редактирования «Игоря» «Майской ночи» и «Снегурочке»). Но в «Жизни за царя», как бы там ни было, западные завоеватели остались в непролазном болоте, куда — себе на мученическую смерть — завел их русский ИСус, а в «Князе Игоре» в восточных топях у реки Каялы полегло славянское воинство, в то время как заведший их туда князь благополучно бежал из плена (вообще Игорь у Бородина — это отчасти «перевертыш» глинкинского Сусанина). Впрочем, не менее сомнительна попытка вывести в концовку один из эскизов Бородина — свадьбу Кончаковны и Владимира Игоревича. В этом случае (см. редакцию, идущую в Большом театре с 1993 года) опера завершается половецкими танцами, что (если даже придерживаться евразийских воззрений) все-таки как-то чересчур.

В незавершенности бординского «Игоря» схвачена сущность отечественного геополитического менталитета, а именно — постоянно воспроизводящаяся российская невозможность определить «путь развития», невозможность выбрать между «своими» и «чужими» ценностями², а также, что не менее существенно, невозможность их объединить. Выбора нет, хотя выбирать приходится: так, вероятно, надо понимать восемнадцатилетний срок непрекращавшейся работы над «Князем Игорем». А может быть, потому «Игорь» остался чуть не наполовину горой набросков, что автор в конце концов решил не выбирать, раз уж выбора нет, раз при существующей постановке задача не имеет решения?

Но оперу завершили. Бординская музыкальная артикуляция геополитической проблемы России была предана забвению. И «Князь Игорь» смог обрести популярность.

Первым завершал «Игоря» Римский-Корсаков (он поставил на театре свою редакцию в 1890 году). Мастер такого ранга не мог пройти мимо имманентных трудностей компоновки бординского материала. Иногда думается, что сомнения в сделанном томили композитора всю жизнь. Во всяком случае, как своеобразную попытку «пересочинить» «Игоря» и найти убедительный финал (при той же музыкально-драматургической проблематике) можно рассматривать последнюю оперу последнего «кучкиста» — «Золотой петушок».

¹ Можно утверждать, что Бородин был первым русским композитором, который не просто воссоздал (убедительно стилизовал) «восточную музыку», но — без всякого цитирования (да и о каком цитировании может идти речь применительно к исчезнувшему народу?) — создал «музыку Востока». Он создал ее сам, без всяких

этномузыкальных штудий. Это, конечно, фантастика. Но только не было бы никакого «Танца с саблями», вообще никакого вхождения «восточности» в мировой репертуар, если бы не половецкие сцены «Князя Игоря».

² Глинка-то выбор делал — идеологический, как положено православному, славянофилу и монархисту. Композитор, в совершенстве владевший ремеслом, он смог почти вплотную подогнать музыку под этот выбор — выбор поверхностно-рациональный, создающий видимость твердой позиции над пропастью коллективно-психологической проблематичности. Он смог танцующих поляков, восхищающих своей непринужденностью, хотя бы отчасти преобразить в надрывисто (обрывающимися фразами) кашляющих от мороза жалких злыдней. Композитор гениальный, он все же не дал музыке отождествиться с сюжетом и поставил под сомнение финальное хоровое торжество, предварив сцену воцарения Михаила рыданиями никому не нужных потомков Сусанина. Бородин же выбора не сделал ни на уровне музыки, ни на уровне сюжета.

Что означает «непушкинский» эпилог «Золотого петушка»

Равновеличие «своего» и «чужого», их взаимозависимость-взаимоотталкивание — такова позиция 1869 года, когда Бородин начал работу над «Игорем». В 1907 году, когда Римский-Корсаков закончил «Золотого петушка» (по Пушкину), отношение к «родному» определяется словом «срам», а к «иноземному» — «краса ядовитая»¹. Тоже паритет, но уже отрицательный. Проблема выбора снимается, так как выбрать не из чего.

Глинкинский крестьянин, победивший герой-мученик, «вывернувшись» у Бородина в побежденного князя (героя? мученика?), еще раз «выворачивается» в последнем сочинении Римского-Корсакова и превращается в бездарного и склеротического царя, который любовное признание поет на мотив «Чижика-пыжика». Бородинский Кончак, собравший в себе роскошную раскрепощенность глинкинских иноземцев в «вывернутой» форме великодушного победителя, у Римского-Корсакова еще раз «выворачивается» и становится коварной и обольстительной восточной царицей, которая поет: «Хи-хи-хи, ха-ха-ха, не боюсь я греха!» Великая заря Руси, которой в предсмертной арии ожидал Сусанин, стала в «Игоре» вещим затмением солнца, а в опере Римского-Корсакова превратилась в волшебного Золотого Петушка, лучащегося над Додоновым градом, но вместо предупреждения об опасности вначале усыпляющего бдительность («Царствуй, лежа на боку!»), а затем и вовсе действующего как десница карающая (Петушок клюет незадачливого Додона в темя).

Скрытое музыкальное родство, которое под покровом идущей от Глинки антитезы распевности/танцевальности объединяло у Бородина путивлян и степняков, уступает место резкому противопоставлению. И снова выворачивание наизнанку: теперь моторная, «ножная» ритмика стала характеристикой русского мелоса (Додон, его воевода Полкан и сами народные хоры поют лаконичными фразами, уложенными в жесткие квадратные структуры, то есть как бы все время маршируют), а дыхательная ритмика, певчески свободное дление фразы принадлежат чужестранной царице.

Более того, демаркация между «своими» (превратившимися в совершенно «чужих») и «чужими» (полностью узурпировавшими «наши» определения) прочерчена самым убийственным, какой только доступен искусству, штрихом. Русские партии предельно примитивны. Когда хор, славя Додона, поет: «Без тебя бы мы не знали, для чего б существовали; для тебя мы родились и семьей обзавелись», то мелодия цепляется за аккордово-ритмические «столбы», не в состоянии сама сделать ни шагу. Зато партии Шемаханской царицы и Звездочета (он — медиатор между нею и Додоном, поэтому его музыка квадратно-метрична, как у русского царя, но изысканно-хроматична, как у восточной царицы) изобилуют и композиционными сложностями, и исполнительски-вокальными. И эти сложности не просто есть — они выставлены напоказ, как нечто болезненно-неестественное. Достаточно сказать, что Звездочета (по Пушкину — скопца) должен петь альтино — напоминание о раннеоперной традиции виртуозного солирования кастратов, которое уже в XVIII веке казалось чем-то извращенным.

Кстати о распределении тесситур. «Половецкие» басы на сей раз сосредоточены в русском граде; напротив, «путивльские» высокие голоса — в стане

«врагов». Единственный высокий голос, звучащий в русских сценах (до появления при дворе Додоны Шемаханской царицы), — предательский голос Петушка. Между прочим, голос этот переключается с голосом плачущей Ярославны: подобно княгине, которая кличет с высоты крепостной стены, Петушок кричит с башни городской ограды.

Ярославна сходит вниз, чтобы приветить вернувшегося князя; Петушок слезает вниз, чтобы наказать глупого царя. (В том же ключе воспринимается аналогия «Ярославна — Шемаханская царица».) Соответствием же заключительной здравце, которой Римский-Корсаков закончил оперу покойного друга, становится инфантильный хор «осиротевшего» народа и провал в тартарары Додонова царства на затемняемой сцене.

Самое же интересное — эпилог, который композитор и либреттист В. И. Бельский добавили к пушкинскому тексту. (Сделано это было, как считается, из опасения цензурных преследований. Но внехудожественные причины появления эпилога не так важны, как его смысловые последствия.) Звездочет перед опустившимся занавесом поет на том самом лейтмотиве, на котором он дарил «нашим» коварную птицу: «Только я лишь да царица были здесь живые лица, остальные — бред, мечта, призрак бледный, пустота...»

Что это значит? Во-первых, новое дарение очередного Петушка, который в первом действии повторял утешительное «Царствуй, лежа на боку». И теперь публике снова предлагают утешиться — очевидно, до очередного поклова в темя. Во-вторых, о собственном исключительном статусе «живого лица» поет заведомо сказочный персонаж, и поет принципиально «нестественным», «потусторонним» голосом, тем самым создавая семантический тупик типа апории «Лжец». В-третьих, оказывается, что «живых лиц» во вроде бы воспроизводимом Звездочетом противопоставлении «родного» Додонова царства и «чужой» «Шемаханской земли» вообще не найти. А это значит, что и само противопоставление отжило.

* * *

Итак, привычная форма национальной самоидентификации — оппозиция «свое — чужое» (при том, что в роли «чужого» выступал как Запад, так и Восток) — в русской музыке маялась, маялась, все никак не находя в себе определенности и плодотворности, да и отмаялась. И если в 1907 году в последней классической русской опере художественная смерть ментальной парадигмы (идеологически вполне процветавшей — хиреть она стала, может быть, только теперь, в последние дни 1994 года) еще кажется страшной (все же — финальное затемнение на сцене, то есть возврат к затмению солнца, которое в начале оперы Бородина предрекало бедствия Путивлю), то в 1910 году в первом русском модернистском балете — в «Жар-птице» (кстати, название — почти синоним «Золотому петушку») — ученика Римского-Корсакова Стравинского, а тем более в 1913 году (его же балет «Весна священная»²) существует уже совершенно спокойное отношение к изжитости этой парадигмы. Национальная фольклорная архаика так мощно эстетизирована Стравинским, ее своеобразная ритмогармоническая терпкость подчеркнута с таким наслаждением, что, можно сказать, композитор открыл в русской музыке территорию Тропической Африки, при этом ни на шаг не сойдя со своей родной интонационной почвы. То, что делали классики XIX века, сочиняя музыку «за всех», — расширяли собственную музыкальную державу (чтобы все время мучиться зыбкостью ее границ, аморфностью ее структуры), — Стравинский сделал на родной земле. Он расширил русское, не выходя из него вовне. И это стало итогом «геополитического» поиска отечественной музыкальной классики.

Во всяком случае, современные композиторы повторяют путь Стравинского. Они «приращивают», не выходя из его пределов, «родное», «приращивают» не в пространстве, а во времени и в отношении к времени.


Сейчас в отечественной музыке назревает то, что можно было бы назвать реконструктивной революцией: возрождается доглиннинская, более того — доновременная традиция (а она не рефлексировала собственную «географическую» определенность, поскольку была традицией богослужебной) — возрождается в единстве со всем, что было после нее³. В качестве ведущей идеи творчества возникает — на месте геополитической горизонтали — историческая

вертикаль. Возможно, так музыка нашупывает новые мотивы национально-государственной самоидентификации. А возможно, предсказывает грядущую бессмысленность таковой (будет ли с чем и кому идентифицироваться?), оставляя нам надежду лишь на память о странном и великом соединительно-разъединительном пространстве между Западом и Востоком, которое называлось «Россия».

¹ Прочитрованы слова Римского-Корсакова: «Додона надеюсь осрамить окончательно» (Римский-Корсаков. Собр. соч. Т. 7. Литературные произведения. М. 1970, стр. 412); музыковед Б. В. Асафьева и композитора М. Ф. Гнесина о Шемаханской царице: «ядовитая, возбуждающая греза», «Краса Наказующая» (цит. по кн.: Кандинский А. И. Римский-Корсаков. М. 1984, стр. 197 — 198).

² Кстати, речь идет именно о балетах, не об операх: вспомним, что в русских операх танцевали главным образом чужеземцы-враги, в балетах же Стравинского — сплошь «свои», и притом с фольклорным «знаком качества».

³ Пример, показательный не менее, чем для XIX века «Картинки с выставки» Мусоргского или «Жизнь за царя» Глинки, или, точнее, оба произведения вместе взятые, — вокальный цикл Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» (1977). В нем переплавлены практически все значимые слои отечественной музыкальной традиции, и драматургически этот сплав разворачивается от «прощания с Русью» (как в колокольном звоне былинных «богатырских ворот» Мусоргского) к «встрече с Русью» (как в финальном гимне оперы Глинки). Причем то и другое дано практически одновременно — в концентрате двух последних номеров цикла. И еще пример — «Плач пророка Иеремии» Владимира Мартынова (1991 — 1994). Различные варианты православного богослужебного пения сплавлены композитором в целостность, которая поражает совершенно новым отношением к музыкальному времени: практически неподвижное на протяжении всей громадной композиции (Мартынов положил на музыку весь текст библейской книги), постоянно повторяющее как бы одни и те же события и диспозиции (подобно русской истории), к финалу сочинения это время, как выясняется самым неожиданным образом, не просто «шло», но и «прорвалось» в абсолютно новое качество. Слушательское потрясение, граничащее с прозрением, трудно поддается описанию. Оба примера, разумеется, требуют отдельных и объемистых анализов, которые могли бы стать предметом статьи под предположительным названием «Музыкальная симптоматика российской перспективы».



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИРИНА СУРАТ

*

«СТОИТ, БЕЛЕЯСЬ, ВЕТИЛУЯ...»

В самом конце прошлого века, когда вышел спор между Владимиром Соловьевым и Василием Розановым о значении Пушкина для нового времени, аргументом в этом споре Соловьев избрал не очень известное, не законченное и не вполне оригинальное пушкинское стихотворение «Когда владыка ассирийский...», представляющее собой краткий пересказ первых глав библейской Книги Юдифь. К образам этого отрывка прибег Соловьев, чтобы продемонстрировать Розанову серьезную и строгую духовную высоту пушкинской поэзии, которой тот якобы не хотел видеть¹. С тех пор почти не писали об этих стихах, относя их к разряду переводов и подражаний². Но вспомним, что Пушкин принялся за перевод из Юдифи в ноябре 1835 года — в том году стихи уже наперечет и среди них нет случайных, а через несколько месяцев, летом 1836 года, создается каменноостровский лирический цикл, воспринимаемый как итог внутреннего пути поэта. Все это заставляет подойти со вниманием и к «Юдифи», задуматься о ее месте в поэзии Пушкина последних лет.

При обилии цитат из Писания, различных отсылок и скрытых аллюзий у Пушкина совсем мало собственно переложений библейского текста — это подражания Песни Песней («В крови горит огонь желанья...» и «Вертоград моей сестры...», 1825), «Пророк» (1826), вольно варьирующий несколько стихов из Исаяи, и, наконец, переложение Юдифи. Вероятно, сам жанр стихотворных переложений Библии, столь популярный среди поэтов пушкинского времени, не казался ему художественно оправданным, чем отчасти объясняются его иронические отзывы о библейских стихах В. Кюхельбекера и Ф. Глинки. Отчего же зрелый Пушкин вернулся к этому жанру и отчего остановил свой выбор на ветхозаветной неканонической книге, в которой повествуется о том, как красивая и благочестивая вдова Юдифь, жительница иудейского города Ветилуи, спасла свой город от вторжения ассирийского царя?

В библейском образе Юдифи, в ее прославленном подвиге есть некий нравственный парадокс: действуя во имя Божие, она путем коварного обмана проникает во вражеский стан, оболыщает ассирийского военачальника Олоферна, во время ночной вакханалии отсекает ему голову мечом и тем добивается победы для отчаявшихся было жителей Ветилуи. Можно предположить, что Пушкина заинтересовал этот драматичный, острый сюжет, в котором смешано героическое, ужасное и эротическое, что его привлек сильный женский характер, подобный тому, какой привлек его в Клеопатре, но все это не имеет значения в разговоре об отрывке «Когда владыка ассирийский...». Дело в том, что Пушкин до сюжета не дошел, Юдифь у него не упомянута, а 35 стихов его перевода с церковнославянского дают лишь пролог к действию, но в этой от-

Работа выполнена в рамках проекта, финансируемого Международным научным фондом

¹ Соловьев В. С. Особое чествование Пушкина. — В кн.: Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М. 1991, стр. 308.

² Исключение составляет содержательная работа Э. В. Слинной «Неоконченное стихотворение Пушкина „Когда владыка ассирийский...“», впервые опубликованная в 1981 году и впоследствии перепечатанная в ее книге «Лирика Пушкина 1820 — 30-х годов. Проблемы становления личности поэта» (Псков. 1990, стр. 61 — 70).

крывающейся экспозиции прочитывается свой сюжет, лаконичный и выразительный, организованный глубоким лирическим подтекстом.

Ход событий Пушкин предельно сокращает, сжимая первые три главы Книги Юдифь в одно четверостишие:

Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил...

Эти четыре кратких стиха, в которые преобразован разветвленный и детализированный библейский рассказ, вполне убеждают, что не задача перевода лежала в основе замысла. Скорее мы имеем дело с характерным для позднего Пушкина случаем отстраненной повествовательной лирики, когда заимствуемый материал становится вмеситищем личных чувств (из стихотворений того же 1835 года — «Поредели, побелели...», «Странник», «Родрик», «Кто из богов мне возвратил...»). Пушкин вольно обращается с текстом Юдифи, что не мешает ему воссоздать самый дух Библии. Дальше он не только сокращает действие, но и упрощает поведение иудеев, приводит его к емкой мотивировке, в которой дана нравственно-религиозная характеристика народа Израиля — характеристика, не переведенная из Писания, но выработанная самим Пушкиным как итог изучения библейской истории:

Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в Бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израил выи не склонил...

В оригинале иудеи ведут себя не так однозначно: они действительно не склоняются перед Олоферном, готовятся к обороне города, но и ропщут, и поговаривают о сдаче, и даже вступают в некую торговлю с Богом — дают Ему пятидневный срок на то, чтобы спасти их, за что Юдифь упрекает их в малодушии и маловерии. Пушкину все это не важно. Он обобщает ситуацию и выделяет главное в ней: противостояние царства духа и царства кесаря, духовной силы с одной стороны — и мирской власти с другой. В 1834 — 1836 годах эта коллизия стала жизненно важной для Пушкина, что отразилось в каменноостровских стихах 1836 года — «Мирская власть», «Из Пиндемонта», «Памятник». Если приглядеться, то окажется, что переводной отрывок из Юдифи связан с каменноостровским циклом и с другими пушкинскими лирическими стихами рядом тонких, но прочных нитей, и через эти переклички, скрытые или очевидные, выявляется в нем лирическое наполнение библейской темы.

«Высок смиреньем терпеливым...» — эта формула идеального нравственного поведения не сразу вышла из-под пушкинского пера. Черновик показывает, что Пушкин искал ее долго — как будто не только для героев, а и для себя самого. В первом варианте народ Израиля противостоит захватчику «презреньем хладным», затем «терпением хладным», затем он становится «могуч смиреньем терпеливым» и, наконец, «высок смиреньем терпеливым» — выразительный ряд. Так же сочетаются смирение и терпение в написанном вскоре каменноостровском стихотворении «Отцы-пустынники и жены непорочны...»:

И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Перелагая великопостную молитву Ефрема Сирина, Пушкин «смиреномудрие» превращает в «смирение» и таким образом приближает текст к той формуле нравственной высоты, которая найдена в «Юдифи» для характеристики иудеев, — только здесь эта формула перенесена в сферу личной духовной жизни.

В поэтических декларациях прежних лет не смирение, а гордость фигурировала у Пушкина как неперемнное качество идеального поведения, как основа нравственной позиции героя-поэта перед лицом мира: «Гордись и радуйся, поэт: / Ты не поник главой послушной / Перед позором наших лет» («Андрей Шень», 1825), «К ногам народного кумира / Не клонит гордой головы»

(«Поэт», 1827), «Гордись: таков и ты, поэт, / И для тебя условий нет» («Езерский», 1832 — 1833). Смирение, напротив, вплоть до последних лет появлялось часто в условном, даже ироническом контексте и, уж во всяком случае, не служило нравственным ориентиром. Пожалуй, только в восьмой главе «Евгения Онегина», где слово «смиранный» акцентировано, намечается некоторая переоценка смиренности в противовес гордости, но это происходит в нравственной плоскости, без религиозного углубления. В переложении Юдифи смирение и гордость определенно меняются местами: смирение осмысливается как признак укорененности в вере, а гордость, «горделивость» отдаются врагу народа Божия, который знает только земного владыку и потому обречен на поражение. Пушкинский сюжет соответствует евангельскому закону: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4: 6; 1 Пет. 5: 5), но для Пушкина этот закон надконфессионален — он проецируется на эпизод из истории иудеев. Впрочем, и в тексте Книги Юдифь есть параллель к евангельской максиме — в том месте, до которого Пушкин не дошел в своем переводе: сыны Израиля «возопиша, глаголюще: Господи Боже небесе, призри на гордыни их и помилуй смирение рода нашего» (6: 19). Пушкин осмыслил это противопоставление и придал ему сильное звучание. Ведь, казалось бы, наоборот: смиренный смиряется перед силой, а гордый не клонит выи, так и было прежде у Пушкина («К ногам народного кумира / Не клонит гордой головы») — но это справедливо в плоскости человеческих отношений, без вертикали, без Бога. Если же есть вертикаль, то все иначе: гордыня греховна, а смирение перед Промыслом дает силы не склоняться перед земным врагом. «Израил выи не склонил» — сам этот отрицательный жест не раз встречается в пушкинских произведениях: так говорится о поэте в уже цитированных «Андрей Шенье» и «Поэт», так говорится о Москве в «Евгении Онегине» («Нет, не пошла Москва моя / К нему с повинной головою»). Этот характерный повторяющийся мотив приходит в стихи из личного опыта: не клонить головы, не гнуть шеи всегда было для Пушкина неизменным условием нравственного достоинства, а в последние годы, когда он оказался в сложном положении при власти, эта тема и в жизни приобрела особую остроту, и в поэзии — особую значимость. Она звучит в двух каменноостровских стихотворениях, закрепляющих итоги жизни: «Для власти, для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...» («Из Пиндемонта»), «Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа» («Памятник»). Это сказано о себе, в «Юдифи» та же метафора применена к народу Израиля, но применена от себя — соответствующих слов нет в церковнославянском тексте. Таким образом, давая в этой строфе характеристику иудеям, Пушкин не столько переводит библейскую книгу, сколько формулирует нравственный идеал, в который входят смирение, терпение, крепкая вера и непреклонность перед властителями.

В Книге Юдифь конфликт иудеев с Олоферном носит религиозный характер. Иудеи прежде всего борются за веру, они защищают свои святыни — Иерусалимский храм, сосуды и жертвенник. И противостоят они Олоферну не силой оружия («Се бо люди, в них же несть силы, ниже могущества ко ополчению крепкому» — 5: 23), а силой веры. Пушкин извлекает эту суть из повествования, освобождает ее от подробностей, и хотя местами он почти дословно переносит в стихи библейский рассказ, но с изменением пропорций и сам сюжет у него меняется, приобретает более четкий рисунок: народ, крепкий верой, обращает в трудный момент свои мольбы к Богу и в ответ получает покровительство:

Во все пределы Иудей
Проникнул трепет. Иерей
Одели вретищем алтарь;
Народ завыл, объятый страхом,
Главу покрыв золой и прахом,
И внял ему Всевышний Царь.

Дальнейшее торжество иудеев над врагом предстает результатом их союза с Богом — собственно, это и есть тема пушкинского отрывка. И воплощается это чисто духовное торжество не событийными ходами, как в библейской книге, а через центральный образ стихотворения:

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным;
Стеной, как поясом узорным,
Препоясалась высота.

И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Пушкинская Ветилуя — образ огромной религиозно-культурной глубины и одновременно очень личный, непередаваемый, неявно соответствующий главным темам его поздней лирики. На фоне предшествующего вполне реалистического описания скорби иудеев этот образ выглядит более чем условно, топографически неправдоподобно. В самом деле, можно ли зримо себе представить врата ущелий, замкнутые замком, и высоту, стеной препоясанную? Пушкин использует некоторые детали библейского рассказа («И проходы горней заключиша, и оградиша стенами всякий верх горы високия» — 5: 1), но лишает их эмпирической конкретности — смысловое пространство стихов сильным лирическим движением переводится из историко-событийного в метафизический план. Пушкин словно угадал гениальным поэтическим чутьем значение еврейского слова «Ветилуя» — «дом Божий»³ — и создал образ Небесного Града, уникально сочетающий символику духовной высоты и материализованной прочности, образ, навеянный чтением Писания, но сотворенный из собственного внутреннего опыта.

В Книге Юдифь Ветилуя — один из городов и селений нагорной страны, укрепленных иудеями перед нападением Олоферна. В первых черновиках у Пушкина отражена военная сторона рассказа и Ветилуя описана как воинская крепость, готовая к бою:

Грозой грозитя высота —
Поля препонами изрыты —
И стен бойницы и зубцы
Как лесом копыями покрыты
И боя жадно ждут бойцы

Как бранный сторож Ветилуя
Стоит на каменной горе...

Однако постепенно, по мере работы над образом, воинственность Ветилуя стирается, а потом и совсем исчезает — на месте военной крепости проступает символ города-храма, «дома Божия», вознесенного над дольным миром с его бурями и войнами. Быть может, неожиданная для него самого внутренняя ассоциация повлекла Пушкина по этому пути: одна из черновых строк о Ветилуе — «Стоит на камени своем» — у человека христианской культуры вызывает в памяти слова Христа об основании Церкви («И на сем камени созижду Церковь Мою» — Мф. 16: 18). Вообще в христианском сознании «символы «града» и «церкви», однородные по своему смысловому наполнению, имеют тенденцию переливаться друг в друга»⁴. Так происходит и здесь: переливаясь друг в друга, символы града и храма сливаются в единый образ, который Вл. Соловьев воспринял как выражение чего-то главного в пушкинской поэзии: «Ветилуя-то в этой поэзии перевешивает». И дальше образом «настоящей Ветилуи» меряет Соловьев высоты Гоголя и Достоевского, Лермонтова и Толстого: «Гоголь и Достоевский всю жизнь тосковали по ней, но в писаниях их она является более делом мысли и нравственного сознания, нежели прямого чувства и вдохновения, притом *главным образом* лишь по контрасту с разными Мертвыми душами и Мертвыми домами; Лермонтов до злобного отчая-

³ Строго говоря, мы не знаем, как в точности звучало название города на древнееврейском, и можем об этом только догадываться по сохранившемуся греческому тексту Книги Юдифь.

⁴ Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской. — В кн.: «Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси». М. 1972, стр. 49.

ния рвался к ней — и не достигал, а Толстой подменил ее «нирваной», чистой, но пустой и даже не белеющей в вышине»⁵. Оставим в стороне вопрос о том, насколько справедлив Соловьев в своих оценках. Важнее нам другое: пушкинская Ветилуя оказывается для него ясной мерой причастности художника к Высшей Реальности.

В многочисленных, сменяющих друг друга вариантах пушкинского автографа Ветилуя, сначала реалистическая и грозная, затем условная, стоящая «на камени своем», постепенно отрывается от камня, от земли и всего земного и начинает парить «в недостижимой вышине» — происходит дематериализация образа. Интересно это отражено в пушкинском рисунке: рядом со строками «Стеной, как поясом узорным, / Препоясалась высота» он набрасывает всящий в воздухе каменный пояс, которым опоясана высота, именно высота, некая духовная субстанция, а не гора и не город на горе⁶. Того, что опоясано, Пушкин не изобразил — наверное, графически неизобразимо было для него видение горного мира, которое удалось ему воссоздать словом. И все же метафизика в этом образе сочетается с физикой или, скорее, обеспечивается, охраняется физической крепостью и силой — «стеной, как поясом узорным». Сравнение стены с поясом соответствий в Книге Юдифь не имеет, Пушкин сам его нашел и проверил рисунком. Как видно, нечто существенное стоит за этим сравнением. С его помощью Пушкин интуитивно выявил смысловые глубины образа — те глубины, которые прочитываются в общебиблейском контексте и в более широкой культурно-религиозной перспективе. Пояс, знак целомудрия, в сочетании с неприступностью города отсылает к одному из важных символов Писания — к символу города-девы, крепкого своей чистотой, хранимого Богом, в противоположность городу-блуднице, сдающемуся на милость неприятеля. Раскрывший эти символы В. Н. Топоров писал: «Город-дева (соотв. — блудница) не просто сравнение и даже не уподобление и персонафикация: собственно, город и есть дева (блудница). Целомудрие девы и крепость города в этом случае не более чем два варианта общей идеи прочности, нетронутости, нерасколотости, гарантии от той нечистоты, которая исходит от захватчика, всегда — насильника»⁷. Пушкин внимательно читал Библию и прочувствовал эту символику. Его Ветилуя, конечно, город-дева — ее «узкие врата» «замком замкнуты непокорным», она препоясана поясом целомудрия и торжествует над захватчиком не силой, а духовной крепостью и чистотой. Случайно ли, что название города, как нам передают его греческие варианты, созвучно с еврейским словом «beṣūlā», что и означает «дева»? По наблюдению В. Н. Топорова, этим словом стандартно именуются в Писании столица и страна — чаще всего Иерусалим и Израиль. В конечном итоге образ города-девы восходит к Небесному Иерусалиму и к Церкви — к объединяющей их теме Града Божия, Дома Божия, в котором раскрывается полнота Божественной Славы. Один из примеров этой темы — псалом 45, воспевающий жилище Бога:

Бог нам прибежище и сила,
 скорый помощник в бедах.
 Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля
 и горы двинулись в сердце морей.
 Пусть шумят, воздымаются воды их,
 трясутся горы от волнения их.
 Речные потоки веселят град Божий,
 святое жилище Всевышнего.
 Бог посреди его; он не поколеблется:
 Бог поможет ему с раннего утра.

⁵ Соловьев В. С. Особое чествование Пушкина. — В кн.: Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика, стр. 308.

⁶ См.: Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М. 1986, стр. 52.

⁷ Топоров В. Н. Заметки по реконструкции текстов. IV. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте. — В кн.: «Исследования по структуре текста». М. 1987, стр. 126 — 127.

Анализируя этот псалом, С. С. Аверинцев увидел параллель к нему в пушкинском стихотворении: «Этот образ целомудренно-бодрой неприступности гениально схвачен Пушкиным, очень глубоко чувствовавшим библейскую поэзию... (далее цитируются строфы о Ветилуе. — И. С.). Упоминание пояса, древнего символа девственности (сюда же относится и белизна Ветилуи), окрашивает этот образ града в «софийные» тона»⁸. Взгляд со стороны софиологической высвечивает еще один круг ассоциаций, вызываемых пушкинским образом: как показал С. С. Аверинцев, град, храм, стена нерушимая — грани библейской темы Софии, Премудрости Божией, соединяющие ее с новозаветной темой Девы Марии⁹. Эти ассоциации, конечно, выходят за рамки пушкинского текста — они заложены не столько у Пушкина, сколько в том источнике смыслов, который он вскрыл своим художественным проницанием.

И все же пушкинская Ветилуя, при всей религиозно-культурной нагруженности, образ по происхождению лирический, рожденный в глубинах внутренней жизни поэта, в тех драматических катаклизмах, которые определяли его творчество двух последних лет. В этом образе нашла выражение его «духовная жажда», его порыв «к сионским высотам», но не только порыв, а и сама высота его просветленного духа, торжествующего над бездной тягчайших жизненных обстоятельств. Предметная же основа образа, как кажется, связана с давним личным впечатлением, врезавшимся в его художественную память, — то было видение монастыря на Казбеке во время арзрумской поездки 1829 года: «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище: белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» («Путешествие в Арзрум»). Это «чудное зрелище» тогда же, в 1829 году, воплотилось в стихотворении «Монастырь на Казбеке»:

Высоко над семью гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реюший ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

Очевидно образное родство отрывка о Ветилуе и этого стихотворения¹⁰ — в нем Дом Божий на вершине горы так же парит над ущельем. В кавказском лирическом цикле 1829 года сквозные образы ущелий и вершин исполнены личного смысла, в них оформлены антиномии внутреннего мира поэта. Теперь, в переводе 1835 года, Пушкин будто цитирует те лирические темы и образы. Как известно, весной 1835 года он переработал свой кавказский дневник и написал по нему «Путешествие в Арзрум», мысленно повторив путешествие, воскресив в памяти его впечатления, — так что перекличка не кажется случайной. Видение, некогда его поразившее, теперь с новой силой предстало воображению и, совпав с настроением, отлилось в картину Ветилуи, белеющей в вышине. И все же есть существенная разница между двумя сходными образами: монастырь на Казбеке — почти реалистическая зарисовка с натуры, претворенная в метафору душевной жизни, точнее — в вожделенный, но недостижимый идеал личного существования, интуитивно угаданный благодаря виде-

⁸ Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской. — В кн.: «Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси», стр. 45.

⁹ Там же, стр. 41 — 49.

¹⁰ Отмечено Э. В. Слининой (см. в кн.: С ли н и н а Э. В. Лирика Пушкина 1820 — 30-х годов. Проблемы становления личности поэта, стр. 68).

нию на вершине горы. Иное дело Ветилуя — это образ откровенно условный, символический, каждая его деталь значима как сгусток библейских смыслов и отстоявшегося духовного опыта самого поэта. Одна из таких деталей — белизна Ветилуи, непривлекательная и не продиктованная текстом Книги Юдифь. Белый цвет привнесен сюда как цвет богоявления, богоприсутствия и также как цвет целомудрия, непорочности (см. выше наблюдение С. С. Аверинцева). Пушкин знал сакральную семантику белого: в его «Родрике», написанном весной 1835 года, герою является угодник, через которого говорит Господь, — является «Белой ризою одеян / И сияньем окружен». Но помимо этой общеизвестной семантики личная нота слышится в словах о белой Ветилуе. Дело в том, что в произведениях Пушкина разных лет несколько раз варьируется один зрительный образ — белое на горе. Вспомним загадочную «Бурю» 1825 года («Ты видел деву на скале / В одежде белой над волнами?...») или неоконченный перевод сербской песни «Что белеется на горе зеленой?...» 1834 года. Дважды этот образ возникает в «Путешествии в Арзрум»: в приведенном уже описании монастыря на Казбеке («Белые, оборванные тучи переягивались через вершину горы...») и в описании горы Алагез, принятой за Арарат спутниками Пушкина: «На ясном небе белела снеговая двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и врана и голубицу излетающих — символы казни и примирения...»¹¹ В обоих случаях белое на горе — больше чем деталь природы Кавказа. И вот в переводе из Юдифи вновь встречаем подобное: «Стоит, белеясь, Ветилуя / В недостижимой вышине». Белое в вышине — образ пронзительного лирического звучания, смутно зовущий, иномирный. И пожалуй, именно в стихах о Ветилуе этот образ кристаллизуется: индивидуально-поэтическое начало соединяется в нем с осознанной религиозной символикой.

Вспомним: о народе Израиля сказано в этом отрывке: «Высок смиренным терпеливым / И крепок верой в Бога сил». Высок и крепок — вот слагаемые его превосходства. Ветилуя, символизирующая и конкретно веру Израиля, и веру вообще, характеризуется теми же двумя качествами: она недостижимо высока и неодолимо крепка. Можно предположить, что в конце 1835 года именно эти два качества, питаемые верой, приобрели личную актуальность для Пушкина.

1835 год был одним из самых тяжелых в его жизни, о чем красноречиво свидетельствует переписка, полная денежными хлопотами, бесконечными расчетами и подсчетами, обсуждением личных и семейных долгов и связанных с этим проблем. Пушкин не просто оказался в стесненных материальных обстоятельствах — он оказался к этому времени в положении человека, не вольного в своих занятиях, своем поведении. Мучительная денежная зависимость влияла на его отношения с двором: в поисках выхода он принужден был «гнуть шею» — через Бенкендорфа просить царя то о ссудах, то об отпуске, то об отставке, то о разрешении издавать газету, что могло бы поправить денежные дела. Пушкин пытался сохранить лицо в этих переговорах, но на самом деле был унижен ими до последней степени. Две его решительных попытки изменить жизнь и уехать в деревню натолкнулись на угрожающее раздражение императора и сопротивление Натальи Николаевны. Все это осложнялось домашними бедами — болезнью матери, сплетнями вокруг жены. К тому же его преследовали издательские неудачи и цензурные неприятности, вылившиеся к концу года в смертельную схватку с председателем Главного управления цензуры министром просвещения С. С. Уваровым. Таковы в общих чертах внешние обстоятельства, доведшие Пушкина до отчаяния. Более глубокие, внутренние проблемы отражены в его творчестве 1835 года. Главной темой лирики становится приближение смерти; в стихотворениях «Поредели, побелели...», «Странник», «Пора, мой друг

¹¹ Д. Д. Благой заметил, что этот фрагмент об Арарате связан через тему ковчега со стихотворением «Монастырь на Казбеке» (Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. 1826 — 1830. М. 1967, стр. 372).

пора!..»¹², «Чудный сон мне Бог послал...» об этом говорится от первого лица, слишком прямо для позднего Пушкина. Другая группа произведений объединяется темой самоубийства, но уже не лирически воплощенной, а через третье лицо, через героя, более или менее близкого автору, — это незавершенные прозаические отрывки «Мы проводили вечер на даче...», «Цезарь путешествовал...» и стихотворения «Полководец», «Родрик», «Из А. Шенья»¹³. Предошущение смерти, тяга к смерти имеют под собой религиозную основу — они связаны с обострением религиозной интуиции, с прикосновением к инобытию. Именно в 1835 году начинается новый этап в поэзии Пушкина, когда религиозная тема широко входит в его лирический мир.

Весной — летом 1835 года метафизическая тревога, страх неготовности к близкому концу в сочетании с глубокой усталостью нашли у Пушкина выражение в мотиве побега — «Странник», «Пора, мой друг, пора!..». Перевод из Юдифи в ноябре 1835 года дает другую модель жизненного поведения и фиксирует более зрелый момент в развитии пушкинского религиозного сознания: здесь уже не побег, а высокий религиозный стоицизм, смирение перед Промыслом и духовная крепость — торжество духа над тесниной жизни. Перелаяга рассказ о сопротивлении Ветилуи, Пушкин думал о себе, доказательство тому — набросанный на автографе «Юдифи» автопортрет «в виде старика, с изрезанным морщинами лбом, всклокоченными волосами и спутанной бородой». Опознавший и так описавший этот рисунок А. М. Эфрос назвал его «символом безнадежности, охватившей Пушкина в эти последние, предсмертные годы»¹⁴. Стихотворение содержит альтернативу этой безнадежности — в нем утверждён религиозный идеал, поднимающий над мирскими бурями. Если весенне-летние стихи о побеге были исполнены динамики, то в образе Ветилуи как будто обретен вожделенный покой — она торжествует «в тишине», и эта сакральная тишина, привнесенная Пушкиным в библейский рассказ, отделяет божественное от мирского. Мотивом сакральной тишины перевод из Юдифи подключается к центральной проблематике каменноостровского цикла, в котором «громкое» отринуту как суетное («Из Пиндемонта»), а «тишина» и «торжественный покой» охраняют область вечного («Когда за городом, задумчив, я брожу...»).

Среди устойчивых художественных ситуаций у Пушкина отмечалась ситуация «превосходительного покоя» — такая организация художественного пространства, при которой точка зрения находится высоко над миром, что дает покой, приближающий к Абсолюту¹⁵. Стихи о Ветилуе — может быть, самый яркий в творчестве Пушкина пример «превосходительного покоя», самый яркий, очень личный и неслучайный для Пушкина в это время — ведь и в «Памятнике», написанном через несколько месяцев, та же идеальная ситуация определяет отношение героя к мирскому злу и мирской суете, то же движение вверх («Вознесся выше он главою непокорной...»), дающее «божественное равнодушие и покой» («Веленью Божию, о Муза, будь послушна... / Хвалу и клевету приемли равнодушно...»)¹⁶. Сходство ситуаций скреплено общим для двух стихотворений важным словом «непокорный» — в обоих случаях непокорность мирским властям находит опору в «превосходительной» духовной высоте. За этим сходством, этой общностью мотивов перевода и итогового лирического стихотворения стоит та жизненная ситуация, в которой стихи рождались, и та тенденция внутреннего развития, которая наметилась у поэта в последние годы.

¹² Принимаем датировку В. А. Сайтанова, согласно которой это стихотворение написано летом 1835 года (Сайтанов В. А. Неизвестный цикл Пушкина. — В кн.: «Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке». М. 1986, стр. 362 — 374).

¹³ О мотивах самоубийства в этих произведениях см.: Ахматова А. О Пушкине, Статьи и заметки. Изд. 3-е, исправл. и доп. М. 1989, стр. 205; Петрунина Н. Н. Полководец. — В кн.: «Стихотворения Пушкина 1820 — 1830-х годов». Л. 1974, стр. 291; Сайтанов В. А. Неизвестный цикл Пушкина, стр. 378.

¹⁴ Эфрос А. Пушкин-портретист. М. 1946, стр. 228.

¹⁵ Жолковский А. К. К описанию смысла связанного текста. VI. Часть 1. М. 1976, стр. 29 — 31.

¹⁶ Наблюдение А. К. Жолковского (указ. соч., стр. 31).

Перевод из Юдифи вписывается в ряд «сотериологических» стихотворений позднего Пушкина. Впервые тема личного спасения остро прозвучала у него летом 1835 года в «Страннике»: герой стихотворения, пораженный мыслью о скорой смерти и о своей неготовности к суду, устремляется на поиски «тесных врат спасенья». (Напомним, что пушкинский «Странник» основан на книге английского религиозного писателя Джона Беньяна «Странствия пилигрима», где тема спасения души воплощена в форме аллегорического путешествия героя к горе Сион.) Через год, летом 1836-го, в контексте каменноостровского цикла появляется набросок «Напрасно я бегу к сионским высотам...», воспринимаемый как автоцитата, прямая отсылка к «Страннику», как жест глубокого отчаяния и обреченности духовного порыва. По хронологии создания перевод из Юдифи расположен между ними, по смыслу он представляет собой кульминацию сотериологической темы: «сионская высота», возделенная для героя «Странника» и безнадежно недостижимая для героя каменноостровского стихотворения, здесь явлена и торжествует, и хотя автор в тексте не присутствует в форме лирического «я», но дух его обнаруживает себя в созданном образе, как Творец раскрывает себя в творении. Именно это имел в виду Соловьев, когда писал о пушкинской Ветилуе как о свидетельстве внутренней жизни художника.

Мы видели, что связи между стихами о Ветилуе и собственно лирикой Пушкина — неявные, но в тексте перевода они закреплены в отдельных значимых словах, через которые ключами пробивается лирическое начало: таковы слова о «смиренье терпеливом», о несклоненной вые, о непокорности, о тишине. Связь со «Странником» и сотериологической темой так же косвенна и так же проявлена в значимом словосочетании «узкие врата». В «Страннике» дважды упомянуты «тесные врата» спасенья — цитата из Евангелия от Матфея: «Что узкая врата и тесный путь вводя в живот, и мало их есть, иже обретают его» (7: 14). В «Юдифи» Пушкин цитирует этот евангельский стих более точно: путь к Ветилуе преграждают «узкие врата», замкнутые для нечестивых.

После двух строф о Ветилуе, имевших множество вариантов отработанных с особым тщанием, Пушкин взялся было продолжать повествование:

Сатрап смутился изумленный —
И гнев в нем душу помрачил...
И свой совет разноплеменный
Он — любопытный — спросил:
«Кто сей народ? и что их сила,
И кто им вождь, и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежда на кого?..»

Но все ответы уже даны и победа одержана — одержана не силой оружия, а чем-то совсем другим, непонятным сатрапу. Пушкин исчерпал свой лирический сюжет и на этом оставил работу. «Фабула еще и не затронута, но что-то самое главное уже сказано — продолжение становится внутренне ненужным»¹⁷.

Итак, отрывок «Когда владыка ассирийский...» своей проблематикой выдвигается из разряда переводов на первый план в поздней лирике Пушкина. В библейских образах здесь символизировано то, что поэт вряд ли стал бы декларировать от первого лица: победительная сила веры, ее спасительность «среди дольних бурь и битв». Форма сюжетного переложения дала этим мыслям обобщенность, объективность и незыблемость библейской истины. В личном мире Пушкина все обстояло сложнее, драматичнее: пробудившееся религиозное чувство вступало в противоречие с творческой стихией, со страстями, с воспитанием и привычками светского человека, чем объясняется многое в его жизни последних лет. Но в стихах о Ветилуе это глубинное чувство сказало во всей красоте, очищенное поэтическим трудом и вдохновеньем.

¹⁷ Слонимский А. Мнимые стихи Пушкина. — «Книжный угол», 1918, № 2, стр. 6.

ДЖЕРАЛЬД МАЙКЛЬСОН



ПУШКИН И ЧААДАЕВ: ВСТРЕЧА В КРЫМУ

О дружбе и духовном общении Пушкина и Чаадаева уже существует обширная литература на русском и на европейских языках. Так, весьма полно освещены политические разногласия поэта и философа. Но мне хотелось бы, вникнув в последнее послание Пушкина Чаадаеву «К чему холодные сомненья...» (1824), заново подойти к пониманию этой удивительно устойчивой, двадцатилетней дружбы.

В эволюции взаимоотношений Пушкина и Чаадаева, начиная со времени их знакомства в Царском Селе в 1816 году и кончая своеобразной формой как бы косвенного обмена письмами в последние месяцы жизни поэта (а именно, взаимными отзывами друзей на недавно опубликованные произведения — «Капитанскую дочку» Пушкина и первое «Философическое письмо» Чаадаева), можно выделить несколько фаз; заключительная же глава истории их дружбы — это продолжавшийся в течение двадцати лет «разговор» Чаадаева с уже покойным поэтом.

Период с мая 1820 по конец 1822 года характеризуется крутыми изменениями жизненных обстоятельств Пушкина и Чаадаева: оба они попадают в опалу и покидают столицу — один на одиннадцать лет, другой на всю жизнь. Однако, несмотря на географическое расстояние, разделяющее друзей, они остаются духовно близки, и на протяжении шести лет им обоим опорой служат воспоминания о прежних встречах и беседах, о времени первого пушкинского послания «Любви, надежды, тихой славы...».

Путешествуя в период первой ссылки по южным окраинам Российской империи, Пушкин переживает мощное пробуждение творческих сил. Он сталкивается с необыкновенной красотой природы Крыма, с пестротой национальностей и вероисповеданий, с остатками древних культур. К тому же крымская земля навевает и литературные ассоциации (Байрон, Мицкевич). Очевидно, что Пушкину это творческое воскрешение было предопределено и генетически и провиденциально.

Одним из важнейших импульсов, стимулирующих художественное сердцебиение поэта первые полтора года южной ссылки, стала память об оскорблении его личного достоинства. Горькие воспоминания о тех последних месяцах, что он провел в александровском Петербурге, перемежались с чувством глубокой благодарности Чаадаеву, который спас поэта от участи намного худшей, чем нынешняя¹. Этот узел противоречивых чувств выражен во втором послании Чаадаеву «В стране, где я забыл тревоги прежних лет...» (1821). Задуманное, очевидно, как послание в буквальном смысле, то есть как акт частной переписки, оно может быть прочитано в качестве своего рода эпистолярной прозы. Нюансы и скрытые намеки этого послания Чаадаев мог легко разгадать, да и подготовленному современному читателю все в нем должно было быть достаточно ясно. Стихотворение насыщено сведениями о перипетиях их дружбы в период 1816 — 1821 годов. Дружба с Чаадаевым для Пушкина в то время предполагала, прежде всего, благодарность, но также и готовность поэта

¹ «В 1820 г. Чаадаев принимал участие в хлопотах о смягчении участи Пушкина, в результате которых ссылка в Сибирь или в Соловецкий монастырь была заменена Пушкину переводом на службу в Бессарабию» (Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. 2-е доп. и перераб. изд. Л. 1989, стр. 483).

прислушиваться к мнениям более опытного человека и охотно усваивать его мысли, несмотря на их новизну и парадоксальность.

Критическая стадия в эволюции дружбы Чаадаева и Пушкина — это период с 1822 по осень 1826 годов: оба они оторваны от российской общественности как таковой, оба мечтают о встрече и возможности продолжать прежние регулярные беседы. Пушкин-поэт и Чаадаев-философ заметно развиваются как мыслители и литераторы. Путешествие Чаадаева по Европе, его размышления о мировой истории и современной философии определяют выводы, сформулированные им в конце 1820-х — начале 1830-х годов в знаменитых «Философических письмах». Пушкин, в свою очередь, изживает свои столичные радикальные политические страсти, вольтеровское вольнодумство, а также увлечение байроновским романтизмом и обретает более уравновешенный и реалистический образ мыслей, определивший его мировоззрение и творчество до конца дней.

Хотя диапазон сюжетов, затрагиваемых поэтом, по-прежнему остается достаточно широким, те «вольнлюбивые надежды», которые он питал в предшествующие годы (1816 — 1821), а также какие бы то ни было политические платформы (начиная со стихотворения 1823 года «Свободы сеятель пустынный...»), в творчестве 1823 — 1826 годов совершенно отсутствуют. В пушкинской лирике этих лет запечатлелся все возрастающий интерес к более духовным — философским и даже религиозным — вопросам, таким, как противоборствующие доводы веры и знания, вероятность или невероятность сохранения индивидуального самосознания и памяти после смерти, роль судьбы (или рока) и провидения в истории, взаимосвязь религии и искусства.

Среди прочих шедевров «малой» и «большой» поэзии Пушкина, созданных в эти годы, значительное место занимают стихотворные послания друзьям и собратям по перу. Большинство из них составляет часть собственно переписки и отправлялось вместе с письмом адресату. Исключением является послание «Чаадаеву» 1824 года («К чему холодные сомненья?..»), одно из самых утонченных и философски глубоких стихотворений Пушкина.

Краткое посещение Крыма в 1820 году дало настолько сильный толчок творческому дарованию поэта, что его отголоски слышатся в поэтическом наследии Пушкина и спустя много лет. В 1824 году, уже в Михайловском, то есть в пространственном и временном отдалении от путешествия по Тавриде, ему удается вновь, на этот раз в художественном воображении, «посетить» тот же «край прелестный». Под впечатлением пережитых воспоминаний и родилось последнее поэтическое послание другу — самое загадочное из «крымских» стихов Пушкина. Вот оно:

ЧААДАЕВУ

К чему холодные сомненья?
 Я верю: здесь был грозный храм,
 Где крови жаждавшим богам
 Дымились жертвоприношенья;
 Здесь успокоена была
 Вражда свирепой Эвмениды:
 Здесь провозвестница Тавриды
 На брата руку занесла;
 На сих развалинах свершилось
 Святое дружбы торжество,
 И душ великих божество
 Своим созданием возгордилось.

 Чадаев, помнишь ли бывшее?
 Давно ль с восторгом молодым
 Я мыслил имя роковое
 Предать развалинам иным?
 Но в сердце, бурями смиренным,
 Теперь и лень и тишина,
 И, в умиленьи вдохновенном,
 На камне, дружбой освященном,
 Пишу я наши имена.

Главная тема этого стихотворения — миф и связанный с ним монумент; его доминирующий тон — душевное спокойствие и раздумье. Пушкин записы-

вает, точнее, зашифровывает наиболее глубокие, духовные слои своих взаимоотношений с Чаадаевым.

Если сравнить форму всех трех пушкинских посланий к Чаадаеву, то обнаружится их довольно-таки очевидная схожесть на чисто лексическом уровне. Однако это внешнее сходство маскирует существенный контраст посланий, особенно первого и последнего. Они, при более внимательном анализе, оказываются во всех отношениях диаметрально противоположными друг другу, более того, последнее как бы пункт за пунктом опровергает первое.

Послание «К Чаадаеву» (1818) пронизано политико-патриотической лексикой («Россия», «отчизна», «самовластье», «свобода», «надежда»), которая придает стихотворению революционный пафос, декларирует приверженность поэта освободительной цели, наполняет предвкушением коренных преобразований и последующей благодарности соотечественников. Наоборот, послание 1824 года насыщено мифологическими и религиозными понятиями («храм», «боги», «жертвоприношение», «провозвестница», «божество»). Они определяют духовный пафос произведения, передают состояние душевной тишины и «вдохновенного умиления», обращенность к памяти о былом. В итоге эпитафия себе и другу Чаадаеву как бы пишется заново, отменяя прежнюю («На камне, дружбой освященном, / Пишу я наши имена»). На первый план выдвигается обновление сердца и души каждого из протагонистов. Стихотворение 1824 года откликается уже не на политический зов пожертвовать своей жизнью, да и жизнью целого поколения, ради отечества, а на мифические голоса отдаленного прошлого, тем более что они созвучны недавним событиям.

Пушкин, по-видимому, сразу же готовил послание 1824 года не для отправки адресату, а для печати. И опубликовал его в течение пяти лет целых четыре раза, причем дважды — в составе «Отрывка из письма к Д.», который, в жанре описательного очерка, повествует о поездке Пушкина по Крыму в 1820 году (и этим же годом помечен, хотя писался в 1824-м).

Решающим моментом встречи с Крымом, воскрешенной воображением поэта, становится воспоминание о Георгиевском монастыре («Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление»), посещение которого в сознании автора обретает значение своего рода паломничества. Особенно поразили Пушкина показанные ему «баснословные (то есть легендарные. — Дж. М.) развалины храма Дианы» близ монастыря. Судя по всему, поэт, вопреки любым «холодным сомненьям» рассудочного и скептического исследователя², поверил легенде. У автора очерка своя мерка в вопросе о ее исторической достоверности: миф о храме Дианы истинен для Пушкина потому, что созерцание древних развалин воскресило в поэте божественный дар творческого вдохновения. Он пишет: «Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами». Как бы в доказательство этому здесь же поэт вставляет в свой очерк текст последнего послания Чаадаеву...

Слова «Я верю...» в начале второй строки послания, отвечая на вопрос первой строки: «К чему холодные сомненья?» — звучат утверждением веры (даже в присутствии сомнений). «Холодные сомненья» отвергаются как слишком рациональные, лишенные поэтического огня, тепла и света, заключенных в творческой позиции. Со словами «я верю» скреплена не только оставшаяся часть строки («...здесь был грозный храм...»), но и весь остальной текст стихотворения, в котором просматривается поэтическое кредо поэта. Он готов поверить не только тому, что здесь, в Крыму, на мысе Фиолент, стоял храм Артемиды, но и древнему мифу об Оресте, Пиледе и Ифигении, связанному с этим храмом.

На первый взгляд может показаться, что слова: «На сих развалинах свершилось / Святое дружбы торжество. / И душ великих божество / Своим созданием возгордилось» — это всего лишь завершение пушкинского пересказа предания об Оресте и Пиледе и что, соответственно, переход от древности к современности в стихотворении совершается после строки отточий, следующей за этими словами. Однако по целому ряду признаков, таких, как несоот-

² И. Муравьева-Апостола, автора книги «Путешествие по Тавриде в 1820 году».

носимость упоминания о развалинах с античным хронотопом (храм ведь был разрушен не в те времена, когда Орест и Пилад посещали его, а уже в Новое время) или несоответствие понятия о божестве-создателе с античным мировоззрением вообще, — можно заключить, что смена эпох в стихотворении происходит не после третьего четверостишия, а перед ним. То есть строки, повествующие о торжестве дружбы, относятся уже не к Оресту и Пилладу, а к самим Чаадаеву и Пушкину. «На сих развалинах», на мысе Фиолент, около Георгиевского монастыря в 1820 году, и особенно спустя четыре года, в Михайловском, в воспоминаниях поэта, Чаадаев как бы воссоединяется с ним, как одна великая душа с другой, и духовная слиянность поэта и философа уподобляется дружескому союзу античных героев, ставшему символом самоотверженной дружбы вообще.

Таким образом, можно говорить о символической встрече Пушкина и Чаадаева в Крыму, где в действительности Пушкин побывал всего однажды, а Чаадаев — ни разу в жизни. Момент этой встречи и запечатлен в послании 1824 года.

Строки «На сих развалинах свершилось / Святое дружбы торжество» свидетельствуют не только о факте (или, может быть, пророчестве), что оба друга спасены от возможной катастрофы, но воплощают некоторые более сокровенные аспекты их дружбы. Воображаемая встреча произошла на том месте, где соседствуют два храма: один — православный, другой — языческий. Православный как бы вырастает на развалинах языческого храма, сменяет его. Жестокое повеление языческих богов, зовущее к мщению и крови, к человеческим жертвоприношениям, как в древнем греческом мифе, так и в недавней судьбе Пушкина и Чаадаева преодолевается силой дружбы, подкрепленной верностью и любовью. Вот что делает торжество их дружбы святым, вот почему души их — «великие», вот почему божество так возгордилось своим созданием.

Попытаемся понять, что подразумевает Пушкин под «божеством». Кстати, и в пушкинском автографе, и в его прижизненных и всех остальных изданиях этого текста слово «божество» пишется с маленькой буквы. Но в написании этого слова вообще, а также слова «бог» (например, в переписке) в смысле единого, христианского Бога Пушкин был непоследователен. Строчки «И душ великих божество / Своим созданием возгордилось» просто анахроничны и бессмысленны, если предположить, что под «божеством» имеется в виду Аполлон или какой бы то ни было другой языческий бог, учитывая тем более, что «души великие» названы его «созданием». Ведь в классической мифологии античные боги, хотя и сильно влияют на судьбы смертных, но вовсе не выступают создателями людей. Видимо, слово «божество» здесь должно соотноситься с Богом, как и во многих других пушкинских текстах. Например, в пушкинских «Заметках по русской истории XVIII века» о русском духовенстве сказано, что оно «всегда было посредником между народом и Государем, как между человеком и божеством»; в стихотворении «Ее глаза» (1828), посвященном Анне Олениной, божеством назван младенец Иисус: «Потупит их с улыбкой Леля — / В них скромных граций торжество; / Поднимет — ангел Рафаэля / Так созерцает божество»; в «Мирской власти» (1836) читаем: «Когда великое свершалось торжество / И в муках на кресте кончалось божество...» Таким образом, «божество» — единый, христианский Бог, во чью славу был построен православный Георгиевский монастырь неподалеку от развалин древнегреческого языческого храма Дианы (Артемиды). Этот Бог, это Божество, проповедуемое Чаадаевым (в частности — и в его переписке с поэтом), под влиянием философа все более и более признается Пушкиным как источник поэтического дара, путеводитель вдохновения, создатель его «грациозного гения», говоря словами Чаадаева из «Апологии сумасшедшего». Такое «божество», естественно, могло возгордиться «своим созданием» (ср.: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». — Быт. 1: 31), тем более что «душам великим» удалось отбиться от «крови жаждущих богов».

Ключ к пониманию последнего поэтического послания Пушкина Чаадаеву следует искать, как мне кажется, в последних трех строках стихотворения: «И, в умиленье вдохновенном, / На камне, дружбой освященном, / Пишу я наши имена». Интересно, что в творчестве Пушкина слово «умиленье» почти всегда употребляется вместе со словом «вдохновенье» (например, в стихотворении каменноостровского цикла 1836 года «Из Пиндемонта»: «Дивясь

божественным природы красотам / И пред созданиями искусств и вдохновенья / Трепеща радостно в восторгах умиленья, / — Вот счастье! вот права...»). Именно вдохновенное умиление побуждает поэта «на камне, дружбой освященном», написать «имена», значение каковой надписи, как единственно уместной, нам еще предстоит осмыслить.

Пушкин и Чаадаев — друзья, но друзья в высшем значении этого слова. И близ памятника легендарной дружбе суть взаимоотношений с Чаадаевым осознается поэтом во всей полноте. В послании запечатлено своеобразное подведение поэтом жизненных итогов, в связи с чем строка «Пишу я наши имена» обретает символическое значение. Для Пушкина написание своего имени рядом с именем Чаадаева означает выбор дальнейшего пути духовных исканий. Этот путь в сознании поэта теперь прочно связывается с именем и идеями его друга. Здесь естественно вспомнить строки из писем Чаадаева поэту: «...мы должны были идти об руку, и из этого получилось бы нечто полезное и для нас и для других». В другом письме читаем: «Мое самое ревностное желание, друг мой, — видеть вас посвященным в тайну века <...> Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей». В конце письма Чаадаев советует другу: «*Обратитесь к призывом к небу*, — оно откликнется».

Имена Пушкина и Чаадаева на древнем камне связали прошлое с настоящим, а настоящее с будущим. Возможно, что здесь, у развалин храма, поэт, говоря словами чаадаевского письма, постигал «тайну времен». Творение рук человеческих рано или поздно превращается в груды развалин, вечно — лишь творение духа, оживотворяющее даже развалины. Таким духовным творением явилась некогда самоотверженная дружба Ореста и Пилада, а теперь становится и дружба между Чаадаевым и Пушкиным. И если легендарная дружба предполагает готовность отдать жизнь за друга, то во взаимоотношениях поэта и философа речь идет не только о спасении жизни, но, что особенно важно, о спасении души.

Можно предположить, что и значение слова «камень» простирается гораздо дальше своего буквального смысла (камни развалин, памятный камень в честь дружбы) — в область евангельского словоупотребления. (Ср.: «...на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» — Мф. 16: 18.) «Камень» в послании соотносится также со скрижалю в ветхозаветном смысле, то есть с каменной доской и начертанным на ней текстом заповедей. Интересно, что у Пушкина нет почти ни одного стихотворения со словом «скрижаль», так или иначе не связанного с Чаадаевым, точнее, со жгучими вопросами, которые они обсуждали, о которых спорили в течение продолжительных мысленных диалогов: наследие Наполеона и его войны с Россией (к примеру, «Зачем ты послан был и кто тебя послал?..», 1824), Россия и Европа, античность и христианская цивилизация. Чаадаев советовал Пушкину перестать гоняться за мимолетной славой и написать что-нибудь о «великом перевороте в вещах», наблюдаемом в их время. Философ замечал, что «происходит нечто необычное в недрах морального мира», а именно, «всеобщее столкновение всех начал человеческой природы», и рекомендовал Пушкину эту тему как «богатую пищу» для поэзии. По его глубококому убеждению, России нужен не свой Гомер или Шекспир, а русский Дант, писатель — «посланник Божий». В начале 1830-х годов, с точки зрения Чаадаева, Пушкин приблизился к тому идеалу, который был поставлен перед ним другом. Мы знаем, что Чаадаев одобрил пушкинские стихотворения 1831 года «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», а в 1836 году был в восторге от «Капитанской дочки». Однако мы можем только догадываться, что он думал о «Борисе Годунове», о «Медном всаднике», о каменноостровском цикле, о медитативной лирике 1836 года. Стал ли Пушкин, с точки зрения Чаадаева, русским Дантом? Возможный ответ на этот вопрос, мне кажется, проглядывает в тех «письменах», которые зашифрованы в последнем послании Пушкина Чаадаеву — «на камне, дружбой освященном».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

*

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Три профиля на фоне поколения

1

Исповедальная проза Гандлевского «Трепанация черепа»¹ была, по-моему, изначально обречена на внимание и — в конечном счете — на неуспех.

С одной стороны, очень уж эффектный, пикантный даже, материал: быт, нравы, стиль жизни литераторов романтического «поколения дворников и сторожей». Как раз тех из них, кто и составил нашу новую художественную элиту. Персонажи даны под своими — достаточно громкими — именами, даны в их натуральном, так сказать, виде: на престижных выставках-презентациях, в застольном разгуле, в тяжком похмелье у себя дома, в драках, в зарубежных поездках, в стычках с властями.

А с другой стороны, у отечественной «богемной» темы уже своя почтенная традиция: Довлатов, Рекшан («Кайф»), «Митьки», Вайль и Генис, Евгений Попов с романом «Душа патриота»; в поэзии — Кибиров, тот же, кстати, Гандлевский... И одновременно выбранная ситуация — опухоль, ожидание операции — ставит «Трепанацию черепа» в еще один ряд — тут тоже целая литература: от Ежи Ставинского («Час пик») и Солоухина («Приговор») до «Ракового корпуса». Сравнить читатель будет непременно. Как раз для литературно ориентированных, для посвященных повесть и писалась.

Впрочем, автор ее вроде бы не из тех, кому нужно напоминать о себе скандалом... У повести хорошее начало. Прежде всего по интонации. Несмотря на доверительность, она сразу же устанавливает определенную дистанцию между автором и читателем и, что особо важно, между автором и повествователем: с некоторой как бы иронией писатель Гандлевский наблюдает за метаниями своего главного персонажа — литератора Сергея Гандлевского.

Короткая экспозиция — несколько выразительных штрихов дачной жизни, семейных обстоятельств и болезни героя; два эпизода из недавнего прошлого: полурест-полувызов в КГБ для угрожающе-назидательной беседы и, как предыстория вызова, рассказ о двухмесячном путешествии по стране в качестве сопровождающего геологическое оборудование, в компании с лихими алкашами-уголовниками. Перед нами «вольный художник», человек, выбравший свободу в несвободном обществе.

В изображении этого образа жизни, за которым в сегодняшней массовой культуре уже закрепился некий романтический, почти героический ореол, Гандлевский старается быть подчеркнуто прозаичным. Эпизоды, провоцирующие на героическую оркестровку, пишутся с деталями, снимающими саму возможность пафоса. Скажем, торопливость, с которой рассказчик распивает, запершись в ванной, бутылку пива, чтобы избавиться от излишнего волнения при появлении в его квартире посланцев из ГБ. Всякое поползновение на героикку в связи с «геологической поездкой» (писатель-нонконформист «изучает жизнь» на открытой железнодорож-

¹ Гандлевский Сергей. Трепанация черепа. История болезни. Повесть. — «Знамя», 1995, № 1.

ной платформе, в голой степи, среди махающих кулаками урок) снимается уже самой интонацией, трезвой и будничной. Он не жизнь изучает, он, извините, деньги зарабатывает. По-всякому зарабатывает — реализует, например, украденный коллегами кофе.

Отдельная тема Гандлевского — алкоголь. Тема эта имеет в нашей культуре давние и вновь приобретенные традиции. Кухонные посиделки диссидентствующих интеллигентов за бутылкой, в ночных спорах об искусстве и судьбах России — штамп уже лоснящийся. Подобных вещей Гандлевский сторонится. Так же далек он и от пафоса, так сказать, «экзистенциально-прикладного»: «А вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций». В голосе повествователя больше звучит сокрушенное: чего уж там мудрить, пьянство — оно и есть пьянство. Правда, была у героя «теория, оправдывающая повальное советское пьянство. Бред, бред и ужас были предложены целому народу — от Курил до Карпат — в качестве режима дня и жизни. И целый народ за редким исключением предпочел справить трехсотлетие граненого стакана». Но автор особенно не настаивает на подобном идеологическом обосновании. Такие декларации нелепы на фоне реальной практики: «Сброд в автопоилке уже не казался на одно лицо, как китайцы, а поддавался классификации. Большой разряд — понурые пьяницы с пересохшими ртами, вроде нас с Ковалем. Банки, авоськи, монеты в потном кулаке». И все-таки алкоголь присутствует в жизни персонажей Гандлевского как форма противостояния и способ сохранения души. Но с темой этой, скользкой во всех отношениях, автор в большинстве случаев обращается тактично.

Итак, внутренний сюжет повести обозначен подзаголовком: «История болезни». Болезнь здесь — знак того, что в жизни повествователя и его круга «что-то не так». От прямых формулировок, что именно «не так», автор уклоняется. Присутствие тайного неблагополучия, нездоровья и необходимость его преодоления как бы растворены в интонации, обозначены определенной сориентированностью материала. Собственно, сам монолог-исповедь и есть способ, форма преодоления «болезни».

Физиология автора не очень занимает, тут все обычно: случайная драка у пивного зала, травма черепа, спровоцировавшая, видимо, рост опухоли. Эпизод этот в тексте лишен судьбоносного звучания, он дан в числе прочих, через запятую. Причины болезни где-то глубже. Что-то в отношениях с близкими, с друзьями. В отношениях со своей работой, со своим временем. Что-то в воздухе, которым они дышат. До обличительных шаблонов («совок», «большевики», «система») Гандлевский не опускается. Социальная и прочая ситуации — это данность. Почти как зима или осень. И твое основное дело, вопрос твоего достоинства, твоей человеческой состоятельности в том, чтобы найти собственный способ жить.

Выбор, сделанный Гандлевским и его кругом, выглядит почти безупречным: «Я имею честь принадлежать... к кругу литераторов, раз и навсегда обуздавших в себе похоть печататься. ...Можно быть занудой или весельчаком, трусом или смельчаком, скупердяем или бессребреником... но чувствовать себя советским пишущим неудачником было запрещено. Сам воздух такой неудачи был упразднен... Литература была для нас личным делом». Позиция достойная, мужественная, она вполне могла бы дать автору и его друзьям внутреннюю устойчивость, внутреннее здоровье, дееспособность. Что помешало? Откуда болезнь?

Гандлевский, к его чести, смог поставить этот вопрос, избавившись от новейших стереотипов, порожденных все тем же «кругом»: «Биография у меня в некотором смысле образцово-показательная... бытовая неприкаянность, пьянство, трения с властями, вечная сторожевая служба, сезонные экспедиции. ...Сейчас меня даже корбит от этой биографической стадности». Одновременно он свободен от самоощущения победителя, у которого все прежние неудачи вдруг обернулись одной большой удачей. Естественно, это настраивает на серьезный разговор. На углубление темы.

Увы. Вместо этого в повествовании накапливаются все новые и новые ситуации и персонажи, судьбы странные, с какой-то непонятной целеустремленностью рвущиеся к преждевременному страшному концу, атмосфера лихорадочной, надрывной жизни героя и его друзей все сгущается. «На сорокадневье Саши Сопровского четыре года назад я обратил внимание на то, что в строке «Величанский, Со-

провский, Гандлевский, Шаззо», судя по всему, верно угадан порядок убывания персонажей». Рассказ развивается вширь, а не вглубь. Писатель наращивает количество материала, констатирующего присутствие в жизни своих персонажей все того же безответного вопроса. Мысль не движется. А мелькнувшее в этом контексте отдельное упоминание о «роке» способно только обескуражить: стоило ли тогда огород городить?

Особенно досадно, что в эпизодах, рисующих жизнь литературного круга Гандлевского, голос автора начинает терять индивидуальную окраску, становится среднестатистическим голосом этой среды. Акценты здесь определяет как бы некая коллективно сработанная иерархия правил, предпочтений, вкусов; появляется нечто знакомое, ожидаемое от рассказа о нравах андерграундной вольницы. Соответственно «алкогольная» тема начинает терять внутренний драматизм и заставляет вспомнить то застольное самоупоеание, с которым постаревшие мальчики 70-х годов рассказывают о былых подвигах.

Откровенно удручает количество оглядок на как бы вообще не существовавший для круга Гандлевского институт Союза писателей СССР. Получается, что самоидентификация этого круга шла еще и по признаку: вступил — не вступил, пользовался — не пользовался благами СП. Некоторая горделивость, с которой подчеркивается, что мы — изгой, невольно наводит на мысль, что такое место «вне литературной иерархии» — с этой же иерархией себя, по сути, и соотносит.

И наконец, попутные, как бы скупые и небрежные, упоминания некоторых престижных атрибутов их нынешней жизни, скажем, марок автомобилей или поездов за границу (Канада, США, Израиль, Швеция), заставляют — тут уж никуда не денешься — сделать заключение о возникновении нового литературного истеблишмента, или, говоря старым языком, номенклатуры со своим стилем жизни. Момент деликатный, поэтому, чтобы быть правильно понятым, уточняю: дело не в самих атрибутах нормальной, в общем-то, жизни, дело в отношении к ним. Избавиться от самодовольной многозначительности могла бы помочь ирония, «стебовое» простодушное: «Во, дожили!», но никак не вот такие, почти аксеновской красоты и эффектности, пассажи: «На рассвете Лена втокнула существо, не обнаружившее «божественной стыдливости страдания», на заднее сиденье батчановской «вольво», и Алик нажал на газ и повез нас на Старый Толмачевский переулок, где соседка-смерть стучит черенком ножа по батарее и немецкий дрессированный будильник, купленный в Иерусалиме за сорок шекелей, аккуратно в 7-30 взывает: с понтом судьба стучится в дверь».

Другими словами, в эпизодах, написанных в тональности «тусовочного между собойчика», интонация ощутимо провисает. Ее приходится взвинчивать искусственно. Только так я могу объяснить загадочные метаморфозы стиля Гандлевского — тугой, нервный, точный в одном эпизоде, уже в следующем он может превратиться чуть ли не в свою противоположность, «стеб» выливается в претенциозное ерничанье, а то и в невнятицу: «На мужские забавы, сопродные бане и сочинской пуле, Коваль раз за разом отвечает белогорячечными причудами и компанио расстраивает».

Бытийное содержание повести тянут на себе эпизоды, связанные с историей семьи, смертью матери, сложными взаимоотношениями с отцом, и, разумеется, больничная тема. Здесь Гандлевскому многое удастся. В противостоянии «Великому Ничто» к повествователю возвращается истинное соотношение вещей и понятий. Ему удастся создать то бытийное напряжение, в котором глубинный человеческий смысл обнаруживают самые, казалось бы, обыкновенные, будничные приметы жизни, скажем, визиты в больницу на перевязку, трогательная, нелепая и по-своему пронзительная суета вокруг подарков врачу. Или проходной вроде бы портрет больничного соседа, «доставившего» героя обличениями демократов и евреев, даже ввергнутого последнего в уныние и вдруг обмолвившегося фразой — последней, услышанной героем перед операцией: «Давайте нам присниться, что мы молодые, здоровые и бегаем вдвоем на лыжах...» Как мало и как много в этой подробности. В этом и есть, наверно, искусство прозы. Несмотря на множество очевидных потерь, автор все же смог достичь в финале того, что я решаюсь сблизить с понятием «катарсис».

...Если же отнести к повести как к сырому материалу, как к человеческому документу, можно попробовать самим продолжить размышления автора. На это провоцирует текст. Хотя бы та, например, приведенная выше декларация: «Я имею честь принадлежать... к кругу литераторов... обуздавших... похоть печататься... чувствовать себя... неудачником было запрещено... Литература была для нас личным делом». Последняя фраза в этом пассаже самая лучшая. Точная. В ней читается залог возможного здоровья, если бы... Если бы сказанное перед ней звучало чуть-чуть спокойнее. Естественнее. Без размашистого, категоричного оборота «похоть печататься». Без мускульного напряжения в словах «чувствовать себя неудачником было запрещено» (так только декреты пишут!). Все это мешает итоговому: литература была личным делом — прозвучать в тексте Гандлевского легко и непринужденно. Автору пришлось напрягать голос и становиться в ораторскую (если не «кураторскую») позу. Почему?

Потому ли, что, на самом деле, продекларированное самоощущение так и не было персонажами усвоено вполне, так и не стало для них натуральным, уже не требующим какой-либо рефлексии на этот счет?

Или потому, что в самой этой позиции (мне, например, очень симпатичной) — «литература — личное дело» — есть все же органический изъян?

Вопросы не праздные.

2

Алексею Дидурову пока повезло меньше, чем Гандлевскому, — не сумев опубликовать свою книгу целиком, он был вынужден переделывать ее главы в очерки и эссе для еженедельников². Но при том, что появились эти тексты в разных изданиях, под разными рубриками и, соответственно, как бы в разных жанрах — от социально-психологического очерка («Коммуналка», «Двор») до лирической новеллы («Роза над прудом»), — читаются они как некое цельное повествование, объединенное фигурой автора, присутствующего здесь на правах персонажа, единым интонацией и наличием сквозной темы. По сути, это лирические мемуары поэта: «О себе, о своем времени, о своем городе». Жизнь коммунальной квартиры и двора со всей их семейной, уголовной, любовной, культурной и прочей хроникой становится у Дидурова своеобразным исследованием физиологии и психологии московского быта на рубеже 50 — 60-х годов.

Некоторое романтическое сгущение красок, чрезмерная, на сегодняшний вкус, открытость лирического чувства в сочетании с публицистическим напором — эти черты дидуровской манеры воспринимаются не только как особенности (а иногда — издержки) «прозы поэта», но и как отзвук давних традиций «исповедальной, молодежной прозы» 60-х годов. Именно тогда, в 60-е, складывались литературные пристрастия Дидурова. Но он не успел — профессионализироваться начал на самом их излете, в пору первых идеологических заморозков, когда, скажем, катаевская «Юность» плавно переходила в «Юность» Полевого. Не захотев принаравливаться к «новым» веяниям, Дидуров ушел в андерграунд, в нарождающуюся рок-культуру. И может, поэтому стилистика его кажется по-своему уникальной: не замутненная официозом лирическая воодушевленность 60-х соединилась с едкостью, бесцеремонной жесткостью в разработке социальной тематики. Здесь сила и слабость дидуровской прозы. Сила в картинной выразительности и емкости зарисовок, слабость же — в излишней напористости суждений и оценок, способной лишить изображаемое многомерности.

Вот один из лучших очерков Дидурова — «Коммуналка». Описание характеров и судеб обитателей московской коммунальной квартиры. Художественная типизированность воссозданного здесь образа жизни вполне обеспечивает итоговые размышления автора: «...Россия оказалась в коммуналке — в гибриде, в помеси тюрьмы, казармы, барака, кубрика, в коммуналке, каковая есть не что иное, как избрительно консервированная гражданская война... А мы, кто поумней, радуемся,

² Дидуров Алексей. Коммуналка. — «Огонек», 1993, № 17; Двор. — «Огонек», 1993, № 23 — 24; Компания. — «Огонек», 1993, № 30 — 31; Три года, считая дорогу. — «Огонек», 1994, № 2 — 3; Роза над прудом. — «Столица», 1994, № 31; Сказание о чаше. Заметки бывшего спасателя. — «Столица», 1994, № 40.

что наша коммуналка отличается от тюрьмы — нет вокруг «колючки»... можно запереться изнутри... Мы догадываемся — и это подчас утешает! — что никогда ничего не изменится, ибо некому менять: народ, за многие десятилетия промаринованный в коммуналках, не способен на капитализм и демократию, ибо они есть равенство прав и возможностей, но не равенство положений, а коммуналка припавает живых именно к такому равенству: один на всех унитаза, одна для всех ванная, общие скандалы, драки, мат, даже дети — общие, хотя бы в моральном и психологическом (как минимум) аспекте: „Товарищ милиционер, отпустите мальчика, это наш, из седьмой квартиры!”»

Однако на пути к этим выводам Дидурова заносит не раз. Сюжет очерка строится вокруг истории взаимоотношений автора и его соседа-лимитчика. Сосед, перебравшись в свое время в Москву, «не пошел на завод, на производство — он пошел туда, где сразу дают ключи от собственной комнаты», — в милицию. Выгнали его оттуда уже через полгода — за пьянки и садизм. Затем трижды был под судом — за хулиганство, за попытку изнасилования несовершеннолетней, за зверские избиения жены; и все три раза избегал тюрьмы благодаря очередной беременности жены и помощи бывших друзей из милиции. Наконец, экс-милиционер сосредоточился на своем интеллигентном соседе, кончилось это топором, попыткой зарубить рассказчика. Здесь выстроен образ как бы изначально одномерный, как бы написанный исключительно для иллюстрации брошенного в начале очерка эффектного и «доходчивого» суждения: «...я вырос и жил большую часть моей жизни в далекие невозвратные времена в московской уютной Вселенной центра — до вторжения в нее лимитной орды... которой предательски открыл ворота моего города товарищ первый секретарь горкома КПСС Гришин в 70-е годы XX века». Этот образ почти плакатен: лимитчик — по определению, жадное, злобное, агрессивное животное. И только в конце очерка Дидурову удастся вернуться на тот уровень осмысления, что дал ему возможность говорить о «коммунальной ментальности» России. Автор сообщает, что сосед-лимитчик ребенком пережил со своей семьей раскулачение. Несложно представить дальнейшие «университеты», сформировавшие его личность. И вопрос о вине закономерно усложняется: кого здесь судить — соседа? бывшего «товарища первого секретаря»? государство?

От издержек Дидурова-публициста спасает Дидуров-художник, ностальгическая окрашенность его прозы. Это ностальгия особого рода. В ней нет тоски по прошлому, нет сегодняшнего: «Какой коммунизм с этой перестройкой профукали, мужики!», выводящего на митинги тысячи пенсионеров. Дидуров смотрит в прошлое трезвыми, памятьливыми глазами. Та жизнь была жесткой, порой — жестокой, и жестокой непомерно. Но она же, та жизнь, не только ломала. Она и выпрямляла — избавляла от иллюзий, от инфантильности, показывала, что почем. Дидуровское чувство ностальгии сродни чувству благодарности жизни, которая научила. Научила думать, чувствовать, не сгибаться и — писать стихи.

Последнее стало темой его очерков, посвященных отечественному року. Да, утверждает Дидуров, ремеслу мы учились у западных музыкантов, но содержание нашего творчества, его энергетика — отсюда, из нашей отечественной дворовой, поселковой, окраинной-городской — ненормативной, яростной — жизни. И истоки русского рока нужно искать в этом низовом пласте, а не в забавах пресыщенной золотой молодежи. Поэтому так дорожит Дидуров-поэт памятью о своем полубеспризорном детстве и юности, своей укорененностью в старомосковской жизни.

...Ситуация, описанная в очерке «Сказание о чаше», сама по себе уже выглядит развернутой метафорой. Дидуров приглашен на некую общемосковскую арт-тусовку, которая должна состояться на дне осушенного бассейна «Москва». Дно бассейна декорировано плитками с именами деятелей русской культуры — от министра этой культуры Сидорова до звезд андерграунда. Там же и плита с именем Дидурова. И вот повествователь, ветеран отечественного рока, бродит среди экстравагантно одетой и экстравагантно ведущей себя толпы, рассматривая имена на плитках под ногами — такое возможно разве еще на кладбище, — и вспоминает отнюдь не свою рок-биографию, а вот этот самый бассейн «Москва», в котором ему пришлось проработать после ухода из журналистики полтора десятилетия спасателем. Это не было его личным, дидуровским вариантом «котельных и бойлерных», в которых переживали безвременье люди андерграунда. Именно пережи-

дали — Дидуров же здесь жил. Ему грустно при виде мертвых стен, грустно вспоминать о временах, когда здесь вспенивалась вода, горели прожектора, а по бортикам расхаживали его друзья-спортсмены. Здесь шла своя жизнь, и не самая плохая. Больше ее не будет. И непонятно автору, что именно празднует он на дне этой чаши — то ли закладку фундамента будущего храма, в основании которого полежали и их имена, их прошлое; то ли зияние очередного Котлована под строительство очередного символа — на сей раз единения и величия нации? «...я вдруг смекнул, что имена на всех плитках можно прочесть только с неба, и машинально взглянул вверх: читают ли?...» Но над бассейном, на вышках для прыжков, увидел только милиционеров...

3

Письма Буркова из Америки³ — явление отнюдь не литературное. Хотя литературный дар у их автора несомненно есть: у Буркова хороший глаз, умение изобразить ситуацию кратко и выразительно; письма пространны, но не болтливы — найдено точное соотношение между информацией и размышлением; стиль живой, энергичный. Буркову удалось создать образ увиденной им Америки. Но меня сейчас интересует не столько то, что увидел Бурков, сколько он сам.

Здесь необходим небольшой экскурс в историю наших взаимоотношений с темой «заграницы». Начиная с 60 — 70-х годов интерес к тому, как живет мир за стенами нашего социалистического лагеря, был уже не жадный, а, я бы сказал, жгучий. Событиями в свое время становились, например, «Ветка сакуры» Овчинникова или «Круглые сутки нон-стоп» Аксенова. К этим текстам приникали, как к открытой форточке. В основе такого интереса лежала полусознанная тоска по свободе. А собственное лицо дальних стран интересовало мало. Влекло к тому, чего не было у нас и о чем страстно мечтали. О свободе передвижения. Об отсутствии страха перед государством. О материальном благополучии, которое, в качестве нормы жизни, всегда казалось нам экзотическим феноменом. Наконец, о раскованности и естественности частной жизни. В общем, мы интересовались за рубежом, если можно так выразиться, отсутствующим своим. И тема заграницы, соответственно, была заветно советской темой. По сути, и «Круглые сутки нон-стоп» написаны были не об Америке, а о свободной Стране Свободных (и потому — Здоровых, Счастливых, Богатых) Людей; это потом, в книге «В поисках грустного бэби», Аксенов открывал для себя Соединенные Штаты, и это, пожалуй, самая невеселая его книга.

Но как только распахнулись в мир наши окна и двери, интерес к зарубежной теме начал иссыхать в глазах. Скажем, «Желтые короли» Лобаса в журнальной публикации пользовались огромным спросом, книжное же издание, появившееся через полтора года, до сих пор лежит в киосках нераспроданным.

Естественно, что начало перестройки было отмечено извержением колоссального количества зарубежных очерков, заметок, записок, телерепортажей на темы западных свобод, образа жизни, культуры труда и т. д. И в этом потоке по большей части ощутима была определенная доля самоуничтожения: у них есть все — у нас ничего, у них свобода — у нас «совок». Пафоса этого хватило года на два, на три, далее тема большевиков, сгубивших будущее России, стала терять остроту новизны. Социально-экономический пласт темы был выработан. Началось освоение ее психологических и культурологических сторон. Встреча с Европой и Америкой возбуждала в литераторах, художниках, философам волнение не меньшее, чем прежде, но уже несколько другого рода. Встречи с западной культурой оказывались как бы испытанием менталитета культуры отечественной — достаточно ли мы изощрены умственно и душевно, чтобы понять, почувствовать ту или иную особенность западного культурного склада. Оказалось, что да. Нам внятно если не «все» (Блок), то многое. Кое в чем и мы европейцы.

Этот процесс шел на уровне, так сказать, высоколобой литературы. На нижнем же этаже — в газетных и телевизионных репортажах, в рассказах побывавших там уже по второму и третьему разу — тональность зарубежных впечатлений на-

³ Бурков Сергей. Письма из Америки. — «Дружба народов», 1994, № 5.

чала меняться. Выяснилось, что и у них достаточно своей бестолковости, бюрократизма, косности. Мотив «Америка — это не та страна, в которую мы ехали», возникший когда-то у русских эмигрантов и не очень внятный для нас еще года три-четыре назад, заметно окреп, а в некоторых случаях зазвучал лейтмотивом. Правда, звучание это было слегка надтреснутым, уязвленным, авторы как бы уговаривали себя: они не лучше нас, значит, и мы не хуже их.

Вот в общих чертах контекст, в котором появились письма Буркова 1989 и 1990 годов. Письма, на мой взгляд, замечательные.

...Первый этап — психологический шок и самоуничужение — автор прошел быстро, уже через четыре месяца он перестал удивляться тому, что «спасибо» в магазинах говорит не он, а продавцы. Этап «Америка — это не та страна...» начался у него практически сразу. «Полнейшее отсутствие какого-либо вкуса — первое, что бросается в глаза в Америке. Нет вкуса в одежде, архитектуре, отделке домов. Народ в Америке (даже на Бродвее) одет примерно так же, как в Воронеже три года назад». «А промзоны — совок совком в его ярчайших проявлениях. Та же грязь, ржавчина, горы металлолома, кривые серые заборы... Когда я ехал из аэропорта в город, то подумал, уж не прилетел ли я вместо NY в Магадан. Но за этим внешним убожеством, к сожалению, таится более серьезная проблема. Америка — страна бескультурная, необразованная и невежественная страна. Самое обидное, что они этого не понимают и не хотят понимать». «Американские работодатели просто не понимают, что МИИТ дает образование лучше, чем университет штата Мэриленд...», «...американцы готовы фарцевать землей, домами или акциями (в белой рубашечке), но не хотят возиться с говном или машинным маслом. Иными словами, американцы не хотят вкалывать!.. Самыми хорошими работниками тут считаются поляки, японцы и китайцы, русские тоже ничего, но их пока маловато». И так далее.

Бурков не шуруется («зато у них нет КГБ, большевиков, прописки»), чтобы проигнорировать очевидное. Но и не держится за контрмифы об Америке, закрепляющиеся на наших глазах. Скажем, за предствление об американцах как людях предельно расчётливых, меркантильных, подчиняющих соображениям выгоды даже человеческие отношения. «Когда у меня лопнула трубка у велосипеда в 20 км от дома, я был вынужден начать голосовать машины-пикапы. Через 5 мин. одна остановилась. Мужик довез меня с великом к себе домой (где-то 5 км), там у него оказалась целая мастерская... Он разобрал мне колесо, заклеил его и собрал... Мне стоило больших трудов отбиться от приглашения отобедать и взять с собою велофонарь, так как до темноты оставался час. Я мог бы привести еще несколько подобных примеров, из которых следует, что американское гостеприимство и готовность помочь находятся где-то на уровне армянского...»

Прожив около года в США, Бурков подытоживает для себя, чем нравится ему Америка: «1. Презумпция хорошего настроения и доброжелательности... 2. Правовое государство, отсутствие страха... Здесь в самом деле чувствуешь, что отдельный человек имеет равные права с системой... 3. Зарплата. 4. Чистый воздух и низкий уровень радиации...» Перечисленные блага не отменяют для Буркова резкостей, сказанных ранее. Для него само собой разумеется, что такое сложное и огромное явление, как жизнь целой страны, не может сводиться к однозначной формулировке: «хорошая» или «плохая». Интонации его писем скорее спокойные и деловые. Специфического волнения человека, попавшего в незнакомую ему цивилизацию, он не испытывает. Цивилизация, в общем-то, та же. Самое удивительное и новое для нас в подобной ситуации, что вот такая тональность восприятия чужой страны естественна для автора. Умом каждый из нас понимает, что подобное — без самоуничужения и без кичливости — самоощущение является нормой. Да только где ж его взять. Поэтому с особым интересом читается — как необходимая часть публикации — биографическая справка: «...родился в 1956 году в Москве... физ-матшкола, Физтех, аспирантура, кандидатская, место м. н. с. в Институте теоретической физики им. Ландау АН СССР. Было все, что необходимо для счастья: отличная работа, прекрасная жена, квартира в Москве, машина, виндсерфер и горные лыжи». По нашим меркам судьба, разумеется, не рядовая, но отнюдь и не исключительная. Слой людей, живущих подобной жизнью, достаточно многочислен. Видимо, что-то уже было в атмосфере конца 70-х годов, когда складыва-

лось мироощущение Буркова и его поколения, что-то тихо, незаметно, как мартовские оттепели, подтапливавшее, разъедавшее ледяные торосы официальной идеологии, если в среде молодых интеллектуалов смогли появиться люди с развитым чувством достоинства, более того — с развитым чувством национального самоуважения.

«Только оказавшись в Америке, я понял, что я русский и им и останусь в любой точке земли» — фраза эта у Буркова лишена какого-либо пафоса, как уничижительного («совком» был — «совком» останусь), так и горделивого. Это просто констатация. Он спокойно знает, откуда он, кто он, не стыдится этого и не кичится этим. У них — свое, у меня — свое. Это нормально. Более того, только так и можно понять чужую страну — через свое. Без патриотизма не станешь и «гражданином мира» — одно без другого не существует. Попытки отказаться от своей страны, своего воспитания, культуры, своей «укорененности» делают человека нелепым и убогим. «Представьте себе человека, который эмигрировал в 1970-м, было от чего. И теперь он приезжает в Москву и не замечает никаких перемен. Ни митингов, ни кооперативов. Он даже не пишет, что теперь никто не боится стукачей и болтает что хочет и где хочет. Он не замечает шахтерских забастовок и «Взгляда», измайловского вернисажа и Ландсбергиса. Все, о чем этот пень пишет в «Новом Русском слове», это что в России все стало еще хуже, на улицах стало грязнее, по ночам опасно ходить и от людей пахнет потом. Нет, ничего в этой стране не улучшилось. Как не было дезодорантов, так и нету». Что же такой человек, брезгливо отталкивающийся от своей страны, может понять в жизни страны чужой?

Слово «патриотизм», кажется, вообще не из лексикона Буркова. Но получается, что вот этот вестернизированный интеллеktуал и является нормальным русским патриотом. В его уважении и восхищении Америкой гораздо больше здорового национального чувства, нежели в истерических декларациях наших нынешних националистов, тех, кому для возвеличивания своей страны (которую они втайне ставят невысоко) непременно нужно принизить всех остальных.

Похоже, — во всяком случае, очень хотелось бы надеяться, — что мы имеем дело с первыми симптомами появления в России целого типа людей — новых русских, но уже без уничижительных кавычек.

* * *

Три отклика на отдельные, в общем, мало связанные друг с другом — и по жанру, и по содержанию, и по целям — публикации, написавшись, объединились сами. Оказалось, что в мемуарной очерково-эссеистской прозе время и эпоха отпечатываются необыкновенно выразительно и точно, хотя того или нет ее авторы. Это в художественном произведении писатель вступает в диалог со временем на равных, только там он — творец, демиург, хозяин материала. Когда же он начинает писать о себе, о своих друзьях, когда разламывается замкнутость художественного пространства, когда ведет он сюжет, не им выстроенный, прослеживает логику событий, не им выведенную, то, как бы он ни старался вмешаться в свой материал — комментируя, что-то подчеркивая, что-то приглушая, что-то изменяя и угаивая, сознательно или бессознательно, — в конечном счете он пишет под диктовку. Предоставив автору право тешиться иллюзией своего могущества, его рукой пишет сама эпоха, пишет о себе от первого лица.

И даже по представленному здесь как бы случайно сложившемуся фрагменту современной мемуаристики мы получаем возможность наблюдать за непрерывно развивающимся сюжетом нашей эпохи, в данном случае воплощенном в трех авторах-персонажах: поздний шестидесятник, человек 70-х годов, человек 80-х. Движение этого сюжета завораживает отсутствием финала, оно разомкнуто в будущее, предугадать которое трудно, да, наверное, и не нужно...



ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

А ВСЕ-ТАКИ ВЫШЕ УРОВНЯ МОРЯ...

Толстые журналы — что ждет их завтра? — задает «Литгазета» ставший уже привычным на переломе года вопрос и отвечает статьей Павла Басинского («Очарованная культура», 11.1.95), который, как оказалось, ничего от них не ждет. Чего ждать от завтрашнего мертвяка? Честнее объявить правду: толстый ежемесячник ныне — либо очарованный остров для разочарованных нью-аутсайдеров, либо заповедник окаменелостей. Словом — «труп». Пока — полуживой, и звон премиальных бокалов, к зимним праздникам приуроченный, еще скрывает лязг-стук костей — «желтых мослов из могильника». Вонь, однако, стоит несусветная, потому как слоноподобные бывшие смердят, и все нормальные-витальные особи давно дали деру — вон из библиотеки! прочь от архивной пыли! Куда? На воздух! Туда, где вольно дышит новый русский «эйдос», миллионом литтерзаний не озабоченный.

Конечно, конечно, Басинский — не Мальгин, которому мало власти без славы, и не Юрий Кувалдин, гордящийся перед толстожурнальными засидельцами своим сегодняшним издательским разбегом¹.

Убеждена: ярость, с какой Басинский расшвыривает носком адидасовской кроссовки «желтые мослы» из могильника, порождена не злостью или злорадством, а горькой досадой критика милостью божией, сделавшего себя на журнальной культуре, на этом малообитаемом, затерянном в безбрежном книжном море островке свой черный хлеб добывающего и вот надо же — навсегда опоздавшего к толстожурнальному буму. Ведь и Борис Кузьминский начинает свой новогодний раздолбон трех столичных толстяков («Знамя», «Октябрь», «Иностранка») с ностальгической ноты: назад-обратно хочется, в отрочество, когда толстожурнальные авторы казались ему, подростку, книжному червю, чуть ли не небожителями!

Впрочем, покуролесив на предполагаемой «тризне больших похорон», Павел Басинский снимает карнавальную маску Могильщика и тоже начинает ностальгировать. И философствовать. Дескать, в России и в XIX, и в XX веке журнальная культура — это «не штучный товар», не отдельные, плохие ли, хорошие ли, журналы, а «Империя, Царство, Синклит, в которых одна (журнальная. — А. М.) единица значила не больше, но и не меньше, чем один солдат в прекрасно организованной армии».

Для литературных мечтаний (накануне старого Нового года) не худо придумано. И исполнено лихо. Вот только фактам — историческим — не соответствует. Ну какая журнальная Империя, какой издательский Синклит — при почти поголовной безграмотности (к середине «золотого» девятнадцатого — 8 процентов едва умеющих нацарапать имя-фамилию; менее 1 процента способных по складам прочесть печатную страницу, ничтожная кучка читающей публики — и, наконец, истинный читатель как явление единичное и нетипичное)? Какое журнальное ярко цветущее Царство в стране со столь неудобной для общения и сообщения умов

¹ Я имею в виду вот какой эпизод. Приглашенный «Знаменем» на обсуждение литературной ситуации 1994 года, хозяин издательства «Книжный сад» заявил следующее: «Совкам за новыми русскими не угнаться. Спрос — предложение. Рукопись прочитывается за два дня, на третий принимается решение. За этими темпами забюрократизированные, апатичные, надменные... редакторы толстых журналов не угонятся, они, видимо, по-прежнему мусолят по году рукописи, а то и теряют их. Они (редакторы. — А. М.) просто такие — ленивые, амбициозные, одним словом, советские. Пусть обижаются, но работу найти им будет нелегко» («Знамя», 1995, № 1, стр. 181).

географией, когда от мысли до мысли — «ни огня, ни черной хаты... только версты полосаты...»? Когда цензура бдит в три глаза, когда великие мира сего не изъясняются по-русски (русские записочки Екатерины Карамзиной кажутся нацарапанными рукой Арины Родионовны!), а потому и читают и «складируют» лишь дорогую иностранную книгу, для публики чуть победнее уже почти недоступную? Вот что писала, к примеру, тетка Петра Чаадаева, и не из Тмутаракани — из Дмитровского уезда, брату философа Михаилу, державшему специально для тетеньки абонемент в одной из частных московских библиотек: «И как уж ты меня одолжил, что не знаю, как тебя и благодарить; в скуке моей, конечно, великая отрада, но надо и совесть иметь: в год это делает сумму...»

Русские книги, естественно, дешевле, но тоже «делают сумму», ибо тиражи мизерные, государственное книгопечатанье неповоротливо, а частные типографии и издатели маломощны, да еще и слишком помнят разор, указом о запрещении вольных типографий учиненный. Ныне вроде бы отменен, но кто об заклад побьется, что повторения не последует? Да и на чем строить Дело — что издавать? Ну, исхитрились и дедушку Крылова потешили, сделали великому книголюбу презент: «Басни Ивана Крылова» блошиным форматом отпечатали. Но то ж потеха. А для барыша — что? Стишки-с? Да «Бедная Лиза», да «Капитанская дочка», да пламенный Марлинский, да Карамзина «История», каковую за отсутствием русского исторического романа словно роман читают.

В столь специфических, уникально российских обстоятельствах ТОЛСТЫЙ ЖУРНАЛ, «втягивающий» под свою, тонкую, «обложку целую библиотеку» (выражение А. Рейнблата, автора замечательного исследования «От Бовы до Бальмонта»), был оптимальным вариантом, единственно реальным выходом из безвыходности!.. Ну прямо по пословице: голь на выдумку хитра. Ежемесячный «толстячок», кстати, тоже был не дешев, и все-таки тот же самый материал для чтения в виде книги обошелся бы русскому книгочею тогдашних времен в три раза дороже...

И вот что нужно припомнить любителям помечтать о «России, которую мы потеряли». В отличие от книги, распространением которой занималась книжная торговля, подписной журнал в любую точку империи, какой бы она ни была отдаленной, доставляла госпочта. А она — царская почта — и в «дожелезную езду» работала по-армейски четко. Благо в лошадях (гением Алексея Орлова, отставного любимца Екатерины Великой), к русским немереным верстам приспособленных, недостатка уже не было, равно как и в безотказных станционных смотрителях.

Тут уже внук Екатерины, Николай Павлович, постарался — навел Порядок. Не из любви к просвещению, разумеется, — до конца дней своих не мог совладать с ужасом, пережитым в день 14 декабря. Дабы держать державу в самодержавном Кулаке (чтоб не ковала потаенно — крамолу), его величеству государю императору, самодержцу всероссийскому (и прочая, и прочая, и прочая), надобно было стать Всевидающим Оком и Всеслышащим Ухом. А что увидит Око, что услышит Ухо — при таких-то имперских просторах — без курьерской безотказной почты, без учета и контроля за каждой подорожной — по казенной ли, личной ли надобности?

За лихими курьерскими тянулись выносливые почтовые — и ничего, тянули груз просвещения, благо был не так уж и грузен: десять — двадцать «толстячков» на уезд, тридцать — пятьдесят на губернию. К тому же развозили их по России разутыми-раздетыми, в бумажных «пеленках», а одевали уже на местах, причем зачастую одновременно: переплетному делу в те времена обучали почти повсеместно, даже в привилегированных военных заведениях.

Русские толстые журналы, как бы ни хотел Басинский подстричь их под одну гребенку, были разные, и выбор-разброс — был; правда, не слишком большой — от шести до восьми вариантов; но все же и по политическому направлению, и по уровню интеллигентности, да и вкус редактора — а это всегда товар штучный — многое определял. И все-таки и впрямь в русском толстом журнале было и нечто общее всем. Это действительно был особый, уникальный журнальный жанр. Существо и особенность этого жанра лучше и тоньше других, многих, и более знаменитых «людей журнала» определил-предугадал-просек князь Владимир Одоевский. Причем задолго до того, как началась «журнальная эпоха». До того, как Андрей Краевский пригласил Владимира Одоевского в соредакторы возобновленных «Отечественных записок» (на роль «генератора идей»), и много раньше того, как Пушкин, затеяв «Современник», начал приглядываться к «князюшке» — на предмет сотрудничества.

Вот что писал фактический изобретатель русского журнального жанра в 1828 году, в еще, повторю, дожурнальный альманашный период русской словесности: «Под каким условием поэзия или искусство могут существовать в наше время? Человек не верит и поэзии; вымысла для него недостаточно; «Илиада» ему скучна, он требует от поэзии... существенности... Ныне поэзия, чтобы достигнуть своей цели — пробудить сочувствие в душе человека, должна встретить человека у порога его дома, заговорить с ним о его домашних горестях, о средствах поправить семейные обстоятельства, о том, что его окружает, словом, об его индивидуальном счастье; для сего поэт должен знать все подробности человеческой жизни, начиная с познаний ума до последней физической нужды». Домом (приютом) именно такого искусства (и прозы и поэзии — одинаково) и стал толстый журнал, и чем полнее соответствовал он своему назначению, чем более походил на угаданный Одоевским Идеал, чем лучше хозяева журнального Дома искусств знали подробности обыденной человеческой жизни, тем больший читательский успех выпадал на их долю, и наоборот: блистательно-умный, истинно элитарный пушкинский «Современник», к примеру, потому и не пошел, что этому идеалу не соответствовал.

В том, что толстый русский журнал так долго был главной формой бытования и русской мысли и русского слова², как это ни парадоксально, не последнюю роль сыграла... проклятая русская покорность общему мнению.

Вот что пишет по данному поводу уже упоминавшийся дотошный и шепетильный А. Рейнблат: «Согласие читателя предпочесть журнал книге (а было время, когда образованная публика ничего, кроме толстых журналов, не читала и даже в платных библиотеках журналы составляли львиную долю выдачи. — А. М.) означает, что он считает себя недостаточно компетентным, чтобы из потока многочисленных публикуемых отдельно произведений выбрать подходящие именно ему. Он не хочет (или не может) читать большое число разнообразных книг и нередко довольствуется обзорами, компиляциями, пересказами... Журнальный читатель вообще слабо доверяет конкретному индивиду... ему важно, чтобы публикация исходила от группы в целом».

Последнее соображение касалось, в основном, в первую очередь жителей провинции, плохо представлявших, по причине отдаленности от центра, «кто есть кто», но ведь именно провинция и была той опорой, которая долгие десятилетия держала «толстяков» на плаву. Даже в дни славы Некрасовского «Современника» две трети подписки давала служилая и учащаяся провинция в складчину с глухими усадьбами средней руки; что до столиц, то здесь их (тогда, как и ныне!) все больше пролистывали...

Короче, именно толстый журнал был тем «дуплом», посредством которого переговаривались — через сотни разъединяющих верст — русские книгогои. Круг их был мал, но, несмотря на разрозненность, — тесен, а главное, почти постоянен, из чего следовало, что писатель, связанный долгосрочным договором и личными симпатиями с тем или иным ежемесячником, загодя, заранее знал, какой (типажно) читатель первым откроет и проглотит его новую вещь. Все это вместе взятое на долгие годы — на десятилетия! — создало особые, как бы домашние, патриархальные, ну прямо тепличные, а не холодно-рыночные отношения между Читателем и Писателем. А это, естественно, не могло не сказаться и на особенностях большой русской прозы, с ее сочувствием к маленькому человеку, с ее милосердным вниманием к подробностям жизни, с ее недоверием к вымыслу и т. д. и т. п. Больше того: редкостная бесконфликтность этих отношений, похоже, немало поспособствовала ее, прозы, бурному расцвету, во всяком случае, столь идеальных творческих условий у русского литератора больше уже не было (как тут не процитировать Владимира Корнилова: «Больше российской словесности так никогда не везло»). А везло ей долго: дитяtko, зачатое в вынужденном браке беспросветной российской нужды и изворотливого, догадливого русского ума, вышло не

² О том, что это была именно главная, а не альтернативная форма, свидетельствует и такой факт: за перепечатку романа в книге даже такой знаменитый романист, как Иван Тургенев, получал гонорар в десять раз меньший, чем за первопубликацию в толстом журнале. Более того, авторитет именно журнальной публикации и в глазах критики, и в представлении читателей был столь высок, что произведение, не попавшее по каким-то причинам на страницы толстого журнала, не считалось литературным событием и даже литературным фактом.

только удачным, но и «долгожительным». В уникальном своем качестве: главное издательство новинок отечественной изящной словесности, серьезное ученое пособие по жизни, общедоступная библиотека по всем отраслям знаний, а также то идеальное место, не клуб, не салон, а именно место, где ежемесячно Писатель и Читатель сбились тесным дружеским кругом для беседы, для размена чувств и мыслей и этим своим единением оборонялись от неприязни к ним, «образованным», всей остальной, нечитающей, России, твердо державшейся скалозубовского принципа: «собрать все книги бы да сжечь»; свои — среди чужих, в своей стране — а словно иностранцы.

Толстый журнал просуществовал в полном благополучии до конца 80-х годов прошлого века. И вдруг его благополучие, опора его благополучия зашаталась, ее начали сильно раскачивать, подтачивать два сильных новых конкурента — газета и занятный иллюстрированный журнал. Это, кстати, очень обеспокоило Антона Чехова. Вот одно из его высказываний на сей счет, от 27 ноября 1889 года, в письме А. Н. Плещееву. Повод для высказывания — слухи о крахе «Северного вестника»: «Я, конечно, не верю этому. Толстых журналов в России меньше, чем театров и университетов, судьбою их заинтересована вся читающая и мыслящая масса, за ними следят, от них ждут и проч., и проч. Их поэтому надо всячески оберегать от разрушения — в этом наша прямая обязанность. Вы писали мне: будем держаться. Отвечаю: будем».

И тем не менее «толстяки» хирели, полегоньку-потихоньку, но куксились, уступая центральное место роскошным изданиям для новых русских, таким, как «Весы» и «Аполлон», где литература жалась к стенке, а правили бал люди искусства (в прямом смысле), и это естественно: литература — насущный хлеб бедных, живопись — забава для богатых, а Россия — богатея, новые русские рубили вишневые сады и возводили немислимые особняки; стен было много, и их надо было украсить — холстами несметной цены...

В 10-х годах XX века «толстяки» совсем захирели — вот какими запомнил бывших властителей дум язвительный Георгий Иванов: «Петербургские редакции делились на две неравные части: журналы толстые, «идейные», и другие, более легкие и по содержанию, и по объему. О первых рассказать почти нечего. Сolidная скука очередного номера «Вестника Европы» или «Современного мира» царил в редакционных помещениях. Большая пропыленная унылая квартира, бородастые сотрудники в очках, жидкий чай с лимоном и в редакционном кабинете — „известный критик и публицист”».

Не эта ли унылая и впрямь пожелтевшая от табака и слишком жидкого чая картина висела перед внутренним взором Басинского, когда он сочинял сценарий очередных литпохорон? Лично у меня, и тоже прямо перед глазами, витает иная картина... «Литгазету» со статьей Басинского мне презентовали в канун старого Нового года, на почти шикарной тусовке, какую «Знамя» вот уже второй раз устраивает в честь своих лауреатов. Овальный зал Библиотеки иностранной литературы был полон, раздачу премьальных пряников со спонсорской благотворительной елки транслировали по всем трем каналам ТВ. Хозяева сияли, гости оглядывались в поисках привычных лиц и улыбались и передавали улыбки по кругу — и каждая прочитывалась как: «возьмемся за руки, друзья», чтобы не дать пропасть Нашему Самому Лучшему в мире журналу; и хозяева улыбались ответно — впрямь улыбались, не делали хорошую мину при плохой игре, и вместо жиденького чая с лимоном было шампанское...

Но мы немного опередили и бег времени, и ход вещей.

Итак, к началу настоящего, не календарного XX века «толстяки» скуксились настолько, что всем без исключения казалось: срок их уж измерен... Ну а потом... Потом, увы, случилось то, что случилось: красная лопата срыла и сбросила за борт, в набежавшую эмигрантскую волну, а потом и в котлован стала сбрасывать тонкий, с пропеллинами, культурный гумус. Тут-то «толстяки» вновь ожили, раздались телом — и поволокли на себе насаждаемое сверху просвещение масс.

И лишь однажды за все семьдесят лет советской власти память русского журнального жанра очнулась от забвения и пролетарских заморочек. Я имею в виду, конечно же, «Новый мир» Твардовского. Вот уж где точно своего верного читателя встречали на пороге его скудного жилища, вот где знали все подробности его жизни, начиная с познаний ума и кончая «последней физической нуждой...».

Что касается славного тостожурнального бума 1987 — 1988 годов, то это был не столько расцвет журнальной культуры, сколько репетиция — рабочая прикид-

ка! — бума издательского. Фантастические, избыточные, сумасшедшие, вскружившие почтовому ведомству некрепкую голову тогдашние тиражи ежесемесничков наверхья навели потенциальных предпринимателей на мысль: начать накопление капитала именно с этого быстроходного и скородоходного бизнеса! И те оказались правы в своих прикидках: за какое-нибудь пятилетие — цитирую Диану Тевекелян — Россия из страны «уникально журнальной становится страной издательской».

Высказав это соображение, Тевекелян с грустью добавляет: «Я человек журнальный и тяжело переживаю это, но, боюсь, процесс необратим».

Я тоже человек журнальный, и даже книги, ежели не для дела, а так, читаю по-журнальному: сразу несколько и чтобы все про разное. И при этом ничуть не переживаю. Ежели дура почта дотумкает, что при таких ценах за доставку скоро останется при рождественских и пасхальных открыточках, если товарищ правительство перестанет экономить на спичках, если книжно-бумажные коммерсанты сообразят, что Россия слишком долго была страной журнальной и до сих пор пребывает в убеждении, что произведение, не опубликованное в журнале, не есть факт литературы; если писатели, вместо того чтобы злиться на мизерные журнальные гонорары, поймут, что журнал — это не просто остров, но еще и возвышение над уровнем книжного моря, то есть тот холм, с которого он, писатель, виден всем — и критикам, и читателям, и издателям, которые поумней... Так вот, если эти «если» соединятся, если все, так или иначе связанные с журналами, уяснят, что во всех отношениях выгоднее оберегать «толстяков» от разрушения, чем с гиканьем разрушать, то и будут они себе жить — и притом самой живой жизнью. Естественно, каждый на свой манер. Не исключаю, что некоторые из нынешних журнальных заведений превратятся в Дома сезонной литературной моды; «Знамя», к примеру, к такому перепрофилированию, кажется, готово. Но и для не гонящихся за сей жар-птицей живое литературное дело найдется, потому как без толстого журнала словесности российской уж точно не прожить. А толстых журналов у нас, как и при Чехове, мало — меньше, чем театров и университетов. Да и нужная горстка читающей и думающей массы тоже отыщется, хотя бы уже потому, что в России по-прежнему полно «населенных пунктов», где доступ к умной книге ограничен и куда пробиться может лишь подписной журнал.

И он, кстати, пробивается.

Вот какое письмо получила я на днях на адрес редакции «Нового мира» для передачи Олегу Павлову, автору опубликованной в 7-й книжке за минувший год «Казенной сказки» — из города Кизел Пермской губернии, от Трофимова Бориса Владимировича, сорока пяти лет:

«Здравствуйте, господин Павлов! Мне очень понравилась ваша повесть «Казенная сказка», и я решил написать вам. Если не ошибаюсь, «казенная сказка» — это список государственного имущества. И те люди, о которых вы рассказываете, — это и есть казенное имущество, не люди, а вещи, чего о них беспокоиться, если такого казенного добра у нас навалом...»

На этом пока и кончу.



Единственный в России литературно-образовательный журнал для детей — инвалидов зрения «Школьный вестник», выходящий на Брайле, нуждается в помощи.

Издатели журнала обращаются к состоятельным людям, благотворительным фондам и организациям: помогите слепым детям!

Р/с 609680 в АКБ «Бизнес», МФО 445833478, уч. 74 (для журнала «Школьный вестник»). Телефон редакции: 285-27-48.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«МЕЩАНСКИЙ РОМАН» ИВАНА ШМЕЛЕВА

И. С. Шмелев. История любовная. — «Москва», 1994, № 7 — 9.

Один за другим появляются романы И. С. Шмелева в журнале «Москва»: «Няня из Москвы», «История любовная»... Шмелев — хороший камертон для журнала, который, считая себя по преимуществу православным, ищет эстетически полноценную прозу для подтверждения своей позиции.

Удивительно, насколько легко воспринимаются сейчас произведения Шмелева, созданные в эмиграции и ныне «возвращаемые». «История любовная» — еще одно тому подтверждение. Роман естественно входит в литературную ситуацию, многому созвучен, во многие современные споры вовлечен.

Как и большинство его современников 20 — 30-х годов, Шмелев отказывается нагружать образ непомерным философским бременем: «Вопросов не ставлю и не разрешаю. На небеса на детском аэропланчике не мечусь». Высоте писатель предпочитает динамику, добивается, как сам говорит, «легкости», «читабельности», эффекта «кинемо» (точно так же многие советские писатели того времени едва ли не выше всего в прозе ценили занимательный сюжет — устремлялись учиться ему «на Запад!», призывали вспомнить азы профессионализма и вернуть «рассказ в фабулу»). И для наших дней, пожалуй, это был бы не худший исход: ведь сегодняшняя постмодернистская проза, если разогнет и выбросит дополнительные скрепы «философского поиска», может остаться и вовсе без каркаса, поскольку элементы «коллажа» станут соединяться скорее по принципу «свалки», чем по заранее продуманному плану или интриге.

Как показал в свое время И. Ильин, именно в «Истории любовной» Шмелев подошел вплотную к открытию путей просветления «тьмы», он впервые рисует «борьбу духа и его платонической мечты о чистоте — с обставшей его темной стихией». Эту главную тему книги — соприсутствие в мире и непримиримость двух сил, чистоты и греха, чистоты и грязи — сам автор романа впрямую называет и всячески подчеркивает. Судя по критическим откликам, коллизия эта и в наше время ощущается как насущная. Не удивительно: в истории «русского эроса» многое роднит начало и конец века; во времена героев романа «естественнонаучному» взгляду любовь открывалась как «раздражение нервов» («Доказано на лягушке!»), современная «эротика» столь же мало напоминает «науку страсти нежной», но, как и прежде, некая загадочная сила (то ли бес противоречия, то ли ангел-хранитель) заставляет «циников», вопреки духу времени, ценить на вес золота дар чистоты.

Однако нашему времени интереснее, пожалуй, не очищенное ядро смысла, а сама «шелуха» или оболочка, образ в его стилистических подробностях — комический сдвиг серьезной темы. Такой ракурс приоткрывает новые оттенки смысла — например, то, что «мир чистоты» окружен в романе той же стихией смеха, что и «мир грязи» (пошлости, «греха»), что принятые в романе детски наивный взгляд и прямолинейно категорический слог остраивают до смехотворности оба разнополюсных взгляда на жизнь. Комична соблазнительница юного героя, акушерка с нежным именем Серафима, сентиментальная и безграмотная (ее любовные письма украшают «арамат», «местечьки» и т. п.), но смешным выглядит и сам Тоня: начитавшийся приключенческих книжек и романтически настроенный, он идеализирует женщину («как небо, как... богиня, как идеал») — и влюбляется в «Дульцинею с тряпкой» и оказывается в «свите» Прекрасной Дамы — «повитухи». Смешны в романе не только «научные» попытки приравнять любовь к темным вязким хлябям похоти (мужчина, видя «красивое мясо» и «чувствуя прилив... гм!.. физической потребности, берет женщину, как добычу! Это совершенно просто»), но и платонические понятия и мечтания («любовь поэтов — благоговеть», где-нибудь на не-

обитаемом острове «оберегать ее тихий сон, стоя у изголовья с карабином», если повезет — «слиться с ней в дружном святом объятии», но коли судьба против — «проливать слезы над ее одинокой, безвременной могилой»). Конечно, диапазон комического в романе широк, от едва ли не сатирического снижения до благожелательного юмора. И все же некоторые оттенки смеха одинаково сопровождают оба мира любви, разрушая их границы.

Глубинный смысл этого парадоксального подобия проясняют любопытные совпадения в лексиконе двух миров; так, оба они пользуются словом «благородный» (по частотности оно занимает едва ли не первое место в романе). В любовных фантазиях Тони на фоне «благородной» природы фигурирует она, «с тонкими, благородными чертами лица», порученная некоему капитану корабля «благородным графом д'Алонзо» для доставки к «благородному» отцу... Но и круг акушерки Серафимы злоупотребляет этим словом: оно приподнимает планку притязаний на место в обществе («Моя мечта... в моем доме, чтобы только благородные, как семья!»), оно расценивается как пропуск в избранный круг (по словам толстухи с бородавками, «они с дочкой самые благородные и выносят помои всегда в необходимое место»), провоцирует дискуссии об эталоне «бонтонности» («А у благородных людей и помоев не может быть!..»), впрочем, задает высоту явно непосильную («Окно открылось, и высунулся чайник. Я видел маленькую ручку и белую манжетку. Ручка вытряхивала чайник. И тут же подбежал Карих и нежно подмел метелкой»). Когда «помои» превращаются в критерий благородства, изображение получает сатирический оттенок, но и вообще мечты о «благородстве» вызывают иронию повествователя — сложно-двойственное отношение. Причина в том, что «благородный», слово-знак включающегося в культуру среднего слоя, выявляет любопытный факт: мещанская среда, пародийно преломляя высокие культурные идеалы, вместе с тем и просветляется в контакте с ними, труднодоступными, но такими привлекательными.

Контекстуальные параллели к роману Шмелева в итоге просятся иные, чем предлагает П. Басинский¹, ставящий «Историю любовную» (роман о «чистоте») в один ряд с книгами С. Василенко, А. Варламова, Л. Бородина, Г. Головина. Аналогию иронии Шмелева можно отыскать в той современной прозе, что развивает принципы соц-арта, например, у Б. Кенжеева в романе «Иван Безуглов». «Ивана Безуглова», с его имитацией и остранением штампа («грубоватые, но благородные черты» — характерная переключка с образами Шмелева), легче всего прочитать — что и делают! — как пародию (на каноны и штампы соцреализма, рекламы, мелодрамы, одним словом, массовой культуры). На деле же в «мещанском романе» Кенжеева — ироническое двоение оценок и скольжение их. Понятно почему: ведь стереотипы масс-культуры обозначают то, чего в обычной жизни не бывает, но что тем не менее, по непосредственному ощущению любого среднестатистического человека, быть должно (так, неправдоподобен, но и заманчив заглавный стереотип романа, бизнесмен с показательным именем Иван Безуглов, патриотичный и законопослушный, нравственно порядочный и щедрый по убеждению).

Точно так же и у Шмелева иронический настрой хотя и разрушает «идеалы», культурные стереотипы мещанской среды, но не до конца, отчасти попустительствует им. Пожалуй, критики «мифов» поспешили списать «миф» за ненужностью: социальный стереотип, пренебрегая правдой и сложностью жизни, вместе с тем сохраняет высоту и силу эталона и, так сказать, возвращает «историю» к «природе»...

Ирония в изображении объединяет «мир чистоты» и «мир греха», подчеркивая то, что им равно присуще, однако их коренная несовместимость Шмелевым не забыта, она выходит на первый план в финале романа. В одном из финальных эпизодов ненароком приоткрывшееся «лицо греха» — «темные, кровавые веки, напухшие, без ресниц, и неподвижный стеклянный глаз», тайное уродство, которое соблазнительница тщательно, но тщетно пыталась скрыть, — изображено пристрастно и с отвращением. Тут, однако, есть нечто, надолго останавливающее внимание.

Примечательнее всего, наверное, в этой сцене то, что она имеет прямое отношение к замыслу романа и подготовлена его развитием. Нетрудно заметить, что

¹ «Литературная газета», 1994, 12 октября.

внешность персонажей из окружения Серафимы исключительно безобразна: мать — толстуха с бородавками, у Рожи, любовника матери, вместо лица «рожа с волдырями — синевато-красный кусище мяса»... Все наводит на мысль, что внешнее, телесное уродство и не может дать последствий иных, чем душевная нечистота, похотливые наклонности и смертельная угроза всему чистому; безобразное как бы питомник «греха» и «грязи». Для красоты, напротив, оказываются как будто наиболее естественными «чистота» и безгрешность. Не случайно красота в «Истории любовной», как правило, маркирована небесно-голубым, очищенным от красок крови («греха») цветом: у «предметов» героя непеременны голубые или синие платья, кофточки, юбки, глаза или шея в голубоватых жилках. (Добавим сиянье в небе, лужи, утро, подснежники, живые и нарисованные на хрустальном стакане, занавески, солнечный поток и т. п. — понятно, что изобилие голубого и синего не случайно и многозначительно, оно задает праздничный настрой и предощущение «чистоты» и превращает «небесный» цвет в один из христианских символов романа.) Наконец: людей, внешне некрасивых, но душевно прекрасных в «Истории любовной» не предполагается. Удивительное умонастроение (тем более что оно как будто трудносоединимо с христианской верой)! Принятое всерьез, оно необычайно упростило бы нравственную жизнь: можно было бы судить о душевных достоинствах по внешнему облику, малейший ущерб красоты был бы морально подозрителен — так сказать, если грех налицо, то, значит, и на лице; и грешные скрывали бы свое уродство, как улику.

Однако ясно, что раскрывающееся в композиции своеобразное нравственное эстетство — проекция душевного склада юного героя-рассказчика, этот «эстет» влюблен в горничную Пашу, но лишь тогда, когда видит ее чистенькой и приодетой; когда Паше — по будням — запрещают наряжаться парадно, все раздражает в ней: неграмотные словечки («экзаменты учут», «ужли это вы сами насказали?!»), «руки жесткие», «затрапезное платье», «разношенные башмаки, ушастые». Но интересно, что автор не торопится навязать юному герою опыт освобождения от «эстетства», более того, оно даже служит ориентиром в ситуации некоего серьезного выбора.

Казалось бы, встреча лицом к лицу с «грехом» должна подвигнуть на аскетическое осуждение всего, что связано с плотью. Но... аскетизм в глазах героев Шмелева лишен красоты. Новый работник, праведник по натуре, Степан, купая выздоравливающего мальчика, внушает ему: «Напечатано в книгах — пустынники не мылись. ...Но я полагаю, что это не от Господа, а от мнения. Мойся, питайся, радуйся... — будь как лилия полевая, умывайся росой-красой, солнышком вытирайся... — а душа петь будет Господу красоту Его!» Что касается «греха» — нет, он не оправдан, но... выясняется его уместность в мироустройстве (об этом Шмелев будет писать и позднее, в «Небесных путях», к примеру). Степан-праведник уверяет, что человеку посылается огонь соблазна («опалить тело, как свинью палят к празднику»), чтобы тем благотворнее было действие воскрешающей «воды живой» («Аз есмь вода живая!»), чтобы человек чудесным образом заново родился, чистым и обновленным. Стихия страсти — неизымаема из мира, нужна же не столько как испытание, сколько как опыт смерти и воскрешения, очищающей катастрофы.

Это, пожалуй, самое главное в «Истории любовной»: с безразличностью воспринимаемая разрушающий «грех» и душевную грязь, эстетствующий православный христианин Шмелев не склонен к аскетическим крайностям в вере, не отвергает жизнь с ее стихиями, но указывает путь через жар страсти и прохладу «чистоты» — к жизни же. И пожалуй, именно эта версия сплетения земного и небесного и сообщает «Истории любовной» подлинную оригинальность, какие бы параллели ни проводить, кого ни вспомнить: классика Тургенева (пародийность шмелевского романа по отношению к «Первой любви» отмечала О. Сорокина) или современников Шмелева — Бунина (с его темой плотской любви), Б. Зайцева (с его прохладно-одухотворенным «соловьеским» эросом), Пильняка и Замятина (с их апологией биологического естества)... Или современных авторов, пытающихся вернуть русский эрос из подполья в культуру.

Елена ТИХОМИРОВА.



ПОЭТ ЭМИГРАЦИИ*

Георгий Иванов. Собрание сочинений в трех томах. М. «Согласие». 1994. Т. 1 — 656 стр.;
т. 2 — 480 стр.; т. 3 — 720 стр.

Георгий Владимирович Иванов, родившийся 29 октября 1894 года в Студенках Ковенской губернии и умерший 26 августа 1958 года в богадельне городка Иер-ле-Пальме («богопротивного Иера» — говорил он), близ Ниццы, был, без сомнения, самым замечательным поэтом эмиграции. Надо бы уточнить, поскольку сразу вспоминаются имена Цветаевой и Ходасевича: был таковым в последние два десятилетия жизни.

Конец тридцатых, сороковые и пятидесятые — период непререкаемого понтифика Иванова в западной русской поэзии, время непогрешимости сформированного им вместе с Георгием Адамовичем стиля «парижской ноты»: стиль, как и положено, был и уже и мельче собственно ивановской поэтики, светил отраженным ивановским светом.

И хотя оппозиция Иванову существовала всегда, в 1939 году у «белых» («белых» — в существенном смысле) не стало тяжелых фигур: Ходасевич умер; Набоков, переселившийся в англоязычную литературу, поостыл к русским делам Парижа. Так вышло: у первого поэта эмиграции нет сколь-нибудь значимых конкурентов...

А теперь давайте отбросим отработавшее слово «первый» — невелика радость первенства умереть в доме для престарелых, — и получим искомое: **п о э т э м и г р а ц и и**.

Ни Цветаева, ни Ходасевич, ни, тем более, Бунин и Мережковский подлинными писателями эмиграции не были. Эмиграция имела для них ситуационный, едва ли не бытовой характер — характер вынужденного поступка, житейского случая. Дело здесь, несмотря на минимальную, например — с Цветаевой, разницу в возрасте, — в смене литературных поколений.

Для литературного поколения Георгия Иванова понятие «эмиграция» утратило случайно-ситуационный оттенок, стало объемным и всепоглощающим, наполнилось онтологическим содержанием. Иванов — поэт эмиграции как формы существования, как бытия. Эмиграция для него имманентна жизни: она и есть окружающий мир, в котором и нужно искать смысл — отыскивая его или не находя. Лежащее же за пределами эмиграции — трансцендентно, потусторонно.

Легко заметить: мир Георгия Иванова абсолютно подобен миру другого великого эмигранта — Набокова, «унесшего Россию» с собой, а точнее — в себе, и всегда верившего: вернусь — метафизически, книгами. Один мир, разница только в том, что Набоков находит ему внеположное оправдание и верит в существование трансцендентного, а Иванов не верит и не находит:

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

(1930)

* Не так давно «Новый мир» отозвался на «возвращенного» Георгия Иванова (в № 9 за минувший год — рецензия Ю. Кублановского «Голос, укрепленный отчаянием» на переиздание сборников поэта «Сады» и «Розы»). Но выход в свет трехтомника, получившего вдобавок премию за лучшее книжное издание, — немалое литературное событие, заслуживающее еще одного отклика, еще одной оценки. — *Примеч. ред.*

Вся семантика этого страшного, гениального и чрезвычайно характерного стихотворения начисто отторгает любые попытки его ситуационного — скажем, политического — прочтения. Речь тут идет не об убийстве в Ипатьевском доме, а о смерти без воскресения. Понятно: если эмиграция — зримый посюсторонний мир, то Россия, синонимичная Царю (с прописной буквы) и Богу, — потусторонний мир души и бессмертия. Россия — душа, но ее, согласно Иванову, нет. Нет и бессмертия. Нет рая.

Можно представить себе, как в таком контексте воспринимался, например, самоубийственный отъезд Цветаевой в СССР — в несуществующую Россию...

Хочется, конечно, солидаризироваться с осмысляющим универсум Набоковым, но и от ивановского — ледяного, пронзительного, математически выверенного — атеизма не запахнуться. Почему? А потому, что само искусство экзистенциально, то есть состоит из жизни и смерти одновременно. Моцарт на самом деле неотделим от Сальери; ядовитая алгебра рефлексии — от играющей гениальности интуиции. В простой констатации: «„Моцарт и Сальери” — Пушкин» — больше правды, чем кажется. Для наглядности я бы заменил союз знаком сложения, а тире — знаком равенства.

Принято возводить генеалогию Иванова к лермонтовскому полночному романтизму, но можно — и к пушкинской целокупности и «гармонии». С чем уж никак не соглашусь, так это с бытующим мнением о сверхобычной неоднородности ивановской лирики: в Петербурге и Петрограде он был-де шелкопером Жоржиком, занимавшим себя акмеистским чистописанием, в Париже же, пострадав, сделался гениальным поэтом. Нет, он всегда был «поэтом эмиграции», только сперва эмигрировал из натуральной России в рафинированную культуру, а потом — в предначертанную ему экзистенцию.

Вот стихи 1921 года — так ли уж они несоотносимы с настроениями его позднего творчества?

..Осенью, когда туманны взоры,
Путаница в мыслях, в сердце лед,
Сладко слушать эти разговоры,
Глядя в празелень стоячих вод.

С чуть заметным головокруженьем
Проходить по желтому ковру,
Зажигать рассеянным движеньем
Папиросу на ветру.

Иванов — поэт в высшей степени цельный, гармоничный и правильный. «Правильный» означает здесь — удивительно точно попадавший в такт стилистическим ожиданиям времени. Владимир Вейдле высказал в свое время проницательнейшее соображение: русский серебряный век вступил в «золотую фазу» в 1910 году, когда вся поэзия стала двигаться в некоем «фарватере», ограниченном (так Вейдле и понимает — гранитом Невы), с одной стороны, поэтикой Анненского, с другой — Кузмина...

Георгий Иванов, подозреваю, занял в указанном русле абсолютно срединное, равноудаленное от берегов положение. Он — идеально равновесный поэт: в нем как бы полностью прореагировали и взаимонейтрализовались щелочь и кислота — Анненский и Кузмин. В нем все спиралевидно вернулось к — тоже водянистому — Блоку.

В сравнении с Блоком ранний Иванов — сельтерская водичка, конечно. Но лед — результат замерзания H₂O, форма ее эмиграции. А уж кристаллической соли позднему Иванову, написавшему как-то о «скрипящей в трансцендентальном плане» телеге, не занимать.

И вот этот нигилист возвращен в Россию. Сперва — однотономником, подготовленным Н. Богомоловым и вышедшим в серии «Из литературного наследия» (1989). Теперь — и трехтономником, составленным Е. Витковским и В. Крейдом... Но, оглянувшись вокруг, сможем ли мы твердо сказать: язвительное неверие Иванова посрамлено? Увы, рая здесь как будто не наблюдается...

Объемистое, почти двухтысячестраничное, издание достаточно представительное. В первом томе дан свод стихотворений, куда не вошли лишь стихи раннего периода — в том числе и опубликованные поэтом в книгах 1911 — 1916 годов, но не включавшиеся им позже в итоговые сборники.

Второй том составила проза — не лучшая, за исключением предэкзистенциалистского и новаторского «Распада атома», часть ивановского наследия: роман «Третий Рим», «Книга о последнем царствовании», рассказы и очерки.

В третьем томе — причудливая, эгоцентричная и донельзя необязательная мемуаристика, варьирующая зачастую несогласующиеся между собой описания одних и тех же событий: «Петербургские зимы», «Китайские тени», мемуарные очерки. Завершается том избранными литературно-критическими статьями.

Наследие Георгия Иванова никогда и нигде до сих пор не собиралось в таком объеме: в отличие от Гумилева, Ахматовой или Мандельштама, хорошо освоенных западной и эмигрантской славистикой, Иванову в этом плане не повезло. Поэтому трехтомник, несомненно, — настоящий подарок ценителям поэзии и высокой литературы. Но, при всей искренней благодарности составителям, комментаторам, редактору (В. Кочетову) и издателям, вынужден сказать несколько неприятных фраз.

Читатель, обратившийся к научному аппарату издания, столкнется, думаю, с определенными трудностями и неясностями. Оставим, однако, эти вопросы на суд практикующим ивановедам — тем более что ждать долго, видимо, не придется: склонность филологов к взаимным разборкам общеизвестна. Но вот одна из текстолого-комментаторских неполадок просто чудовищна. Она демонстрирует пугающую степень невнимания и нелюбви к поэзии, свойственных, оказывается, людям, которые поэзию профессионально исследуют и комментируют.

В статье «Поэзия и поэты», текст ее воспроизводится по парижскому журналу «Возрождение», читаем: «Каждая строчка Кленовского (Дмитрий Кленовский, заметный поэт второй волны эмиграции. — *А. П.*) — доказательство его благородного происхождения. Его генеалогическое древо то же, что у Гумилева, Анненкова, Ахматовой и О. Мандельштама» (т. 3, стр. 583 — 584).

Детская задачка: из четырех перечисленных слов выбрать одно, не укладывающееся в смысловой ряд... и исправить журнальную опечатку. Куда там! Профессор университета Айова-Сити Вадим Крейд не может удержаться от следующего фантастического комментария: «*Анненков* Юрий Павлович (1889 — 1974) — художник-график, портретист, мемуарист» (т. 3, стр. 711).

Исследователь писателя *Б* может, конечно, не знать о существовании писателя *А*, но странно, что г-ну Крейду никогда не попадалось на глаза знаменитое ивановское стихотворение 1954 года, которое другой комментатор, Г. Мосешвили, справедливо называет «программным» (т. 1, стр. 620). Вот им и закончу:

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...

Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

Алексей ПУРИН.

С.-Петербург.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАК МЫ С ДЯДЕЙ ПИСАЛИ ПОВЕСТЬ О ВАРШАВСКОМ ВОССТАНИИ

— **Н**у, племянничек, — дядя цепким троеперстием оживил стопку, — за успех нашего безнадежного дела.

Мы чокнулись, и забористый первач обволок мне желудок блаженным жаром. То самое ощущение, которое точно определил Чехов — будто помер от радости.

— Николай, не увлекайся, — сказала моя тетья.

— Сима, ты не представляешь, сколько мною было выпито в Варшаве в сорок четвертом во время восстания. Когда немцы драпанули, они оставили в подвалах ящики с бутылками бордо, французского и итальянского коньяка. В это время отключили электричество и водопровод. Так что приходилось утолять жажду не водой, а вином...

Мы с дядей начали работу над повестью в семидесятом году. Я только что вернулся из печорской тайги, где полгода проработал сторожем и рабочим на сейсмостанции. До этого я числился в Москве старшим научным сотрудником Театрального музея имени Бахрушина, где в конце августа шестьдесят восьмого года на митинге проголосовал против родной партии и не менее родного правительства, танками оказавших братскую помощь Чехословакии. Друзья посоветовали мне лечь ниже ветра, пока не стихнет завируха, и я слинял в Ухту. Так что у лубянской выкормышей из Пятого управления и без того хватало, как у дурака махорки, поводов завести на меня уголовное дело. И я после тайги перебивался с петельки на пуговку, устроился грузчиком в булочную, и моим начальником был знаменитый теперь режиссер Владимир Меньшов, по совместительству учившийся в аспирантуре ВГИКа. Потом я решил махнуть в Евпаторию, где устроился сторожем на виноградник. Так что в написании повести случился невольный перерыв. Тем более повесть поначалу у меня не вытанцовывалась, зато тут же пошла песня о варшавских повстанцах, которую я посвятил дяде и спел ее на его дне рождения. Среди гостей находился и один весьма симпатичный чекист. Едва я закончил петь, дядя украдкой погрозил мне кулаком, а к ночи, когда гости растекались по домам, он сказал:

— Почти всю жизнь я скрывал, что мой дед Степан был православным священником. А когда, бежав из осажденной Варшавы, переплыл Вислу, то попал в нашу контрразведку, где меня отделали так, что я уже не мог скрывать, что готовил убийство Сталина. Я подписал чистый листок бумаги, а мой палач полковник Клыков остальное вписал сам. В Москве-то мой следователь майор Глаголев не дал хода фальшивке, и мне повезло, как никому, кто бежал из плена, — я снова попал на фронт. Только дал подписку, что буду молчать о том, что видел в Варшаве. Чуешь почему?.. Кстати, по-польски «чуйный» значит бдительный...

Я-то уже тогда чуял, почему дядя молчал чертову дюжину лет. Польских повстанцев мы предали, а писать об этом в открытую значило загреметь по семидесятой статье. Я понимал, что публикация повести в то время — дохлый номер. Но взялся за это безнадежное дело, потому что меня об этом попросил мой дядя Николай Городецкий, бывший штурман 54-го Клинского бомбардировочного авиаполка, в чине капитана, а в мирной жизни — режиссер-кинодокументалист.

— А в пятьдесят восьмом, — продолжал дядя, — за мужество, героизм и побег из плена меня наградили орденом Красной Звезды. Как-то в середине шестидесятых на Арбате я встретил своего палача, полковника Клыкова. Все во мне вскипело, я чуть не с кулаками бросился на него: «Ты что ж, сволочь, калечил невинного мужика?» И знаешь, что он мне ответил? «Мы все тогда ошибались. Почему и началась массовая реабилитация...»

— Ни хрена себе прянички, — сказал я. — Ни грана покаяния.

— Так что будь поосторожней с песней о Варшавском восстании. Да и с другими своими песнями. Я знаю, что ты выступаешь с ними по домам в пользу семей политзаключенных. Кончай эту лавочку. Чекисты возьмут тебя за жопу, потому что ты уклоняешься от налогов, и посадят как простого уголовника. Сам знаешь, они мастера по этой части.

Как-то я попытался записывать дядю на магнитофон. Мы попробовали, но рассказы сразу поблекли — дядя был осторожен.

После большого перерыва детали рассказов дяди улетучились, и я спросил его, как он очутился в Варшаве.

— Я тогда сидел в фашистском концлагере под Варшавой. Там я отхромал последние километры, меченные колючей проволокой. В концлагере залечивали раны власовцы из так называемой Российской освободительной армии. А мы рыли землю, рубили дрова, чистили помойки и нужники. Еще в Косове на пересыльном пункте я познакомился с нашим пленным офицером Николаем Чечневым. Он теперь работает начальником производственного отдела на Соколовско-Сарбайском комбинате. В лагере мы с ним вышли на группу наших пленных, в которой главным был инженер-капитан Приступа, взятый в плен в Эстонии. В нее входили Олег Зуев, до войны учившийся в Литинституте, Борис Самохин, Иван Бондаренко и молодой парнишка Володя Валяев. (После войны капитан Приступа за свой плен отсидел в нашем лагере и, отбыв срок, остался в Норильске.) Я как-то ездил туда по своим режиссерским делам и виделся с ним. Тогда, в Польше, Приступа сказал мне, что бежать из этого лагеря довольно легко, сложнее выжить потом. А у меня, после того как я с развороченной челюстью выпрыгнул с парашютом из нашего подбитого «Пе-2», при приземлении был поврежден мениск. Немцы, взяв меня в плен, челюсть и рот подлатали, а вот нога не заживала. Пленные врачи в лагере подлечили мне ногу, и нас — Чечнева, Бондаренко, Валяева и меня — по очередной разрядке отправили в качестве монтеров в Варшаву, на фирму Вальтера Тоббинса, то есть в пошивочные мастерские. На нас были синие комбинезоны, пилюльки на два пальца от бровей, из карманов торчали отвертки и кусачки, все чин чинарем. Мастерские находились на улице Рашинской в помещении бывшей гимназии. Главным мастером там был фольксдойч Левицкий. Фольксдойчами называли поляков немецкого происхождения. У них были большие привилегии, и им гарантировалась личная безопасность. Но положение у них было аховое — немцы им не доверяли, поляки ненавидели. Работали в мастерских почти одни польки. В день к штатским костюмам и военным мундирам пришивалось от силы пять пуговиц. Сами костюмы шились неделями. Немецкая охрана не решалась выявлять саботажников — это повлекло бы за собой смену охраны, а прежней предстояла отправка на фронт. Мы с Чечневым должны были чинить моторы и «железки» — утюги. Для Николая даже «жулики» в пробках являлись высшей математикой, а из меня электромонтер тоже был аховый.

Моторы постоянно выходили из строя. Позже я узнал, что польки в изоляцию якоря вставляли шило, да мне особенно и не приходилось ломать голову над ремонтом. Когда мы первый раз появились в цеху, я заметил, что у всех женщин были пышные высокие прически. Я познакомился с молодой пани Крысей. Однажды я коснулся ее локонов...

— Уж не влюбился ли ты в нее?

— Что тут рассусоливать, у нас с ней начался роман. Так вот. Я коснулся ее прически, а она сказала: «Осторожно, нитки». — «Яки нитки?» — удивился я. Крыся извлекла из локона катушку ниток. «Пшэмыт», — засмеялась она. То есть контрабанда. Высокие прически польки делали не столько для того, чтобы обратить на себя внимание, сколько для пшемыта.

На улице напротив проходной располагалась лавка пана Маевского. И я стал связным между ним и Крысей. Пан Маевский хорошо владел русским языком — еще в девятьсот четвертом году он был участником русско-японской войны. Теперь он торговал не только лимонадом, бимбером — по-нашему самогоном — и пивом, но и тканями из пошивочных мастерских. Но торговал не сам, а перепродавал товар другим полякам, чтобы не попасть в лапы к немцам. В задней комнате его лавки я снимал с себя комбинезон, под которым прятал несколько рубашек

и сорочек, предназначенных для немецких войск. Как-то я принес отрез сукна, а пан Маевский выложил передо мною четыре «гурала» — то есть ассигнации по пятьсот золотых. «Берите, пан Миколай, — сказал он. — Хотя немцам мы всучаем фальшивые «гуралы», это настоящие. Вы их заработали... Не пора ли вам, пан Миколай, сматывать отсюда удочки?» — «Каким образом?» — «Я мог бы спрятать вас в своем погребке». — «Если немцы нас найдут, вас расстреляют». — «Я знаю, на что иду». Так мы покинули фирму Вальтера Тоббинса и два дня отсиживались в погребке у пана Маевского. Крыся дала нам свой адрес на улице Пиуса. Когда мы пробирались к ней, нас чуть не подстрелили польские подпольщики. Из-за наших пилотов они приняли нас за немцев. У Чечнева пилотку сбило пулей. Позже мы в них ходили только по центральным улицам, но едва сворачивали в безлюдные переулки, как тут же прятали пилотки в карман.

После встречи с Крысей Чечнев отправился на улицу Нарбутта по адресу, который дала ему Крыся, где скрывались польские подпольщики. Крыся мне сказала: «Ходят слухи, что неподалеку от Варшавы действуют подразделения Ковпака. Но вам туда не пробраться». Вскоре вернулся Чечнев и сообщил: «На Нарбутта я обнаружил русского профессора, у него есть приемник». — «Дуем туда», — предложил я.

На Нарбутта, 26, в двух комфортабельных корпусах расположился отель, где жили немцы. В подвале одного из этих зданий я познакомился с профессором Алексеем Даниловичем Ершовым. Выяснилось, что мы с ним — земляки и в Томске учились в соседних школах. Запершись, мы стали слушать приемник. Левитан сообщал, что наши войска подошли к правобережному предместью Варшавы — Праге и завязали упорные бои на подступах к Висле. «Теперь можно пробираться к своим, — заключил Ершов. — Приходите первого августа, должен появиться проводник». Через два дня я пришел к Ершову, а Чечнев с Володей Валаевым отправились на явочную квартиру в районе Железной Браммы. В четыре дня к Ершову явился стекольщик Юзек и прямо с порога спросил: «Панове, вы знаете, что в пять часов вспыхнет восстание? На Жолибоже стрельба началась уже в три часа». В пять и на нашей улице завязался перестрелка. Юзек сообщил нам, что восстание начала Армия Крайова¹ под руководством Тадеуша Бура-Коморовского. Короче, после всех передрыг, в одной из которых я пристукнул в отеле корреспондента фашистской газеты «Фолькишер беобахтер», забрав у него «вальтер», мы попали в аковскую контрразведку на улице Малчевского, 27. Меня вызвали на допрос к подполковнику Мирону. Войдя в его приемную, я увидел за столом человека средних лет. Руки у него нервно подергивались. Опершись о стол, он пытался встать. Видно, с ногами у него что-то было не в порядке. Он взял в руки две трости, и я сразу узнал закарпатские палки-топорики. Начальник контрразведки встал. «Вот мои документы», — сказал я и вытащил из бокового кармана справку из фирмы Вальтера Тоббинса. «Не розумем», — отрезал подполковник. Появился поручик Стефаньский, который пригласил меня из приемной в свой кабинет. Взгляд у него был дружелюбнее, чем у его начальника. За рюмкой коньяка он рассказал, что Мирон собственноручно расстреливал фольксдойчей. «Он чуйный», — усмехнулся пан Стефаньский. Что такое «чуйность», я потом испытал на собственной шкуре, когда меня избивал полковник Клыков. Я убедился, что поручик свой мужик, и выложил ему все начистоту. Что документы у меня липовые, что я русский летчик в звании майора — наврал для солидности. Поручик сказал, что меня оставят здесь в качестве заложника. Мне отвели отдельную комнату. Жратва поначалу была отличной — на обед свекольник с яйцами, огурцами и сметаной. На второе жаркое — оковалок мяса с картошкой. Но когда отключили электричество и водопровод, давали только гороховую похлебку, кусок хлеба и две кружки воды на день. Через несколько дней поручик Стефаньский сообщил мне, что моих друзей выпустили. «Чего же тогда держите меня? —

¹ Армия Крайова (АК) — подпольная польская армия, возникшая в период гитлеровской оккупации и подчинявшаяся эмигрантскому правительству в Лондоне. В Варшавском восстании против нацистов, вспыхнувшем в августе 1944 года, аковцы составляли основную ударную силу. (Примеч. автора.)

спросил я. — Ведь я могу принять участие в восстании». — «С пистолетом против танка? Оружия у нас ни черта нет». — «Можно у немцев отбить». Короче, Мирон потребовал от меня присяги на Библии. Я отказался, поскольку был атеистом и уже давал присягу в армии. Меня отпустили под честное слово. Стефаньский посоветовал мне собрать отряд из русских пленных и действовать по своему усмотрению, согласовывая свои планы с командованием Мокотува.

За два дня я собрал группу человек в пятьдесят. Были здесь Иваны, Сереги и Федоры — имена придуманные, как и псевдонимы у повстанцев. В аковском штабе на Мокотуве я познакомился с комендантом плаца подполковником Каролем и майором Зеноном. Мой отряд влился в польское соединение «Башта» как самостоятельный взвод. На пятьдесят человек у нас было три пистолета, один автомат и две винтовки. Повстанцы делились с нами сухарями и консервами. Среди них мне запомнились бывшие летчики Стасик и Юрек. Юрек пробрался в Польшу из Франции. От него я узнал, что в сорок третьем он участвовал в знаменитой операции по экспроприации рейхсмарок, которые везла из банка немецкая машина.

— Скажи-ка, дядя, — спросил я, совсем как тот племянник из стихотворения Лермонтова «Бородино», — а какая самая крупная операция была у твоего взвода?

— Мы вместе с аковцами устроили засаду в районе аэродрома Окенче. Поджидали немецкую машину с оружием. Но появилась не машина, а повозка, которую охраняли пятнадцать — двадцать немцев. На повозке был установлен пулемет. Охранников мы сразу же уничтожили, но пулеметчик на повозке, которую понесли лошади, продолжал поливать нас. Кто-то догадался наконец подстрелить лошадей. Повозка остановилась, пулемет замолчал. Из моего взвода было убито десять человек, у поляков восемь. Мы поровну поделили автоматы и патроны и стали возвращаться назад. Неподалеку от бывшего дворца Кшесинской, там теперь, кажется, расположен Национальный музей, — поляки предложили сделать привал. Мы вошли в парк и в глубине увидели роскошную двухэтажную виллу. Вошли в нее. В холле у огромного окна я увидел белый рояль. Один из ребят поставил на него прокопченный солдатский котелок, другой открыл крышку и стал брэнчать.

— Отличный кадр мог бы получиться у тебя — белоснежный рояль и прокопченный котелок на нем. Твой учитель Дзига Вертов мог бы позавидовать такому кадру.

— Сам понимаешь, тогда мне было не до этого. И вот в холл входит мужчина в черном костюме и накрахмаленной сорочке. «Что вам угодно?» — раздраженно спросил он. «Решили отдохнуть после боя», — ответил Стасик. Мужчина вышел в парк. «Что-то рожа мне его не нравится, — негромко произнес Стасик. — Мои хлопцы обследовали его халупу. В гараже два «мерседеса», баки доверху залиты бензином. Может, арестуем?» — «Прав таких у нас нет. А кто он такой?» — «Пан Городецкий». — «Кто?!» — «Заместитель министра финансов, пан Городецкий, входивший в состав правительства при Пилсудском». — «Вот это птичка! Что ж его немцы-то не пошупали?» — «А он женат на немке, вот его и не тронули. Его пани даже наша контрразведка не решилась арестовать. Посидела у Мирона с фольксдойчами, потом ее отпустили». Пан Городецкий уже разговаривал у подъезда с кем-то из аковцев. В холл ввели какого-то старика, его поддерживали под руки девушка в белом чепце — видно, горничная — и мужчина. Старичок был в смокинге, узкое морщинистое лицо выдавало в нем породу. «А это еще кто?» — спросил я у Стасика. «Маршалек Стромпчинский. Рыдз-Смиглы был у нас маршалеком военный, а этот гражданский. При Пилсудском был председателем Сейма». Передо мной была живая — вернее, полуживая — история довоенной Польши, еле передвигавшая ногами. Я вышел в парк и закурил. Тут-то ко мне и подошел пан Городецкий и на чистейшем русском языке спросил: «Я слышал, вы мой однофамилец? Вы поляк?» — «Русский». — «У русских таких фамилий не бывает. Вы где родились?» — «В Сибири, на станции Зима». — «Ах, в Сибири! Вы не русский, а поляк. После польского восстания в 1831 году Николай Первый выселил поляков в Сибирь». — «Я не могу быть поляком хотя бы потому, что мой дед был православным священником». — «В вашем положении лучше быть поляком»...

Мы решили заночевать на вилле. Я поднялся на второй этаж. Смолкли минометы, прекратился артобстрел. К ночи заметно похолодало. Я завернулся в ковер,

стоявший в углу комнаты, и заснул. Проснулся оттого, что меня кто-то толкал и звал: «Пан майор, а пан майор, там внизу вас ждут...» В холле у рояля стояла группа моих ребят и несколько поляков. Пан Городецкий размахивал руками перед аковским патрулем и что-то громко объяснял. Оказалось, что он уже побывал в комендатуре и сообщил, что его ограбили мои ребята. Тут же на столе стояли замшевые бутылки с коньяком и старкой, два-три окорока, консервные банки с фруктами и мясом. Ко мне подошел один из моих ребят и объяснил: «Все, что мы здесь видели, ни в какие ворота не лезет. Сидим голодные, жрать нечего. А у этого пана собачек белым хлебом кормят. На кухне с утра жарят, парят и варят. А нам даже куска хлеба не предложили. Ну ладно, он русских не любит. Так ведь и своим пожалел. Мы тут же к горничной: пани, дайте что-нибудь пожевать. Она предложила нам пройти в подвал и все выбрать самим. Ну, мы взяли с собой жратвы и выпивки и устроились здесь». — «Вы украли у меня золото! — сказал пан министр. — Ворвались в комнату моей жены и украли все драгоценности!» Я решил проверить его на вшивость: «А ваши соотечественники на такое не способны?» — «Исключено!» Патруль был более объективен — он арестовал не только моих ребят, но и аковцев. Меня же оставили на свободе. Я доложил майору Зенону о нашей вылазке в Окенче и об аресте моих ребят. «Сегодня же справлюсь в комендатуре», — успокоил меня майор. «Что слышно на Жолибоже?» — «Говорят, у них там два русских связных переправились с радиостанцией через Вислу. На днях батальон поляков форсировал Вислу,плыли от Праги, но не в расположение повстанцев, а немцев. Всех уничтожили...»

Немцы с методическим упорством продолжали уничтожать Варшаву. На улицах валялись убитые, трупы не успевали убирать. Все чаще на улицах появлялись танки из дивизии Гудериана. Фашисты забавлялись тем, что прямой наводкой стреляли из танковых пушек по бегущей человеческой мишени. На моих глазах немецкие «юнкеры» разбомбили госпиталь, хотя на его крыше было расстелено белое полотнище с красным крестом. После боевых операций в моем взводе из пятидесяти человек в живых осталось только пятнадцать. Из них пятеро сидели в комендатуре. После ходатайства подполковника Кароля расстрел им больше не грозил. Майор Зенон сообщил мне, что в районе Аллей Уяздовских находится представитель штаба Рокоссовского. «Собственными силами кольца нам не разорвать, — заключил он. — Мы задыхаемся без людей, оружия и воды». На трамвае до Аллей Уяздовских можно было доехать за десять — пятнадцать минут. «Как же туда пробраться? — спросил я. — Ведь все районы блокированы немцами». — «Можно пройти канализационными каналами», — ответил майор Зенон. Я вернулся к своим ребятам, которых уже освободила прокуратура, и сообщил им, что иду на встречу со связным из штаба Рокоссовского. «В случае, если меня убьют, пробирайтесь на север в леса, где отряды Ковпака». Они меня уже к тому времени окрестили «майором Кулявым», то есть хромым. Я тебе покажу один «кирпич» — эту книгу о восстании издали в Польше, — там в числе участников восстания я значусь под этой кличкой — «майор Кулявый». Майор Зенон привел меня на Викторскую улицу и познакомил с моим проводником Коморовским, но тот спешил с кем-то на встречу и провести меня по каналу не смог. Позвали электросварщика Юрека, знавшего расположение канала. Он начертил мне план и подробно объяснил, как пробраться к Аллеям Уяздовским. Со мною пошел поляк Ожел, который сказал, что хорошо знает дорогу. Ни черта дороги он не знал. Мы заблудились. Ожел ни разу не спускался в канал, но хотел спастись и понадеялся на авось. Мы чуть не попались в лапы к немцам, поднявшись не к той заглушке. Плутали по пояс в дерьме, пока не наткнулись на двух польских связистов. Они доставили нас до нужной заглушки. В аковском штабе я познакомился с комендантом плаца капитаном Славомиром. Тот сказал, что связного из штаба Рокоссовского зовут Михаил Колосовский. Мы с Ожелом кое-как обмылись мутной жижой из ведра, нам дали чистое белье, Ожел тут же слинял. Капитан Славомир дал мне провожатого. Мы прямо из подвала вышли через пробитую стену в траншею на другую сторону улицы и через несколько кварталов очутились у высокого здания. «Тут, — сказал поляк, — на первом этаже. А я до штаба». Я поднялся, открыл дверь и очутился не то в кухне, не то в прихожей. У следующей двери сидел какой-то парень с автоматом на груди. «Мне нужен капитан Колосовский», — сказал я. «Он еще спит, а вы

кто?» — «Русский легчик Городецкий». — «А я Василий. Обождите минутку». Он исчез, а вернувшись, сказал: «Проснулся, заходите. Таких, как вы, здесь много перебивало». Я шагнул за порог. В комнате стоял полумрак. Ниша у окон была задержана занавеской. В углу я заметил вещешок, или «сидор», как его называли в армии, рядом на стуле лежала шинель с капитанскими погонами и автомат ППШ. А на столе, брат ты мой, пачка «Беломора», бутылка нашей «Московской» и армейские галеты. У меня аж слюнки побежали. Из ниши раздался голос: «Кто там еще?» Я доложил. «А-а, — протянул голос, — бежите, сволочи! Предатели. Ну ничего. Там на столе лежит бумага. Запиши все свои данные». На листе бумаги, испещренном разными почерками, я вкратце записал, где и кем воевал. Не выдержал и спросил: «Товарищ капитан, разрешите беломорину засмолить?» — «Кури. Можешь даже рюмку выпить. Подождите, сволочи, скоро мы придем и покажем вам, где раки зимуют». Я не закурил и не выпил, а тут же вышел из комнаты. Капитан был крутым мужиком. Да и меня поляки называли упатым — то бишь упрямым...

По дороге я узнал, что Мокотув пал, что те, кто остался в живых, выходят из канала. Я тут же добрался до лаза напротив дома 37 на Аллеях Уяздовских. Из него выбирались дети, мужчины и женщины. У них были воспаленные веки, и все заходились от кашля. Немцы пустили в канал газы. Бесконечная вереница людей продолжала выбираться из преисподней. Расстояние в пять-шесть километров им пришлось преодолевать десять часов. Когда пустили газы, началась паника, люди стали давить друг друга. Спаслись только те, кто шел первым. И тут я увидел команданта Мокотувского плаца подполковника Кароля. Его мундир был весь в дерьме. «Где майор Зенон? — спросил я. — Где ваши штабисты?» — «Погибли». — Кароль тер глаза. «А остальные повстанцы?» Кароль ничего не ответил, рванулся в сторону и исчез в ближайшем квартале. Я не знал, куда пойти. Рассчитывать на то, что капитан Колосовский поможет мне вернуться на родину, не приходилось. И я вернулся к Славомиру. «Видели капитана?» — спросил он. Я кивнул. Славомир понимающе усмехнулся и больше вопросов не задавал, а предложил распить мартины. После выпитого на душе стало немного легче. «Что же ваши-то молчат?» — спросил капитан Славомир. «Не знаю», — ответил я. Это мы теперь с тобой, племянник, знаем, почему наши «кукурузники», помогавшие повстанцам, сбрасывали автоматы аковцам, а патроны к ним — немцам. И почему наши войска стояли на Висле после начала восстания пять месяцев, до января. Капитан Славомир пристроил меня в одном из подвалов, где я, едва коснувшись головой матраца, тут же заснул. Ночью меня разбудил дежурный штаба и сказал, что меня срочно вызывает капитан Колосовский. На этот раз я увидел перед собой молодого парня лет двадцати двух, в гражданском костюме. Весь такой ладный, косая сажень в плечах. Рядом с ним за столом сидела молодая женщина — черные волосы, карие глаза, высокая грудь. «Моя радистка Лена», — представил ее капитан. А потом сразу начал с места в карьер: «Меня прислали для координации действий с Армией Крайовой. Я был на приеме у Буря-Коморовского». — «У самого Буря?» — «Точнее, у его заместителя Монтера. Мне было сказано, что вести переговоры с капитаном, да еще не имеющим политических полномочий, они не станут. Ну да мне начхать на это. Я связался со штабом, и мне подтвердили твои данные». Лапшу на уши вешал мне молокосос. Держал за дурака меня, тридцатичетырехлетнего штурмана. Я был в плену год, и за несколько часов разыскать данные моей биографии было просто физически невозможно. «Будешь работать со мной, — продолжал Колосовский, — если хочешь замолить свои грехи». — «Какие еще грехи?» — «А что, плен, по-твоему, это героизм?» — «Но и не грех». Я пропустил мимо ушей его обращение на «ты». «Ты должен сейчас же вернуться на Мокотув», — сказал Колосовский. «Зачем?» — «Необходимо разыскать майора Черненко, который переправился через Вислу». — «Бесполезно, товарищ капитан. Во-первых, переплыть он мог только в районе Жолибожа. А во-вторых, в Мокотуве немцы и искать там некого». — «Как ты отказываешься? Приказываю тебе!» — «Не пойду, товарищ капитан!» — «Пойдешь!» — «Нет!» — «Значит, ты просто трус и разговор окончен». Я помолчал, потом сказал: «Хорошо, я пойду на Мокотув». — «Сейчас мы с Леной выходим на связь. Тебе здесь больше нечего делать». У Василия, сидевшего около двери, я спросил: «Они вместе с радисткой пришли сюда?» — «Да нет. У капитана был напарник. Когда прыгал с парашютом, напоролся на железный прут. Его бросило на

балкон какого-то дома. Пытались спасти, но бесполезно. Лена была его радисткой. Она знает польский и немецкий. Поляки ее не любят».

Я направился к лазу у дома 37. Спускаться одному не хотелось, я решил найти попутчика, но аковец, которому я предложил пойти со мной, вытаращил глаза: «Вы что, пан, спятили?! Канал забит трупами. Вся дорога — сплошные трупы». Возвращаясь к Колосовскому, я нос к носу столкнулся с поручиком Стефаньским. «Николай!» — воскликнул поручик и облапил меня. «Как ты выбрался?» — «Очень просто. Меня забрала моя же контрразведка, нашли у меня золотишко пана Городецкого. Пан Мирон драпанул. Подполковник Кароль тоже взял ноги в руки. Что мне оставалось? Не сдаваться же в плен. Вот я и перебрался сюда». В штабном подвале мы распили с поручиком бутылку коньяку, и я пригласил его к Колосовскому. Тот записал все, что говорил ему пан Стефаньский, занес в свою клеенчатую тетрадь несколько фамилий аковцев, воевавших на Мокотуве, а когда поручик ушел, капитан сказал: «Ну, брат, с кем ты знаешься! Теперь мне понятно, почему ты не хотел идти на Мокотув: ведь у тебя сам заместитель начальника контрразведки в корешах ходит. А почему у тебя нет друзей среди коммунистов?» — «Ты что, не понял из рассказа Стефаньского, что ребята из Армии Людовой действуют в основном на Жолибоже?» — «Почему же я смог их разыскать?» — «Ты здесь на свободе, а я был в плену...»

— Дядя, помнишь, ты дал мне книжку польского коммуниста Зенона Клишко? Он тоже принимал участие в восстании и в одной из своих статей, после того как реабилитировали расстрелянных, посаженных в тюрьмы и лагеря аковцев, написал, что им был нанесен «материальный и моральный ущерб» и что вообще это дело прошлое. Прост, как наш лубянский дрозд: в шапку нагадил и зла не помнит.

— Помалкивай в тряпочку, племянник. Слово не воробей: вылетит — посадят. Так вот. Я продолжал поддерживать связь со штабом Армии Крайовой и приводил к Колосовскому повстанцев. Вскоре мне даже предоставили мешканье — квартиру в подвале, где я мог спокойно спать. Майор Славомир сообщил мне, что меня представили к ордену Виртути Милитари второй степени. И если бы я принял эту награду от поляков, на родине меня бы поставили к стенке. Сталин давно уже расплевался с главой эмигрантского правительства в Лондоне Сикорским, поскольку тот посмел предьявить обвинение Хозяину в расстреле пятнадцати тысяч польских офицеров в Катыни. Потом Сикорский погиб в авиакатастрофе, но обвинение оставалось. Узнай о моем награждении Колосовский, и прости-прощай Россия и вся моя жизнь. Пойди после этого доказывай, что ты не верблюд.

А тут еще одна напасть приключилась. Как-то, возвращаясь от Колосовского, я заметил двух поляков, укрывшихся в развалинах дома. Поравнявшись с тем местом, где они укрывались, я услышал два выстрела, пули просвистели у моего уха. Я пригнулся и нырнул в первый попавшийся подвал. Ни черта не понял — не могли же меня принять за немца. На другой день то же самое. Подходя к своему мешканью, я услышал три коротких сухих выстрела. Пули щелкнули в стену рядом со мной. И на этот раз мимо. Я рассказал об этом майору Славомиру. «Мы дадим вам охранника», — сказал он. С одной стороны, меня жаловали орденом, с другой — стреляли. Все выяснилось, когда, придя к Колосовскому, я застал Лену одну. Она мне сказала, что Михаил пустил слух, будто резидентом от штаба Рокоссовского являюсь я. «Как?! Что за шутки?» — возмутился я. «Спросите у него сами». Когда Колосовский пришел, я спросил его об этом, он, ничуть не смутившись, ответил: «Я выполняю задание Ставки. Убьют меня — и все полетит к черту. Я обязан обезопасить себя не ради собственной шкуры, а ради выполнения приказа...» Железная логика разведчика охладила мое возмущение.

28 сентября я узнал, что Бур-Коморовский ведет с немцами переговоры о капитуляции. Я тут же побежал к Колосовскому и сообщил ему об этом. «Ерунда, — ответил Михаил, — они же мне в штабе у Монтера сказали, что ни о какой капитуляции и речи быть не может». Но в штаб все-таки радировал. Через день Михаил сообщил мне, что получен приказ от Рокоссовского — немедленно возвращаться. «Пойдем на север сухим путем», — сказал Михаил. «Не пробьемся, — возразил я. — Если уж идти, то только по канализационным каналам». — «А ты знаешь выход к Висле?» — «Нет, но узнаю, он должен быть». — «Я не умею плавать», — ска-

зала Лена. «Этого еще не хватало. — Михаил нахмурился. — Ладно. Сейчас главное — найти выход к Висле. Действуй, Николай...»

Надо было достать карту канализационных труб. Было не до конспирации, и я спросил у своего охранника, нет ли у кого из повстанцев карты каналов. «Есть, — ответил он. — На улице Вильчей у меня знакомый инженер живет. До войны он был специалистом по канализационным трубам». Когда мы пошли к Вильчей, начался очередной налет немецкой авиации. Охранник показал на высокий дом: «Он там живет». Внезапно раздался вой летящей бомбы, и на наших глазах дом, где жил инженер, рухнул. «Так твою растак!» — выругался я. А по-польски сказал: «Знув мам пеха» — опять мне не везет. А потом понял — повезло: выйди мы на пятнадцать минут раньше, и нас бы тоже не было в живых. «Ничего, — сказал охранник, — достану к вечеру». Вечером он принес мне карту каналов. Я изучил ее, нашел развилку, где мы были с Ожелом, и увидел, что кроме двух отсеков был еще один. Судя по направлению, он должен выходить к Висле. Мы в тот же вечер спустились с охранником в канал. Шли буквально по трупам. Самое жуткое ощущение навсегда осталось в моей памяти — мягкая, пружинившая, как перина, дорога по каналу. Дошли до нужной развилки. Проход был перекрыт бревнами и досками. Мы нашли щель и пролезли сквозь нее. «Осторожней! — крикнул мой напарник. — Здесь заминировано». Он направил луч фонарика к стене, где тускло мелькнул минный блин. Через час сверху мы вдруг услышали немецкую речь. Увидели, как впереди мелькают вспышки света. Оказалось, что взрывом бомбы разворотило мостовую. Воронка была диаметром с десяток метров. Раздалась автоматная очередь. Немецкий патруль стрелял наугад. Прижимаясь к мокрой холодной стене, мы проскочили воронку. «Висла», — прошептал мой Вергилий. Выход к реке был зарешечен. Мы повернули назад. И через три часа я доложил Михаилу, что выход к Висле найден, но там решетка. «Найди лобзик и перепили!» Лобзик мне достал Василий, и на этот раз в канал я спустился вместе с ним. Добравшись до выхода на Вислу, я через час перепилил один прут, и мы с Василием отогнули его. Вернувшись к Колосовскому, я застал его одного. «Путь свободен», — доложил я. Постукивая тупым концом карандаша по столу, Михаил сказал: «Ты должен незаметно убраться Лену. Она знает все шифры. Плавать она не умеет и останется здесь. Где гарантия того, что она не выдаст шифры немцам? Я ей не доверяю. Так что ликвидируй, и сегодня же. Только без шума, понял?» — «Понял». Когда пришла Лена, я ей предложил подняться в соларий. На втором этаже я нащупал в кармане «вальтер» и незаметно отстегнул кобуру, где был другой пистолет. Решил: буду кончать на шестом. Лена поднималась впереди меня. «Устала, — произнесла она, поворачиваясь ко мне. — Знаешь, как меня зовут поляки? Курва галицийская. А теперь вот и Михаил...» — «Что Михаил?» — спросил я и поглядел в лестничный пролет. За нами никто не шел. «Коля, — Лена пристально взглянула на меня, — он приказал тебе убраться меня? — Я молча смотрел в сторону. — Я знаю». Всю мою решимость как рукой сняло. Чтобы как-то распалить себя, я оттолкнул Лену и закричал: «Что ты мне мозги вкручиваешь? Разжалобить стараешься? Курва галицийская и все такое! Стреляйся сама». Я протянул ей пистолет и отвернулся. Пауза была долгой. И тут меня прошиб холодный пот — ведь она запросто могла всадить мне пулю в затылок. Я сунул руку за «вальтером» и быстро обернулся. Лена протягивала мне пистолет: «Возьми. Стреляться не буду. Мне жить хочется». — «Так что Михаил?» — У меня точно гора с плеч упала. «В первые дни он все повторял: Леночка, моя дорогая. А теперь как в рот воды набрал. Косится и молчит. Он и тебе не доверяет. Говорит, докопаюсь я до него, как только к своим вернемся... И что же ты собираешься делать, после того как не выполнил приказа убраться меня?» — «Не бойся. Пошли вниз. Что-нибудь придумаем». Когда я вошел первым, Михаил спросил: «Все?» — «Да». — «Надо спрятать планы и карты в бутылки». — «Бутылки могут разбиться. Надо достать велокамеры...» Я увидел, как сузились глаза Колосовского, оглянулся — за моей спиной стояла Лена. «Ну ты и сволочь, — сквозь зубы процедил Михаил. — Теперь я точно знаю, что ты работаешь на немцев». — «Дурак ты, Миша. Работай я на них, мне ничего не стоило бы отпустить Лену на все четыре стороны и сказать тебе, что я убрал ее...» — «Ты не выполнил приказа, предатель!» — «Полегче, сопляк! — взорвался я. — Кто тебе дал право так разговаривать со мной?» — «Коля, успокойся». — Лена взяла меня за ру-

кав. Я оттолкнул ее. «Отойди. У нас мужской разговор...» — «Городецкий, я честно воевал всю войну», — сказал Михаил. «Оно и видно, — ответил я. — Вон какую рожу за счет солдатского жарча отъел!» — «Гад!» — взревел Колосовский и потянулся к борю. Я тут же выхватил свой «вальтер». В это время в комнату вошел Василий. Михаил застегнул камеру, а я спрятал свой «вальтер». «Как будем переправлять Лену?» — спросил он. Я ответил: «Сегодня же попытаюсь достать автокамеру». — «Тут вас искал поляк Коморовский из Мокотува», — сказал мне Василий. «Где он?» — спросил я. «Сказал, что пойдет в штаб». В штабе Коморовский мне рассказал, что привел одного молодого поляка, бежавшего из концлагеря. И что на том берегу, в Праге, у него осталась семья. И если после капитуляции немцы его схватят, расстрела ему не миновать. И у меня созрел план генеральной репетиции нашего побега. Ведь мы не знали ни фарватера реки, ни скорости течения, ни где немцы простреливали Вислу. Плыть без такой проверки значило подвергать риску всю операцию.

«Достаньте две автокамеры», — сказал я. Молодой поляк был сегодня же готов переплыть Вислу. Коморовский достал две автокамеры, мы распили бутылку коньяку. И втроем благополучно добрались до Вислы. Условились, что, как только поляк доберется до наших, те должны дать две сигнальные ракеты. Поляк снял мокрые брюки и пиджак, Коморовский надул камеру и отдал ее нашему посланцу. Поляк вошел с нею в воду. Прошло два часа. Все спокойно. Ракет не было видно, но позже я сообразил, что у меня вышла штурманская ошибка — я указал на время не по-московски, а по-варшавски. Польская контрразведка что-то почуяла, и чтобы отвести ей глаза, вечером первого октября я устроил большой сабантуй, пригласив поляков на свой день рождения. По старому стилю я родился первого октября. Достал два ящика вина и коньяка, а затем вместе с Василием и Коморовским доставили их в наш банкетный «зал». Когда застолье было в разгаре, мы, якобы вызванные в штаб, убралась восвояси. Василий отказался идти с нами: «Я тогда, товарищ майор, видел, как вы с капитаном чуть не постреляли друг друга. Уж лучше буду пробираться к своим без капитана...» Поздно вечером я первым спустился в лаз, за мною Коморовский, Лена и Михаил. Мы зашагали по пружинящей перине трупов. Фонарик выхватывал из темноты разбухшие лица и руки мертвецов. Лену вырвало. Я поддерживал ее. «Теперь острогой, — сказал я. — Проход к Висле заминирован. Коморовский, веди их к Висле, а я подстрахую здесь». — «Добже, пан Миколай». Минут через пять я услышал бульканье жижи, потушил фонарик и держал пистолет наготове. Метрах в десяти от себя я вдруг услышал, как кто-то произнес: «Пошли назад, здесь заминировано». Когда мы миновали воронку, камера уже была надута. Луна, как назло, светила вовсю. Я снял кепку, свитер, теплое белье, намазался кремом, снова надел белье. То же самое сделали Лена и Михаил. Коморовский достал бутылку коньяку. Мы прямо из горлышка отхлебнули по два глотка. «Значит, так, — прошептал я. — Первым плыву я, второй Лена, Михаил третьим. Так, Михаил?» — «Так. Давай плыви». Мы обнялись с Коморовским, я пролез через решетку. Под ногами плескалась вода. Я зашел в нее по пояс и поплыл. Течение стало относить меня в сторону, и я стал грести наискосок. Потом оглянулся. Берег был метрах в двадцати от меня. Я увидел, как в воду вошел Михаил, а не Лена. Минут через пятнадцать я был посередине реки. С немецкой стороны ударили пулеметы. Я нырнул и затаился. А когда вынырнул, услышал, как с нашей стороны ударила артиллерия. Руки и ноги задеревенели и уже почти не работали. Я нахлебался воды и греб из последних сил. Вот ноги нащупали дно, и я кое-как доковылял до берега, упал ничком на мокрый холодный песок и заплакал. Минут через пять поднял голову — вдалеке темнел силуэт взорванного немцами моста Понятовского. Я встал на колени и хотел уже ползти — идти не было сил, — как прямо перед собой увидел минные блины. Меня затрясло, я снова упал на песок. Вдруг я услышал негромкую речь и заметил два огонька папирос. «Товарищи-и-и!» — закричал я. Огоньки стали медленно приближаться ко мне. Я различил силуэты двух фигур и внезапно замер от ужаса — на солдатах были конфедератки. Неужели меня снова прибило к немецкому берегу?.. И тут я потерял сознание. Очнувшись на какой-то кровати, укрытый теплым одеялом. Увидел мужчину с погонами старшего лейтенанта и с орденом Боевого Красного Знамени. «А-а!» — закричал я и заплакал снова. Со мной началась фор-

менная истерика. «Что вы, товарищ? — Старший лейтенант подошел ко мне. — Успокойтесь, вы у своих. Когда вас несли, вы все твердили про какую-то кобету и капитана. Кто они?» (По-польски кобета — женщина.) «А разве их нет?» — спросил я. «Нет. Тут вчера мы подобрали одного поляка с пакетом, говорил, чтобы мы дали две ракеты, мол, ваши будут плыть». Я попросил воды. Мне принесли стакан водки и котелок наваристых шей. «Откуда у нас в армии польская форма?» — спросил я. «Так ведь вас принесли солдаты Войска Польского». Не успел я доесть щи, как поляки ввели посиневшего от холода Колосовского. «Где Лена?» — бросился я ему навстречу. «Не знаю и знать не хочу», — хрипло ответил он. «Почему ты поплыл вторым, а не третьим?» — «Это все твои штучки, Городецкий. Лена наверняка попала к немцам. — Михаил повернулся к старшему лейтенанту: — Разоружите его!» — «Ты что, рехнулся?!» — Я вскочил с места. «Немедленно разоружите его!» Я отдал старлею пистолет. Про «вальтер» умолчал. «Щенок, — произнес я. — Скажи мне и Лене спасибо и в ножки поклонись...» — «Твои дружки пошли на мировую с немцами! — Разговор пошел на басах. — Теперь тобою займутся наши!» — «Купаться бы тебе в дерьме со своими картами, если бы не я!» — «Заткнись!» — рявкнул Михаил. Снова распахнулась дверь, и я увидел Лену, которую поддерживали два польских солдата. Бюстгальтер у нее порвался и съехал вниз. Она еле стояла на ногах. Увидев меня, Лена закричала, бросилась вперед и буквально повисла на мне. Тело ее содрогалось от рыданий. «Не плачь, не плачь, — повторял я, глядя ее по мокрым волосам. — Мы у своих. А я уж думал, что ты погибла...» Колосовский, доедая щи, стучал ложкой о дно котелка. Это уж потом он наступал на меня нашей контрразведке. Лена рассказала, что течение отнесло камеру к мосту Понятовского, и она зацепилась за взорванную ферму моста и застряла. Когда стало рассветать, Лену заметили наши и немцы. Посыпались шутки с обеих берегов, перестрелка прекратилась. Бюстгальтер порвался, и шутки с обеих сторон становились все громче и откровеннее. Наконец ей удалось отцепить камеру, и течение понесло ее к нашему берегу...

Настоящие имя и фамилия Колосовского были Иван Колос. В пятьдесят седьмом году в Воениздат вышла его книга «Варшава в огне», где он все наврал про Армию Крайову. В двадцатую годовщину Варшавского восстания должна была состояться передача по телевидению, участниками этой встречи были Герой Советского Союза генерал армии Г. Поплавский, а среди участников этой встречи был и я. За час до показа передача была сорвана: кто-то позвонил в редакцию и сказал, что я — бывший власовец. Заведующий редакцией спросил, кто говорит, ему ответили — референт Алексея Маресьева, Петров. Я, конечно, бегу на следующий день в Комитет ветеранов, вхожу в кабинет Петрова и говорю, что я — Городецкий. «Слушаю вас», — ответил он. «Нет, это я хочу выслушать ваши объяснения». — «Какие объяснения?» — «Почему вы позвонили на телевидение и назвали меня бывшим власовцем?» — «Я никуда не звонил и вообще вижу вас впервые».

— Работа Колоса, как пить дать, — сказал я.

— Вполне возможно. Я написал письмо в Воениздат, рассказав, какую туфту сочинил Колос. Но кто же поверит бывшему власовцу и не поверит нашему разведчику? А в шестьдесят пятом году в двух номерах «Комсомолки» была опубликована статья «За час до рассвета», где, в связи с Варшавским восстанием, впервые упоминаемся мы с Леной. И снова ни слова о том, как я помог Колосу перебраться к нашим. Я несколько раз виделся с Колосом после войны и все пытался узнать, что с Леной — где она и как? Колос только недовольно отвечал: «Не знаю». После «Варшавы в огне» он носа не показывал в Польшу — знала кошка, чье мясо съела.

Работу над повестью я закончил в семьдесят втором году. Дядя прочел ее, при очередной встрече обнял меня растроганно и сказал: «Не ожидал от тебя такой прыти. Ты ж не воевал, а написал как участник тех событий... Давай за работу. Много неточностей. Про Крысю, что у нас с нею был роман, выброси. Про Колоса тоже, а то подумает, что я с ним счеты свожу. Бог его простит... Да и про Клыкова тоже не стоит писать...»

Второй вариант повести я в семьдесят шестом году отнес в журнал «Знамя» ответсекретарю редакции Людмиле Ивановне Скорино. Она прочла и по телефону

мне сказала: «Готовьтесь, будем перелопачивать». Перелопачивать не пришлось — Скорину ушла на пенсию, а рукопись затерялась в редакционных столах.

В семьдесят девятом году мы послали повесть в белорусский журнал «Неман». Член редколлегии журнала Алексей Степанович Кейзаров одобрил рукопись к печати, но написал, что слишком много сцен с выпивкой. А самое главное, что Иван Колос предстает в неприглядном виде — то науськивает на дядю аковцев, то приказывает убрать Лену. Советский разведчик так поступать не мог. Мы все это убрали, послали новый вариант. Был восьмидесятый год. Валенса с «Солидарностью» шуровал вовсю, расшатывая социалистическую Польшу, и Кейзаров написал, что надо-де повременить, пока не прояснится ситуация. Тогда я предложил дяде публиковать повесть без моей фамилии, которая уже давно пылилась в лубяньских досье. Дядя так и сделал. В восемьдесят седьмом году толстый столичный журнал прислал ему письмо с уведомлением, что редакция уже опубликовала два больших материала о военной Польше.

Тогда я написал личное письмо главному редактору, где вкратце рассказал биографию дяди и сообщил, что, не рассчитывая на публикацию повести, я все-таки рассчитываю на его сочувствие как бывшего фронтовика к судьбе Николая Алексеевича Городецкого, и просил его позвонить лично дяде. Через две недели этот главный редактор набросился на меня по телефону. Я даже не успел вставить слова в его крикливый монолог. Закончив речь словами: «Повесть написана бездарно, правда выглядит как ложь», — редактор бросил трубку. Об этом разговоре я дяде ничего не сказал.

Пока мы пытались пробивать повесть, скончалась тетя Сима. Умерли капитан Приступа и Николай Чечнев. А недавно скончался и мой дядя, так и не дождавшись публикации своей повести. Года два назад в редакции «Нового мира» я встретил одного полониста-переводчика, когда-то читавшего нашу повесть. «Неси первый вариант, — сказал он мне. — Скоро полвека Варшавскому восстанию». Но у меня уже не было сил заново браться за дядину одиссею. А после его смерти руки вообще опустились. Хватило только сил воспроизвести в памяти некоторые рассказы дяди. И если в них что-то не так, то уж в песне, посвященной ему, мне удалось, на мой взгляд, сказать главное о Варшавском восстании и о его участниках, среди которых находился и Николай Алексеевич Городецкий.

Ни звона медалей, ни звона монет.
На сорок повстанцев один пистолет,
Да в пыльных подвалах остатки вина.
Кому-то забава, кому-то война.

Законы свободы от века просты —
Чтоб к смерти всегда обращаться на «ты».
Чтоб только во сне лишь сводили с ума
Кого Освенцим, а кого Кольма.

Голодной коровой ревет миномет.
Из двух наших бед кто-то третью плетет.
И справа и слева могильный уют.
На крови славянской медали куют.

Настанет черед твой поверить всерьез,
Что помощь приходит, как дождик в мороз.
Что эхо побед — как ночные бои:
Враги не пристрелят — прикончат свои.

Кому отмолчаться, кому заорать.
Кому продаваться, кому умирать.
Зевает над Вислой слепая луна.
Кому-то забава, кому-то война.

Фред СОЛЯНОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



И. ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. Число. Избранные стихотворения. М. Издательство Московского клуба. 1994. 399 стр.

Книга Юрия Кублановского — избранное из ненапечатанного. Большинство стихотворений публикуется в России впервые. Четверть века не просто работы или творчества, а — жизни представлены в этой книге. Каждое стихотворение с датой, как с печатью времени и обязательством перед ним и собой: не лгать. И поэтому преобладающая интонация — неторопливого и сосредоточенного размышления. Без автоподзавода, опасного разгона, когда поэт проскакивает истину, как неприметный поворот к родному дому, и продолжает нестись, убеждая себя и других, что скорость и есть единственный смысл его движения.

Ю. Кублановский — в сущности, странник. Главное — дорога, ее прихотливые повороты, медленное насыщение глаза и разума. Только так пройденное становится любимым, а увиденное — родным.

Ивы ищут зеркального броду,
их русалочья тяга слепа.
И в слонстую сыплется воду
световая — сквозь гривы — шепта.

Провожальщицы конных и пеших,
словом, всякого, кто тороплив,
жены-ивы с куделью затлевших
и прилежно расчесанных грив.

Именно из этого медленного, любовного отношения к миру и вырастает повышенная ответственность перед ним. Ты уже не просто скользящий и неизвестно куда летящий полуопознанный объект, но человек, живущий здесь, приросший к пейзажу истории и природы. Конфронтация с властью и вырастала на почве такой ответственности.

Москва, «лжебелокаменнодвуликая», и простодушная российская провинция — вот два полюса, между которыми так или иначе проходила жизнь. От современности и «совдепии» — уход в историю и старину, в вечно сияющую природу, в христианство. Неторопливая, трудно поддающаяся переменам провинция становится символом несущего

отношения к миру. Русский Север, Соловки, Плещеево озеро, Волга — чем дальше от Москвы, тем больше простора и воли; чем больше родной земли пропущено через глаза и сердце, тем она дороже и больней.

Схватил бы я в цепкие руки гитару,
напил цимлянским бадью
и гнал бы и гнал из Симбирска в Самару
под парусом крепким ладью.

Именно в строках, посвященных русской природе, просыпается «атаманская статья», хотя поэт и пытается выдавать себя за смиренного инока. Именно природа дает силы жить и надеяться на лучшие времена. Правда, они всегда не там, где их ждут. Возможно, и были они для поэта в те трудные 70-е годы, когда писались его лучшие стихи, когда он был молод, когда вопреки всему, а может, и благодаря, рождалось в его скитаниях по стране чувство любви к России, где «мужикам нельзя не пить, а бабам не ворочать шпалы». Это чувство у поэта менее всего декларативно, он избегает прямых признаний, за исключением, может быть, единственного: «Родину ниоткуда как не любить до крику?» Но это — «ниоткуда», а дома кричать не нужно, можно просто любить — видеть, слышать, осязать.

Россия, ты моя!

И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре сжигающий листья...
В завшивленный барак, в распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты.

Духовный пейзаж советского диссидента дополняют любимые поэты — Батюшков, Лермонтов, Китс, Клюев, Хлебников, художники-импрессионисты, Ван Гог. Слова, сказанные Кублановским о любимом художнике, можно отнести и к нему самому: «У глаз мельтешившую явь, как осу, удержал в кулаке».

Я думаю, что Кублановский в любом социуме был бы «против». Он диссидент не по ситуации, а по призванию. Только в противостоянии находит он силу для существования. Это заметно и по стихам последних лет, когда давно дождались «жирной, траурной над бровастым полюсы» и «вдруг обреченно открыли, что нечем и некому

III. ЛАРИСА МИЛЛЕР. И вечно живу. — «Урал», 1993, № 7; **Вновь играем в игры эти.** — «Время и мы», 1994, № 4; **Бегущая строка.** — «Мы», 1994, № 8.

Смятение — вот, пожалуй, основная характеристика лирического мира поэтессы. И в этом она сегодня не одинока. «Как лепесток дождем к намокшему асфальту», прибита ее душа к современности. Этот расхожий и сентиментальный образ тем не менее передает главное — нежность человеческого сердца и грубость мира, скупом отмеряющего смысл («Не проси у мира смысла, не проси...»), но все же дарящего улыбку «сквозь слез» — Л. Миллер употребляет именно эту устаревшую форму.

Смятение выдают и ее стремительные строки — действительно бегущая строка, — словно бросающиеся друг к другу и облеглобно припадающие в смежной рифме: невозможно оттягивать долее спасительное и успокаивающее — хотя бы на мгновение — созвучие.

Вместо воли — западня,
Вместо музыки — злоба дня,
Вместо веры — аргумент,
Вместо вечности — момент...

Взволнованная душа повсюду натывается на тяжелую утрюмость асфальта.

Вместо мудрости — кулак,
Вместо прошлого — ГУЛАГ.
Что ж у нас от божества?
Только небо и листва.

Окончательного утешения не приносит и порыв к Богу.

В канцелярии нашей небесной
Канцелярские крысы сидят.

А в священных текстах все те же современные сюжеты.

Перебрав столетий груды,
Ты в любом найдешь Иуду,
Кровопийцу и Творца
И за истину борца.

Райских мест не только мало — их просто нет. Всюду «те же гвозди, тот же крест». Так куда же? Где найти спасение и утешение? В любви, когда краткий и ослепительный свет лишь только дразнит недостижимой гармонией? В небытии?

Нет опоры никакой и нигде.
Только лунная тропка на воде.

Но, осознав это, человек может с достоинством противостоять миру и хаосу. Человек до тех пор висит над пугающей бездной, пока не возникает в нем его собственный невидимый, но спасительный мир. И тогда падение превращается в полет. Для Л. Миллер корни этого мира в детстве: «Полянка, Ордынка, стакан варенца с Павелецкого рынка». Спасительно оживает прошлое — в трогательных подробностях, непонятно почему запомнившихся. И первое утешающее открытие: «если полюбить детали, окажется, что мы богаты». И существование обретает смысл, «если в бескорыстие — земных поступков наших суть». Это открытие второе.

Но стихи Л. Миллер менее всего сосредоточиваются на утешающих и успокаивающих доводах. Маятник ее чувств постоянно бьет по ограничителям. Все ответы у нее промежуточные, потому что она — можно обойтись без «лирической героини» — всегда в движении. Каждый ответ — сегодняшний. Как выдох. На сегодняшний же вдох.

Ни сумма положительных знаний, ни красивое слово, ни увлекательная идея, ни картины природы — все это не волнует ее, хотя вполне может присутствовать в ее стихах. Трепет жизни, ее вечная пульсация, жажда и мука биться с ней в одном ритме — вот, пожалуй, как говорили в старину, пафос ее стихотворений.

«Стихотворения без слов» — это ее принципиальная, хотя и уязвимая позиция. Нет в этих стихах последней точности, отлитости, все взволнованно-приблизительно, избыточно, призвано лишь наметить движение некоего потока. «Таким стихам, — слово самой поэтессе, — по дороге с воздушным потоком, с которым они сливаются и который озвучивают, не нарушая его непрерывного движения». И далее: «Писать без слов легче легкого и сложнее сложного. Легко потому, что такая поэзия почти лишена метафор. Эпитеты — первые попавшиеся, да и вообще она простая, как мычание. Сложно потому, что эти «никакие» слова должны совпасть с движением воздушного потока, что почти невозможно». Но тем не менее такие совпадения — «счастливый случай» — происходят у Ларисы Миллер нередко. Можно сказать, что она постигает не слова и мысли эпохи, но «ее сердцебиения и вздохи».

IV. АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО. Облом. Стихи и поэмы. Художник Виктор Скрылев. М. МП «МИК». 1993. 205 стр.

Новая книга стихотворений Александра Ткаченко — седьмая по счету — выглядит внушительно. Большого формата, толстая, на хорошей бумаге, в глянцево переплете, с иллюстрациями. Раньше такие книги выходили только у номенклатурных поэтов — от Исаева до Вознесенского.

В сущности, здесь две книги под одной обложкой. Художник Виктор Скрылев — соавтор полноправный.

Еще не прочитав ни строчки, только полистав бегло иллюстрации, можно понять, что «облом» — это символ наших времен: клубки человеческих тел, слепленных то ли любовью, то ли ненавистью. Эмоциональной чрезмерности поэта, «сильному магнитному полю чувств» как бы соответствует изобразительная чрезмерность шаржа. Но последний, неся заряд чрезмерности, несет одновременно и заряд иронии, несколько остужающий эмоциональный накал. Очевидна полемика художника с поэтом: спокойнее, не надо так возбуждаться — мир неизменен, на смену старой глупости приходит новая, еще более соблазнительная. И наши упования и разочарования — все это, увы, не ново. Так же, как и бумеранги, поражающие мечтателей (то бишь мечтателей). И вообще: все это было бы так грустно, если бы не было так уродливо и смешно.

Хотя моменты иронии и самоиронии («Лихорадочный мэн»), даже сарказма присутствуют и у поэта, но они вовсе не определяющие. Если художник смог преодолеть современность — пусть только в шарже, — то поэт все еще в процессе никак не удающегося преодоления. На сломе времен он чувствует себя «одним из обломков империи Сталина».

И даже когда я обнимаю любимую, она шепчет —
«У тебя объятья — ну прямо железные...»
А я не хочу быть железным,
ибо знаю происхождение этой силы,
но поделать ничего не могу —
я сын своего отца,
а отец мой — сын своей эпохи,
эпохи железного занавеса.

Даже страсть к обновлению и неукротимое желание все изменить и самому измениться — тоже из прошлого, привыкшего насиловать и подминать.

В сущности, и стиль Александра Ткаченко можно определить как волон-

таристский. Двери истины он хочет вскрыть немедленно. Взрывая заряды метафор (точнее — фейерверки, предназначенные скорее украшать, чем работать), орудуя ломом рассудка, насилуя синтаксис, он наконец утомляется и соскальзывает в рефлекссию, с независимым видом прохаживаясь у так и не открывшейся двери. Читать книгу трудно — утомляет возбуждение, которое ничем не разрешается.

А. Ткаченко иногда называют учеником Вознесенского. Влияние, которое оказал на Ткаченко Вознесенский, очевидно. Можно сказать, что, если изобретательный волонтарист Вознесенский, потоптавшись у запертой двери, отвлекает наше внимание ярким и живым тропом — таким сквознячком из ее замочной скважины, то Ткаченко — волонтарист наивный — наоборот, с помощью метафоры у нас же на глазах старается вскрыть эту чертову дверь, но — безуспешно. Ткаченко пытается идти дальше именно с того места, на котором Вознесенский остановился. Но, увы, без смены метода это вряд ли возможно. Потому, наверное, у Вознесенского и нет последователей...

Удачи Ткаченко, на мой взгляд, там, где он сменяет экипировку, остужает накал, сдерживает размах ассоциаций. Тогда на смену сбивчивой одержимости приходит проясняющая внятность, тогда — в основном в свободных стихах — возникает «пас из темноты»: пусть не солнечный свет, но «солнечные блики». И они есть в этой трудной, репортажно-современной, очень нервной и растерянно-мучительной книге, в которой неблагополучие мира — в ней нет счастливых сюжетов — рифмуется с неблагополучием личности.

V. АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН. Вопреки предвещаниям птиц. М. Изд. Русанова. 1994. 157 стр.

Вопреки — главное слово в этой книге. Его одного хватило бы для названия. Но тогда возникла бы излишняя острота, в общем, противоречащая ее мягкому акварельному тону. Да, жизнь неистребима: «все начнется сначала... вопреки предсказаниям птиц и газет».

При всей мягкости и интеллигентности ее звучания — а может, благодаря именно этим качествам — книга несет в себе энергию преодоления хаоса и тем самым становится явлением культуры — то есть тем, что в процессе цивили-

зации призвано сохранять человека и человеческое.

Хотя по времени возникновения стихи А. Алехина близки «перестроечной» поэзии, тем не менее — и это тоже «вопреки» — мы не найдем в них ни истеричного покаяния, ни «тотального производства вины», ни морализма, ни религиозности, ни постмодернистского распада, ни патологического смакования мерзостей и ужасов жизни.

Вероятно, по соседству со всем этим книга А. Алехина может показаться несколько пресной, неприлично-благоприятной, непривычно тихой на фоне современных дебютных книг. Внятность, отсутствие экзальтации, ничего, бьющего на эффект, непринужденность метафор, не играющих в похожесть, но стремящихся к проявлению сути предмета, — да, от этого мы уже порядком отвыкли, хотя, в общем, толком-то и не привыкали. Но главная новизна — ощущение простора и жизненного многообразия.

Ты чувствуешь, какая бесконечность
за спинами у нас
и как толкает кровь,
не остывающая с мезозойской эры?
Наш древний род
течет к другим мирам
из тесной духоты объятий наших.

Алехин вовсе не отстраненно философский поэт, как может показаться во выше процитированным строкам. Современность предстает перед нашим взором вполне узнаваемой. Но видим мы ее уже вместе с поэтом — как бы с высоты общечеловеческого тысячелетнего опыта. И такой взгляд успокаивает. Да, ничто не ново под луной: Мемфис легко переключается с Нижним Новгородом и древним Уром, а Вавилон с Москвой. И «новые времена» — название стихотворения, где «спортивная женщина, 24, ищет друга-автомобилиста с иномаркой», а «в бумажниках просыпаются деньги», — кажутся не такими уж страшными. Ведь «новые времена» пугали всегда, независимо от того, какое тысячелетие на дворе. Поэтому книга Алехина помогает адаптироваться к сегодняшней реальности, моделируя, как сказал бы Владимир Бурич, иной, более гибкий и жизнеспособный менталитет, что и является, по Буричу и не только, основной задачей поэтической литературы.

Взгляд сквозь призму истории и культуры притушает остроту реальности, сглаживает ее сегодняшние рваные

и ранящие края. Поэт выволакивает читателя из конуры закомплексованного «я», открывает ему другие земли и страны. Он разворачивает почти утименовские каталоги картин и образов, пытаясь схватить и схватывая чужую жизнь в самых заманчивых и волнующих впечатлениях.

О, Китай.

Иероглиф старинный, танцующий, как осьминог.

Книга заботливо выстроена, тщательно продумана — читатель должен охватить ее сразу. Поэтому каждое стихотворение как бы отталкивается от предыдущего, фиксирует какой-то поворот. Тем самым делая дорогу более живописной и менее утомительной.

Если поэзия, как утверждала еще «Дхваньялокка», призвана передавать трепет бытия, то задача прозы — изобразительность. Алехин, очевидно, пытается соединить прозу и поэзию, причем изобразительность преобладает. И от нее, в свою очередь, — мудрая уравновешенность, остойчивость. Именно те качества, которых нам сегодня так не хватает.

VI. ЗИНОВИЙ ВАЛЬШОНОК. Залив Терпения. Избранные стихотворения и поэмы. Харьков. РИП «Оригинал». 1994. 512 стр.

Перелистывая тяжелый том — черное с золотым, — невольно завидуешь смелости автора, который отважился выйти к сегодняшнему читателю со стихами тридцатилетней давности. Это могут позволить себе очень немногие, особенно из числа тех, кто, как З. Вальшонок, печатался широко и регулярно.

Что же подвигло поэта без громкого имени на этот рискованный — и в материальном и в духовном отношении — шаг?

Для этого нужно вчитаться, ощутить, что, собственно, наполняет его стихи.

Я — из времени карточек хлебных
и нетающих вдовьих седин.
Я из тех одичалых теплушек,
где к бомбежкам привыкший быт
терпким горем российских старушек
и бесхитростным скарбом набит.

Подлинность памятных переживаний — вот, пожалуй, тот фундамент, на котором выстраивается самоуважение и его уверенность в себе. Но определяющим, на мой взгляд, является отноше-

ние к поэзии как к работе. Объем и добросовестность труда также имеют общезначимую ценность и, естественно, труд не должен пропасть.

В суете литературных будней, в чисто цеховых заботах и хлопотах мы забываем, что литература — не только верхние, еще строящиеся этажи, не только новые технологии и материалы, но прежде всего само это здание — многоэтажное, просторное, в котором достаточно разнообразных помещений, вполне пригодных для жизни духа.

Да, З. Вальшонок не изобретатель новых технологий, не архитектор с гениальными наитиями, но — строитель. Да, по типовым проектам, из блоков, но тем не менее в итоге возникает нечто дарящее и сохраняющее тепло. Тем более что при реализации этих проектов он умен, изобретателен, даровит.

Смирная вдохновенный жар,
огня высоких слов боялся
и жестом будничным снижал
порыв, что выпревшим казался.
Но этой крайности стезя
таит бескрылость и разруху.
И во вселенной жить нельзя,
стыдясь возвышенности духа.

Уровень его стихотворений, еще вчера бывший среднекультурным, популяризаторским, сегодня оказывается спасительным маяком в море пошлости и бескультурья. Избранное Зиновия Вальшонка — еще и своеобразная антология послевоенной русской поэзии в ее характерных устремлениях и порывах. И приподнятость чувств, казавшаяся анахронизмом и атрибутом «совковой» лирики, осознается сегодня как несомненная культурная ценность.

ВИИ. ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ.

Смерть полубога. Поэма-хроника. — «Литературное обозрение», 1992, № 10; **Оратор. Поэма-хроника.** — Там же, 1994, № 7-8.

Очередной непрощенный отпуск, как и предыдущий, вызванный денежными затруднениями журнала «Литературное обозрение», его редактор Леонард Лавлинский использовал для командировки в давно минувшие времена. Поэмы-хроники, посвященные Цезарю и Цицерону, — отчет об этих командировках.

Обе поэмы застигают героев на рубеже их жизненного пути, за шаг от

бездны. И поэтому драматизм, естественно, разрешается в монологах, стремительно и страстно выговаривающих ситуацию. Если «Смерть полубога», в сущности, трагедия просвещенного абсолютизма, то «Оратор» — о вечном и трагическом противостоянии интеллигенции и власти.

Может ли власть быть интеллигентной, а интеллигенция властной? Или у каждой свои непересекающиеся зоны влияния? Если ты «для вечности рожден», то, значит, обречен копаться в прошлом и витать в будущем? И тогда грубая материя настоящего, стремительно распадающаяся на прошлое и будущее, не для тебя? И неужели разум, претендующий на власть, всегда смешон и беспомощен? И неужели свобода, как замечал еще Тацит, всего лишь состояние дикости, борьба всех со всеми? И нового деспота встречают как спасителя?

Два тысячелетия — не вчера. Но Рим того времени — всего лишь экран для сегодняшних чувств и мыслей поэта, придающий им дистанцированность, — что и требуется для искусства. Впрочем, прикладывая аршин прошедшего к происходящему, мы хоть и сватываем общее, но — увьи! — теряем полноту сегодняшнего во всей его ранней и неповторимой остроте.

Еще недавно попытки вымостить круг квадратиками легко выдалались за постижение сложности бытия. Упрощенная реальность выглядела вполне укрощенной, а ее иррациональный остаток — чем-то невинным и незначительным. Как замечает поэт, «в условиях режима природа вечных истин растяжима». И все, что угодно, — истина, справедливость — «плавно достигимо при точной дозе грубого нажима».

Советский менталитет, возвращенный от этой «диалектики» в историю, впадает в истерику — не только в области духа, но и в области действия.

Последние римские известия: «Насчет «белых колготок» ничего не можем сказать. Когда залп установки «Град» накрывает снайперов, от них остаются только кусочки мяса». Россия. Грозный. 1995.

Как «отмоем эту скверну»? И еще многие бывшие и будущие?

Снова реальность не вмещается ни под сводами черепа, ни в кулаке сердца. И значит, история продолжается.

Валерий Липневич.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



CAROL ANY. Boris Eikhenbaum: *Voices of a Russian formalist*. Stanford (California), Stanford Univ. Press. 1994. 281 p.

КЭРОЛ ЭНИ. Борис Эйхенбаум: Голоса русского формалиста.

Книга американской исследовательницы — первая научная биография выдающегося отечественного филолога, наследие которого все еще издано у нас совершенно недостаточно. В частности, ряд важных для науки ранних работ Эйхенбаума по теории новеллы, о комическом в искусстве, ярких статей и рецензий 20 — 40-х годов остаются для современного читателя библиографической экзотикой.

Не удивимся, если в скором времени именно западные исследователи напишут историю русской филологической науки нашего столетия, идеями которой, без преувеличения, питаются зарубежные искусствознание, литературоведение и история культуры.

Книга Кэрол Эни посвящена развитию научной мысли Бориса Михайловича Эйхенбаума в тесной связи с его личной — профессиональной и человеческой — судьбой. Раздумья и нравственные решения ученого раскрывает дневник Эйхенбаума, который велся на протяжении полувека, — еще одно национальное достояние, не востребованное нашей культурой. Архив открыт исследовательнице благодаря любезному разрешению дочери филолога Ольги Борисовны Эйхенбаум, с громадными трудностями издающей наследие своего отца в его родной стране.

Анализ дневника придал драматический подтекст изучению научной эволюции Эйхенбаума в жестких условиях тоталитарной системы. Каждая фаза этой эволюции и обозначена как тот или иной «голос» (см. название монографии). В диалог со временем вступает личность глубоко независимая и ясно мыслящая, человек «вежливо-крайних убеждений», по выражению В. Б. Шкловского.

Подчеркивается значительный духовный потенциал будущего лидера формальной школы, накопленный им к моменту создания ОПОЯЗа и, по мысли автора монографии, определивший обособленное положение Эйхенбаума в рамках формировавшейся доктрины, — что далеко не всегда находило понимание его ближайших коллег Тынянова и Шкловского, решивших обойтись без «гейста» и философии и взглянуть на искусство как на самодостаточный феномен. В связи с этим Эни находит у Эйхенбаума точку соприкосновения с М. М. Бахтиным, несмотря на то что такое сближение деятель ОПОЯЗа, разумеется, нигде не декларировал.

Путь ученого прочитывается исследовательницей на широком фоне современной ему научно-литературной жизни, неуклонно омертвевшей. Силы для непрерывного внутреннего спора с бесчеловечным государством и, в меру возможности, сопротивления ему ученый черпал у великих писателей России — Лермонтова и Толстого, искал в примерах их личного поведения. Связь Эйхенбаума с этими «вечными спутниками» и определяет русло монографии.

Отличие от тыняновского «Вазира» (впрочем, не упомянутого в книге) эйхенбаумовский Лермонтов, по замечанию Эни, умирает, не сломленный обстоятельствами, возвысившийся над пошлостью и суетностью доставшегося ему общества. Сходную позицию — наперекор гибельному движению истории — занимает в глазах Эйхенбаума автор «Войны и мира», всегда действовавший, руководствуясь собственными принципами, не сообразуясь с общественным одобрением. Духовную ситуацию конца 20-х — начала 50-х годов, как явствует из цитирования его дневника, Эйхенбаум сопоставляет с временами инквизиции, а также с правле-

нием Николая I, причем в параллель независимому Герцену им ставится Борис Пастернак.

Обширные цитаты из дневников и писем Эйхенбаума (все-таки странно читать их на английском!) дают разностороннее представление о той внутренней работе, о том экзистенциальном погружении в текст, которые, по убедительному выводу Кэрол Эни, и способствовали эволюции теоретика и критика от понимания искусства как «вещи в себе» к осознанию его коммуникативной и гуманистической задачи.

Как образчики публичного поведения Б. М. Эйхенбаума исследовательницей рассмотрены его выступления на диспутах с вульгарными марксистами в 1927 году, защита себя и своих научных коллег от обвинений в «формализме» в 1936-м, одинокая отчаянная попытка отстоять честь Ахматовой и Зощенко в 1946-м, бескомпромиссное поведение в тяжелые, поистине нищенские для семьи последующие семь лет (увольнение из университета и из Пушкинского дома, травля в печати), катастрофически подорвавшие здоровье и работоспособность ученого. Невозвратной потерей для науки о Толстом предстает утрата во время эвакуации из блокадного Ленинграда черновиков и подготовительных материалов четвертой книги о писателе, где исследовался духовно-философский контекст его исканий зрелого периода.

Преобладание тематики, связанной с именами Лермонтова и Толстого, размещается, несколько сузило охват научной биографии. Хотя обозначен ряд других перспективных тем, в особенности отсылающих к опоязовскому периоду работы ученого: проблема поэтического и практического языка, ритм и интонация в стихе (Эйхенбаум, Брик и футуристы), ОПЯЗ в традиции русской науки о литературе и литературной критике (здесь хотелось бы отдать долг хорошо памятной и самому Эйхенбауму пионерской работе К. Н. Леонтьева о Толстом — факт, упущенный автором монографии).

Все это ставит насущную задачу: подхватить инициативу с Запада и на основе как можно более полного опубликования научного и эпистолярного наследия виднейшего нашего ученого создать капитальную монографию о нем.

Дело это нелегкое. И тот факт, что к столетнему юбилею (то есть девять лет назад) не были собраны воспоминания учеников профессора — а их тогда оставалось еще немало! — красноречив и крайне огорчителен.

Однако, может быть, грядущий век все расставит по местам.

Алексей ГРОМОВ-КОЛЛИ.

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

Наложным платежом журнал не высылается.

«НМ».

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Валерий Брюсов. Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза. Составление, подготовка текста, послесловие, комментарии В. Э. Молодякова. М. «Терра». 1994. 270 стр. 10 000 экз.

Лев Гурский. Убить президента. Роман. Саратов. «Труба». 1995. 378 стр. 20 000 экз.

Роман-фельетон, написанный в жанре политического триллера. Мастеровито построенный детективный сюжет не заслоняет главного достоинства романа: на редкость точно — и по фактам, и по тональности, и по атмосфере — прописанной фактуры нашей сегодняшней общественно-политической реальности. В персонажах легко угадываются известные политики, журналисты, литераторы. Степень осведомленности в деталях, в подробностях, тонах и оттенках нынешней ситуации кажется почти невероятной для автора, проживающего, как сказано в аннотации, за рубежом. Послесловие Валерии Новодворской читается как остроумно поданное продолжение текста самого романа.

С. Кржижановский. Боковая ветка. Рассказы, повести. Редактор-составитель М. Латышев. М. «Терра». 1994. 574 стр. 100 000 экз.

И. И. Лажечников. Собрание сочинений. В 6-ти томах. Можайск. «Терра». 1994. 10 000 экз.

Том 2. Немного лет назад. Роман. 414 стр.

Том 3. Последний Новик. Роман. 574 стр.

Том 4. Ледяной дом. Роман. 350 стр.

Том 5. Басурман. Роман. 414 стр.

Владимир Максимов. Избранное. «Заглянуть в бездну», «Семь дней творения», «Кочевание до смерти». Романы. М. «Терра». 736 стр. 20 000 экз.

П. Н. Петров. Белые и черные. **Ю. Н. Тынянов.** Восковая персона. **В. Н. Дружинин.** Именем Ея Величества. Составление И. В. Новикова. Комментарий Ч. М. Залиловой, К. Н. Нещименко. М. «Армада». 1994. 782 стр. 410 000 экз.

Стихи не для дам. Русская нецензурная поэзия второй половины XIX века. Издание подготовили А. Ранчин, Н. Сапов. М. «Ладомир». 1994. 412 стр. 25 000 экз.

Страшные сказки. Сборник русского городского демонологического фольклора последней четверти XX века. Автор-составитель С. Г. Долженко. М. «Бобок». 1994. 158 стр. 1000 экз.

Юрий Тынянов. Сочинения. В 3-х томах. Вступительная статья, примечания Б. Костелянца. М. «Терра». 1994. 30 000 экз.

Том 1. Кюхля. Подпоручик Киж. Восковая персона. Малолетний Витушишников. 554 стр.

Том 2. Смерть Вазир-Мухтара. Четырнадцатое декабря. Пьеса. 544 стр.

Том 3. Пушкин. 590 стр.

Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. В 2-х томах. Редактор, комментатор Г. Чулков. Вступительная статья Д. Благого. М. «Терра». 1994. 25 000 экз. Том 1 — 416 стр. Том 2 — 544 стр.



М. Д. Беляев. Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников. СПб. «Библиополис». 1994. 112 стр. 10 000 экз.

В. Ван Гог. Письма. В 2-х томах. Перевод и комментарии Н. Щекотова. М. «Терра». 1994. 10 000 экз. Том 1 — 432 стр. Том 2 — 400 стр.

Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. СПб. «Минфрил». 1994. 428 стр. 5100 экз.

Д. Волгогонов. Троицкий. Политический портрет. В 2-х книгах. М. «Новости». 1994. 21 000 экз. Книга 1 — 414 стр. Книга 2 — 414 стр.

Роже Гароди. Марксизм XX века. М. «Прометей». 1994. 176 стр. 5000 экз.

А. Ф. Журавлев. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М. Издательство «Индрик». 1994. 256 стр.

Попытка суммировать разрозненные свидетельства о русской, украинской, белорусской обрядности, о народных представлениях и календарных обычаях, связанных с приплодом скота, куплей-продажей и эпизоотиями.

Арман де Коленкур. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. Таллинн. М. «Скиф Алекс». 1994. 462 стр. 10 000 экз.

Литература и культура Древней Руси. Словарь-справочник. Авторы: О. М. Анисимова, В. В. Кусков, М. П. Одесский, П. В. Пятнов. Под редакцией В. В. Кускова. М. «Высшая школа». 1994. 336 стр. 25 000 экз.

Более тысячи кратких статей, расположенных в трех разделах: «Древнерусская литература XI — XVII веков», «Архитектура и изобразительное искусство», «Библиографические справочники и словари. Исследователи. Учебники и учебные пособия»; а также — в приложении «Генеалогия правителей Древней Руси. Русский месяцеслов».

Ж. Марэ. О моей жизни. С приложением неизданных стихов Ж. Кокто. М. «Союзтеатр». 1994. 368 стр. 10 000 экз.

В. Э. Мейерхольд. «Пиковая дама». Замысел. Воплощение. Судьба. Документы и материалы. Составление, вступительная статья, комментарии Г. В. Копытовой. СПб. «Композитор». 1994. 406 стр. 3000 экз.

Р. Орлова-Копелева. Двери открываются медленно. М. «Независимая газета». 1994. 112 стр. 3000 экз.

Сергей Михайлович Романович. Сборник материалов, каталог выставки. К 100-летию со дня рождения художника. Живопись, графика. Из собраний Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и частных коллекций. М. «Русский путь». 1994. 216 стр.

Издание приурочено к юбилею одного из замечательнейших русских художников XX века, сумевшего, несмотря на крайне неблагоприятный идеологический климат, продолжить идущие из прошлого и начала нынешнего века традиции русского изобразительного искусства. В сборник вошли работы Романовича об искусстве, «Летопись жизни в фактах и документах», составленная Н. С. Романович и В. К. Скворцовым, куда привлечены воспоминания друзей, коллег, близких художника, его письма, выписки из документов; а также сводный каталог произведений художника, статьи о его творчестве М. Ф. Кисилева, В. Я. Соловьева, Т. Б. Вендельштейн. Завершает издание 80 репродукций живописных, графических и скульптурных работ мастера.

Е. В. Тарле. Избранные сочинения. В 4-х томах. Составитель В. С. Савчук. Ростов-на-Дону. «Феникс». 1994. 25 000 экз.

Том 1. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 г.; Бородино; Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат. 576 стр.

Том 2. Наполеон. Талейран. 720 стр.

Том 3. Северная война и шведское нашествие на Россию. Русский флот и внешняя политика Петра I. 672 стр.

Том 4. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. Адмирал Ушаков на Средиземном море. Экспедиция адмирала Сенявина в Средиземном море. Павел Степанович Нахимов. 512 стр.

М. Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. «А-сад». 1994. 406 стр. 10 000 экз.

Генрих Якубанис. Эмпедокл. Философ, врач, чародей. Данные для его понимания и оценки. **Фридрих Гельдерлин.** Смерть Эмпедокла. Драма. Перевод с немецкого Я. О. Голосовкера. Киев. «СИНТО». 1994. 232 стр.

Исследование представителя киевской школы начала века. В качестве приложения в издании помещены греческие тексты Эмпедокла. Стихотворные и прозаические варианты перевода отрывков из поэм «О природе», «Очищения» входят в текст исследования.

Составитель С. Костырко.

ПЕРИОДИКА*



«Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Литературное обозрение», «Москва»,
«Независимая газета», «Урал»

Л. Айзерман. Последний шанс. — «Знамя», 1994, № 12.

Критические размышления учителя-словесника о пособиях для поступающих в вузы. См. также его заметки на полях школьных сочинений («Новый мир», 1995, № 3).

Василий Аксенов. Рассказы. — «Знамя», 1995, № 1.

«Корабль мира „Василий Чапаев“», «Глоб-Футурум», «Титан революции» и другие новые рассказы известного прозаика.

М. А. Алданов — критик. Предисловие Андрея Чернышева. — «Литературное обозрение», 1994, № 7 — 8.

«В. Г. Короленко» (1922), «О Толстом» (1928), «О романе» (1933), «О положении эмигрантской литературы» (1936), «Памяти А. И. Куприна» (1938) и прочие статьи из «Современных записок», «Нового журнала» и других эмигрантских изданий. Тут же приводятся краткие воспоминания Гайто Газданова и Бориса Зайцева о писателе.

Иосиф Бродский. Вершины великого треугольника. Примечания к комментарию. — «Независимая газета», 1995, 10 февраля, № 24.

Доклад, прочитанный поэтом несколько лет назад в Амхерсте (США) — о Рильке, Пастернаке и Цветаевой. Печатается с небольшими сокращениями.

Гайто Газданов — человек, писатель, критик. Предисловие Ст. Никоненко. — «Литературное обозрение», 1994, № 9 — 10.

Статьи Г. Газданова «Миф о Розанове» (1929), «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане» (1929); главы из книги американского слависта Ласло Диенеша и другие материалы о писателе, в том числе — библиография произведений Г. Газданова, изданных в России в 1988 — 1994 годах.

З. Н. Гиппиус. Воображаемое. Публикация, вступительная статья и примечания М. Павловой. — «Звезда», 1994, № 12.

Интимный дневник 1918 года.

Вячеслав Дёгтев. Жертвоприношение. Рассказ. — «Москва», 1994, № 12.

Аргентина. Мальчик из семьи русских эмигрантов встречает на берегу моря «дядю Ади» — престарелого Адольфа Гитлера.

Dis manibus. — «Литературное обозрение», 1994, № 7 — 8.

Под рубрикой «Dis manibus» (так в Древнем Риме обозначали жертвоприношение духам умерших) печатаются следующие материалы: Г. Л. Выгодская, «Позвольте рассказать вам...»; Л. С. Выготский, «О белорусской литературе»; С. В. Полякова, «Из истории генетического метода (марровская школа)»; А. М. Долотова, «Воспоминания о Г. А. Гуковском»; З. Паперный, «Отцы-учителя».

Борис Екимов. Турчок. Рассказ. — «Москва», 1995, № 1.

Новый рассказ известного писателя.

Игорь Клех. Рассказы. — «Дружба народов», 1994, № 8.

«Домой» и «Костел на Привокзальной (Галицийский мотив)» — новые рассказы автора, знакомого читателя «Нового мира» по двум публикациям: «Хутор во вселенной» (1993, № 9) и «Зимания. Герма» (1994, № 11).

В. Лакшин. Дневник и попутное. — «Литературное обозрение», 1994, № 9-10, 11-12.

Дневник 1965 года. Твардовский. «Новый мир». О событиях 1953 — 1964 годов см. книгу В. Лакшина «„Новый мир“ во времена Хрущева» (М. «Книжная палата», 1991).

* К сожалению, не все журналы выходят (или доходят до Москвы) в срок. Поэтому читателя не должно удивлять присутствие в обзорах 1995 года прошлогодних, летних номеров «Урала» или «Дружбы народов». — *Сост.*

Анна Левина. Приходите свататься. Повесть. — «Звезда», 1994, № 12.
Одинокaя женщина в Нью-Йорке. Свахи. Женихи.

Николай Любимов. Сухая гроза. Главы из книги «Неувядаемый цвет». — «Дружба народов», 1994, № 8.

Первые главы из книги воспоминаний Н. Любимова см.: «Дружба народов», 1992, № 7; 1993, № 6 — 7. Публикация Б. Н. Любимова.

Жозеф де Местр. Петербургские письма. Предисловие, перевод с французского Д. Соловьева. — «Звезда», 1994, № 10 — 12.

Уникальная в своем роде публикация из наследия знаменитого французского мыслителя.

Михаил Нарбеков. Цистерна. — «Дружба народов», 1994, № 8.

Протоиерей Михаил Ардов (см. его мемуары «Легендарная Ордынка» в «Новом мире», 1994, № 4 — 5) представляет публике свои прозаические опыты того периода, когда он еще не был священником. Нарбеков — его псевдоним, «одобренный» самой Анной Ахматовой.

Неизвестные письма А. Ф. Кони к А. В. Жиркевичу. Публикация Н. Жиркевич-Подлесских. — «Знамя», 1995, № 1.

Четыре письма 1921 — 1923 годов о Христе и христианстве. Более полно письма Кони к Жиркевичу будут напечатаны в саратовском журнале «Волга».

Андрей Немзер. Сказка о потерянной критике. — «Дружба народов», 1994, № 8.
Статья о современной литературной критике. Объектами полемики являются тексты Ивана Есаулова, Никиты Елисеева, Евгения Шкловского, Андрея Василевского, Ефима Лямпорта, Павла Басинского и других.

ОБЭРИУ: проблемы изучения. — «Литературное обозрение», 1994, № 9 — 10.

Материалы Вторых обэриутских чтений (МГУ, 1994, февраль).

Ирина Полянская. Снег идет тихо-тихо. Переход. Рассказы. — «Знамя», 1994, № 12.

См. также ее рассказ «Тихая комната» в «Новом мире» (1995, № 3).

Василий Субботин. Рассказы из прошлого. — «Урал», 1994, № 8 — 9.

Мемуары. Начало см.: 1994, № 6.

Владимир Турбин. Exegi monumentum. Главы из романа. — «Литературное обозрение», 1994, № 9 — 10.

Два фрагмента-эссе, не вошедшие в сокращенный вариант романа, опубликованный в журнале «Знамя» (1994, № 1 — 2). Тут же печатаются воспоминания Натальи Ивановой о В. Н. Турбине.

Уильям Фолкнер. Дикie пальмы. Роман. Перевод с английского Григория Крылова. — «Звезда», 1994, № 11 — 12.

Редакция не забыла поблагодарить Гуманитарное агентство «Академический проект» за разрешение напечатать данный перевод, но забыла продатировать роман У. Фолкнера. Роман вышел в Нью-Йорке в 1939 году.

Марк Харитонов. Возвращение ниоткуда. Роман. — «Знамя», 1995, № 1 — 2.

Новая книга Букеровского лауреата.

Александр Хургин. Рассказы. — «Дружба народов», 1994, № 8.

Александр Хургин. Рассказы. — «Знамя», 1994, № 12.

Новые рассказы активно работающего прозаика. В том же году в «Новом мире» печаталась его повесть «Дверь» (1994, № 3).

Анастасия Цветаева. Мой единственный сборник. — «Знамя», 1995, № 1.

Стихотворения из неизданного сборника, являющегося своеобразным продолжением лагерного романа «Амор». Публикация Станислава Айдиняна.

Александр Черницкий. Светит незнакомая дыра. — «Урал», 1994, № 8 — 9.

Автор скандального истерна «Мы можем всё» («Новый мир», 1994, № 10) размышляет об особенностях этого жанра: «раскрепостившись до неприличия, злободневно и занимательно иронизировать в бешеном темпе и с хорошим драйвом...».

Составитель А. Василевский.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yury Ryashentsev, Olga Postnikova, Aleksandr Sorokin, Andrey Alekseev, Vladimir Lapin and Natan Zlotnikov.

We are publishing the short story «The Namesakes» by Sergei Zalygin, the narrative by Viktoria Frolova, the short story «The Upper Strata and the Provinces» by Aleksandr Vernikov and the narrative «The Crow» by Yury Kuvaldin.

The section «Literary Heritage» is presented by unknown letters and poems by young Marina Tsvetaeva, as well as her sister Anastasia Tsvetaeva's memoirs.

In the section «Phylosophy. History. Culture» we are publishing an essay by Yury Kagramanov, «One's Own and Another's», about metamorphoses of the well-known notions «Vendee» and «mafia».

The section «In the World of Art» presents an essay by Tatiana Cherednichenko, «The Russian Music and Geopolitics».

The section «Publications and Reports» contains two essays about Aleksandr Pushkin's works, one by Irina Surat and the other, «Pushkin and Chaadaev: a Meeting in the Crimea» by Gerald Michaelson (USA).

In the section «Literary Criticism» we are publishing an essay by Sergei Kostyrko, «From the First Person. Three Profiles Against the Background of the Generation», about new documentary and autobiographical publications in magazines.

In the section «By the Way» Alla Marchenko writes about the problems of the so-called «thick» literary magazines.

In the section «Book Review» Elena Tikhomirova reviews the novel «The Love Story» by Ivan Shmelev, Aleksei Purin reviews a three-volume edition by Georgy Ivanov.

In the section «Editor's Mail» we are publishing the essay «How My Uncle and Me Were Writing a Narrative About the Warsaw Riot» by Fred Solyanov.

In the section «Briefly About Books» Valery Lipnevich reviews books of poetry by Yury Kublanovsky, Tatiana Bek, Larisa Miller, Aleksandr Tkachenko, Aleksei Alekhin, Zinoviy Valshonok and Leonard Lavlinsky.

The issue also contains the traditional sections «Foreign Books About Russia», «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова,

О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор В. Д. Васковский

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.2.95 г. Подписано к печати 10.4.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тир. 26.000 экз. Зак. 1485. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1995 ГОДА «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
АННА АННЕНКОВА. Впервые в Европе (пристрастные впечатления);

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. «Гей, славяне!» (черты исторического самосознания на сломе эпох);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);

ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН. Кормление старого кота (рассказы);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Рождение (повесть);

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ. Рассказы (из наследия);

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Роман воспитания;

ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Три дома Петра Капицы (воспоминания);

СЕРГЕЙ КИРИЛОВ. О судьбах «образованного сословия» в

России;

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания;

Т. Г. МОРОЗОВА. В институте благородных девиц (воспоминания);

БУЛАТ ОКУДЖАВА. Из лирического дневника (стихи);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман);

ВАЛЕРИЙ ПИСИГИН. Хроники безвременья (очерки);

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ. Разрушительные тенденции в русской культуре;

ВЕРА ЧАЙКОВСКАЯ. Новое под солнцем (повесть);

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в

России;

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Косточка авокадо (рассказ);

Е. Р. ЭЙГЕС. Записки о Сергее Есенине;

а также новые произведения **АНДРЕЯ БИТОВА, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, БОРИСА ЕКИМОВА, ИГОРЯ КЛЯМКИНА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА, ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДОРЫ ШТУРМАН, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ
ВАШУ ПОДПИСКУ!**